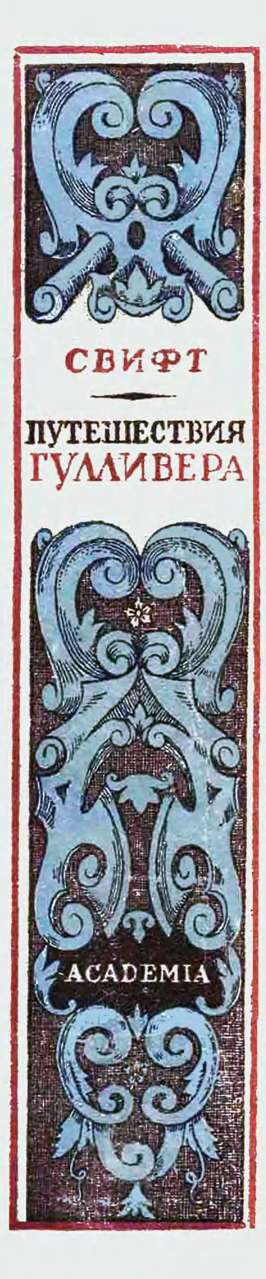
Цена 2 р. 80 к.
Переплет 80 к.



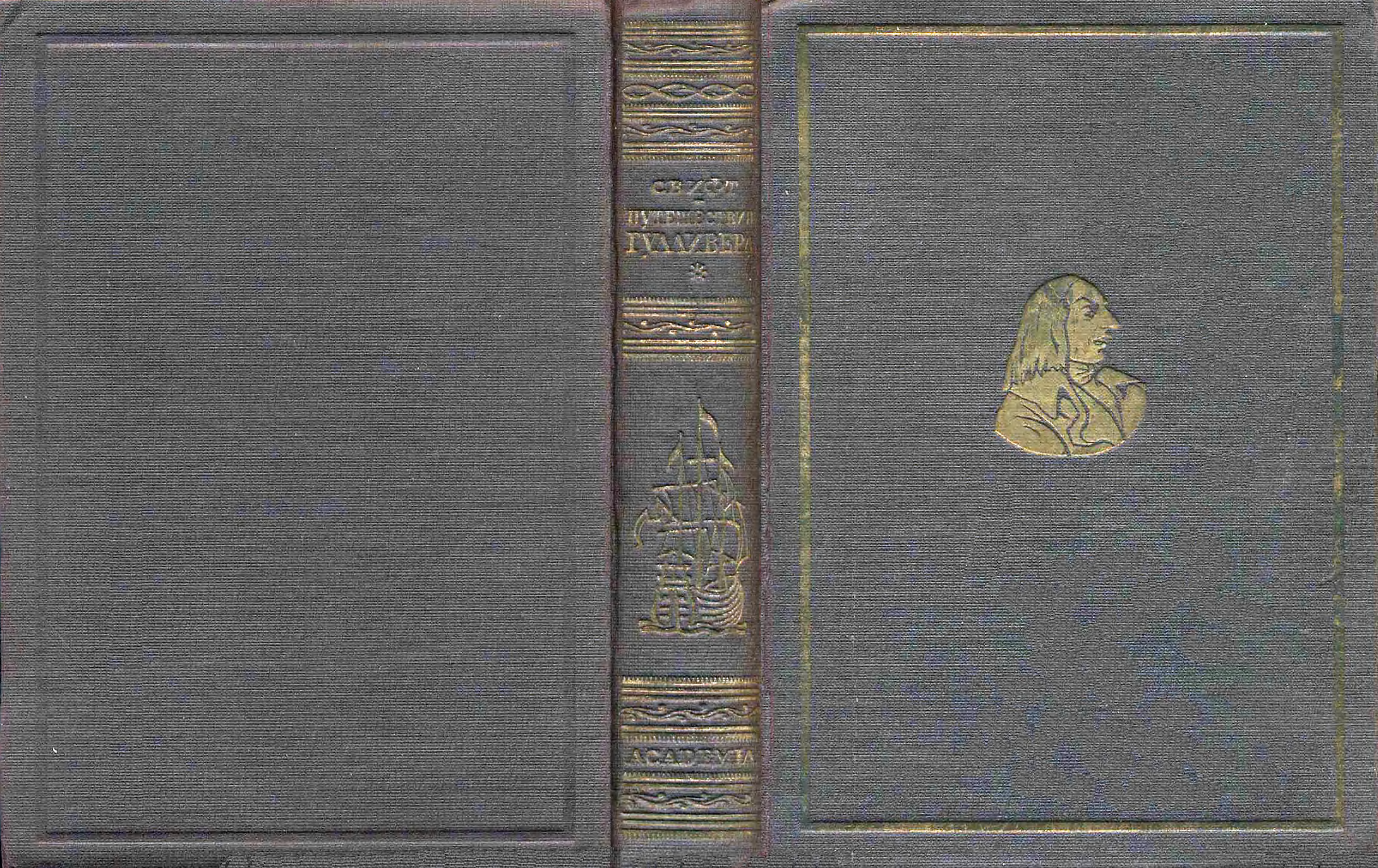

СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Москва, Тверская, 26, 3-й магазин Гос. Акц. Изд. Об-ва
„Земля и Фабрика".
Телефон 5-45-13.




*Джонатан Свифт*

# ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА

ACADEMIA


СВИФТ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА
*
ACADEMIA


ACADEMIA

*JONATHAN SWIFT*

# TRAVELS INTO SEVERAL REMOTE NATIONS OF THE WORLD

## by *LEMUEL GULLIVER*

first a surgeon, and then a captain of several schips

*Переплет, супер-обложка и форзац работы Н. А. УШИНА, титул работы В. БЕЛКИНА*

*21—30 тысячи*

СОКРОВИЩА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



# ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА



ACADEMIA

МОСКВА-ЛЕНИНГРАД

# ДЖОНАТАН СВИФТ

# ПУТЕШЕСТВИЯ
## В НЕКОТОРЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ СТРАНЫ СВЕТА
# ЛЕМЮЭЛЯ ГУЛЛИВЕРА
## СНАЧАЛА ХИРУРГА А ПОТОМ КАПИТАНА НЕСКОЛЬКИХ КОРАБЛЕЙ

ПЕРЕВОД
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. ФРАНКОВСКОГО
С ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ
Э. Л. РАДЛОВА
С ПРЕДИСЛОВИЕМ
П. С. КОГАНА
И 402 ИЛЛЮСТРАЦ
Ж. ГРАНВИЛЛЯ



ACADEMIA

1 • 9 • 3 • 2

# ПРЕДИСЛОВИЕ

## I

Эта книга принадлежит к числу любимейших книг читающего человечества. Причина ее популярности прежде всего в богатой фантазии автора, в мастерски задуманной фабуле. Этим конечно объясняется ее небывалый успех у маленьких читателей всех народов. Но если бы значение книги сводилось только к ее «занимательности», она не нашла бы себе места среди самых глубоких и поучительных созданий человеческого гения. Есть занимательность бесцельная, рассчитанная на то, чтобы читатель незаметно, легко убивал время. Здесь красота фабулы иного рода. Выдумка автора обусловлена более сложными побуждениями, чем каприз фантазии. Эта повесть о лиллипутах и великанах, это внешнее оформление словно создано для того, чтобы вместить величайшее содержание. Богатство мыслей, рожденных любопытнейшей эпохой, не могло бы найти более соответствующей формы. Из всех сюжетов, известных в мировой литературе, ни один не мог принять этого идейного богатства. Выдумка автора не случайна. Ее ро-

дила идейная задача. Он сочинил своих карликов и великанов не потому, что сами по себе занимательны такие контрасты. То, что ему нужно было сказать, можно было сказать лучше всего у карликов и великанов.

Этот сюжет открывал простор мудрому скептицизму автора. Сквозь тонкую нить именно такой повести увлекательно просвечивает его искрящаяся ирония. «Философы правы,—говорит автор,—утверждая, что, понятия великого и малого суть понятия относительные. Быть может, судьбе угодно будет устроить так, что лиллипуты встретят людей столь же малых сравнительно с ними, как они были малы по сравнению со мной. И кто знает, в какой нибудь отдаленной и неизвестной части света существует порода смертных, превосходящих своим ростом даже этих гигантов». Нужно взглянуть на существа бесконечно малые по сравнению с нами и на гигантов, перед которыми ничтожны мы, чтобы понять иронию, разлитую в мире. И разве не прав был король великанов, когда после серьезной и умной речи Гулливера о «великой Англии» и ее законах, о борьбе партий и всем том, чем наполнена человеческая история, которая кажется нам такой бурной и значительной, когда «царственный монарх» заметил, что ничтожно человеческое величие, если

такие крохотные насекомые могут стремиться к нему. «И я держу пари,—сказал он,—что у этих созданий существуют титулы и ордена. Они мастерят гнездышки и норки, называют их домами и городами, они щеголяют нарядами и выездами, они любят сражаться, ведут диспуты, плутуют и изменяют».

## II

Все зависит от того, откуда смотреть, снизу или сверху. Красота становится уродством и уродство красотой, добродетель пороком и преступление героизмом—все дело в точке зрения. Кто различит безошибочно, где ничтожное и где великое, что именуется мелочью и что значительным? И даже мелкий эпизод, незаметное явление, рассказ о том, как удалось Гулливеру уйти от великанши за своей нуждой, имеет значение, если подойти к нему со вниманием. Незначительными могут показаться такие подробности «уму пошлому и низменному», но они несомненно помогут «философу обогатиться новыми мыслями и применить их на благо общественное и личное». И трудно решить, смеется ли автор над читателем или он действительно исполнен серьезных намерений. Странная книга! В ней все текуче. В ней самые

противоречия сталкиваются, переплетаются, приобретают новые очертания, расходятся и сливаются—и в конце концов из всей этой многоцветной пестроты, из всех видов парадоксов возникает какое то изумительное единство, вскрывается тайный замысел автора, и чем тоньше плетет он кружево фантастических узоров, тем яснее становится глубина этого замысла.

Этот роман появился на пороге второй четверти восемнадцатаго века, когда буржуазия уже в значительной степени овладела хозяйственной жизнью, когда она давала уже решительные бои старому феодальному обществу не только в области экономики, но—что гораздо важнее—в области психологической, в сфере культуры и морали. Кроме того, этот роман возник в Англии, которая шла впереди поступательного движения буржуазии в Европе. Буржуазия несла за собой новые добродетели, инициативу, расчет, упорство и трудолюбие. Но вместе с этим она разрушила старые представления о чести. Экономическая жизнь Европы развертывалась под знаком торговли, и вместе с тем, как над миром утверждалось господство новых людей, зарождались и торгашеские инстинкты, рождавшиеся на почве конкуренции, развивались эгоизм, плутовство, система морали,

о которой впоследствии Маркс скажет, что в ней не осталось ничего кроме чистогана. Миросозерцание Гулливера принадлежит двум мирам. Он еще во власти дворянских представлений, он не мыслит мира без привилегий, разделение на эксплоатирующих и эксплоатируемых кажется ему естественным. Объезжая страны лиллипутов и великанов, он очень мало останавливает свое внимание на жизни низших классов. И там и здесь он при дворе, и там и здесь он рисует главным образом быт и нравы аристократии, и только на основании впечатлений, вынесенных оттуда, из жизни общественной верхушки, строит он свои заключения. Это выходит у него естественно. Народ — это король, министры, дворянство, верхи денежной аристократии, история — это войны, законодательство, добрые или злые короли. Народ появляется временами как фон, не столько в виде великой силы, определяющей судьбы истории, сколько в виде материала, на котором испытывается мудрость или заблуждение монархов.

### III

Повидимому, Гулливер одобряет систему воспитания в стране лиллипутов. Но эта система — строго классовая. Воспитательные заведения для

мальчиков «благородного или знатного происхождения» находятся под руководством видных и испытанных педагогов и их многочисленных помощников. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости. В них развивается скромность, кротость, религиозные чувства и любовь к отечеству. Им «никогда не позволяют разговаривать с прислугой и во время отдыха они играют группами всегда в присутствии воспитателя или его помощника. Таким образом они ограждены от ранних впечатлений беспутства и порока, которым всецело предоставлены наши дети». Дух времени сказывается в том, что «дети дворян и купцов продолжают общее образование до пятнадцати лет», а «дети, предназначенные быть ремесленниками, с одиннадцати лет обучаются мастерству». Свифт живет в ту эпоху, когда дворяне еще не утратили своего значения, а купцы уже давали чувствовать свое значение. Что касается крестьян и рабочих, то их совсем не обучают: так как они «предназначены судьбой возделывать и обрабатывать землю, то их образование не имеет особенного значения для общества».

Политические воззрения Свифта далеки от идеи коренной ломки существующего строя. Они не выходят за пределы частичных улучшений. Его повести пересыпаны мудрыми сове-

тами относительно реформ, касающихся государственного аппарата, суда, финансов и т. д. Если бы потребовалось определить общественное миросозерцание автора, то его пришлось бы причислить к типичным просветителям. Если он пишет с какой нибудь целью, то с целью исправления нравов, с целью просвещения умов. Кажется, будто в этом он видит единственный путь спасения, единственный выход из тяжелых условий современной ему жизни. Он вскрывает язвы современности, бесконечные войны, борьбу партий, подкуп и доносы в судах, угодничество и раболепие придворных, самовластье монархов и т. п. Он делает это не для того, чтобы уничтожить монархию или привилегии аристократов, он поступает так с единственной целью, чтобы сделать дурных чиновников хорошими или неразумных монархов разумными. И король великанов, расспрашивая его об английских порядках, кажется больше интересуется нравственными качествами правящих, чем вопросом о том, может ли существующая система не развращать правителей, не вести их к вырождению. Короля интересует, «действительно ли лорды всегда так чужды корыстолюбия, партийности и других недостатков, что на них не может подействовать подкуп, лесть и т. п., действительно ли духовные лорды возводятся в этот сан благо-

даря их глубокому знанию религиозных доктрин, благодаря их святой жизни». Все дело в моральных качествах людей власти, а не в характере государственного управления.

## IV

Несомненно, Свифт был передовым человеком своего времени. Он находится у вершины тогдашней прогрессивной мысли. Он является проводником тех идей, которые были высшим достижением этого времени, существовали в умах лучших людей эпохи. Но обаяние его романа конечно не в этом. Его идеи теперь уже кажутся старомодными, и о таких людях обыкновенно говорят, что они имели огромное историческое значение, но уже не действенны для нашего времени. Свифт действенен и в наши дни. Нас не волнуют больше те чувства и мысли, с которыми восходящая буржуазия вела борьбу за свое господство. Волнует в его произведениях иное. К нему больше чем к кому бы то ни было применимо выражение, что он умел во временном и историческом раскрывать вечное. Правда, это «вечное» мы понимаем теперь иначе. чем понимали его идеалисты. Для нас «вечное» — это те социальные отношения, которые остаются нетронутыми на протяжении всех известных

нам исторических эпох. Так, пока еще не изжита эксплоатация человека человеком, она остается явно вечной для предшествующего периода человеческой истории, как вечной остается конкуренция, борьба за существование и бесполезная растрата человеческих сил, пока коммунизм не довел до конца дело осуществления организованного трудового общества. Глубочайшее социальное значение свифтовского романа в том, что он проникнут ощущением социального зла, что он уже в те времена, когда еще ничто не предвещало подхода к явлениям, добытого двухвековыми испытаниями после него,—в те времена он оставался беспокойным, неудовлетворенным совершившейся на его глазах сменой. Его художественное зрение было более проницательно, чем его политическое сознание. Его художественный инстинкт не мирился на тех частичных реформах и улучшениях, о которых говорили его разум и политический опыт. Роман как бы пронизан скрытым знанием. Отсюда его затаенная насмешка над бесплодностью совершающейся борьбы,—насмешка, светящаяся где то в самых недостижимых глубинах его внутреннего мира. Автор знает, что и новый класс не избавит человечество от позорного существования, от поругания человеческой личности, что и он—только

пролог истории. Истинные пути были еше слишком далеки, чтобы автор мог найти путеводную нить, протянутую к будущему. Отсюда его безнадежный скептицизм, его никогда не тускнеющая ирония. Эта ирония тем более беспощадна, что он дает ее почувствовать необычайно искусными приемами. Он всегда серьезен, он каждую минуту напоминает вам о том, что говорит только чистую правду, что он не имеет никакой другой задачи, как быть правдивым бытописателем. Его книга переполнена описаниями мелочей и фактических данных. Точность его поразительна: «Средний рост туземцев меньше шести дюймов. Ему точно соответствует рост как животных так и растений, например лошади и быки не бывают там выше четырех или пяти дюймов, а овцы выше полутора дюйма...». «Их баранина по вкусу уступает нашей» и т. п. Когда император лилипутов начинает преследовать его за совершенное им якобы предательство, он приводит бесчисленное количество доказательств своей невинности, причем делает это с таким серьезным видом, как будто находится в настоящем суде, и как будто от убедительности его защиты действительно зависит его жизнь. Он умеет заставить читателя верить, что все это серьезно, что мы находимся не среди выдуманных людей,

а в гуще жизни, в водовороте борьбы страстей и интересов.

Вот почему и в наши дни не меньше волнует эта книга, сотканная из страстных дум о судьбе человечества, книга смешная, злая и печальная, творение ума, рано пришедшего и потому разочарованного, одного из тех, что ощупью, спотыкаясь и падая, искали, тщетно искали выхода на путях, тогда окутанных мраком, в наше время озаренных ясным и верным светом.

*П. С. Коган*




*ДЖОНАТАН СВИФТ*

# ДЖОНАТАН СВИФТ

## (Биография)

### I

В биографии Свифта много невыясненного, и иногда трудно отделить легенду от факта.

Джонатан Свифт родился от английских родителей 30 ноября 1667 года в Ирландии, в Дублине. Он родился через 7 месяцев после смерти отца, оставившего семью в очень стесненных обстоятельствах. Маленький Джонатан был тайно увезен своей кормилицей, не желавшей с ним расстаться, и мать получила своего ребенка обратно лишь по прошествии 3 лет. Об образовании Джонатана позаботился его дядя, отдавший его сначала в школу в Кильkенни, а потом, когда ему было 14 лет, в Дублинский университет. В университете Джонатан не отличался рвением к наукам и, пробыв в нем 7 лет, получил выпускное свидетельство «из милости», как в нем значилось. Особенную неуспешность Свифт оказал в философии и теологии; отвращение к схоластической философии, преподаваемой в то время в университетах, Свифт сохранил на всю жизнь. Мать Свифта переехала в Англию, и ей удалось пристроить молодого человека в семье лорда Вильяма Темпля, с которым она была в свойстве. Темпль, знаменитый дипломат и писатель, устроивший тройственный союз Англии, Голландии и Швеции против Франции, а также брак Вильгельма и королевы Марии, относился довольно холодно к юноше Свифту, самолюбие которого сильно страдало от неопределенности положения. Однако Свифт весьма многим обязан Темплю, у которого он познакомился с многими выдающимися деятелями—между прочим и с самим Вильгельмом III—и успел настолько пополнить свое образование, что мог с успехом приобрести ученую степень в Оксфорде. Маколей в опыте, посвященном В. Темплю, отмечает, что политические памфлеты

Свифта выгодно отличаются от Джонсоновских более живым пониманием политической жизни, и это понимание он несомненно приобрел в беседах с Темплем. Однако оскорбленное самолюбие заставило Свифта искать себе иного положения. Он отправился в Ирландию в 1694 году и здесь приобрел сан сначала дьякона, а потом священника, причем от него потребовали рекомендацию, которую Темпль охотно дал. Недолго оставался Свифт в Ирландии, которую терпеть не мог, и вновь возвратился к Темплю, в доме которого и оставался до смерти последнего в 1699 г. По завещанию Темпля Свифт получил небольшую сумму денег и обязанность издать посмертные сочинения покойного дипломата. Свифт выполнил это обязательство и посвятил сочинения королю в расчете, что тот вспомнит свое обещание устроить его. Однако эта надежда оказалась тщетной, и он снова направился в Ирландию, где получил приход в Ларакоре, дававший доход около 400 фунтов в год. Здесь Свифт провел почти 10 лет, ревностно исполняя все церковные обязанности, оставлявшие ему впрочем достаточно свободного времени, которым он и воспользовался в целях литературной деятельности. В 1701 г. вышел первый его политический памфлет — о раздорах партий в Афинах и Риме — единственное произведение, в авторстве которого ему пришлось признаться, а в 1704 году появилась знаменитая его «Сказка бочки» и «Битва книг» — обе анонимно. Когда он в 1709 году приехал в Лондон, слава его как политического писателя и сатирика была уже вполне упрочена. Он был встречен министерством вигов с распростертыми объятиями, но виги для него ничего не сделали, и когда в 1710 году произошла смена министерства и королева Анна призвала к власти ториев во главе с Гарлеем, вскоре награжденным титулом лорда Оксфорда, и Сент Джоном, получившим титул лорда Болингброка, то Свифт нашел в них людей, высоко ценивших его талант. За дружбу с Гарлеем и Болингброком Свифта упрекали и указывали, что он изменил либеральным принципам, но эти упреки были неосновательны: Свифт оставался всегда человеком либерально настроенным, но в одном очень важном пункте он расходился с вигами: Свифт всегда был ревностным защитником прав англиканской

церкви, в то время как виги сочувствовали пуританам и диссентерам. В течение четырех лет перо Свифта защищало министерство ториев в борьбе с Мальборо и военной партией, не без расчета, конечно, что они с своей стороны сделают что-нибудь для него. Но Гарлей не торопился уплатить долг своему другу, отчасти потому что ему важно было иметь защитника по убеждению, а не по плате, отчасти может быть и потому, что этот государственный деятель, отличавшийся неясной и неопределенной программой, усвоил себе пятое правило Балтасара Грасиана, гласящее, что «мудрец предпочитает, чтобы в нем нуждались, чем чтобы его благодарили, ибо держать людей на пороге надежды свойственно дипломатам, и только простаки рассчитывают на благодарность». Но Гарлей и Болингброк поссорились и первый должен был выйти в отставку. После смерти королевы Анны и восшествия на престол ганноверской династии в лице Георга I министерство пало. Гарлея и Болингброка обвинили в сношениях с претендентом Стюартом и с Францией, вместе с тем и положение Свифта стало небезопасным. К счастью, они успели устроить Свифта деканом при церкви Св. Патрика в Дублине, сделав Стиля, прежнего декана и прежнего друга Свифта, епископом. Свифт удалился в Ирландию и здесь с 1714 года почти безвыездно оставался. Только раз он был в Лондоне и был принят министром Р. Уольполем, но из этой встречи ничего не вышло. Самый счастливый период жизни Свифта, когда за ним ухаживали и когда он мог оказывать помощь и покровительствовать всем, кто к нему обращался, кончился. Начался период борьбы за Ирландию, в которой он достиг и значительных успехов и такой популярности, какой редко пользовался человек, не облеченный властью и влиявший исключительно, силой своего таланта.

Последние годы жизни Свифта были очень мрачными. Его здоровье было всегда неудовлетворительным. Он жаловался на какие-то боли в желудке и на приступы головокружения. Последние годы он впал в состояние почти идиотизма, так что смерть 78-летнего старика, последовавшая 19 октября 1745 г., была избавлением для него и для окружавших его лиц.

## II

Характер Свифта был чрезвычайно сложный, полный противоречий, приносивший несчастье ему самому и многим из близких ему людей. Он с полным правом мог бы сказать о себе словами Гетевского Фауста:

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust
Die Eine will sich von der Andern trennen...

Эта двойственность привела Свифта к трагическому концу — к умственному расстройству. Портрет его можно нарисовать в очень мрачных красках; с другой стороны, из него можно сделать чуть ли не святого (София Смит). Он губил тех, кого любил, и служил тем, кого ненавидел; он достиг господства над толпой, которая его боготворила, и не получил власти, к которой стремился. Свои разочарования он скрывал, так как был слишком горд, чтобы быть мелким честолюбцем.

В нем был не только разлад между сердцем и умом, но также между верой и разумом. Будучи скептиком-рационалистом, насмехавшимся над тремя главными разновидностями христианской религии, он в то же время считал себя верующим христианином и в действительности был ярым защитником англиканской церкви, ненавидевшим всякие секты[1]. Он самым тщательным образом исполнял все церковные обязанности, но проповеди его, как он сам признавался, были лишь политическими памфлетами.

Страдал ли Свифт от этого разлада разума и веры или же он, как думает Теккерей, терзался только тем, что положение священника заставляло его постоянно лицемерить—это трудно решить. Если он был лицемер, то в то же время следует предположить, что он был величайшим актером, никогда не забывавшим о роли, которую он играет; это предположение еще более неве-

---

[1] Эту ненависть к методистам и пуританам — вообще сектантам — унаследовал от Свифта Ч. Диккенс, который любил изображать их пьяницами и лицемерами.

роятно, чем отрицание верующего скептицизма. Впрочем, если припомнить, что Свифт советовал Гею, известному развратнику, принять священство, что он, Свифт, радуется ответу иезуита на вопрос, почему они принимают в свой орден стольких дураков, — «нам нужны святые»,—то предположение о лицемерии нашего сатирика получает некоторое вероятие, ибо он не мог не видеть, что святых дураков и в других церковных учреждениях очень много.

Свифт любил шутки и между прочим ту форму их, которую англичане называют practical joke, когда шутки переходят из области слов в область действия. Но большинство шуток Свифта, часто весьма остроумных, отличаются некоторой дозой злости; не даром Вольтер находит, что Раблэ веселее Свифта, хотя последний и острее его. Примером практической шутки может служить «Рассуждение о метле», которое Свифт приписал проповеднику Бойлю и прочел лэди Беркли; по наивности своей она стала восторгаться проповедью Бойля, не заметив насмешки. Любимым изречением Свифта было «vive la bagatelle», соответственно чему он сочинял и записывал разные пустячки, часто весьма остроумные; примером могут служить «Правила для прислуги»; они очень забавны и доказывают большую наблюдательность. Все недостатки прислуги—кухарки, горничной, кучера, молочницы и др.—выставлены напоказ и осмеяны самым серьезным образом. Но во всех шутках Свифта чувствуется его презрительное отношение к людской глупости, пошлости и порочности. В основе всех забав слышится желание автора заглушить тоску, не покидающую никогда этого мрачного гения. Подобно тому как комические актеры, заставляющие смеяться публику, как только появляются на сцене, в жизни бывают мрачными и скучными мизантропами, так и Свифт, распространявший веселье в кругу своих друзей, сам оставался мрачен и серьезен.

Продолжительное пребывание в чужом доме и зависимая жизнь на чужих хлебах сделали Свифта расчетливым — черта, которая под старость перешла в скупость; рассказывают, что его ближайший друг Шеридан, разорившись, приехал к Свифту и думал прожить у него некоторое время; но последний в довольно гру-

бой форме отказался принять друга. Но на ряду с таким проявлением скупости и грубости Свифт оказывал щедрую помощь бедным своего прихода. Трогательный рассказ, принадлежащий, может быть, к области легенды, рисует Свифта, как он в порыве жалости отказывался от только что полученного прихода в пользу бедного священника, обремененного семьей. Страстность и рассудительность как то уживались в Свифте, и порывистая властность прорывалась иногда в действиях, скрашивающих общий мрачный фон настроений.

Характер человека ярко обнаруживается в его отношениях к женщинам, но именно в этом пункте исследователь оказывается в особенно затруднительном положении вследствие недостатка твердо установленных фактов. Три женщины играли заметную роль в жизни Свифта; есть, правда, упоминание о мимолетных увлечениях, но их можно оставить без внимания. Эти три женщины: Мис Веринг, сестра одного из товарищей Свифта по Дублинскому университету, Эсфирь Джонсон, приемная дочь Вильяма Темпля, и Эсфирь Ваномриг, дочь богатой вдовы, в доме коей Свифт бывал во время лондонского своего житья. Эти три дамы известны под ласкательными именами Варины, Стеллы, Ванессы. Отношение к первой кончилось довольно благополучно: в 1696 г. Свифт написал весьма странное письмо Варине, предлагая ей брачный союз в форме, которая заставила ее отказать возлюбленному и прервать с ним сношения; Варина предпочла другого кандидата.

Менее благополучно для обеих сторон кончились отношения со Стеллой. Стелла, получившая от Темпля в наследство 1500 фунтов, ради экономии переселилась в Ирландию, где жила постоянно в обществе подруги-компаньонки г-жи Дингли. Стелла и Свифт никогда не встречались наедине; когда Свифт уезжал в Англию, Стелла переселялась в церковный дом, в квартиру Свифта; когда Свифт принимал своих друзей, Стелла играла роль хозяйки. Такие отношения длились с 1699 года по год ее смерти—1728. Стелла была на 14 лет моложе Свифта. Смерть ее была тяжким ударом для него, и на бумажке, в которую был завернут локон ее волос, Свифт сделал

таинственную надпись «только волосы женщины» (only a womans hair).

Итак, Свифт тщательно старался поддерживать представление, что Стелла была только другом, хотя и очень близким; между тем существует рассказ, принятый многими на веру, что Стелла была женой Свифта. Епископ Атс, совершивший будто бы это бракосочетание, сказал однажды доктору Делани, встретившему Свифта, выбегавшего от епископа в слезах: «Вы видели самого несчастного человека, но о причинах его несчастья вы никогда не должны меня спрашивать». Невероятно, чтобы Стелла была женою Свифта, ибо вряд ли она согласилась бы находиться в течение почти 30 лет в столь двусмысленном положении, да и мотивы для сокрытия брака трудно подыскать[1]. Напрасно было бы искать объяснения странных отношений гениального писателя с его подругой, так как всякого рода догадки не находят себе подтверждения в фактах.

Труднее всего оправдывать поведение Свифта, как это делает София Смит, по отношению к Ванессе. Ей было 19 лет, а ему 43. В годы лондонской жизни он часто бывал в доме матери Ванессы и, заинтересовавшись девушкой, взялся руководить ее чтением. Ванесса в него влюбилась, а его самолюбию это льстило. В 1714 году Свифт укрылся в Ирландии. Мать Ванессы к этому времени умерла, оставив дочь в стесненных обстоятельствах. Дочь последовала за писателем и поселилась вблизи Дублина. Свифт оказался между двух огней. В письмах к Стелле из Лондона он мимоходом упоминал о доме Ваномриг, но скрывал свои отношения к Эсфири от Стеллы. Сразу прекратить всякие отношения с Ванессой он не мог, так как он ранее писал ей: «будьте уверены, что никто вас так не любил, уважал, почитал и обожал, как я», и посвятил ей поэму, в которой описывал любовь Кадена к Ванессе, к тому же она действительно нуждалась в его советах. Свифт решил посещать Ванессу все реже и реже, рассчитывая

[1] Хотя можно привести другой подобный пример, а именно: министр Фокс, будучи женатым несколько лет, не объявлял о своем браке и с женой сожительствовал как бы вне брака.

на постепенное охлаждение, но этот прекрасный план рухнул, когда Ванесса узнала стороной о том, что Свифт женат. Ванесса запросила об этом Стеллу, и взбешенный Свифт прервал резко сношения с Ванессой. Бедная девушка заболела и умерла в 1723 г., поручив епископу Беркли издать поэму *Cadenus and Vanessa* и ее переписку со Свифтом[1].

Приведенных фактов, кажется, достаточно, чтобы заключить, что характер Свифта был весьма сложный и не из приятных.

## III

От Свифта-человека обратимся к Свифту-писателю.

Если исключить *Дневник к Стелле* и стихотворения, которые по характеру напоминают *Худибраса* Бетлера или *Iobsiad'y* немецкого писателя Кёртума, то все остальные произведения подойдут под понятия политической сатиры и политического памфлета. Политическая сатира—самый недолговечный литературный род: для того чтобы испытывать наслаждение при чтении политической сатиры, необходимо хорошо знать все исторические условия, вызвавшие сатиру. Чтобы производить впечатление, необходимы комментарии. Подобно исторической живописи и в сатире мы должны отличать непосредственное впечатление от того образа, который получается, когда даны необходимые исторические объяснения. Непосредственное впечатление от некоторых произведений Свифта и в настоящее время остается тем же, какое было и при их появлении,—они блещут остроумием и умом, но в то же время в них часто находится сильная доза неприличных выходок, которые не могут быть всецело объяснены духом времени.

Теперь вряд ли многие читают политические трактаты Свифта, отчасти потому, что события, по поводу которых они написаны, забыты, отчасти потому, что одно произведение Свифта—«Путешествия Гулливера»—

---

[1] Беркли издал поэму, но не решился напечатать письмо декана, и они впервые были опубликованы в издании сочинений Свифта Вальтер Скотта в 1811 г.

затмило собою все остальные. «Сказка бочки» сыграла большую роль не только в личной жизни Свифта, но и в истории просвещения, в борьбе с суевериями. Этим произведением, его насмешками над католичеством, лютеранством и кальвинизмом вдохновлялся Вольтер в его борьбе с церковью, с его попыткой ecraser l'infame.

В «Сказке бочки» помимо фантастической истории трех главных исповеданий христианства содержится еще критика на современных Свифту писателей; эти две темы — религиозная и литературная — изложены в различных главах так, что религиозная глава следует за литературною.

Вольтер, писавший Свифту: «чем более я читаю ваши сочинения, тем менее мне нравятся мои!», справедливо удивляется тому, что два священника—Рабле и Свифт — жестоко смеявшиеся над церковью, мирно кончили жизнь на своих местах, в то время как людей за мелкие прегрешения сжигали. Правда, Свифт издавал свои произведения анонимно, как и Вольтер, и постоянно отрекался от них, но он никого не мог обмануть, и когда правительство намерено было его преследовать, то не нашлось людей, согласных его осудить, а применить к нему административные меры было опасно, и правительство на это не решалось.

Маколей говорит о «Путешествии Пилигрима» Буниана, что это, после Дантовой «Божественной Комедии», самая великая и талантливая аллегория, предназначенная к возвеличению христианства; аллегория Свифта не менее талантлива, но ее цель—прямо обратная. У читателя остается впечатление, что Свифт, подобно Гиббону, считал все религии одинаково ложными.

Сарказмы и юмор Свифта характерны для англичан; это—сухой, несколько злобный смех, лишенный чувства резиньяции и примиренности. Легко здесь перейти границу, когда юмор становится претенциозностью и теряет свою остроту. Это например случилось с знаменитым Карлейлевским *Sartor Resartus*, написанным в подражание Свифту. Шутки и остроты слишком частые теряют свою прелесть и становятся скучными...

Слава Свифта неразрывно связана с «Путешествиями Гулливера», переведенными на все языки культурных

народов и ставшими любимым детским чтением на ряду с Дон-Кихотом, Робинзоном Крузо и романами Вальтер Скотта. Чем объясняется популярность этого сочинения, не более гениального, чем остальные сочинения Свифта, и представляющего в существе дела такую же политическую сатиру, как и остальные его сочинения?

Изображая порочность людей и идеальных правителей, Свифт исходил из нескольких противоречащих опыту, но логически возможных допущений, из которых делает совершенно правильные выводы. Увеличивая и уменьшая размеры существ, к которым попадает Гулливер, сохраняющий нормальную форму, Свифт следит за тем, какое впечатление эти измененные условия должны произвести на нормального человека. Аналогичные допущения делал Карл Бэр: он исходил из положения, что количество восприятий внешнего мира зависит от быстроты биения пульса. Учащая или замедляя биение пульса, можно изменить всю картину внешнего мира.

Детям нравится мощная фантазия Свифта, изображающая невозможное столь живо, что оно кажется реальностью, взрослым нравится правильность выводов, сделанных автором из невероятных допущений и возможность отыскивать в изображениях исторические намеки.

«Путешествия Гулливера», конечно, политический памфлет, но поток времени не унес его и не предал забвению, потому что автор сочетал временное с вечным и возвысился над индивидуальным к общечеловеческому, общечеловеческое же—доблести и пороки—изобразил не в виде отвлеченных моральных положений, а в виде конкретных образов, в которых читатель узнает черты, встречающиеся и теперь столь же часто, как они встречались двести лет тому назад, когда над ними смеялся не без злобы великий сатирик.

Остроумных мыслей и оборотов речи, часто трудно переводимых, несмотря на простоту и красоту речи Свифта, столько, что если бы мы желали представить образцы, то нам пришлось бы переписать книгу. К концу книги эти мысли становятся все более и более едкими и злыми.

Теккерей говорит, что серьезное и логичное развитие нелепого положения является у Свифта общим

методом, на котором построены все его юмористические произведения. Это, конечно, верно, но избираемые положения часто вовсе не нелепы, а взяты из жизни, и все то злое, что Свифт говорит о юристах, медиках, о браке, о церкви и т. д., все это, может быть, несколько преувеличено, но действительно встречается, и если мы смеемся над персонажами Свифта, то в действительности смеемся над самими собой.

Большим успехом пользовался политический трактат Свифта, изданный в 1711 году, «Поведение союзников», имевший целью оправдать мирную политику Гарлея и обвинить Мальборо в том, что он нарочно затягивал войну, чтобы пополнить свои карманы. Но наибольшим успехом пользовались «Предложения к употреблению Ирландской мануфактуры» 1720 года и «Письма суконщика» 1724 г. В этих произведениях Свифт призывал ирландцев к бойкоту английской мануфактуры и отчеканенной в Англии неполноценной мелкой медной монеты. Эти памфлеты сделали его самым популярным лицом в Ирландии, так что ни правительство не решалось его тронуть, ни частные лица, которых он оскорблял язвительными насмешками, напр., судью Исаака Бикерстафа.

## IV

Изобилие талантов в двенадцатилетнем правлении королевы Анны напоминает собой век Августа, хотя сама она и была женщиной ничем не замечательной. Революция пуритан в общем была неблагоприятна искусству—хоть пуритане и могут гордиться Мильтоном,—поэтому в разных областях выдвигаются нахлынувшие в Англию иностранцы: так в музыке задавал тон немец Гендель, в живописи—немец Кнеллер, пока Гогарт не создал национального искусства. Искусство не знает отечества и может свободно развиваться на чужой почве, но этого нельзя сказать о литературе; она в гораздо большей мере стоит в связи с политическими и социальными условиями известного времени и народа и с характером его, чем остальные искусства.

Поэзия и художественная проза произрастают на почве национального сознания и целиком не могут быть объяснены ни внешним влиянием, ни подражанием существующим образцам. Некоторые черты времени королевы Анны, как, например, скептическое настроение, стремление к остословию, к пустым шуткам («pun» и «fun»), к насмешкам над серьезными вещами—образцами чему могут служить «Hudibras» Бетлера и «Дунсиада» Попа,—далее поклонение здравому смыслу и отрицание во имя его более глубокой философской и научной мысли,—все это может быть объяснено историко-социальными условиями, господствовавшими при развращенном дворе Карла II и еще не изжитыми, несмотря на старания пуритан.

В этих же условиях находим мы и объяснение, почему государственные люди (как напр. Вильям Темпль и Болингброк) стремились к приобретению имени также и в области литературы, и наоборот, литераторы (как напр., Прайор и сам Свифт) желали играть роль и в качестве политических деятелей. Около Свифта группировался целый ряд его друзей, выдающихся писателей: Стиль, Аддисон, Прайор, Поп, Арбутнот и др. Все они жили в дружбе и без зависти, столь распространенной среди писателей. Правда, со Стилем Свифт разошелся на почве политической и преследовал его насмешками долгое время, но Поп оставался всегда поклонником Свифта, а Арбутнот и его подражателем, насколько это возможно.

Любимым чтением Свифта были «Максимы» Ларошфуко и произведение Рабле. В первом ему могли нравиться отточенность формы и пессимистическое настроение, столь, казалось бы, родственное его собственному, во втором—скептицизм, веселые шутки и выходки против духовенства. И все таки нельзя говорить о каком-либо влиянии эхих писателей на Свифта. Он совершенно своеобразен и неподражаем. Рабле сам смеется над своими грубыми шутками и в нем нет человеконенавистничества, в то время как Свифт остается всегда серьезен, причем в его юморе нет чувства резиньяции, свойственного вообще юмору; он серьезен

даже когда делает невозможные предложения, как, напр., в его «Скромном предложении», в котором он доказывает, что молодой, здоровый и выкормленный ребенок может служить вкусным и питательным блюдом, если его приготовить надлежащим образом в виде тушеного, жареного или вареного мяса. Свифт принадлежит к редкому типу мизантропов, который извлекает живую радость из сознания деградации и дегенерации человеческого рода. Точно также и пессимизм Ларошфуко нисколько не похож на пессимизм и скептицизм Свифта. «Максимы» Ларошфуко замечательны тем, что все они проистекают из одной основной, последовательно и в деталях проведенной во всех остальных. Свифт же, хотя и принимает основное положение Ларошфуко о человеческом эгоизме, нисколько не заботится о систематическом его проведении. Свифт вообще был врагом систематической философии, над которой постоянно смеялся: так «Сказка бочки» направлена против философии Гоббса, попутно в ней он смеется и над величайшим филологом своего времени, Бентлеем, а в 3-ей части «Путешествий Гулливера» он издевается над Исааком Ньютоном, и если он не трогает Джорджа Беркли, то только потому, что это его старейший друг. Отточенность мыслей Ларошфуко тоже никак нельзя сравнивать с изящной простотой и ясностью прозы Свифта; проза его так же прекрасна в своем роде, как легкость поэтического стиля Попа. Будучи врагом систематики, Свифт является величайшим индивидуалистом, поэтому то он совершенно неподражаем. В то время как произведения Аддисона и, позднее, Ричардсона вызвали в разных странах ряд подражаний, Свифт не создал ничего хоть мало-мальски похожего на школу, но его произведения навсегда останутся богатейшим источником для всякого рода едких и остроумных выражений и злобных нападок на разные стороны общественной и политической жизни. Внешним формам «Сказки бочки» и «Путешествий Гулливера» можно было подражать, что, например, и сделал Лессинг в «Натане мудром», как и сам Свифт взял эти формы из предшествовавшей литературы, но это не дает права говорить о влиянии на Свифта ни о его влиянии. Если

сравнить, например, стихи Гейне (его *Disputation*) с Свифтовой сказкой, то легко найти общие точки зрения, но в то же время насколько юмор Гейне отличается от Свифтовского!

Редактор настоящего перевода «Путешествий Гулливера», А. А. Франковский, высказал мне остроумную и правдоподобную мысль о том, что Толстой изучал в молодости Свифта и находился под его влиянием. Весьма вероятно, что Толстой изучал английских писателей; Юлиан Шмит и Н. Д. Чечулин, независимо один от другого пришли к выводу, что «Война и мир» Толстого написаны под влиянием «Ярмарки житейской суеты» Теккерея. Кое что из религиозного скепсиса Толстого, из его отношения к браку, медицине, юриспруденции и науке сильно отзывается Свифтом. Некоторые выражения, как, напр., «он остался жив, несмотря на то, что его лечили», мы находим и у Свифта. Толстой, как известно, не блистал юмором; может быть он старался прикрыть это тем, что взял на прокат у своего английского собрата то, чего ему недоставало. Поднятый вопрос требует более подробного рассмотрения, но здесь мы его затрагиваем лишь вскользь.

## V

Для биографии Свифта важны следующие источники.

Во-первых, собственные его сочинения; из них главным образом «Дневник к Стелле», состоящий из 65 писем и содержащий подробное описание его пребывания в Англии с 1710—1713 гг. «Мемуар, касающийся смены министерства королевы Анны» объясняет, почему Свифт изменил вигам и перешел на сторону тори. Характеристика Стеллы (On the death of M-rs Johnson) начата в самый день смерти Стеллы и окончена несколько позднее. В стихотворении «На смерть д-ра Свифта», написанном в 1731 г. Свифтом, содержится довольно верное описание его характера. Поэма «Cadenus and Vanessa» содержит историю любви Свифта и девицы Ваномриг (Vanhomrigh). В остальных произведениях Свифта, напр., в его письмах, тоже содержатся черты, рисующие его.

Вторую группу источников составляют отзывы современников и друзей Свифта. Через 6 лет после смерти писателя лорд Оррери издал «Жизнь Свифта» и в ней отозвался с осуждением о некоторых действиях его. В ответ на это доктор Делани, друг Свифта, издал «Заметки на замечания лорда Оррери» в 1754 г., в которых оправдывал покойного. Два года спустя родственник и однофамилец Свифта издал «Опыт жизни и сочинений Джонатана Свифта». В 1765 году Гоксворт, лично не знавший Свифта, но воспользовавшийся указаниями Джонсона, приложил очерк жизни Свифта к изданию сочинений последнего. Впрочем, и сам знаменитый Джонсон уделил в своей книге «Жизнь поэтов» несколько сухих и сдержанных страничек Свифту. В 1785 году Фома Шеридан, сын ближайшего друга Свифта издал «Жизнь Свифта», содержащую очень богатый анекдотический материал, к которому следует относиться осторожно.

К третьей группе относятся исследования, написанные на основании вышеприведенных материалов, как то: Вальтера Скотта, В. Мэзона, Форстера, Теккерея («Английские юмористы XVIII в.»), Маколея (в этюде о Темпле) и др.

Наиболее ценное сочинение о Свифте: Henry Craik, Life of Swift, 1882 года. Хорошая оценка жизни и сочинений Свифта у Leslie Stephen'a Swift, 1903 г. В 1910 г. София Смит выпустила книгу, посвященную декану Свифту (Dean Swift) и украшенную 16-ю фотографиями; это не столько биография, сколько апология Свифта. Г-жа Смит не хочет видеть никаких недостатков в своем герое и оправдывает все его действия. Письма изданы Ф. Белем; лучшее издание прозы Свифта Temple Scott в 12 томах (проза).

*Э. Радлов*

# ОТ РЕДАКТОРА

Первое издание *Гулливера* было выпущено 28 октября 1726 года Бенджемином Моттом в Лондоне под заглавием: *Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей.* Свифт долго вынашивал и долго писал это знаменитое произведение. Форма, которую он придал ему, была обусловлена, вероятно, его увлечением описаниями путешествий, которых он поглотил в молодости великое множество, судя по списку книг, прочитанных им в Мур Парке у Вильяма Темпля. Более определенный толчок был получен Свифтом во время его пребывании в Лондоне, в пору наибольшего жизненного успеха и наибольшей популярности, на собраниях так называемого *Скриблеровского клуба*, существовавшего с 1711 до 1714 г. и состоявшего из единомышленников Свифта, писателей и политических деятелей: Попа, Гея, Арбутнота Болингброка и др. В 1714 году Поп предложил клубу выпустить коллективную сатиру на педантизм в форме мемуаров вымышленного Мартина Скриблера. После смерти королевы Анны и падения торийского министерства клуб распался, и Свифт уехал в Дублин. Мемуары были действительно написаны Арбутнотом и Попом, но опубликованы они были только в 1741 году, и мы находим в них много родственного третьей части *Гулливера.* Таким образом *Гулливер* был создан между 1714 и 1725 годом, причем

до 1721 года Свифтом были сделаны, вероятно, только наброски, а окончательно текст был разработан и написан между 1721 и 1725 годом, как об этом свидетельствуют с одной стороны намеки на определенные события и определенных лиц, содержащиеся в *Путешествиях*, а с другой—письма Свифта и к Свифту, относящиеся к этому времени. Особенно важны три письма Свифта к Форду, впервые опубликованные Гарольдом Вильямсом в редактированном им юбилейном издании *Гулливера* (London, First Edition Club, 1926), от 15/IV 1721 г. («Я занят сейчас писанием моих *Путешествий*... работа подвигается медленно благодаря нездоровью и дурному настроению»), 19/I 1724. («Я покинул страну лошадей и нахожусь на Летучем Острове, где пробуду недолго, и два моих последних путешествия будут скоро окончены») и 14/VIII 1725г.(«Я окончил свои *Путешествия* и сейчас переписываю их»...).

Книга вышла без имени автора, и опубликование ее было окружено таинственностью, которая отчасти объясняется любовью Свифта к мистификации, но главным образом, конечно, нежеланием подвергнуться преследованиям со стороны «власть имущих» за направленную против них беспощадную сатиру. Летом 1726 г. Свифт явился в Лондон с готовой рукописью и через Попа и некоего Льюиса предложил ее издателю Б. Мотту; рукопись он сопроводил письмом к издателю от имени Симпсона, родственника Гулливера; Мотт сразу оценил *Гулливера* и согласился напечатать его, попросив только отсрочить уплату гонорара (200 фунтов) на полгода. Однако он не решился—опять таки из боязни «власть имущих» *(those in power)*—напечатать рукопись целиком и без изменений. По поводу произведенных им искажений и пропусков Свифт неоднократно выражал большое неудовольствие как в част-

ных письмах, так и в предисловии к дублинскому изданию Фолкнера 1735 г. *(Письмо Гулливера к Симпсону)*, датированном 2 апр. 1727 г., но на самом деле написанном позже (см. текст, стр. 5—13, и примечания, стр. 629). Друг Свифта, Чарльз Форд, по его просьбе послал 3/I 1727 г. укоризненное письмо Мотту с приложением списка опечаток и указанием пропущенных и искаженных мест; в собственном экземпляре *Гулливера* Форд восстановил эти места по рукописи на особых листах, вложив их между соответствующими страницами.

*Путешествия* имели необыкновенный успех. В одну неделю было распродано все первое издание в количестве 10.000 экземпляров, и Мотт в течение ноября и декабря 1726 года выпустил еще два издания, для ускорения дела печатая их в разных типографиях Опечатки, перечисленные Фордом, исправлены начиная с 4-го или 5-го изд. 1727 г., но искаженные и пропущенные места не были восстановлены в изданиях Мотта. Работа эта была выполнена только в дублинском издании Фолкнера, вышедшем в 1735 году с упомянутым выше предисловием Свифта в форме письма Гулливера. Кроме восстановления пропусков (за исключением одного, о котором речь ниже) по экземпляру Форда, фолкнеровское издание отличается от моттовского еще множеством мелких вариантов. Возникает вопрос, кому принадлежат эти варианты: самому ли Свифту, пересмотревшему текст через девять лет по выходе книги, или издательству? В виду того что Свифт в письмах к друзьям решительно открещивался от своей причастности к дублинскому изданию (см. напр. его письмо Попу от 1/V 1733: «Один издатель явился ко мне за разрешением напечатать мои произведения... Я не дал разрешения, и мне было бы очень неприятно увидеть их напечатанными здесь... Я решил не вмеши-

ваться в это дело...» и т. д.), в критической литературе установился взгляд, будто эти варианты обязаны своим происхождением издателю и считаться с ними не следует. Однако, несмотря на свое кажущееся равнодушие, Свифт попросил Форда доставить издателю исправленный им экземпляр и проявлял явный интерес к изданию, что доказывается хотя бы его предисловием. В то же время он взял с Фолкнера слово не упоминать вовсе об авторе и о его роли в новом издании. Воспользовавшись этим, редактор издания наследников Мотта, Гоксворт (Hawkesworth), в 1755 г., т. е. после смерти Свифта, подверг фолкнеровские варианты жестокой критике, заявив, что они не могут принадлежать Свифту; связанный словом Фолкнер молчал; мнение же солидного литературного критика Гоксворта казалось весьма авторитетным, несмотря на то, что следовало бы относиться с осторожностью к утверждениям представителя конкурирующего издательства. Только через 23 года после смерти Свифта Фолкнер счел себя в праве нарушить данное им слово. В предисловии к изданию 1768 года говорится, что во время подготовки к печати издания 1735 года Свифт заставлял издателя «являться к нему каждое утро или когда будет удобнее и читать ему вслух, чтобы звуки могли достигать уха, а смысл—разумения, и всегда имел при себе двух слуг для этой цели; и когда у него появлялось какое-нибудь сомнение, он спрашивал у них значение услышанного ими; и если они не понимали, он переделывал и исправлял до тех пор, пока темное место не делалось им совершенно ясным, а затем говорил: *теперь годится; ибо я пишу для простого народа, а не для ученых людей.* Не довольствуясь этой подготовительной работой, он корректировал каждую полосу первых семи томов, опубликованных при его жизни,

выражая желание, чтобы издатель, будучи гораздо моложе декана и знакомый с важнейшими событиями его жизни, писал примечания». Нет оснований сомневаться в правдивости этих показаний, ибо у самого Свифта можно найти подтверждение их: «Печатание моих произведений есть зло, которое я не могу предотвратить. Оно не принесет мне ни гроша. Мои друзья исправляют ошибки, а по временам *и сам я посвящаю этому минуту или две*» (письмо к Попу 8/VII 1734). Но наиболее убедительным доводом в пользу принадлежности Свифту изменений фолкнеровского текста является самый характер их; упомянутый уже редактор юбилейного издания *Гулливера*, Гарольд Вильямс, путем тщательного их изучения показал, что они могли исходить только от автора.

Я счел нужным так подробно остановиться на этом вопросе потому, что в течение всего XIX века издатели весьма непринужденно относились к тексту *Гулливера*; в основу обыкновенно клали редакцию Гоксворта и в нее вносили большее или меньшее количество дальнейших изменений; это можно сказать даже относительно лучших изданий: Вальтер Скотта, Кука Тейлора, Уоллера; в своем издании 1840 года Кук Тейлор (снабдивший книгу хорошими примечаниями) присочинил даже от себя в начале многих глав целые фразы в несколько строк, чтобы подогнать английский текст к заглавным буквам Гранвиля, иллюстрировавшего несколько ранее французское издание *Гулливера*. Замечательно, что эти сочиненные Тейлором фразы вошли во многие последующие издания, хотя в них и не было гранвилевских иллюстраций, в частности в издание Таухница, с которого был сделан русский перевод Кончаловским и Яковенко (в 1889 году), куда они тоже попали. Нечего и говорить о многочисленных «воль-

ностях» так называемых «детских изданий». Критическая работа над текстом началась только в 90-х годах прошлого века, и наибольшая заслуга принадлежит здесь Г. Ревенскрофт Деннису (G. Ravenscroft Dennis), внимательно изучившему экземпляр первого издания с поправками Форда (рукопись Свифта потеряна; экземпляр Форда хранится в Форстеровской коллекции Кенсингтонского музея в Лондоне) и включившему их полностью в редактированное им издание *Гулливера* Темпля Скотта (G. Bell and Sons, London, 1922). Наиболее любопытным из включенных им в текст пропусков является рассказ о неудачной попытке лапутского короля подавить восстание в городе Линдолино (отрывок этот был *впервые* напечатан в приложении к изданию Гулливера G. A. Aitken'a, 1896 г., а в надлежащем месте текста—ч. III, гл. III—только в упомянутом издании Dennis'a; см. в настоящем изд. страница 345, от слов «Года за три до моего прибытия»... и до конца 347-ой стр.).

Нам понятен страх Мотта перед «власть имущими», заставивший его опустить это колоритное место, зато не может найти оправдания небрежность последующих издателей. Тому же Dennis'y принадлежит заслуга установления точной даты выхода в свет первого издания (28 октября [1] 1726 года) на основании объявления в трех тогдашних газетах *(The Daily Journal, The Daily Post* и *The Evening Post)*: «Сегодня выходят Путешествия и т. д.». Дата эта подтверждается письмами к Свифту от его друзей, рассказывающих об успехе книги, от 8, 11 и 17 ноября того же года. Текст всех ранних изданий исчерпывающе изучен Гарольдом

[1] Раньше эта дата приурочивалась к началу ноября.

Вильямсом (Harold Williams) в упомянутом юбилейном издании 1926 года, которое в отношении точности является наилучшим из всех до сих пор вышедших.

В настоящем русском переводе мною принята во внимание вся работа над восстановлением подлинного английского текста *Гулливера*, выполненная Ravenscroft'ом Dennis'ом и Harold'ом Williams'ом, и восстановлены места, выброшенные царской цензурой (ч. I гл. IV, ч. III гл. VI, ч. IV гл. V). Перевод Свифта на русский язык задача нелегкая; большая часть текста настоящего издания переведена заново, ибо старый перевод Кончаловского и Яковенко часто невозможно редактировать: не говоря уже о большом количестве допущенных в нем искажений, он слишком беспомощен и слишком разбавлен водой [1]. Между тем у Свифта взвешено каждое слово; живший в золотой век рационализма, Свифт сам был рационалистом; его рассуждения о возникновении лжи и заблуждения (в IV части) почти совпадают с рассуждениями Декарта (в четвертом *Размышлении*); отличительные черты слога бробдингнежцев: ясность, мужественность и гладкость, отсутствие всякой цветистости, стремление избегать нагромождения ненужных слов и разнообразия выражений, являются идеалом, которому всегда следует Свифт. Прекрасной иллюстрацией его работы над слогом служит цитированное выше предисловие Фолкнера к своему изданию 1768 г.

Примечания, сведенные мной к минимуму, помещены после текста; принципы, которыми я руководился при выборе их, и важнейшая литература указаны там же. Очень хочется, чтобы читатель оценил

---

[1] Фразы в таком роде: «созерцая плодотворные плоды добродетели и ее применение к жизни» (т. II, стр. 168) там совсем не редкость.

по достоинству тонкие и иронические иллюстрации Гранвилля.

В настоящем издании воспроизведены четыре карты и чертеж, объясняющий движение летучего острова, приложенные к первому английскому изданию.

*А. Франковский*

29/XII—1927 г.



## ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ



Автор этих путешествий, мистер Лемюэль Гулливер, мой старинный и близкий друг; он приходится мне также сродни по материнской линии. Около трех лет тому назад мистер Гулливер, которому надоело стечение любопытных к нему в Редрифф, купил небольшой клочек земли с удобным домом близ Ньюарка, в Ноттингемшире, на своей родине, где и проживает сейчас в уединении, но уважаемый своими соседями.

Хотя мистер Гулливер родился в Ноттингемшире, где жил его отец, однако я слышал от него, что предки его были выходцами из Оксфордского графства. Чтобы удостовериться в этом, я осмотрел кладбище в Банбери в этом графстве и нашел на нем несколько могил и памятников Гулливеров.

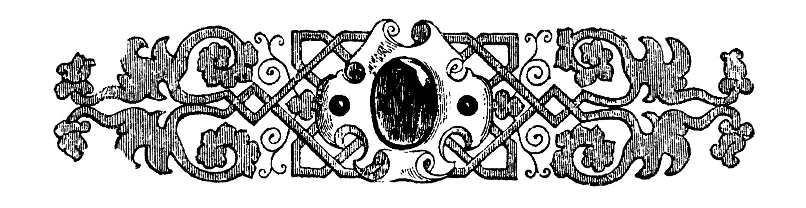
Покидая Редрифф, мистер Гулливер дал мне на сохранение нижеследующую рукопись, предоставив распорядиться ею по своему усмотрению. Я три раза внимательно перечел ее. Слог показался мне весьма гладким и простым; я нашел один только недостаток: автор, следуя обычной манере путешественников, слишком уж обстоятелен. Все произведение, несомненно, дышит правдой, да и как могло быть иначе, если сам автор известен был такой правдивостью, что среди его соседей в Редриффе сложилась даже поговорка, когда случалось утверждать что нибудь: это так же верно, как если бы это сказал мистер Гулливер.

По совету нескольких уважаемых лиц, которым я, с согласия автора, давал на просмотр эту рукопись, я решаюсь опубликовать ее, в надежде, что, по крайней мере, в продолжение некоторого времени она будет служить для наших юных читателей более занимательным развлечением, чем обычное бумагомарание политиков и партийных писак.

Эта книга вышла бы, по крайней мере, в два раза объемистее, еслиб я не взял на себя смелость выкинуть бесчисленное множество страниц, посвященных ветрам, приливам и отливам, метеорологическим особенностям каждого путешествия, а также подробнейшему описанию маневров корабля во время бури — все это на морском жаргоне. Точно так же я обошелся с долготами и широтами. Боюсь, что мистер Гулливер останется этим несколько недоволен; но я поставил своей целью сделать его сочинение как можно более доступным для широкого читателя. Если же, благодаря своему невежеству в морском деле, я сделал какие либо промахи, то ответственность за них падает всецело на меня; впрочем, если найдется путешественник, который пожелал бы ознакомиться с сочинением во всем его объеме, как оно вышло из-под пера автора, то я охотно удовлетворю его любопытство.

Дальнейшие подробности, касающиеся автора, читатель найдет на первых страницах этой книги.

РИЧАРД СИМПСОН

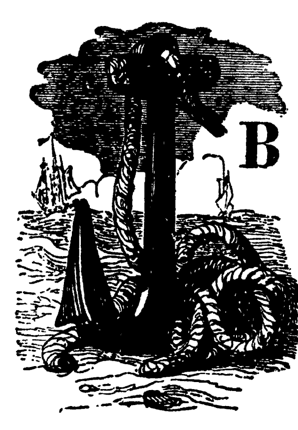


# ПИСЬМО

## КАПИТАНА ГУЛЛИВЕРА

### К СВОЕМУ РОДСТВЕННИКУ

## РИЧАРДУ СИМПСОНУ



Вы не откажетесь, надеюсь, признать публично, когда бы вас ни спросили, что своими настойчивыми и постоянными просьбами вы уговорили меня опубликовать весьма небрежный и неточный рассказ о моих путешествиях; при этом вы предложили пригласить нескольких молодых людей из какого либо университета привести мою рукопись в порядок и исправить слог, как по-

ступил, по моему совету, мой родственник Демпиер* со своей книгой *Путешествие вокруг света*. Но я не помню, чтобы предоставил вам право соглашаться на какие либо пропуски и, тем менее, на какие либо вставки. Поэтому, что касается последних, то настоящим заявлением я отказываюсь от них совершенно; особенно от абзаца, касающегося блаженной и славной памяти ее величества покойной королевы Анны*, хотя я уважал и ценил ее больше всякого другого человеческого существа. Но вы, или то лицо, которому вы поручили просмотр, должны были принять в расчет, что не в моих привычках льстить себе подобным, и что мне было бы неприлично в речи, обращенной к моему хозяину *гуигнгнму,* воздавать похвалы какому либо животному нашей породы. Кроме того, самый факт совершенно неверен: насколько мне известно (я был в царствование Анны некоторое время в Англии), она правила при посредстве первого министра; даже двух последовательно: сначала министром был лорд Годольфин, а затем лорд Оксфорд. Таким образом, вы заставили меня *говорить то, чего не было.* Точно так же в рассказе об Академии Прожектеров и в некоторых частях моей речи к моему хозяину *гуигнгнму* вы либо опустили некоторые существенные обстоятельства, либо смягчили

и изменили их таким образом, что я с трудом узнаю мое собственное произведение. Когда же я намекнул вам об этом в одном из прежних писем, то вам угодно было ответить, что вы боялись нанести оскорбление; что власть имущие весьма зорко следят за прессой и готовы не только истолковать по своему все, что кажется им намеком (так, помнится, выразились вы), но даже подвергнуть за это наказанию. Но позвольте, каким образом то, что я говорил столько лет тому назад на расстоянии пяти тысяч миль отсюда, в другом государстве, можно относить к кому либо из *йэху*, управляющих теперь, как говорят, нашим стадом; особенно если принять во внимание, что в то время я совсем не думал, что мне придется жить под их властью и не опасался этого несчастья? Разве не достаточно у меня оснований сокрушаться при виде того, как эти же самые *йэху* разъезжают на *гуигнгмах,* как если бы они были разумными существами, а *гуигнгмы* — бессмысленными тварями? В самом деле, главною причиной моего удаления сюда было желание избежать столь чудовищного и отвратительного зрелища.

Вот что я счел своим долгом сказать вам о вашем поступке и о доверии, оказанном мною вам.

Затем, мне приходится пожалеть о собственной большой оплошности, выразившейся в том, что я поддался просьбам и ложным доводам, как вашим, так и исходившим от других лиц, и, вопреки собственному убеждению, согласился на издание моих *Путешествий*. Благоволите вспомнить, сколько раз просил я вас, когда вы ссылались мне на интересы общественного блага, принять во внимание, что *йэху* представляют породу животных, совсем неспособную к исправлению путем наставлений и примеров. Ведь так и вышло. Вот уже шесть месяцев прошло со времени появления моей книги, а я не только не вижу конца всевозможных злоупотреблений и пороков, — по крайней мере, на этом маленьком острове, как я имел основание ожидать, — но и не слыхал, чтобы моя книга произвела хотя бы одно действие, соответствующее моим намерениям. Я просил вас известить меня письмом о моменте, когда прекратятся партийные счеты и интриги; судьи станут просвещенными и справедливыми; стряпчие — честными, умеренными и приобретут хоть капельку здравого смысла; Смитсфильд озарится пламенем пирамид собрания законов; в корне изменится система воспитания молодых дворян; будут изгнаны врачи; самка *йэху* украсится добродетелью, честью, правдивостью и здравым

смыслом; будут основательно вычищены и выметены дворцы и министерские приемные; вознаграждены ум, заслуги и знание; все, позорящие печатное слово, в прозе или стихах, осуждены на то, чтобы питаться только бумагой и утолять жажду только чернилами. На эти и тысячу других преобразований я сильно рассчитывал, слушая ваши поощрения; ведь они составляют прямой вывод из наставлений, преподанных в моей книге. И должно признать, что семь месяцев* достаточный срок, чтобы исправить пороки и безрассудства, которым подвержены *йэху*, если бы только они от природы имели малейшее расположение к добродетели и мудрости. Однако эти ожидания не только не находили удовлетворения в ваших письмах; напротив, каждую неделю вы обременяли нашего почтальона пасквилями, комментариями, размышлениями, замечаниями и вторыми частями; из них я вижу, что меня обвиняют в поношении сановников, в унижении человеческой природы (ибо у авторов хватает дерзости выражаться так) и в оскорблении женского пола. При этом я нахожу, что сочинители этого хлама даже не столковались между собой: одни из них не желают признавать меня автором моих *Путешествий*, другие же приписывают мне сочинения, к которым я не имею никакого касательства.

Далее, я обращаю внимание на крайнюю небрежность вашего наборщика: им допущена большая путаница в хронологии и ошибки в датах моих путешествий и возвращений, нигде не поставлены верно ни год, ни месяц, ни число. Я слышал, что оригинал совершенно уничтожен по отпечатании книги; а копии у меня не осталось. Все же я посылаю вам несколько исправлений; вы можете воспользоваться ими, если состоится когда либо второе издание книги. Впрочем, я не могу настаивать на них и отдаю вопрос на суд рассудительных и беспристрастных читателей; пусть они поступают, как им угодно.

До меня доходят слухи, что некоторые из наших *йэху*-моряков находят ошибки в моем морском языке, считая его во многих случаях неправильным и часто устаревшим. Ничего не могу поделать с этим. Во время моих первых путешествий, когда я был молод, я прошел выучку очень старых моряков и усвоил их язык. Но впоследствии я убедился, что морские *йэху* так же склонны выдумывать новые слова, как и сухопутные *йэху*, которые меняют язык чуть ли не ежегодно, настолько, что при каждом возвращении на родину, я находил, насколько припоминаю, большие перемены в прежнем диалекте и едва мог понимать его. Равным

образом я замечаю, когда какой нибудь *йэху* любопытства ради приезжает ко мне из Лондона, что мы не способны излагать друг другу наши мысли в выражениях, понятных для нас обоих.

Если бы суждения *йэху* способны были сколько нибудь задевать меня, то я имел бы достаточное основание жаловаться на дерзость некоторых моих критиков, полагающих, что книга моя представляет только плод моей фантазии, и даже позволяющих себе высказывать предположение, будто *гуигнгнмы* и *йэху* обладают не большей реальностью, чем обитатели Утопии.

Между тем, мне не приходилось встречать ни одного *йэху,* как бы он ни был самоуверен, который решился бы отрицать существование *лиллипутов*, *бробдингрежцев* (ибо следует произносить *Бробдингрег*,* а не так, как ошибочно напечатано, *Бробдингнег*) и *лапутян*, или оспаривать факты, рассказанные мной относительно этих народов, ибо истина тут настолько очевидна, что сразу же убеждает всякого читателя. Неужели же мой рассказ о *гуигнгнмах* и *йэху* менее правдоподобен? Ведь, что касается *йэху,* то очевидно, что даже в нашем отечестве их существуют тысячи, и они отличаются от своих диких братьев из *Гуигнгнмии* только тем, что обладают способностью к бессвязному лепету

и не ходят голыми. Я писал для их исправления, а не для их одобрения. Единодушные похвалы всей их породы значили бы для меня меньше, чем ржание двух выродившихся *гуигнгнмов*, которых я держу у себя на конюшне; у них, как они ни выродились, я вовсе не вижу порока и могу еще кое что позаимствовать по части добродетели.

Уж не дерзают ли эти несчастные животные думать, будто я настолько пал, что выступлю на защиту своей правдивости? Хотя я и *йэху,* но во всей *Гуигнгнмии* отлично известно, что, благодаря наставлениям и примеру моего досточтимого хозяина, я в течение двух лет оказался способным (хотя, признаюсь, с огромным трудом) отделаться от этой адской привычки ко лжи, лукавству, обману и двуличию, так глубоко коренящейся в самом естестве всей нашей породы, особенно у европейцев.

Я мог бы высказать еще и другие жалобы по поводу этого досадного обстоятельства, но не хочу больше докучать ни себе ни вам. Должен откровенно признаться, что, по моем возвращении из последнего путешествия, некоторые пороки, свойственные моей натуре *йэху,* ожили во мне, благодаря общению с немногими представителями вашей породы, особенно членами моей семьи, что совершенно для меня неизбежно.

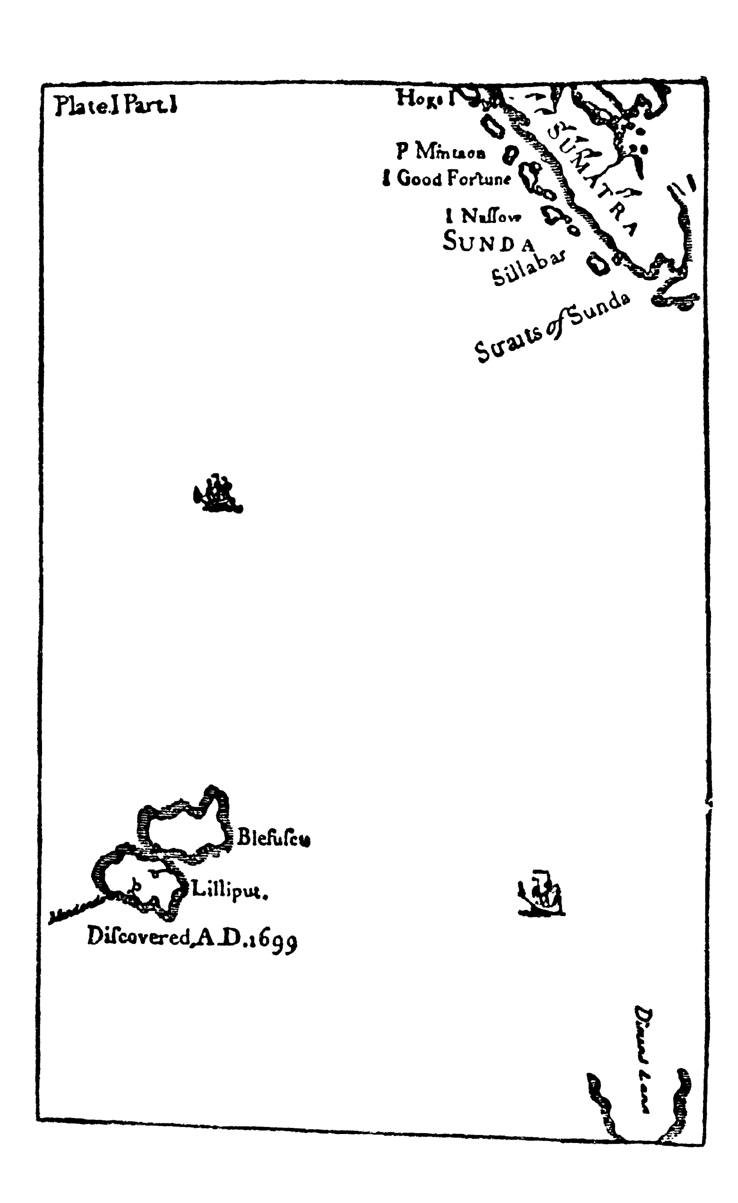
Иначе я никогда не предпринял бы нелепой затеи реформировать породу *йэху* в нашем королевстве. Но теперь я навсегда покончил с этими химерическими планами.

Апреля 2 1727 года.



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

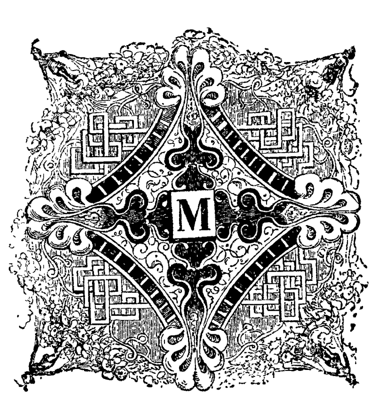
# ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛИЛЛИПУТИЮ


Plate.I Part.I
Hogs I
P Mintaon
I Good Fortune
I Nassow
SUNDA
Sillabar
SUMATRA
Straits of Sunda
Blefuscu
Lilliput.
Discovered A.D. 1699



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Автор дает сведения о себе и о своем семействе. Что побудило автора отправиться в путешествие. Он претерпевает кораблекрушение, спасается вплавь и благополучно достигает берега страны лиллипутов. Его берут в плен и увозят вглубь страны.*



ой отец имел небольшое поместье в Ноттингемшире; я был третий из его пяти сыновей. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, он послал меня в Коллегию Эмануила в Кембридже, где я пробыл три года, прилежно отдаваясь своим занятиям. Хотя я получал весьма скудное содержание, однако и оно ложилось тяжелым бременем на отца, состояние которого было незначительно; поэтому меня отдали в ученье к мистеру Джемсу Бетсу, выдающемуся хирургу в Лондоне,

у которого я прожил четыре года. Небольшие деньги, присылаемые мне по временам отцом, я тратил на приобретение пособий для изучения навигации и других отраслей математики, полезных человеку, желающему посвятить себя путешествиям, так как я всегда думал, что рано или поздно мне выпадет эта доля. Оставя мистера Бетса, я возвратился к отцу, и у него, у дяди Джона и у других родственников мне удалось получить сорок фунтов стерлингов вместе с обещанием ежегодно высылать мне в Лейден еще тридцать фунтов. В этом городе,



в продолжение двух лет и семи месяцев, я изучал медицину, будучи уверен, что знание ее окажется мне полезным в дальних путешествиях.

Вскоре по возвращении из Лейдена я, по рекомендации моего доброго учителя, мистера Бетса, поступил хирургом на судно *Ласточка,* ходившее под командой капитана Авраама Паннеля. Я проплавал с ним три с половиной года, совершил одно-два путешествия в Лавант и в некоторые другие страны. Возвратившись в Англию, я решил поселиться в Лондоне, к чему поощрял меня и мистер Бетс, мой учитель, который порекомендовал меня нескольким своим пациентам. Я нанял квартиру в небольшом доме на Ольд-Джюри и, вняв советам родных не оставаться холостяком, женился на мисс Мери Бертон, второй дочери мистера Эдмунда Бертона, чулочного торговца на Ньюгет-стрит, за которой получил четыреста фунтов приданого.

Но так как спустя два года мой добрый учитель Бетс умер, а друзей у меня было немного, то дела мои пошатнулись; ибо совесть не позволяла мне подражать шарлатанству многих моих собратьев. Вот почему, посоветовавшись с женой и некоторыми знакомыми, я решил снова отправиться в плавание. Я поступил хирургом сперва на одно, а потом на другое судно, и в продолжение шести лет совершил несколько путешествий в Восточную и Западную Индию, что несколько поправило мои денежные дела. Часы досуга я посвящал чтению лучших авторов, прежних и современных, так как всегда запасался в дорогу книгами; на берегу же наблюдал нравы и обычаи туземцев и изучал их язык, что, благодаря хорошей памяти, давалось мне очень легко.

Последнее из этих путешествий было не особенно счастливо, и потому, утомленный мор-

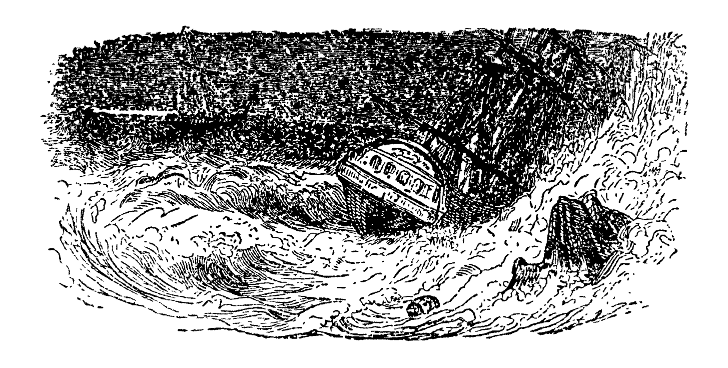
скою жизнью, я решил жить дома с женой и детьми. Я перебрался с Ольд-Джюри на Феттер-Лен, а оттуда в Уоппинг, надеясь иметь практику между моряками, но эта надежда не оправдалась. Прождав три года улучшения моего положения, я принял выгодное предложение капитана Вильяма Причарда, владельца судна *Антилопа*,



отправиться с ним в Южный Океан. 4-го мая 1699 года мы снялись с якоря в Бристоле, и наше путешествие было сначала очень удачно.

Не стоит утомлять внимание читателя подробным описанием наших приключений в этих

морях; достаточно сказать, что при переходе в Ост-Индию мы были отнесены страшной бурей к северо-западу от Ван-Дименовой земли. Согласно наблюдениям, мы находились на 30° 2′ южной широты. * Двенадцать человек нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи; остальные были в состоянии полного изнеможения. 5-го ноября (начало лета в этих местах) было очень пасмурно, так что матросы только на расстоянии полукабельтова от корабля заметили



скалу; между тем страшный ветер гнал корабль прямо на эту скалу, и он мгновенно разбился в щепки. Шестеро из экипажа, в том числе я, спустили шлюпку на воду и благополучно отъехали от корабля и скалы. По моим расчетам мы шли на веслах около трех миль, пока совсем не выбились из сил, так как были переутомлены уже на корабле. Поэтому мы отдались на волю ветра и волн, и через полчаса шлюпка была опрокинута внезапно налетевшим с севера шква-

лом. Что сталось с моими товарищами по шлюпке, а равно и с теми, которые нашли убежище на скале или остались на корабле, не могу сказать; думаю, что все они погибли. Что касается меня самого, то я поплыл, куда глаза глядят,



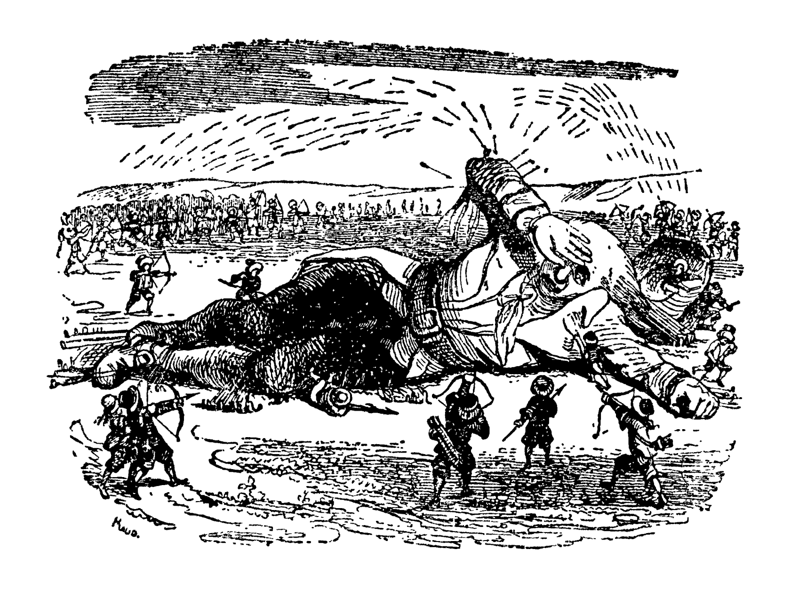
подгоняемый ветром и приливом. Я часто опускал ногу, но не мог нащупать дно; и вот, в то время, когда я совсем уже выбился из сил и неспособен был больше бороться с волнами, буря значительно утихла, и я почувствовал под ногами землю. Дно в этом месте было так отлого, что мне пришлось пройти более мили прежде, чем я добрался до берега; было должно быть около девяти часов вечера. Я прошел с полмили, но не мог открыть никаких признаков жилья и населения; или, по крайней мере, был слишком слаб, чтобы различить что-нибудь. Я чувствовал крайнюю усталость; эта усталость, жара, а также выпитая мной еще на корабле полпинта водки,

совсем меня разморили, и меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, которая была здесь очень низка и мягка, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни. По моему расчету сон мой продолжался около девяти часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я хотел встать,* но не мог пошевельнуться; я лежал на спине, и чувствовал, что мои руки и ноги с обеих сторон крепко привязаны к земле, и точно так же прикреплены к земле мои длинные и густые волосы; а все мое тело, от подмышек до бедер, опутано целой сетью тонких бичевок. Я мог смотреть только вверх; солнце начинало жечь, и свет его ослеплял глаза. Кругом меня слышался какой то глухой шум, но положение, в котором я лежал, не позволяло мне видеть ничего, кроме неба. Вскоре я почувствовал, как что то живое задвигалось у меня на левой ноге, мягко поползло по груди и остановилось у самого подбородка.



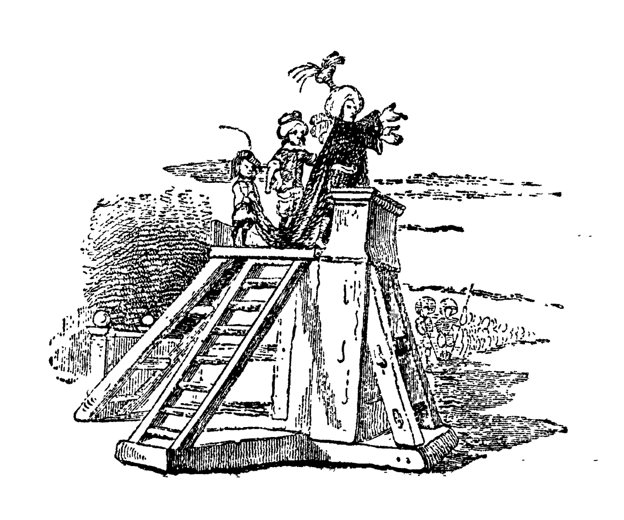
Опустив глаза как можно ниже, я различил перед собою человечка, ростом не более шести дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной. В то же время я почувствовал, как

вслед за ним на меня взбирается по крайней мере еще около сорока подобных же (как мне показалось) созданий. От изумления я так громко вскрикнул, что они в ужасе все разбежались; причем некоторые из них, как я узнал потом, соскакивая и падая с моего туловища на землю, получили сильные ушибы. Однако скоро они возвратились снова, и один из них, отважившийся подойти так близко, что ему было видно все мое лицо, в знак удивления поднял кверху руки и глаза и тоненьким, но отчетливым голосом прокричал: *Гекина дегуль;* остальные несколько раз повторили эти слова, но я не понял тогда их значения. Читатель может себе представить, в каком неудобном положении я лежал все это время. Наконец, после большого усилия, мне посчастливилось порвать веревочки и выдернуть деревянные колышки, к которым была привязана левая рука; поднеся ее к лицу, я понял, каким способом они связали меня. В то же время, сделав страшное усилие, причинившее мне нестерпимую боль, я немного ослабил шнурки, прикреплявшие мои волосы к земле с левой стороны, что позволило мне повернуть голову на два дюйма. Но созданьица вторично спаслись бегством, прежде чем я успел изловить кого нибудь из них. Затем раздался пронзительный вопль, и когда он затих, я услышал, как кто то из них громко прокричал: *Тольго фонак.* В то же мгновенье я почувствовал, что на мою левую руку посыпались сотни стрел, которые кололи меня как иголки; после этого последовал второй залп в воздух, в роде того, как у нас в Европе стреляют из



мортир, причем, я полагаю, много стрел упало на мое тело (хотя я не почувствовал этого) и несколько на лицо, которое я поспешил прикрыть левой рукой. Когда этот град стрел прошел, я застонал от злости и боли и снова попробовал освободиться, но тогда последовал третий залп, сильнее первых двух, причем враги мои пытались колоть меня копьями в бока, но к счастью, на мне была куртка из буйволовой кожи, которую они не могли пробить. Я рассудил, что самое благоразумное пролежать спокойно до наступления ночи, когда, имея свободную левую руку, я легко освобожусь; что же касается туземцев, то я имел основание надеяться, что справлюсь и с большей армией,

если только она будет состоять из существ такого же роста, как те, которых я видел перед собою. Однако, судьба решила иначе. Когда эти люди заметили, что я лежу спокойно, они перестали метать стрелы, но в то же время по усилившемуся шуму я заключил, что число их возросло. На расстоянии четырех ярдов от меня у моего правого уха я услышал стук, продолжавшийся больше часа, точно возводилась какая то постройка. Повернув голову, насколько позволяли державшие ее веревочки и колышки, я увидел деревянный помост, возвышавшийся над землей на полтора фута, на котором могло уместиться четверо таких человечков, и две или три лестницы, чтобы восходить на него. Оттуда один из них, повидимому знатная особа, обратился ко мне с длинной речью, из которой я ни слова не понял. Но я должен упомянуть,



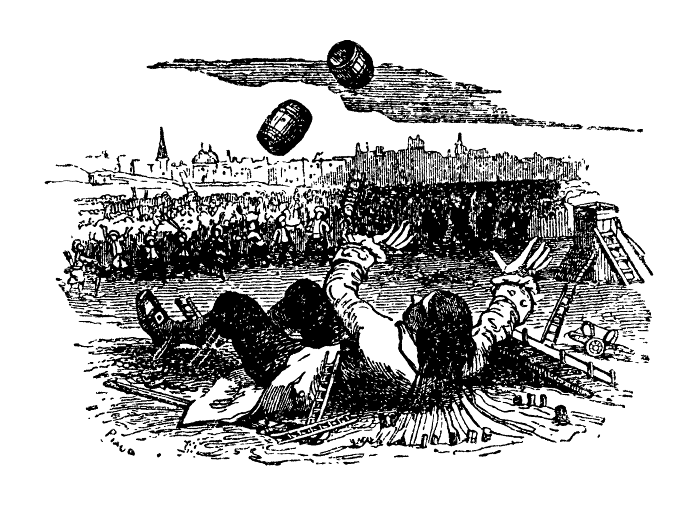
что перед началом своей речи высокая особа трижды прокричала: *Лангро дегюль сан* (эти слова, равно как и предыдущие, впоследствии мне повторили и перевели). Сейчас же после этого ко мне подошли человек пятьдесят туземцев и обрезали веревки, прикреплявшие левую сторону головы, что дало мне возможность повернуть ее направо и таким образом наблюдать лицо и жесты оратора. Он мне показался человечком средних лет, ростом выше трех других, сопровождавших его; один из них, с мой средний палец, вероятно паж, держал его шлейф, два другие стояли по сторонам в качестве почетной стражи. Его речь была произнесена по всем правилам ораторского искусства: некоторые части ее выражали угрозу, другие—обещание, сожаление и благосклонность. Я отвечал в немногих словах с видом величайшей покорности, воздев к солнцу глаза и левую руку и как бы призывая светило в свидетели; и так как я почти умирал от голода,—в последний раз я поел за несколько часов перед тем, как оставить корабль,—то требования природы были так повелительны, что я не мог сдержать своего нетерпения и (быть может, нарушая строгие правила этикета) несколько раз поднес палец ко рту, желая показать, что хочу есть. *Гурго* (так они называли важного сановника, как я узнал потом) отлично понял меня. Он сошел с помоста и приказал приставить к бокам моим несколько лестниц, по которым взобрались и направились к моему рту более ста туземцев, нагруженных корзинами с кушаньями, которые были приготовлены и присланы по повелению монарха,

как только до него дошло известие о моем появлении. В кушанья эти входило мясо каких то животных. но я не мог разобрать по вкусу, каких именно. Там были лопатки, окорока и филей, с виду напоминавшие баранину, очень хорошо приготовленные, но каждая часть едва равнялась крылу жаворонка. Я проглатывал разом по два и по три блюда вместе с тремя хлебцами, из которых каждый был не больше ружейной пули. Туземцы прислуживали мне весьма расторопно и тысячами знаков выражали свое удивление моему росту и аппетиту. По этому аппетиту они заключили, что малым меня удовлетворить нельзя, и потому когда, я знаками попросил пить, они необычайно ловко подкатили к моей руке одну из самых больших бочек и вышибли из нее дно; я без труда осушил ее одним духом, потому что она



вмещала не более нашей полупинты.* Вино по вкусу напоминало бургундское, но было гораздо приятнее. Затем они поднесли мне другую бочку, которую я выпил таким же манером и

сделал знак, чтобы дали еще, но у них больше не было. Когда я совершал все описанные чудеса, человечки, испуская крики радости, танцовали у меня на груди и много раз повторяли свое первое восклицание: *Гекина дегуль*. Знаками они попросили меня сбросить обе бочки на землю, но сначала приказали толпившимся внизу посторониться, громко крича: *Бора мевола*, а когда бочки взлетели в воздух, раздались ликующие возгласы: *Гекина дегуль*. Сказать



правду, меня сильно искушало желание схватить первых попавшихся под руку сорок или пятьдесят человечков, когда они разгуливали взад и вперед по моему телу, и сшвырнуть их. Но сознание, что они могли причинить мне еще большие неприятности, чем те, что я уже испытал, а равно торжественное обещание, данное

мною им, — ибо так толковал я свое изъявление глубокой покорности, — скоро прогнали эти мысли. С другой стороны, я считал себя связанным законами гостеприимства с этим маленьким народом, который не пожалел для меня издержек на великолепное угощение. Вместе с тем я не мог достаточно надивиться неустрашимости крошечных созданий, отваживавшихся взбираться на мое тело и прогуливаться по нем, в то время как одна моя рука была свободна, и не испытывавших содрогания при виде такого страшного чудовища, каким я должен был казаться для них. Спустя некоторое время, когда они увидели, что я не прошу больше есть, ко мне явилась особа высокого чина от лица его императорского величества. Его превосходительство, взобравшись на мою правую голень, направился к моему лицу в сопровождении десятка человек свиты. Он предъявил свои верительные грамоты, за королевскою печатью, приблизя их к моему глазу, и обратился с речью, которая продолжалась около десяти минут и была сказана без малейших признаков гнева, но с авторитетом и решительностью, причем он часто указывал пальцем вперед, как оказалось потом, по направлению к столице, находившейся от нас в расстоянии полумили, куда, по решению его величества и государственного совета, меня должны были перевезти. Я ответил в нескольких словах, которые остались непонятыми, так что мне пришлось прибегнуть к помощи жестов: я показал своей свободной рукой на другую руку (но сделал это движение высоко над головой его превосходительства, боясь за-

деть его или его свиту), затем на голову и тело, давая понять таким образом, чтобы меня освободили. Вероятно его превосходительство понял меня достаточно хорошо, потому что, покачав отрицательно головой, жестами пояснил, что я должен быть отвезен в столицу как пленник. Наряду с этим он делал и другие знаки, давая понять, что меня будут там кормить, поить и вообще обходиться со мной хорошо. Тут у меня снова возникло желание попытаться разорвать свои узы; но чувствуя еще жгучую боль на лице и руках, покрывшихся волдырями, причем много стрел еще торчало в них, и заметив, что число моих неприятелей все время возрастает, я дал понять, что они могут делать со мной все, что им угодно. Довольные моим согласием, *Гурго* и его свита любезно раскланялись и удалились с веселыми лицами. Вскоре после этого я услышал общее ликование, среди которого часто повторялись слова: *пеплам селян*, и увидел с левой стороны большую толпу, которая ослабила веревки в такой степени, что я мог повернуться на правую сторону и всласть помочиться; потребность эта была отправлена мной в изобилии, повергшем в великое изумление маленькие создания, которые, догадываясь по моим движениям, что̀ я собираюсь делать, немедленно расступились в обе стороны, чтобы не попасть в поток, извергшийся из меня с большим шумом и силой. Еще раньше они помазали мое лицо и руки каким то составом приятного запаха, который в несколько минут успокоил жгучую боль, причиненную их стрелами. Все это, в соединении с сытным завтра-

ком и прекрасным вином, благотворно подействовало на меня и склонило ко сну. Я проспал, как мне сказали потом, около восьми часов; в этом нет ничего удивительного, так как врачи, по приказанию императора, подмешали сонного питья в бочки с вином.



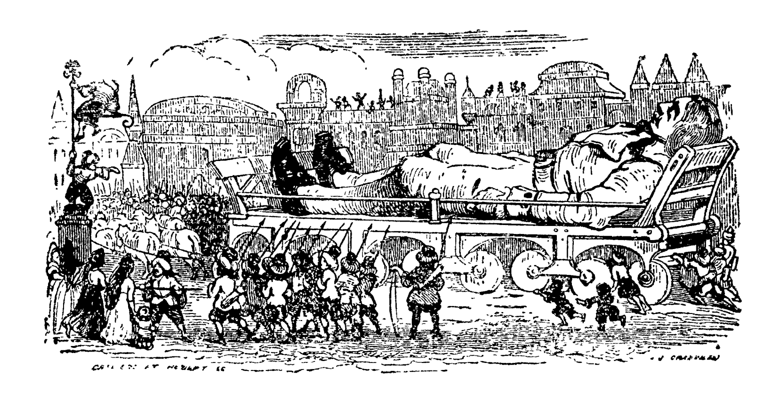
Вероятно, как только туземцы нашли меня спящего на берегу после кораблекрушения, они немедленно послали гонца к императору с известием об этом открытии. Тотчас был собран государственный совет и вынесено постановление связать меня вышеописанным способом (что было исполнено ночью, когда я спал), отправить мне в большом количестве провизию и питье, и приготовить машину для перевозки меня в столицу.

Быть может, такое решение покажется слишком смелым и опасным, и я убежден, что в аналогичном случае ни один европейский монарх не поступил бы так. Однако, по моему, это решение было столь же благоразумно, как и великодушно. В самом деле, допустим, что эти люди попытались бы убить меня своими копьями и стрелами во время моего сна. Что же вышло бы? Почувствовав боль, я наверное сразу же проснулся бы и в припадке ярости

оборвал бы веревки, которыми был связан; после чего они не могли бы сопротивляться и ожидать от меня пощады.

Эти люди — превосходные математики и достигли большого совершенства в механике благодаря поощрениям и поддержке императора, известного покровителя наук. У этого монарха есть много машин на колесах для перевозки бревен и других тяжестей. Он часто строит громадные военные корабли, иногда достигающие девяти футов длины, в местах, где растет строевой лес, и оттуда перевозит на этих машинах за 300 или 400 ярдов к морю. Пятистам плотникам и инженерам было поручено немедленно изготовить самую крупную телегу, какую только им приходилось делать. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на три дюйма от земли, около семи футов в длину и четырех в ширину, на двадцати двух колесах. Услышанные мною восклицания были приветствием народа по случаю прибытия этой телеги, которая была отправлена за мною, кажется, спустя четыре часа после того, как я вышел на берег. Ее поставили возле меня, параллельно моему туловищу. Главная трудность состояла, однако, в том, чтобы поднять и уложить меня в описанную телегу. С этой целью были вбиты восемьдесят свай, вышиною в один фут каждая, и приготовлены очень крепкие канаты, толщиной в обыкновенную бичевку; канаты эти были прикреплены крючками к многочисленным повязкам, которыми рабочие обвили мою шею, руки, туловище и ноги. Девятьсот отборных силачей стали тащить за канаты при помощи мно-

жества блоков, прикрепленных к сваям, и таким образом после трех часов работы меня подняли, положили в телегу и крепко привязали к ней. Все это рассказали мне потом, так как во время операции я спал глубоким сном, в который я был погружен микстурой, примешанной



к вину. Полторы тысячи самых крупных лошадей из придворных конюшен, вышиной около четырех с половиной дюймов каждая, понадобилось, чтобы привезти меня в столицу, расположенную, как уже было сказано, на расстоянии полумили от берега.

Мы находились в дороге уже часа четыре, когда я проснулся благодаря весьма забавному случаю. Телега остановилась для какой то починки; воспользовавшись этим, два или три молодых человека полюбопытствовали посмотреть, какое у меня выражение, когда я сплю; они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему

лицу; тут один из них, гвардейский офицер, засунул мне в левую ноздрю острие своей пики; оно защекотало, как соломинка, и я громко



чихнул. Испуганные храбрецы мгновенно скрылись, и только через три недели я узнал причину моего внезапного пробуждения. Весь остаток дня мы провели в дороге; ночью расположились на отдых, и подле меня было поставлено на страже по пятисот гвардейцев с обеих сторон, половина с факелами, а другая половина с луками наготове, чтобы стрелять при первой моей попытке пошевелиться. Но с восходом солнца мы снова тронулись в путь и к полудню находились в двухстах ярдах от городских ворот. Навстречу вышли император и весь его двор, но высшие сановники решительно воспротивились намерению его величества подняться на мое тело, боясь подвергнуть опасности его особу.

На площади, где остановилась телега, возвышался древний храм, считавшийся самым обширным во всем королевстве. Несколько лет тому назад храм этот был осквернен зверским убийством, и с тех пор здешнее население, от-

личающееся большой религиозностью, стало смотреть на него, как на место, недостойное святыни; вследствие этого он был обращен в общественное здание, из него были вынесены все убранство и вся утварь. Это здание и было назначено для моего жительства. Большая дверь, обращенная на север, имела около четырех футов в вышину и почти два фута в ширину, так что я мог довольно свободно проползать через нее. По обеим сторонам двери, на расстоянии каких нибудь шести дюймов от земли, были расположены два маленьких окна; в левое окно придворные кузнецы провели девяносто одну цепочку, в роде тех, что носят у часов наши европейские дамы, и почти такой же величины; цепочки эти были закреплены на моей левой ноге тридцатью шестью висячими замками.* Против храма, по другую сторону большой дороги, на расстоянии двадцати футов, стояла башня, не менее пяти футов вышины. На эту башню взошел император со множеством придворных, чтобы лучше наблюдать меня, как мне передавали, потому что сам я не обратил на них внимания. По произведенным подсчетам, около ста тысяч народа с той же целью покинуло город; и я полагаю, что, не взирая на стражу, не менее десяти тысяч любопытных перебывало на мне в разное время, взбираясь на мое тело по лестницам. Скоро, однако, был издан указ, запрещавший это под страхом смертной казни. Когда кузнецы нашли, что вырваться мне невозможно, они обрезали связывавшие меня веревки, и я поднялся в таком сумрачном настроении, как не был никогда в своей

жизни. Шум и изумление толпы, увидевшей, как я встал и хожу, не поддаются описанию. Цепи, приковывавшие мою левую ногу, были около двух ярдов длины и не только давали мне возможность гулять взад и вперед, описывая полукруг, но, будучи укреплены на расстоянии четырех дюймов от двери, позволяли также вползать в храм и ложиться в нем, вытянувшись во весь рост.





## ГЛАВА ВТОРАЯ

*Император Лиллипутии в сопровождении многочисленных вельмож приходит навестить автора в его заключении. Описание наружности и одежды императора. Автору назначают учителей для обучения языку лиллипутов. Своим кротким поведением автор добивается благосклонности императора. Обыскивают карманы автора и отбирают у него саблю и пистолеты.*




однявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не приходилось видеть более привлекательного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом, а огороженные поля, из которых каждое занимало не более сорока квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались

с лесом, вышиной в сажень, где самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более семи футов. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации.

Уже несколько часов меня крайне беспокоила одна естественная потребность, что и не удивительно, так как в последний раз я облегчился почти два дня тому назад. Чувство стыда сменялось жесточайшими позывами. Самое лучшее, что я мог придумать, было вползти в мой дом; так я и сделал; закрыв за собою двери, я забрался в глубину, насколько позволяли цепочки, и освободил свое тело от беспокоившей его тяжести. Впрочем, это единственный случай, когда меня можно было обвинить в нечистоплотности, и я надеюсь на снисхождение беспристрастного читателя, особенно, если он зрело и непредубежденно обсудит бедственное положение, в котором я находился. Впоследствии я отправлял означенную потребность рано утром, на свежем воздухе, отойдя от храма, насколько позволяли цепочки, причем двое специально назначенных для этой цели слуг, увозили в тачках экскременты до прихода ко мне гостей. Я бы не останавливался так долго на предмете, с первого взгляда как будто неважном, если бы не считал необходимым публично оправдаться по части чистоплотности, которую, как мне известно, некоторым моим недоброжелателям угодно было при всяком удобном случае подвергать сомнению.

Покончив с этим делом, я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Император уже спустился с башни и направлялся ко мне верхом

на лошади. Эта смелость едва не обошлась ему очень дорого. Дело в том, что хотя его лошадь была прекрасно тренирована, но при таком необычайном зрелище — как если бы гора двинулась перед ней—взвилась на дыбы. Однако, им-



ператор, будучи превосходным наездником, удержался в седле, пока не подоспели придворные, которые, схватив коня под уздцы, помогли ему сойти. Его величество с большим удивлением осмотрел меня со всех сторон, держась, однако, на почтительном расстоянии. Он приказал своим поварам и лакеям, стоявшим наготове, подать мне есть и пить, и те подкатывали ко мне провизию и вино в особых тележках на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял; в двадцати таких тележках находились кушанья, а в десяти напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась

в два или три глотка, а что касается вина, то я вылил содержимое десяти глиняных фляжек в одну повозочку и разом осушил ее; так же я поступил и с остальным вином. Императрица, молодые принцы и принцессы вместе с придворными дамами сидели в креслах на некотором расстоянии, но после приключения с лошадью императора все они встали и окружили его величество, портрет которого я хочу теперь дать читателю. Ростом он на мой ноготь выше* всех своих придворных; одного этого совершенно достаточно, чтобы внушить зрителям чувство почтительного страха. Черты лица его сильные и мужественные, губы австрийские, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, туловище, руки и ноги пропорциональные, движения грациозные, осанка величественная. Он уже не первой молодости, ему двадцать восемь лет и девять месяцев, и семь из них он царствует, окруженный благополучием, и большей частью победоносно. Чтобы лучше рассмотреть его



величество, я лег на бок, так что мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего трех ярдов от меня; кроме того, впоследствии я несколько раз брал его на руки и потому не могу ошибиться при описании его наружности. Одежда императора очень скромная и простая, фасон — нечто среднее между азиатским и европейским, на голове легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером. Он держал в руке обнаженную шпагу для защиты, на случай, если бы я разорвал цепь; шпага эта была длиною около трех дюймов, ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что я, стоя, мог ясно различать произносимые им слова. Дамы и придворные все были великолепно одеты, так что




занимаемое ими место было похоже на разостланную юбку, вышитую золотыми и серебряными узорами. Его императорское величество

часто обращался ко мне с вопросами, на которые я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Здесь же находились священники и юристы (как я заключил по их костюму), которым было приказано вступать со мною в разговор; я в свою очередь заговаривал с ними на разных языках, с которыми был хотя немного знаком: по-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски, но все это не привело ни к чему. Спустя два часа двор удалился, и я был оставлен под сильным караулом, для охраны от дерзких и может быть даже злобных выходок черни, которая с нетерпением теснилась вокруг меня, стараясь протолкаться как можно ближе; у некоторых достало даже бесстыдства пустить в меня несколько стрел в то время, как я сидел на земле у дверей моего дома; из этих стрел одна едва не угодила мне в левый глаз. Однако, полковник приказал арестовать шесть зачинщиков и решил, что самым лучшим наказанием для них будет связать и отдать в мои руки. Солдаты так и сделали, подталкивая ко мне озорников тупыми концами пик; я взял их всех в правую руку и пятерых положил в карман камзола; что же касается шестого, то я сделал вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры пришли в сильное беспокойство, особенно, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро я успокоил их: ласково смотря на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю; он мигом убежал. Точно



так же мной было поступлено и с остальными, которых поочередно я вынимал из кармана. И я увидел, что солдаты и народ остались очень довольны моим милосердием, которое оказало мне также большую услугу при дворе.

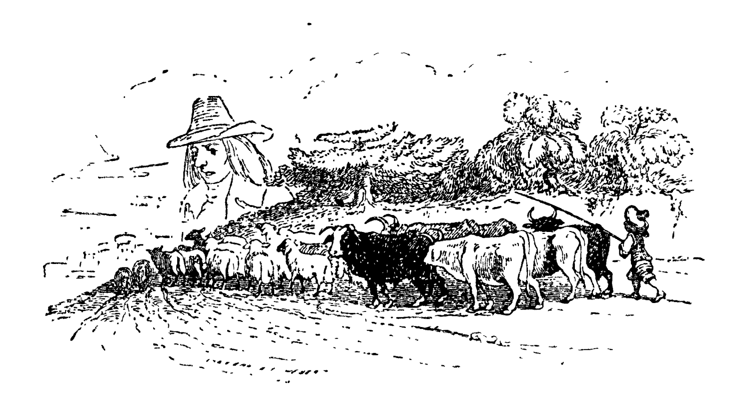
С наступлением ночи я не без затруднений вошел в свой дом и лег спать на голой земле. Таким образом я проводил ночи около двух недель, в течение которых по приказанию императора для меня была изготовлена постель. Ко мне были привезены шестьсот матрацов* обыкновенной величины; сто пятьдесят штук были сшиты вместе и таким образом образовался один матрац, подходящий для меня в длину и ширину; четыре таких матраца положили один на другой, но, несмотря на это, моя постель

была немногим мягче гладкого каменного пола. По такому расчету были сделаны также простыни, одеяла и покрывала, впрочем, достаточно сносные для человека давно приученного к лишениям.

Едва весть о моем прибытии разнеслась по королевству, как отовсюду начали стекаться массы богатых, досужих и любопытных людей. Деревни почти опустели, отчего последовал бы большой ущерб для земледелия и домашнего хозяйства, если бы своевременные распоряжения его величества не предупредили бедствия. Император повелел тем, кто меня уже видел, возвратиться домой и не приближаться к моему помещению ближе пятидесяти ярдов без особенного на то разрешения двора, что принесло большой доход министерским чиновникам.

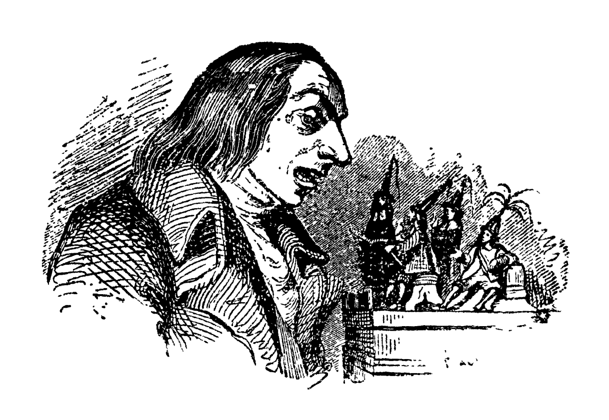
Между тем император держал частые советы, на которых обсуждался вопрос, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного моего близкого друга, особы весьма знатной и достаточно посвященной в государственные тайны, что двор находился в большом затруднении относительно меня. С одной стороны, боялись, чтобы я не убежал; с другой—возникало опасение, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Иные останавливались на мысли уморить меня или, по крайней мере, засыпать мое лицо и руки отравленными стрелами, чтобы скорее отправить на тот свет; но другие высказывали опасение, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве. В разгар этих совещаний у дверей

большой залы совета собралось несколько офицеров, и двое из них, будучи допущены в собрание, представили подробный доклад о моем поступке с шестью вышеупомянутыми озорниками. Это обстоятельство произвело такое благоприятное впечатление на его величество и государственный совет, что немедленно был издан указ императора, обязывавший все деревни, находящиеся в пределах девятисот ярдов от столицы, доставлять каждое утро по шести быков, сорока



баранов и другую живность для моего стола, вместе с соответствующим количеством хлеба, вина и других напитков, по установленной таксе и на счет сумм, ассигнованных с этой целью из собственной казны его величества. Нужно заметить, что этот монарх живет на доходы своих личных имений и весьма редко, в самых экстренных случаях, обращается за субсидией к подданным, которые зато обязаны, по его

требованию, являться на войну в собственном вооружении. Кроме того, мне назначили в услужение шестьсот человек, которым положили жалованье, достаточное для их пропитания, и построили им по обеим сторонам двери моего замка удобные палатки. Равным образом, отдан был приказ, чтобы триста портных сшили для меня костюм местного фасона, а шесть самых знаменитых придворных ученых стали обучать меня местному языку. Наконец, тем же приказом предписывалось возможно чаще производить в моем присутствии экзерциции на лошадях, принадлежащих императору, придворным и гвардии, с целью приучить их ко мне. Все эти приказания были должным образом исполнены, и, спустя три недели, я сделал большие успехи в изучении лиллипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своими визитами и с удовольствием присутствовал при



моих уроках. Мы уже могли объясняться друг с другом, и первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы его величество милостиво даровал мне свободу; слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. В ответ на мою просьбу, император, насколько я мог понять его, говорил, что освобождение есть дело времени, что оно не может быть разрешено без согласия государственного совета и что прежде я должен *люмоз кельмин пессо десмар лон Эмпозо,* т. е. дать клятву сохранять мир с ним и его империей. Впрочем, обхождение со мной будет самое любезное; и император советовал терпением и кротким поведением заслужить доброе к себе отношение как его, так и его подданных. Он просил меня не считать оскорблением, если он отдаст приказание специальным чиновникам обыскать меня, так как он полагает, что на мне есть оружие, которое должно быть очень опасным, если соответствует огромным размерам моего тела. Я просил его величество быть спокойным на этот счет, заявив, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен двумя его чиновниками, и хотя он отлично понимает, что это требование закона не может быть осуществлено без моего согласия и моей помощи, однако, будучи высокого мнения о моем великодушии и справедливости, он спокойно передаст этих чиновников в мои руки; все же вещи, отобранные ими, будут возвращены мне, если я покину эту страну, или же мне будет за них

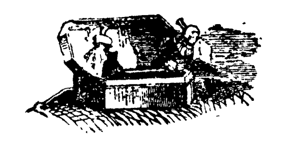
заплачена назначенная мною цена. Я взял обоих чиновников в руки и положил их сначала в карманы камзола, а потом во все другие, кроме двух жилетных и одного потайного, ко-



торого я не хотел показывать, потому что в нем было несколько мелочей, никому кроме меня не нужных. В жилетных карманах лежали в одном серебряные часы, а в другом кошелек с несколькими золотыми. Производившие обыск чиновники имели при себе бумагу, перо и чернила. Они составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была кончена, они попросили меня высадить их на землю, чтобы они могли представить ее императору. Позднее я пе-

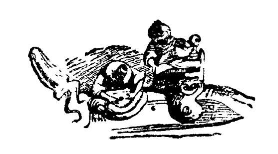
ревел эту опись на английский язык.* Вот она слово в слово:

*Во-первых.* В правом кармане камзола великого *Человека-Горы (так я передаю слова Куинбус Флестрин),* после тщательного осмотра, мы нашли только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца вашего величества. В левом кармане мы увидели громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. Когда, по нашему требованию, сундук был открыт, и один из нас влез туда, то он по колени погрузился в какую то пыль, часть которой, поднявшись до наших лиц, заста-



вила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых субстанций, сложенных одна на другую; кипа эта, толщиною в три человеческих обхвата, перевязана прочными канатами и испещрена черными знаками, которые, по скромному нашему предположению, суть не что иное, как письмена, каждая буква которых равняется половине

нашей ладони. В левом жилетном кармане мы нашли инструмент, к спинке которого прикреплены двадцать длинных жердей, напоминающих решетку перед дворцом вашего величества; по нашему предположению, этим инструментом Человек-Гора расчесывает свои волосы, но это только предположение: мы не всегда тревожили его расспросами, потому что нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане с правой стороны среднего чехла (так я перевожу слово *ранфуло*, под которым они разумели штаны) мы увидели полый железный столб, длиною в рост человека, прикрепленный к крепкому куску дерева, более крупному по размерам, чем сам столб; с одной стороны столба в него вделаны большие выпуклые куски железа, весьма странной формы, назначения которых мы не



могли определить. Подобная же машина найдена нами и в левом кармане. В меньшем кармане с правой стороны находилось несколько плоских дисков из белого и красного металла, различной величины; некоторые белые диски, повидимому серебряные, так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли

поднять их. В левом кармане мы нашли две черных колонны неправильной формы; стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать их верхушку. Одна из колонн состоит из цельного материала, но на верхнем конце другой есть какое то круглое белое тело, вдвое больше нашей головы. В каждой колонне заключена огромная стальная пластина; полагая, что это опасные орудия, мы предъявили Человеку-Горе требование объяснить их употребление. Вынув обе стальные пластины из футляров, он сказал, что в его стране одною из них бреют бороду, а другою режут мясо. Кроме того, на Человеке-Горе мы нашли еще два кармана, куда не могли войти. Эти карманы он называет часовыми, и они помещаются в верхней части среднего чехла, а потому сильно сжаты давлением его брюха. От правого кармана спускается большая серебряная цепь с замечательной машиной, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть все, что было на конце цепи; вынутый предмет ока-



зался похожим на шар, одна половина которого сделана из серебра, а другая из какого то прозрачного металла; когда мы, заметя на этой стороне шара какие то странные знаки,

расположенные по окружности, попробовали прикоснуться к ним, то пальцы наши уперлись в это твердое прозрачное вещество. Человек-Гора приблизил эту машину к нашим ушам; тогда мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Но мы более склоняемся на сторону последнего мнения, потому что, по его уверениям (если мы правильно поняли объяснение Человека-Горы, который очень плохо говорит на нашем языке), он редко начинает какое-нибудь дело, не посоветовавшись с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого жилетного кармана Человек-Гора вынул сеть почти такой же величины как рыболовная, но устроенную так, что она может закрываться и открываться наподобие кошелька, чем она и служит ему; в сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла, и если это настоящее золото, то оно должно представлять огромную ценность.

Таким образом, во исполнение повеления вашего величества, тщательно осмотрев все карманы Человека-Горы, мы перешли к дальнейшему обследованию и открыли на нем пояс, сделанный из кожи какого то громадного животного; на этом поясе с левой стороны висит палаш, длиною в пять раз более среднего человеческого роста, а с правой — сумка или мешок, разделенный на два отде-

ления, из коих в каждом можно поместить трех подданных вашего величества. Мы нашли в одном отделении сумки множество шаров из крайне тяжелого металла; каждый шар, будучи величиной почти в нашу голову, требует большой силы, чтобы поднять его; в другом отделении лежала куча каких то черных зерен не очень большого объема и веса; мы могли поместить на ладони до пятидесяти таких зерен.

Такова точная опись найденного нами при обыске Человека-Горы. Во время обыска он держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний вашего величества. Скреплено подписью и приложением печати в четвертый день восемьдесят девятой луны благополучного царствования вашего величества.

*Клефрин Фрелок*

*Марси Фрелок*

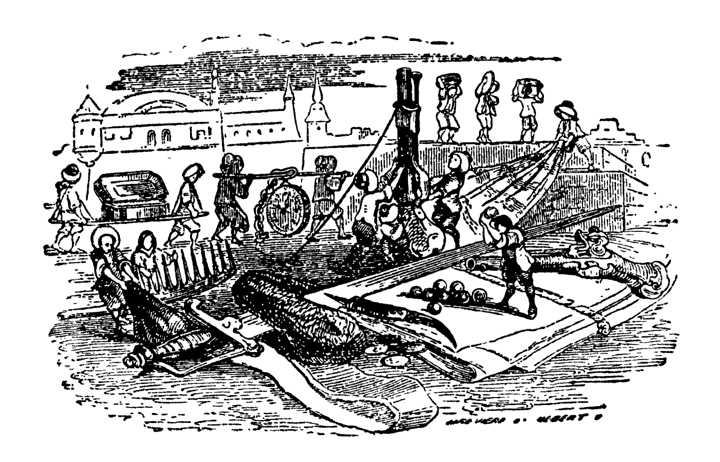
Когда эта опись была прочитана императору, его величество потребовал, хотя и в самой деликатной форме, чтобы я отдал некоторые перечисленные в ней предметы. Прежде всего он предложил вручить ему палаш, который я снял вместе с ножнами и со всем, что было при нем. Тем временем император приказал трем тысячам отборного войска (несшего в этот день охрану его величества) окружить меня на известном расстоянии и держать на прицеле луки, чего я впрочем не заметил, так как глаза

мои были устремлены на его величество. Император пожелал, чтобы я обнажил палаш, который хотя местами и заржавел от морской воды, но всетаки ярко блестел. Я повиновался, и в тот же момент все солдаты испустили крик ужаса и удивления: отражавшиеся на стали лучи солнца ослепляли их, когда я размахивал палашом из стороны в сторону. Его величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить оружие в ножны и возможно осторожнее бросить его на землю футов на шесть от конца моей цепи. Затем он потребовал показать полый железный столб: дело шло об одном из моих карманных пистолетов. Я вынул пистолет и, по просьбе императора, растолковал, как мог, его употребление; затем, зарядив его только порохом, который благодаря герметически закрытой пороховнице оказался совершенно сухим (все предусмотрительные моряки принимают на этот счет особые меры предосторожности), я, предупредив императора, чтобы он не испугался, выстрелил в воздух. На этот раз удивление и ужас были гораздо сильнее, чем при виде моего палаша. Сотни человек попадали в обморок, и даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог притти в себя. Я вручил императору оба пистолета и так же поступил с пулями и порохом, но просил его величество держать последний подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Равным образом я вручил ему свои часы, которые император осмо-

трел с большим любопытством и приказал двум самым дюжим гвардейцам унести их, надев на шест и положив шест на плечи, вроде того, как



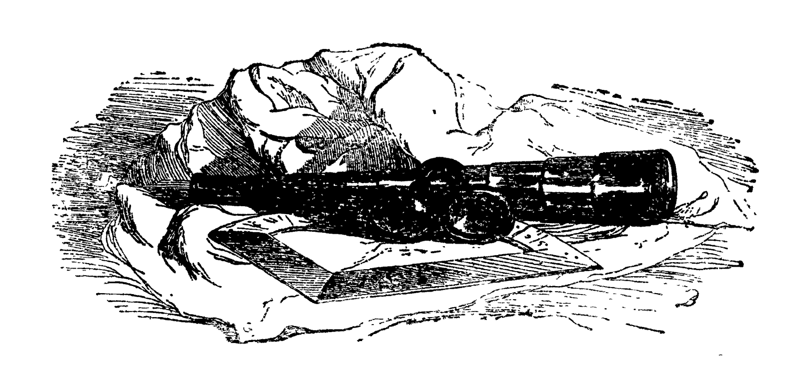
носильщики в Англии таскают боченки с элем. Всего более поразил императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной



стрелки, которое ему было хорошо видно, потому что лиллипуты обладают более острым зрением, чем мы. Он предложил ученым высказать свое мнение относительно этой машины, но читатель и сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению, и все их предположения, которых впрочем я хорошенько не понял, были весьма далеки от истины; затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с девятью крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Палаш, пистолеты и сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал его величества, а остальные вещи возвращены мне.

Я уже сказал выше, что у меня был секретный карман, которого не обнаружили мои сыщики: в нем лежали очки (благодаря слабому

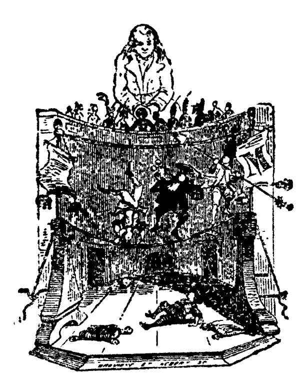
зрению, я иногда пользуюсь ими), карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Так как эти вещи не представляли никакого интереса для императора, то я и не считал своей обязанностью заявлять о них, тем более, что боялся, как бы они не были потеряны или попорчены, если бы попали в чужие руки.





## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Автор весьма оригинально забавляет императора, придворных дам и кавалеров. Описание придворных развлечений у лилипутов. Автору на известных условиях даруется свобода.*




оя кротость и доброе поведение до такой степени примирили со мной императора, двор, армию и вообще весь народ, что я начал питать надежду на скорое получение свободы. Я всячески старался укрепить это благоприятное настроение Население незаметно привыкло ко мне и перестало меня бояться. Иногда я ложился на землю и позволял пятерым или шестерым лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить по лилипутски. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатиче-

скими представлениями, в которых этот народ своею ловкостью и великолепием превосходит все, что я видел до сих пор в подобном роде. Но ничто меня так не позабавило, как упражнения канатных плясунов, совершаемые на тонких белых нитках, длиною в два фута, натянутых на высоте двенадцати дюймов от земли. Я хочу остановиться несколько подробнее на этом предмете и попрошу у читателя терпения на некоторое время.

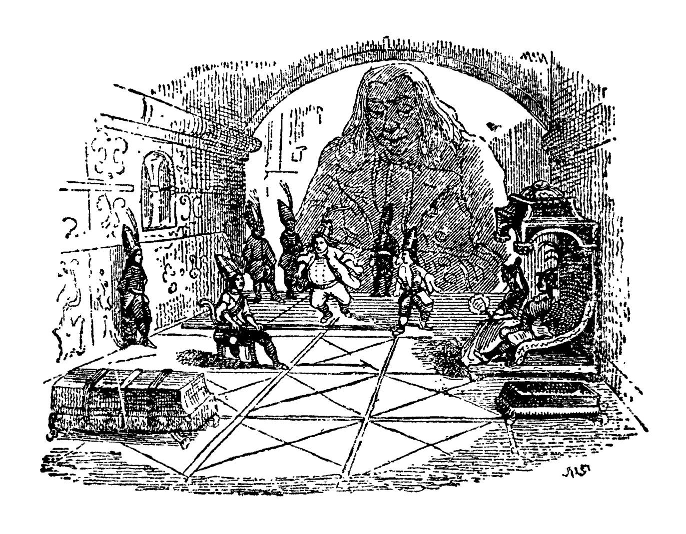
Упомянутые упражнения исполняются только теми, кто добивается получения высокой должности или стремится снискать благосклонность двора. Для этого не требуется ни благородного происхождения ни хорошего воспитания, достаточно только с юных лет начать тренировку в акробатическом искусстве. При открытии вакансии на высокую должность, вследствие смерти лица ее занимавшего, или вследствие опалы (что случается часто), пять или шесть кандидатов подают прошение императору разрешить им развлечь его величество и двор танцами на канате; и кто прыгнет выше всех, не сорвавшись, получает вакантную должность. Весьма нередко даже первые министры получают приказ показать свою ловкость, чтобы засвидетельствовать перед императором сохранение своих способностей. Флимнап,* государственный казначей, пользуется известностью человека, совершившего прыжок на туго натянутом канате по крайней мере на дюйм выше, чем какой удавался когда-нибудь другому сановнику во всей империи. Мне пришлось видеть его опасные курбеты, которые он проделывал

несколько раз подряд на небольшой доске, прикрепленной к канату, толщиною не более нашей голландской бичевки. Мой друг Рельдресель* главный секретарь тайного совета, по моему мнению, если только моя дружба к нему не ослепляет меня, может занять в этом отношении второе место после государственного казначея. Остальные сановники достигают почти одинаковой степени совершенства в означенном искусстве.

Эти развлечения часто сопровождаются несчастьями, память о которых сохраняет история. Я сам видел, как два или три кандидата причинили себе увечье. Но опасность увеличивается еще более, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Ибо в этом случае, стремясь превзойти самих себя и своих соперников, они проявляют такое усердие, что редко кто из них не срывается и не падает, иногда даже раза по два и по три. Меня уверяли, что за год или за два до моего прибытия Флимнап непременно сломал бы себе шею, если бы королевская подушка,* случайно лежавшая на полу, не смягчила удара от его падения.

Кроме того, в особых случаях здесь устраивается еще одно развлечение, которое дается в присутствии только императора, императрицы и первого министра. Император кладет на стол три тонких шелковых нити: синюю, красную и зеленую,* в шесть дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду тому, кого император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в большой тронной зале его величества, где конку-

ренты подвергаются испытанию в ловкости, весьма отличному от предыдущего и не имеющему ни малейшего сходства с тем, что мне доводилось наблюдать в странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а конкуренты подходят один за другим и то перепрыгивают через палку, то ползают под ней взад и вперед несколько раз, смотря по тому, поднята палка или опущена. Иногда один конец палки держит император, а другой — первый министр; иногда



же палку держит только последний. Кто исполнит все описанные упражнения с наибольшей легкостью и проворством, и наиболее отличится в прыганье и ползанье, тот получает синюю

нить, красная дается второму по ловкости, а зеленая — третьему. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее дважды вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу, у которой бы не было такого пояса.

Каждый день мимо меня проводили лошадей из полковых и королевских конюшен, так что они скоро перестали пугаться меня и подходили к самым моим ногам, не кидаясь в сторону. Наездники заставляли лошадей перескакивать через мою положенную на землю руку, а раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак; это был, поистине, удивительный прыжок. Однажды я имел счастье позабавить императора самым необыкновенным образом. Я попросил достать несколько палок длиною в два фута и толщиною в обыкновенную трость; его величество приказал главному лесничему сделать соответствующие распоряжения, и на следующее утро семь лесников привезли требуемое на семи телегах, из которых каждая была запряжена восемью лошадьми. Я взял девять палок и крепко вбил их в землю, в виде квадрата, каждая сторона которого была длиною в два с половиной фута; на высоте около двух футов я привязал к четырем углам этого квадрата другие четыре палки параллельно земле; затем на девяти кольях я натянул носовой платок, туго как барабан; четыре горизонтальные палки, возвышаясь над платком приблизительно на пять дюймов, образовывали с каждой его стороны нечто в роде перил. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить двад-

дать четыре лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его величество одобрил мое предложение, и когда кавалеристы прибыли, я поднял поочередно лошадей вместе со всадниками в полном вооружении и поставил их на ипподром. Построившись в боевой порядок, всадники разделились на два отряда и начали военные действия; пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращаясь в бегство, то преследуя, то ведя аттаку, то отступая, — словом, показывая лучшую военную дисциплину, какую мне когда либо доводилось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям падать с площадки на землю. Император пришел в такой восторг, что заставил меня повторить это развлечение несколько дней сряду, и однажды пожелал сам подняться на ипподром и лично командовать маневрами. Хотя и с большим трудом, ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в кресле на расстоянии двух ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно; раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в платке и, споткнувшись, опрокинула своего седока, но я немедленно поднял обоих и, прикрыв одной рукой дыру, спустил другой рукой всю кавалерию на землю тем же способом, каким поднял ее. Упавшая лошадь вывихнула ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности и не ре-

шался более употреблять его для подобных опасных упражнений.

За два или за три дня до моего освобождения, как раз в то время, когда я развлекал двор своими выдумками, к его величеству прибыл гонец с известием, что несколько его подданных, проезжая возле того места, где я был найден, увидели на земле какое то громадное черное тело, весьма странной формы, с широкими плоскими краями, занимающими пространство, равное спальне его величества, и с приподнятой над землей на высоту человеческого роста серединой; открывшие тело сначала думали, что это какое нибудь невиданное животное, но, обойдя его несколько раз, убедились в ошибочности своего предположения, так как тело лежало на траве совершенно неподвижно. Став на плечи друг другу, они взобрались на вершину загадочного тела, которая оказалась плоской гладкой поверхностью, а само тело внутри полым, в чем они убедились, топая по нем ногами. Нашедшие предмет решаются высказать предположение, что он принадлежит Человеку-Горе, и если будет угодно его величеству, то они берутся доставить его всего только на пяти лошадях. Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. Повидимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как по дороге к месту моего ночлега у меня слетела шляпа, которую я привязал к подбородку шнурком, когда я греб в лодке, и плотно надвинул на уши, когда плыл по морю. Вероятно я не обратил внимания, как разорвался шнурок,

и решил, что шляпа потерялась в море. Описав свойства и назначение этого предмета, я умолял его величество сделать распоряжение немедленно доставить мне его. На другой день шляпа была привезена мне, но в неблестящем состоянии. Возчики пробили в полях две дыры на расстоянии полутора дюйма от края, продели в дыры крючки, крючки привязали длинной веревкой к упряжи и волокли таким образом мой головной убор добрых полмили. Но благодаря тому, что почва в этой стране совершенно ровная и гладкая, шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал.

Спустя два дня после описанного происшествия, император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, привести себя в боевую готовность. Его величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу Колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире. Потом он приказал главнокомандующему (старому опытному военноначальнику и моему большому покровителю) построить войска сомкнутыми рядами и провести их церемониальным маршем между моими ногами, пехоту по двадцать четыре человека в ряд, а кавалерию по шестнадцати, с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками. Весь корпус состоял из трех тысяч пехоты и тысячи кавалерии. Его величество отдал приказ, чтобы солдаты, под страхом смертной казни, вели себя вполне прилично по отношению к моей особе во время церемониального марша, что̀ однако не помешало некоторым молодым



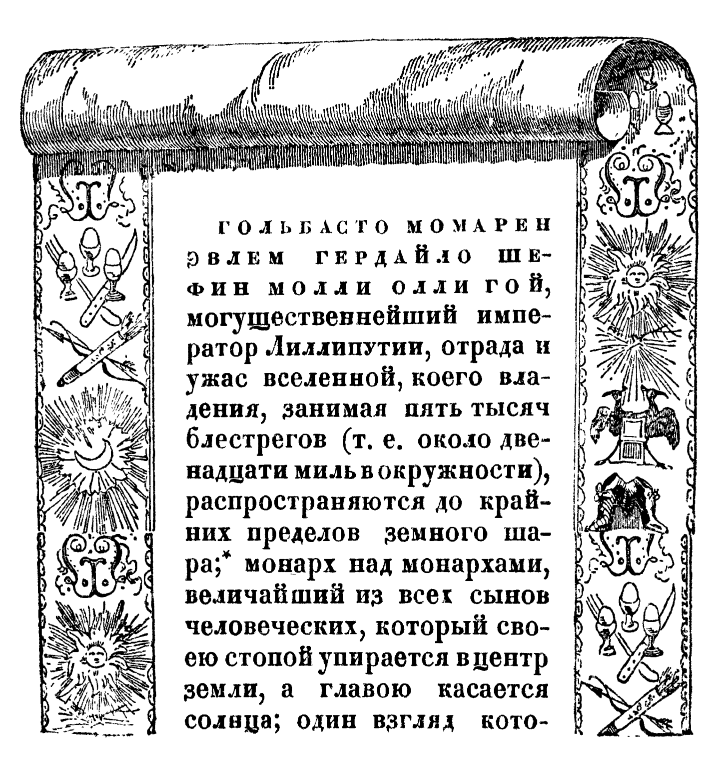

офицерам, проходя подо мною, поднимать глаза вверх; и, сказать правду, мои панталоны находились в то время в таком плохом состоянии, что давали некоторый повод посмеяться и прийти в изумление.

Я подал императору столько прошений и докладных записок о своем освобождении, что наконец его величество поставил этот вопрос на обсуждение сперва своего кабинета, а потом

государственного совета. Все члены совета отнеслись ко мне благожелательно, кроме Скайреш Болголама,* который, без всякого повода с моей стороны, стал моим смертельным врагом. Но, несмотря на его противодействие, большинством голосов дело было решено и утверждено императором в мою пользу. Болголам занимал пост *гальбета*, то есть адмирала королевского флота, и был любимцем императора. Человек весьма сведущий в своем деле, но угрюмый и резкий, он с трудом согласился на мое освобождение, но настоял при этом, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я получу свободу, после того как мной будет дана торжественная клятва свято соблюдать их. Скайреш Болголам сам доставил мне эти условия, в сопровождении двух помощников секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были оглашены, с меня взяли присягу в том, что я не нарушу их, причем обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем согласно предписаниям местных законов. Церемония заключалась в том, что я должен



был держать правую ногу в левой руке, положа в то же время средний палец правой руки на темя, а большой на верхушку правого уха. Но быть может читателю будет любопытно составить себе некоторое представление о стиле и характерных выражениях этого народа, а также познакомиться с условиями, на которых я получил свободу; поэтому я приведу здесь полный буквальный перевод означенного документа, сделанный мною самым тщательным образом.



ГОЛЬБАСТО МОМАРЕН ЭВЛЕМ ГЕРДАЙЛО ШЕФИН МОЛЛИ ОЛЛИ ГОЙ, могущественнейший император Лиллипутии, отрада и ужас вселенной, коего владения, занимая пять тысяч блестрегов (т. е. около двенадцати миль в окружности), распространяются до крайних пределов земного шара;* монарх над монархами, величайший из всех сынов человеческих, который своею стопой упирается в центр земли, а главою касается солнца; один взгляд кото-

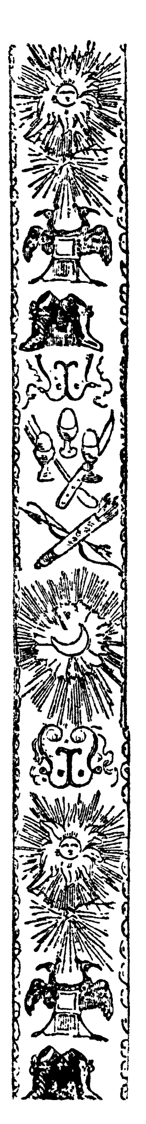


рого приводит в трепет земных царей; приятный как весна, благодетельный как лето, обильный как осень и суровый как зима. Его императорское величество высочайше повелеть соизволил предложить вновь прибывшему в его небесные владения Человеку-Горе следующие пункты, которые тот под торжественною присягой обязуется принять и свято исполнять:

Во первых, Человек-Гора не имеет права оставить наше государство без нашего на то соизволения, данного с приложением нашей большой печати.

Во вторых, он не имеет права входить в нашу столицу без особенного на то разрешения, причем жители должны быть предупреждены за два часа, чтобы успеть укрыться в домах.

В третьих, вышеназванный Человек-Гора должен ограничить свои прогулки





большими дорогами и не смеет гулять или ложиться на лугах и полях.

В четвертых, во время прогулок по означенным дорогам он должен внимательно смотреть под ноги, чтобы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег; он не должен брать в руки упомянутых подданных без их на то согласия.

В пятых, если потребуется быстрое доставление гонца к месту его назначения, то Человек-Гора обязуется раз в луну относить в своем кармане гонца вместе с лошадью на расстояние шести дней пути и (если потребуется) доставлять означенного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству.

В шестых, он обязуется быть нашим союзником против враждебного нам острова Блефуску и упот-





робить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который теперь снаряжается для нападения на нашу империю.

В седьмых, упомянутый Человек-Гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены нашего главного парка, а также при постройке других наших зданий.

В восьмых, упомянутый Человек-Гора в течение двух лун должен точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережье и сосчитав число пройденных шагов.

Наконец, под торжественной присягой вышеназванный Человек-Гора обязуется в точности соблюдать означенные пункты и тогда он, Человек-Гора, будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших поддан-



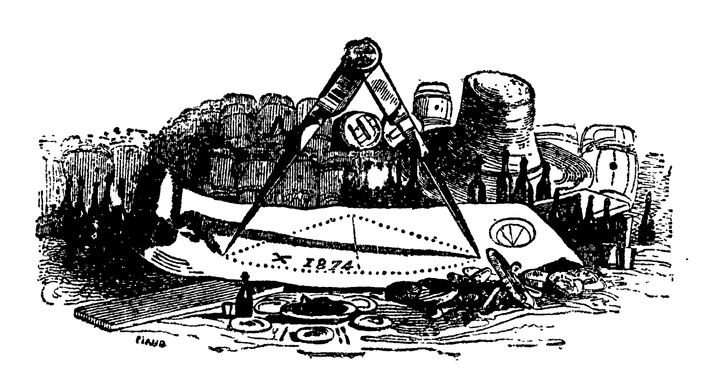
ных. Вместе с этим Человек-Гора будет пользоваться свободным доступом для лицезрения нашей особы и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабораке, нашем дворце, в двенадцатый день девяносто первой луны нашего царствования.



Я с большой радостью и удовлетворением дал присягу и подписал эти пункты, хотя некоторые из них не были так почетны, как я желал бы; но я утешал себя мыслью, что они продиктованы исключительно злобой верховного адмирала Скайреш Болголама. После принесения присяги мои цепи были немедленно сняты, и я стал совершенно свободен; сам император оказал мне честь своим присутствием на церемонии моего освобождения. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества, но император велел встать и после нескольких ласковых слов, которых я — во избежание

упреков в тщеславии—не стану повторять, заявил что надеется найти во мне полезного слугу и человека вполне достойного тех милостей, которые он уже оказал мне и собирается оказать в будущем.

Пусть читатель благоволит обратить внимание на то, что в последнем пункте условий моего освобождения император постановляет выдавать мне еду и питье в количестве достаточном для прокормления 1728 лиллипутов. Спустя некоторое время, я спросил у одного моего придворного друга, каким образом была установлена такая точная цифра. На это он ответил, что математики его величества, определив высоту моего роста при помощи квадранта и найдя, что эта высота находится в таком отношении к высоте лиллипута, как двенадцать к единице, пришли к заключению, что объем моего тела равен по крайней мере объему 1728 тел лиллипутов, а следовательно оно требует во столько же раз больше пищи. Из этого читатель может составить понятие как о смышленности этого народа, так и о мудрой расчетливости его императора.





## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Описание Мильдендо, столицы Лилипутии и императорского дворца. Беседа автора с первым секретарем о государственных делах. Автор предлагает свои услуги императору в его войнах.*



Получив свободу, я прежде всего попросил разрешения осмотреть Мильдендо, столицу государства. Император охотно согласился выдать мне такое разрешение, но взял с меня обещание не причинять ни малейшего вреда ни жителям, ни постройкам. О моем намерении посетить город население было извещено особой прокламацией. Столица окружена стеной, вышиною в два с половиной фута и толщиною не менее одиннадцати дюймов, так что по ней совершенно безопасно может проехать карета, запряженная парой лошадей; по углам стены возвышаются крепкие

башни, на расстоянии десяти футов одна от другой. Перешагнув через большие Западные Ворота, я очень медленно, боком прошел по двум главным улицам в одном жилете, из боязни повредить крыши и карнизы домов полами своего кафтана. Подвигался я крайне осмотрительно, чтобы не растоптать беспечных прохо-

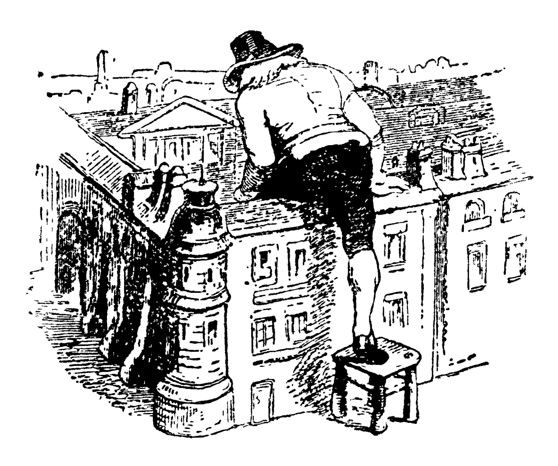


жих, оставшихся на улице, вопреки отданному жителям столицы строгому приказу не выходить для безопасности из дому. Окна верхних этажей и крыши домов были покрыты таким множеством зрителей, что, мне кажется, ни в одно из моих путешествий мне не приходилось видеть более людного места. Город имеет форму правильного четырехугольника, и каждая сторона городской стены равна пятистам футам. Две главные улицы, шириною в пять фу-

тов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на четыре квартала. Боковые улицы и переулки, куда я не мог войти и только видел их, имеют в ширину от двенадцати до восемнадцати дюймов. Город может вместить до пятисот тысяч душ. Дома трех и пятиэтажные. Лавки и рынки полны товаров.

Императорский дворец находится в центре города, на пересечении двух главных улиц. Он окружен стеною в два фута вышины, отстоящей от построек на двадцать футов. Я получил разрешение его величества перешагнуть через стену, и так как расстояние, отделявшее ее от дворца, было достаточно велико, то легко мог осмотреть последний со всех сторон. Внешний двор представляет собою квадрат со стороной в сорок футов и вмещает два других двора, из которых во внутреннем расположены императорские покои. Мне очень хотелось их осмотреть, но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие один двор с другим, имеют только восемнадцать дюймов в вышину и семь дюймов в ширину. С другой стороны, здания внешнего двора достигают вышины не менее пяти футов, и потому я не мог перешагнуть через них, не нанеся значительных повреждений постройкам, несмотря на то, что стены у них прочные, из тесаного камня, и имеют четыре дюйма толщины. Между тем император тоже сильно желал показать мне все великолепие своего дворца. Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя три дня, которые я употребил на подготовительные работы. В императорском парке,

отстоявшем от города почти на сто ярдов, я срезал своим перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них два табурета, вышиною около трех футов каждый и достаточно прочные, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем после второго объявления, предостерегающего жителей, я снова прошел ко дворцу через город с двумя табуретами в руках. Подойдя со стороны внешнего двора, я стал на один табурет, поднял другой над крышей и осторожно поставил его на площадку, шириною в восемь футов, отделявшую первый двор от второго. Затем я свободно пе-



решагнул через здания с одного табурета на другой и поднял к себе первый длинной палкой с крючком. При помощи таких ухищрений я достиг самого внутреннего двора; там я лег на землю и приблизил лицо к окнам среднего

этажа, которые нарочно были оставлены открытыми: таким образом я получил возможность осмотреть роскошнейшие палаты, какие только можно себе представить. Я увидел императрицу и молодых принцев в их покоях, окруженных свитой. Ее императорское величество милостиво улыбнулась мне и грациозно протянула через окно свою ручку, которую я поцеловал.



Однако я не буду останавливаться на дальнейших подробностях, потому что приберегаю их для почти готового уже к печати более обширного труда, заключающего в себе общее описание этой империи со времени ее основания, историю ее монархов в течение длинного ряда веков, наблюдения относительно их войн и политики, законов, науки и религии этой страны; ее растений и животных; нравов и привычек ее обитателей и других весьма любопытных и поучительных материй. В настоящее же время моя главная цель заключается в изло-

жении событий, происшедших в этом государстве во время почти девятимесячного моего пребывания в нем.

Однажды утром, спустя две недели после моего освобождения, ко мне приехал, в сопровождении только одного лакея, Рельдресель, главный секретарь по тайным делам (как его титулуют здесь). Приказав кучеру ожидать, он попросил меня уделить ему один час и выслушать его. Я охотно согласился на это, потому что мне были известны как его личные высокие качества, так и услуги, оказанные им мне при дворе. Я хотел лечь на землю, чтобы его слова могли легче достигать моего уха, но он



предпочел находиться во время нашего разговора у меня на руке. Прежде всего он поздравил меня с освобождением, заметив, что в этом деле и ему принадлежит некоторая заслуга; хотя надо сказать правду, — добавил он, — вы получили так скоро свободу, только благодаря настоящему положению наших государственных дел. Каким бы блестящим ни казалось иностранцу это положение, — сказал секретарь, — однако наш государственный организм разъедают две страшные язвы: внутренние раздоры партий

и угроза нашествия внешнего могущественного врага. Что касается первого зла, то надо вам сказать, что около семидесяти лун тому назад в империи образовались две враждующие партии, известные под названием *Тремексенов*, и *Слемексенов* *, от высоких и низких каблуков на башмаках, при помощи которых они отличаются друг от друга. Дело в том, что многие доказывают, будто высокие каблуки всего более согласуются с нашими древними государственными установлениями; но, как бы то ни было, его величество находит, что вся администрация, а равно и все должности, раздаваемые короной, должны находиться только в руках низких каблуков, на что вы наверное обратили внимание. Вы, должно быть, заметили также, что каблуки на башмаках его величества на один *дрерр* ниже, чем у всех придворных (*дрерр* равняется четырнадцатой части дюйма). Ненависть между партиями доходит до того, что члены одной не станут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что *Тремексены*, или высокие каблуки, превосходят

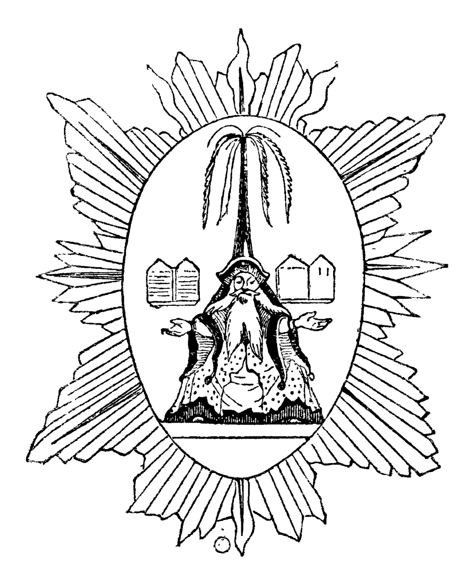






нас числом, но власть всецело принадлежит нам. С другой стороны, у нас есть основание опасаться, что его императорское высочество, наследник престола, имеет некоторое расположение к высоким каблукам; по крайней мере не трудно заметить, что один каблук у него выше другого, вследствие чего походка его высочества прихрамывающая.* И вот, среди этих внутренних несогласий, в настоящее время нам грозит нашествие со стороны соседнего острова Блефуску, другой великой империи во вселенной, почти такой же обширной и могущественной, как империя его величества. И хотя вы утверждаете, что на свете существуют другие королевства и государства, населенные такими же громадными людьми, как вы, однако наши философы сильно сомневаются в этом: они скорее готовы допустить, что вы упали с луны или с какой-нибудь звезды, так как несомненно, что сто смертных вашего роста в самое короткое время могли бы истребить все плоды и весь скот обширных владений его величества. С другой стороны, наши летописи за шесть тысяч лун не упоминают ни о каких других государствах, кроме двух великих империй: Лиллипутии и Блефуску. Итак, эти две могущественные державы ведут между собою ожесточеннейшую войну в продолжение тридцати шести лун. Поводом к войне послужили следующие обстоятельства. Все держатся того мнения, что вареное яйцо, при употреблении его в пищу, следует разбивать с тупого конца, и что этот способ практикуется искони веков; но дед нынешнего императора, будучи ребенком, порезал себе

палец за завтраком, разбивая яйцо означенным способом. Тогда император, отец ребенка, обна-

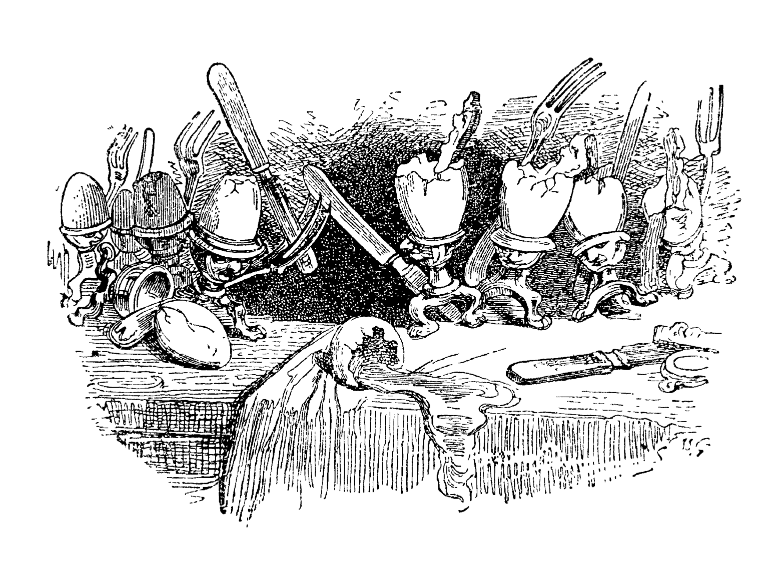


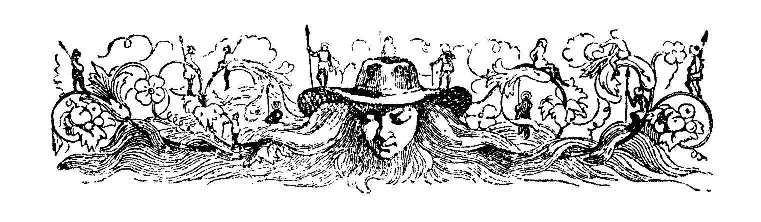
родовал указ, предписывавший всем его подданным, под страхом строгого наказания, разбивать яйца с острого конца.* Этот закон до такой степени раздражил население, что, по словам наших летописей, был причиной шести восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой — корону.* Описываемые гражданские смуты постоянно разжигались монархами Блефуску. При подавлении восстания изгнанные вожди всегда находили приют в этой империи. Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы только не подчи-

ниться повелению разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни томов, трактующих об этом вопросе, но книги, поддерживающие теорию тупого конца, давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих смут императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережения, обвиняя нас в церковном расколе путем нарушения основного догмата нашего великого пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят четвертой главе Блундекраля (являющегося их Алькораном). Между тем мы видим здесь только различное толкование одного и того же текста, подлинные слова которого гласят: *Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.* Решение же вопроса: какой конец признать более удобным,—по моему скромному суждению, должен быть предоставлен совести каждого или, по крайней мере, решению верховного судьи империи. Изгнанные *тупоконечники* возымели такую силу при дворе императора Блефуску и нашли такую поддержку и поощрение со стороны своих единомышленников внутри нашей империи, что в течение тридцати шести лун оба императора ведут кровавую войну с переменным успехом. В течение этого периода мы потеряли * сорок линейных кораблей и огромное число мелких судов с тридцатью тысячами наших лучших моряков и солдат; полагают, что потери неприятеля еще значительнее. Но несмотря на это неприятель снарядил новый флот и готовится высадить дессант на нашу территорию; вот почему

его императорское величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне сделать вам настоящее изложение наших государственных дел.

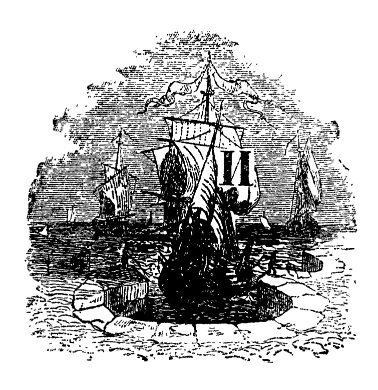
Я просил секретаря засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что хотя мне, как иностранцу, не следовало бы вмешиваться в партийные дела, тем не менее я готов, не щадя своей жизни, защищать его особу и государство от всякого иноземного вторжения.





## ГЛАВА ПЯТАЯ

*Автор, благодаря чрезвычайно остроумной выдумке, предупреждает нашествие неприятеля. Его жалуют высоким титулом. Являются послы императора Блефуску и просят мира. Пожар в покоях императрицы благодаря несчастному случаю. Энергичные усилия автора спасают остальные части дворца.*



Империя Блефуску* есть остров, расположенный на северо-восток от Лилипутии и отделенный от нее проливом, шириною в восемьсот ярдов. Я еще не видел острова; узнав же о предполагаемом нашествии, старался не показываться на этой стороне берега, из опасения быть замеченным с кораблей неприятеля, который не имел никаких сведений о моем присутствии, так как во время войны всякое сношение

между двумя империями было запрещено под страхом смертной казни, и наш император наложил амбарго на выход какого бы то ни было судна из гаваней. Я сообщил его величеству составленный мною план захвата всего неприятельского флота, который, как мы узнали от наших разведчиков, стоял на рейде, готовый сняться с якоря при первом попутном ветре. Я осведомился у самых опытных моряков относительно глубины пролива, часто ими измерявшейся, и они сообщили мне, что при самой высокой воде эта глубина в средней части пролива равняется семидесяти *глюмглеффам*, — что составляет около шести европейских футов, — во всех же остальных местах она не превышает пятидесяти *глюмглеффов*. Я отправился на северо-восточный берег, откуда видна империя Блефуску, спрятался за бугорком и направил свою подзорную трубку на стоявший на якоре неприятельский флот, в котором насчитал до пятидесяти боевых кораблей и большое число транспортов. Возвратившись домой, я приказал (получив на то полномочие) доставить мне канат покрепче и известное количество возможно толстых железных брусьев. Мне привезли канат толщиною в обыкновенную бичевку и брусья величиной в нашу вязальную иголку. Чтобы придать этому канату бо́льшую прочность, я сплел его втрое, и с тою же целью скрутил вместе по три железных бруска, загнув их концы в виде крючков. Прикрепив пятьдесят таких крючков к такому же числу веревок, я возвратился на северо-восточный берег и, сняв с себя кафтан, башмаки и чулки, в кожа-

ной куртке вошел в воду, за полчаса до прилива. Сначала я быстро пошел вброд, а у середины проплыл около тридцати ярдов, пока снова не почувствовал под собою дно. Таким образом меньше, чем через полчаса я достиг флота. Увидя меня, неприятели пришли в такой ужас,

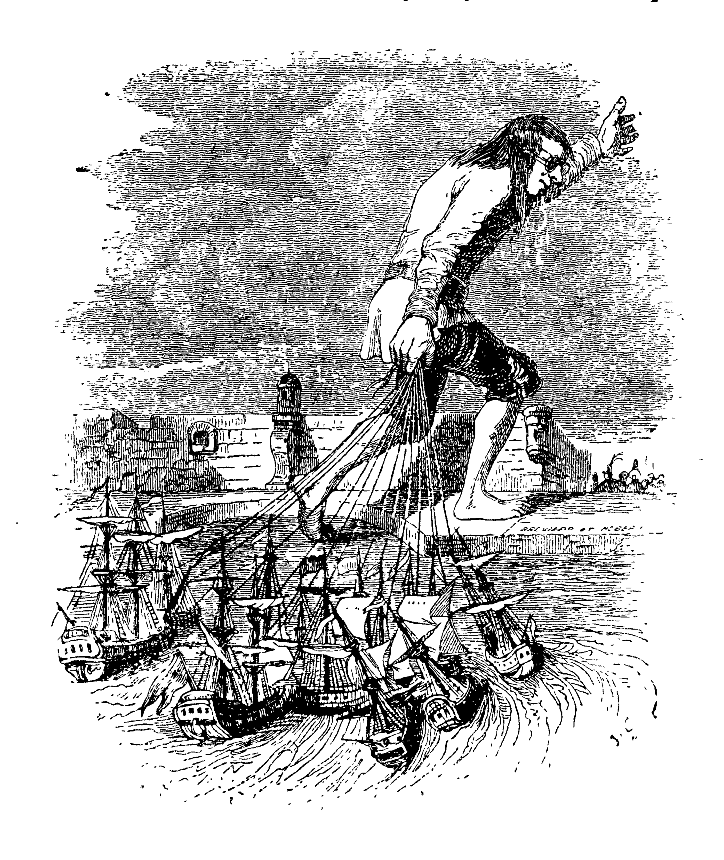


что как лягушки попрыгали с кораблей и поплыли к берегу, где их собралось не менее тридцати тысяч. Тогда, вынув свои снаряды и зацепив нос каждого корабля крючком, я связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел, и многие из них вонзились мне в руки и лицо. Помимо ужасной боли, они сильно мешали работе. Более всего я боялся за глаза* и наверно лишился бы их, если бы не придумал тотчас же средства для защиты. Среди других необходимых мне мелочей у меня сохранились очки, которые я держал в секретном кармане, ускользнувшем, как я уже заметил выше, от внимания императорских сыщиков. Я надел эти

очки и крепко привязал их. Вооружась таким образом, я смело продолжал работу, несмотря на стрелы неприятеля, которые хотя и попадали в стекла очков, но не причиняли им особого вреда. Приладив все крючки и взяв узел в руку, я начал тащить; однако ни один корабль не тронулся с места, потому что все они крепко держались на якорях. Таким образом мне оставалось совершить самую опасную часть моего предприятия. Я выпустил верезки и, оставя крючки в кораблях, смело обрезал ножом якорные канаты, причем более двухсот стрел угодило мне в лицо и руки. После этого я схватил связанные в узел веревки, к которым были прикреплены мои крючки, и легко потащил за собою пятьдесят самых крупных неприятельских военных кораблей.*

Блефускуанцы, не имевшие ни малейшего представления о моих намерениях, сначала от изумления растерялись. Увидев, как я обрезываю якорные канаты, они подумали, что я собираюсь пустить корабли на волю ветра и волн, или столкнуть их друг с другом; но когда весь флот двинулся в порядке, увлекаемый моими веревками, они пришли в неописуемое отчаяние и стали оглашать воздух горестными воплями. Оказавшись вне опасности, я остановился повынимать из рук и лица стрелы и натереть пораненные места ранее упомянутой мной мазью, которую лилипуты дали мне при моем прибытии в страну. Потом я снял очки и, обождав около часа, пока спадет вода, перешел в брод середину пролива и благополучно прибыл с моим грузом в императорский порт Лиллипутии.

Император и весь его двор стояли на берегу в ожидании исхода этого великого предприятия. Они видели корабли, приближавшиеся широким полумесяцем, но меня не замечали, так как я по грудь был в воде. Когда я проходил середину пролива, их беспокойство еще более увеличилось, потому что я погрузился в воду по шею. Император решил, что я утонул и что неприя-



тельский флот приближается с враждебными намерениями. Но скоро его опасения исчезли. С каждым шагом пролив становился мельче, и меня можно было даже слышать с берега. Тогда, подняв вверх конец веревок, к которым был привязан флот, я громко закричал: *Да здравствует могущественнейший император Лиллипутии!* Когда я ступил на берег, великий монарх осыпал меня всяческими похвалами и тут же пожаловал мне титул *нардака*, самый высокий в государстве.

Его величество выразил желание, чтобы я нашел случай захватить и привести в его гавани все остальные морские силы неприятеля. Честолюбие монархов так безмерно, что император задумал, повидимому, ни больше ни меньше, как обратить всю империю Блефуску в собственную провинцию* и управлять ею через своего вице-короля, истребив укрывающихся там *тупоконечников* и принудив всех блефускуанцев разбивать яйца с острого конца, вследствие чего он стал бы единственным властелином вселенной. Но я всячески старался отклонить императора от этого намерения, приводя многочисленные доводы, подсказанные мне как политическими соображениями, так и чувством справедливости; в заключение я решительно заявил, что никогда не соглашусь быть орудием обращения в рабство храброго и свободного народа. Когда этот вопрос поступил на обсуждение государственного совета, то самые мудрые министры оказались на моей стороне.

Мое смелое и откровенное заявление до такой степени противоречило политическим пла-

нам его императорского величества, что он никогда не мог простить мне его. Его величество очень искусно дал понять это в совете, где, как говорили мне потом, мое мнение разделяли самые благоразумные члены, хотя и выражали свое согласие только молчанием; другие же, мои тайные враги, не могли удержаться от некоторых выражений, косвенным образом направленных против меня. С этого времени со стороны его величества и злобствующей против меня части министров началась интрига, которая, менее чем через два месяца, разразилась с такой силой, что едва не погубила меня окончательно. Таким образом величайшие услуги, оказываемые монархам, не в силах перетянуть на свою сторону чашку весов, если на другую бывает положен отказ в потворстве их страстям.

Спустя три недели после описанного подвига от императора Блефуску прибыло торжественное посольство с покорным предложением мира, каковой вскоре был заключен, на условиях в выс-



шей степени выгодных для нашего императора, но я не буду утомлять ими внимание читателя. Посольство состояло из шести посланников и около пятисот человек свиты; кортеж отличался большим великолепием и вполне соответствовал величию монарха и важности миссии. По окончании мирных переговоров, в которых я, благодаря своему тогдашнему действительному или, по крайней мере, кажущемуся влиянию при дворе, оказал немало услуг посольству, их превосходительства, частным образом осведомленные о моих дружественных чувствах, удостоили меня официальным визитом. Они начали с любезностей по поводу моих храбрости и великодушия, затем от имени императора пригласили посетить их страну и, наконец, попросили показать им несколько примеров моей удивительной силы, о которой они наслышались столько чудесного. Я с готовностью согласился исполнить их желание, но не стану утомлять читателя описанием подробностей.

Позабавив в течение некоторого времени их превосходительства, к большому их удовольствию и удивлению, я попросил послов засвидетельствовать мое глубокое почтение его величеству, их повелителю, слава о доблестях которого по справедливости наполняла весь мир восхищением, и передать мое твердое решение лично посетить его перед возвращением в мое отечество. Вследствие этого в первой же аудиенции у нашего императора я попросил его соизволения на посещение блефускуанского монарха; император хотя и дал свое согласие, но выказал при этом явную ко мне холодность, причину которой я не

мог понять до тех пор, пока мне не сказали по секрету, что Флимнап и Болголам изобразили перед императором мои сношения с посольством как акт нелойяльности, хотя я могу поручиться что моя совесть в этом отношении была совершенно чиста. Тут впервые у меня начало складываться представление о том, что такое министры и дворы.

Необходимо заметить, что я объяснялся с посольством при помощи переводчика. Язык блефускуанцев настолько же отличается от языка лиллипутов, насколько разнятся между собою языки двух европейских народов. При этом каждая нация гордится древностью, красотой и образностью своего языка, относясь с явным презрением к языку соседа. И наш император, пользуясь преимуществами настоящего положения, созданного пленением неприятельского флота, обязал посольство представить верительные грамоты и вести переговоры на лиллипутском языке. Однако надо заметить, что оживленные торговые сношения между двумя государствами, гостеприимство, оказываемое изгнанникам соседнего государства, как Лиллипутией, так и Блефуску, а также обычай посылать молодых людей из знати и богатых дворян к соседям, с целью отшлифоваться, посмотрев свет и ознакомившись с жизнью и нравами людей, приводят к тому, что здесь редко можно встретить образованного дворянина, моряка или купца из приморского города, который бы не говорил на обоих языках. В этом я убедился через несколько недель, когда отправился засвидетельствовать свое почтение императору Блефуску. Среди великих не-

счастий, постигших меня благодаря злобе моих врагов, это посещение оказалось для меня очень благодетельным, о чем я расскажу в своем месте.

Читатель может быть помнит, что в числе условий, на которых мне была дарована свобода, были очень для меня унизительные и неприятные, и только крайняя необходимость заставила меня принять их. Но теперь, когда я носил титул *нардака*, самый высокий в империи, взятые мной на себя обязательства роняли бы мое достоинство, и надо отдать справедливость императору, он ни разу не напомнил мне о них. Однако незадолго перед тем мне представился случай оказать его величеству замечательную услугу, как, по крайней мере, мне тогда казалось. Раз в полночь у дверей моего замка раздались крики тысячной толпы; я в испуге проснулся и услышал непрестанно повторяемое слово *боргльюм*. Несколько придворных, пробившись сквозь толпу, умоляли меня явиться немедленно во дворец, так как покои императрицы были объяты пламенем, по небрежности одной фрейлины, которая заснула за чтением романа, не погасив свечи. В одну минуту я кое-как оделся; был отдан приказ очистить для меня дорогу; кроме того, ночь была лунная, так что мне удалось добраться до дворца, никого не растоптав по пути. К стенам дворца уже были приставлены лестницы, было собрано много ведер, но вода была далеко. Каждое ведро равнялось нашему большому наперстку, и бедняги с большим усердием подавали их мне, однако пламя было так сильно, что это усердие при-

носило мало пользы. Я мог бы легко затушить пожар, накрыв дворец своим кафтаном, но, к несчастью, я второпях успел надеть только кожаную куртку. Казалось, дело находилось в самом плачевном и безнадежном положении, и этот великолепный дворец несомненно сгорел бы до тла, если бы, благодаря необычному для меня присутствию духа, я внезапно не придумал средство спасти его. Накануне вечером я выпил много превосходнейшего вина, известного под названием *глимигрим* (блефускуанцы называют его *флюнек*, но наши сорта выше), которое отличается сильным мочегонным действием. По счастливейшей случайности я еще ни разу не облегчился от выпитого. Между тем жар от пламени и усиленной работы по его тушению подействовали на меня и быстро обратили вино в мочу; я выпустил ее в таком изобилии и так метко, что в какие нибудь три минуты огонь был совершенно потушен, и остальные части величественного здания, воздвигавшегося трудом нескольких поколений, были спасены от разрушения.*

Между тем стало совсем светло, и я возвратился домой, не ожидая благодарности от императора, потому что, хотя я оказал ему услугу великой важности, но не знал, как его величество отнесется к способу, каким она была оказана, особенно, если принять во внимание основные законы государства, по которым никто, в том числе и самые высокопоставленные особы, не имели права мочиться в ограде дворца, под страхом тяжкого наказания. Однако меня немного успокоило письмо императора с обеща-



нием дать повеление великому судилищу вынести мне формальное прощение, которого, впрочем, я никогда не добился. С другой стороны, меня конфиденциально уведомили, что импера-

трица была страшно возмущена моим поступком, и переселилась в самую отдаленную часть дворца, твердо решив не реставрировать прежнего своего помещения; при этом она в присутствии своих приближенных поклялась отомстить мне.*



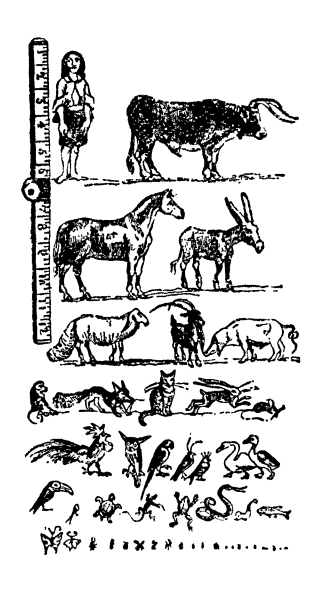


## ГЛАВА ШЕСТАЯ

*О жителях Лиллипутии: их наука, законы и обычаи; система воспитания детей. Образ жизни автора в этой стране. Реабилитация им одной знатной дамы.*




Хотя подробному описанию этой империи я намерен посвятить особое исследование, тем не менее, для удовлетворения любознательного читателя я уже теперь выскажу о ней несколько общих замечаний. Средний рост туземцев немного меньше шести дюймов, и ему точно соответствует рост как животных, так и растений: например, лошади и быки не бывают там выше четырех или пяти дюймов, а овцы выше полутора дюйма; гуси равняются нашему воробью, и так далее вплоть до самых крохотных созданий, которые для меня были почти невидимы. Но природа приспособила зрение лиллипутов



к окружающим их предметам: они хорошо видят, но на небольшом расстоянии. Вот представление об остроте их зрения для близких предметов: большое удовольствие доставило мне наблюдать повара, ощипывавшего жаворонка, величиною не более нашей мухи, и девушку вдевавшую шелковинку в ушко невидимой иголки. Самые высокие деревья в Лиллипутии не больше семи футов; я имею в виду деревья в большом королевском парке, верхушки которых я мог едва достать, протянув руку. Вся остальная растительность имеет соответственные размеры; но я предоставляю самому читателю произвести расчеты.



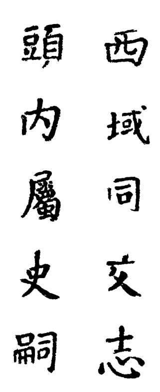
Сейчас я ограничусь лишь самыми беглыми замечаниями относительно лиллипутской науки, которая в течение веков процветает у этого народа во всех отраслях. Обращу только внимание на весьма оригинальную манеру их письма: лиллипуты пишут не так, как европейцы слева направо,

*Inimitablement, Incomparablement.*

не так как арабы—справа налево,

لو يعلم الّذين كفروا حين لا يكفّون عن وجوههم النّار ولا عن
ظهورهم ولا هم ينصرون

не так как китайцы—сверху вниз,




но как английские дамы — наискось страницы, от одного ее угла к другому.*

Лиллипуты хоронят умерших, кладя тело головой вниз. Такой обычай вызывается верова-



нием, что через одиннадцать тысяч лун мертвые воскреснут; и так как в это время земля (которую лиллипуты считают плоской) перевернется

вверх дном, то мертвые при своем воскресении станут прямо на ноги. Ученые признают нелепость этого верования; тем не менее, в угоду простому народу, обычай сохраняется и до сих пор.

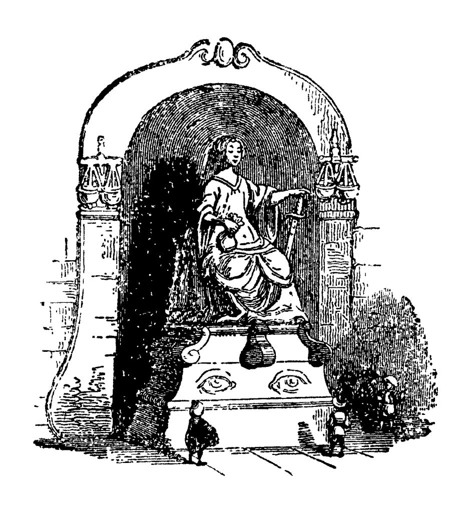
В этой империи существуют весьма своеобразные законы и обычаи, и, не будь они полной противоположностью законам и обычаям моего любезного отечества, я попытался бы выступить их защитником. Желательно только, чтобы они строго применялись на деле. Прежде всего укажу на закон о доносчиках.* Все государственные преступления караются здесь чрезвычайно строго; но если обвиняемый докажет во время процесса свою невиновность, то обвинитель немедленно подвергается позорной казни, и с его движимого и недвижимого имущества взыскивается в четырехкратном размере в пользу оправданного за потерю времени, за опасность, которой он подвергался, за лишения, испытанные им во время тюремного заключения, и за все расходы, которых ему стоила защита. Если имущества обвинителя окажется недостаточно, потерпевший вознаграждается за счет короны. Кроме того, император жалует освобожденного каким-нибудь публичным знаком своего благоволения, и по всему государству объявляется о его невиновности.

Лиллипуты считают мошенничество более тяжким преступлением, чем воровство, и потому только в редких случаях оно не наказывается смертью. При известной осторожности, бдительности и небольшой дозе здравого смысла, рассуждают они, всегда можно уберечь имущество от вора, но

у честного человека нет защиты от ловкого мошенника; и так как при купле и продаже постоянно необходимы торговые сделки, основанные на кредите и доверии, то в условиях, когда существует попустительство обману, и он не наказывается законом, честный коммерсант всегда пострадает, а плут окажется в выигрыше. Я вспоминаю, что однажды я ходатайствовал перед монархом за одного преступника, который обвинялся в похищении большой суммы денег, полученной им по поручению хозяина, и в побеге с этими деньгами, я выставил перед его величеством, как смягчающее вину обстоятельство, то соображение, что в данном случае было только злоупотребление доверием, император нашел чудовищным, что я привожу в защиту обвиняемого довод, как раз отягчающий его преступление; на это, говоря правду, мне нечего было возразить, и я ограничился шаблонным замечанием, что у различных народов различные обычаи; надо признаться, я был сильно сконфужен.

Хотя мы и называем обыкновенно награду и наказание двумя рычагами, приводящими в движение всю правительственную машину, но нигде кроме Лиллипутии я не встречал применения этого принципа на практике. Всякий, представивший достаточное доказательство того, что он в точности соблюдал законы страны в течение семидесяти трех лун, получает там право на известные привилегии, соответствующие его званию и общественному положению, и ему определяется соразмерная денежная сумма из фондов, специально на этот предмет назначен-

ных; вместе с тем такое лицо получает титул *снильпела,* то есть блюстителя законов; этот титул прибавляется к его фамилии, но не переходит в потомство. И когда я рассказал лиллипутам, что исполнение наших законов гарантируется только страхом наказания, и нигде не упоминается о награде за их соблюдение, лилипуты сочли это огромным недостатком нашего государственного строя. Вот почему в здешних судебных учреждениях богиня справедливости изображается в виде женщины с шестью глазами — два спереди, два сзади и по одному с боков, что означает ее крайнюю бдительность; в правой руке она держит откры-



тый мешок золота, а в левой — меч в ножнах в знак того, что она готова скорее награждать, чем наказывать.

При выборе кандидатов на государственные и общественные должности больше внимания обращается на нравственные качества, чем на способности и таланты. Лиллипуты думают, что раз уж человечеству необходимы правительства, то все люди, обладающие средним умственным развитием, способны выполнять ту или другую должность, и что провидение никогда не имело в виду создать из управления общественными делами тайны, в которую способны проникнуть только весьма немногие великие гении, рождающиеся не более трех в столетие. Напротив, они полагают, что правдивость, справедливость, воздержание и подобные качества доступны всем, и что упражнение в этих добродетелях вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему отечеству в той или другой должности, за исключением тех, которые требуют специальных знаний. По их мнению, самые высокие умственные дарования не могут заменить нравственных достоинств, и нет ничего опаснее поручения должностей таким даровитым лицам, ибо ошибка, совершенная по невежеству лицом, исполненным добрых намерений, не может иметь таких роковых последствий для общественного блага, как деятельность человека с порочными наклонностями, одаренного талантом скрывать свои пороки, умножать их и безнаказанно предаваться им.

Точно так же неверие в божественное провидение делает человека непригодным к занятию общественной должности. И в самом деле, лиллипуты думают, что раз монархи называют себя

посланниками провидения, то было бы в высшей степени нелепо назначать на правительственные места людей, отрицающих авторитет, на основании которого действует монарх.

Описывая как эти, так и другие законы империи, о которых будет речь дальше, я хочу предупредить читателя, что мое описание касается только исконных установлений страны, не имеющих ничего общего с современною испорченностью нравов, являющейся результатом глубокого вырождения. Так, например, известный уже читателю позорный обычай назначать на высшие государственные должности людей, искусно танцующих на канате, и давать знаки отличия тем, кто перепрыгнет через палку или проползет под нею, впервые был введен дедом

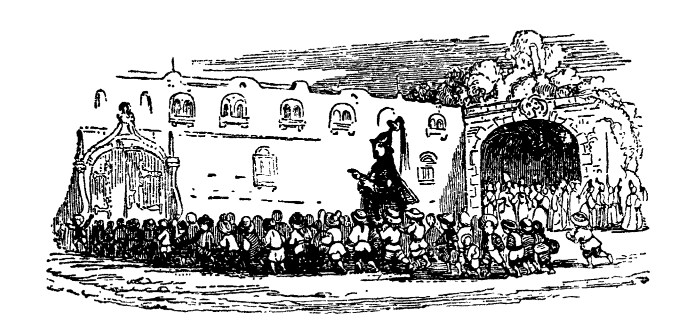


ныне царствующего императора, и теперешнего своего развития достиг благодаря непрестанному росту партий и группировок.

Неблагодарность считается у них уголовным преступлением (из истории мы знаем, что такой взгляд существовал и у других народов), и лилипуты по этому поводу рассуждают так: раз человек способен платить злом своему благодетелю, то он необходимо является врагом всех других людей, от которых он не получил никакого одолжения, и потому он достоин смерти.

Их взгляды на обязанности родителей и детей глубоко отличаются от наших. Исходя из того, что связь самца и самки основана на великом законе природы, имеющем целью размножение и продолжение вида, лилипуты полагают, что мужчины и женщины сходятся как и остальные животные, руководясь вожделением, и что любовь родителей к детям проистекает из такой же естественной склонности; вследствие этого они не признают никаких обязательств ребенка ни к отцу* за то, что тот произвел его, ни к матери за то, что та родила его, ибо, по их мнению, принимая во внимание бедствия человека на земле, жизнь сама по себе небольшое благо, да к тому же родители при создании ребенка вовсе не руководствуются намерением дать ему жизнь, и мысли их направлены совсем в другую сторону. Опираясь на эти и подобные им рассуждения, лилипуты полагают, что воспитание детей менее всего может быть вверено их родителям, вследствие чего в каждом городе существуют общественные воспитательные заве-

дения, куда обязаны отдавать своих детей обоего пола все, кроме крестьян и рабочих, и где они взращиваются и воспитываются с двадцати лунного возраста, то есть с того времени, когда, по предположению лиллипутов, у ребенка проявляются первые зачатки понятливости. Школы эти нескольких типов соответственно общественному положению и полу детей. Воспитание и образование ведется опытными педагогами, которые готовят детей к роду жизни, соответствующей положению их родителей и их собственным наклонностям и способностям. Сначала я скажу несколько слов о воспитательных заведениях для мальчиков, а потом о воспитательных заведениях для девочек.



Воспитательные заведения для мальчиков благородного или знатного происхождения находятся под руководством видных и опытных педагогов и их многочисленных помощников. Одежда и пища детей отличаются скромностью и простотой. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости; в них развивают

скромность, кротость, религиозные чувства и любовь к отечеству. Они всегда за делом, исключая времени, потребного на еду и сон, очень непродолжительного, и двух рекреационных часов, которые посвящаются телесным упражнениям. До четырех лет детей одевает и раздевает прислуга, но начиная с этого возраста то и другое они делают сами, как бы ни было знатно их происхождение. Служанки, которых не берут моложе пятидесяти лет, переводя на наши годы, исполняют только самые низкие работы. Детям никогда не позволяют разговаривать с прислугой, и во время отдыха они играют группами, всегда в присутствии воспитателя или его помощника. Таким образом они ограждены от ранних впечатлений беспутства и порока, которым всецело предоставлены наши дети. Родители имеют право на свидание со своими детьми два раза в год; каждое свидание продолжается не более часа. Им позволяется целовать ребенка только при встрече и при прощанье; но воспитатель, неот-



лучно присутствующий во время свидания, не позволяет им шептать на ухо, говорить ласковые слова и приносить в подарок игрушки, лакомства и тому подобное.

Если родители не вносят своевременно платы за содержание и воспитание своих детей, то эта плата взыскивается с них правительственными чиновниками.

Воспитательные заведения для детей среднего дворянства, купцов и ремесленников ведутся по тому же образцу, причем дети, предназначенные быть ремесленниками, с одиннадцати лет обучаются мастерству, между тем как дети дворян и купцов продолжают общее образование до пятнадцати лет, что соответствует нашему двадцати одному году. Однако строгости школьной жизни постепенно ослабляются в последние три года.

В женских воспитательных заведениях девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики, только вместо слуг их одевают и раздевают благонравные бонны, но всегда в присутствии воспитательницы или ее



помощницы; по достижении пяти лет девочки одеваются сами. Если бывает замечено, что

бонна позволила себе рассказать девочкам какую-нибудь страшную и нелепую сказку или позабавить их какой-нибудь глупой выходкой, которые так обыкновенны у наших горничных, то виновная троекратно подвергается публичной порке кнутом и затем годовому тюремному заключению, после которого она ссылается в самые отдаленные места государства. Благодаря такой системе воспитания молодые дамы так же стыдятся там трусости и глупости, как и мужчины, и относятся с презрением ко всяким украшениям, за исключением благопристойности и опрятности. Я не заметил никакой разницы в их воспитании, обусловленной различием пола: только физические упражнения для девочек более легкие, да курс наук для них менее обширен, но зато им преподаются правила ведения домашнего хозяйства. Ибо лилипуты убеждены, что жена должна быть разумной и милой подругой мужа, так как ее молодость и красота не вечны. Когда девице исполняется двенадцать лет, то есть наступает по тамошнему пора замужества, в школу являются ее родители или опекуны и, принеся глубокую благодарность воспитателям, берут ее домой, причем прощание молодой девушки с подругами редко обходится без слез.

В воспитательных заведениях для девочек низших классов детей обучают всякого рода работам, подобающим их полу и общественному положению. Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до семи лет, остальные до одиннадцати.

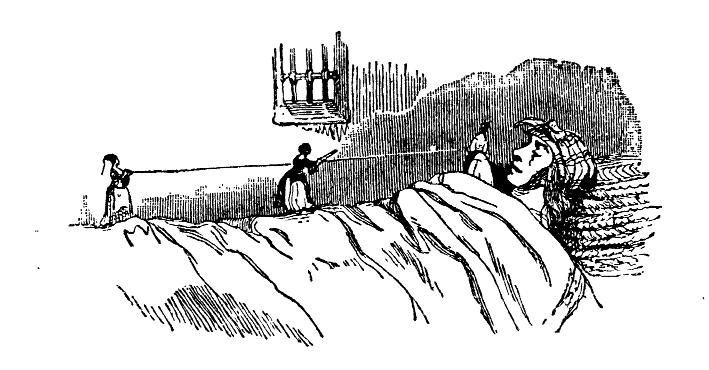
Семьи низших классов, имеющие детей в этих заведениях, обязаны вносить казначею заведе-

ния, кроме годовой платы, ограниченной минимальными размерами, небольшую часть своего месячного заработка; из этих взносов образуется приданое для дочери. Таким образом расходы родителей ограничены здесь законом, ибо лиллипуты думают, что было бы крайне несправедливо позволить человеку, в угождение своим инстинктам, производить на свет детей и потом возложить на общество бремя их содержания. Что же касается знатных лиц, то они дают обязательство положить на каждого ребенка известный капитал, соответственно своему общественному положению; этот капитал заботливо сохраняется руководителями заведения.

Крестьяне и рабочие держат своих детей дома; так как они предназначены судьбой возделывать и обрабатывать землю, то их образование не имеет особенного значения для общества. Но больные и старики содержатся в богадельнях, ибо прошение милостыни есть занятие, неизвестное в империи.

Но быть может любознательному читателю будут интересны некоторые подробности относительно моих занятий и образа жизни в этой стране, где я пробыл девять месяцев и тринадцать дней. Принужденный обстоятельствами, я нашел применение своей склонности к механике и сделал себе довольно удобные стол и стул из самых больших деревьев королевского парка. Двум сотням швей было поручено изготовление для меня рубах, постельного и столового белья из самого прочного и грубого полотна, какое только они могли достать; но и его им пришлось стегать, сложив в несколько раз, потому что

самое толстое тамошнее полотно было тоньше нашей кисеи. Куски этого полотна бывают обыкновенно в три дюйма ширины и три фута длины.



Белошвейки сняли с меня мерку, когда я лежал в постели: одна из них стала мне на шею, другая на колено, и они протянули между собою веревку, взяв каждая за ее конец, третья же смерила длину веревки линейкой в один дюйм. Затем они смерили большой палец правой руки, чем и ограничились; посредством математического расчета, основанного на том, что окружность кисти вдвое больше длины пальца, окружность шеи вдвое больше окружности кисти, а окружность талии вдвое больше окружности шеи, и при помощи моей старой рубахи, которую я разостлал на земле перед ними, как образец, они сшили мне белье как раз по росту. Точно так же тремстам портным было поручено сшить мне костюм, но для снятия мерки они прибегли к другому приему. Я стал на колени, и они при-



ставили к моему туловищу лестницу, по этой лестнице один из них взобрался до моей шеи и опустил отвес от воротника до полу, что и составило длину моего кафтана; рукава и талию я смерил сам. Когда костюм был готов (а шили его в моем замке, так как самый большой их дом не вместил бы его), то своим видом он очень напоминал одеяла, изготовляемые английскими дамами из кусочков материи, с тою только разницею, что не пестрел разными цветами.

Стряпали мне триста поваров в маленьких удобных бараках, построенных вокруг моего замка, где они и жили со своими семьями, и обязаны были готовить мне по два блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал в руку двадцать лакеев и ставил их себе на стол; сотня их товарищей прислуживали внизу на полу; одни носили кушанья, другие подкатывали бочонки с вином и всевозможными напитками: лакеи, стоявшие на столе, по мере надобности очень искусно поднимали все это на особых блоках,

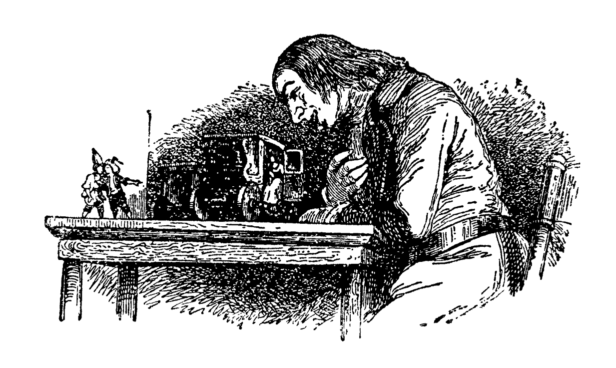
вроде того как у нас в Европе поднимают ведро воды из колодца. Каждое их блюдо я проглатывал в один прием, каждый боченок вина осушал одним глотком. Их баранина по вкусу уступает нашей, но зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филея, что пришлось разрезать его на три части, но это исключительный случай. Слуги бывали очень изумлены, видя, что я ем говядину с костями, как у нас едят ножки жаворонков. Здешних гусей и индеек я обыкновенно проглатывал в один прием, и, надо отдать справедливость, птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по двадцати или тридцати штук зараз.

Его величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что он будет счастлив (так было угодно ему выразиться) отобедать со мною, в сопровождении августейшей супруги и молодых принцев и принцесс. Когда они прибыли, я поместил их на столе против себя в парадных креслах, со свитой по сторонам. В числе присутствующих был также лорд-канцлер казначейства Флимнап, с белым жезлом в руке; я часто ловил его недоброжелательные взгляды, но делал вид, что не замечаю их, и ел более обыкновенного, во славу моей дорогой родины и на удивление двора. У меня есть некоторое основание думать, что это посещение его величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах своего государя. Означенный министр всегда был моим тайным врагом, хотя с виду обходился со мной гораздо любезнее, чем того можно было ожидать от его угрюмого

нрава. Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства, вынудившее его прибегнуть к займу за большие проценты: он сказал, что курс банковых билетов упал на девять процентов ниже альпари, что мое содержание обошлось уже его величеству более полутора миллиона *спругов* (самая крупная золотая монета у лиллипутов, величиною в маленькую блестку) и наконец, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы воспользовался первым благоприятным случаем для высылки меня за пределы империи.

На мне лежит обязанность защитить невинно пострадавшую из-за меня честь одной почтенной дамы.* Канцлеру казначейства пришла в голову фантазия приревновать ко мне свою супругу, на основании сплетен, пущенных в ход злыми языками, которые наговорили канцлеру, будто ее светлость воспылала безумной страстью к моей особе; много скандального шума наделал при дворе слух, будто раз она тайно приезжала ко мне. Я торжественно заявляю, что все это самая бесчестная клевета, единственным поводом к которой послужило невинное изъявление дружеских чувств со стороны ее светлости. Она действительно часто подъезжала к моему дому, но это делалось всегда открыто, причем с ней в карете сидели еще три особы: сестра, дочь и подруга; таким же образом ко мне приезжали и другие придворные дамы. В качестве свидетелей призываю моих многочисленных слуг; пусть кто нибудь из них скажет, видел ли он у моих дверей карету, не зная, кто находится в ней. Обыкновенно в подобных случаях я немедленно вы-

ходил к двери после доклада моего слуги; засвидетельствовав свое почтение прибывшим, я осторожно брал в руки карету с парой лошадей (если она была запряжена шестеркой, форейтор всегда отпрягал четырех) и ставил ее на стол, который я окружил передвижными перилами, вышиной в пять дюймов, для предупреждения несчастных случайностей. Часто на моем столе стояли разом четыре запряженные кареты, наполненные элегантными дамами. Сам я садился



в свое кресло, и наклонялся к ним; в то время, как я разговаривал таким образом с одной каретой, другие тихонько кружились по моему столу. Много послеобеденных часов провел я очень приятно в таких разговорах. Однако ни канцлеру казначейства, ни двум его соглядатаям Клестрилю и Дренло (пусть они делают, что угодно, а я назову их имена) никогда не удастся доказать, чтобы ко мне являлся кто-нибудь *инкогнито,* кроме государственного секретаря Рельдреселя, посетившего раз меня по специальному

повелению его императорского величества, как рассказано об этом выше. Я бы не останавливался так долго на этих подробностях, если бы вопрос не касался так близко репутации почтенной дамы, не говоря уже о моей собственной, хотя я и имел тогда честь носить титул *нардака,* которого не имеет сам канцлер казначейства, ибо всем известно, что он только *глюмглюм,* а этот титул в такой же степени ниже моего, в какой титул маркиза в Англии ниже титула герцога; впрочем, я согласен признать, что занимаемый им пост ставит его выше меня.

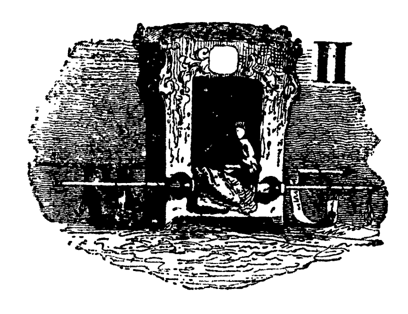
Эти наветы, о которых я узнал впоследствии по одному не стоящему упоминания случаю, на некоторое время озлобили канцлера казначейства Флимнапа против его жены и еще пуще против меня. Хотя он вскоре и примирился с женой, удостоверившись в своем заблуждении, однако я навсегда потерял его доверие, и скоро увидел, что мое положение пошатнулось также в глазах самого императора, который находился под сильным влиянием своего фаворита.





## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

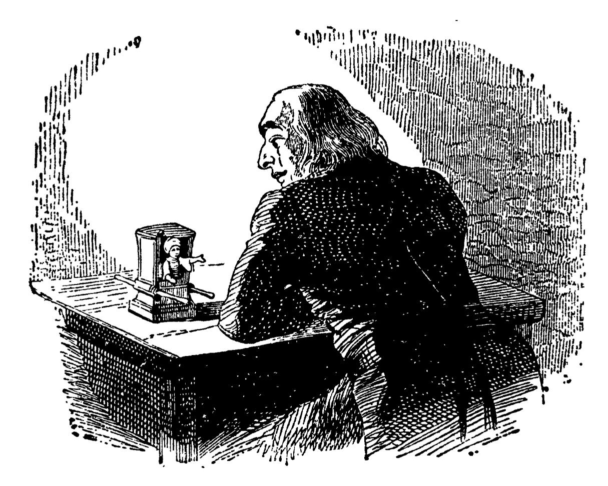
*Автор, будучи осведомлен о намерении обвинить его в государственной измене, предпринимает побег в Блефуску. Прием, оказанный там ему.*



Прежде чем рассказать, каким образом я оставил это государство, пожалуй, уместно посвятить читателя в подробности тайной интриги, которая в течение двух месяцев плелась против меня.

Благодаря своему низкому происхождению я жил до сих пор вдали от королевских дворов. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов и их министров, но никогда не ожидал встретить такие ужасные последствия раздражения власть имущих в столь отдаленной стране, управляемой, как я думал, в духе принципов, совсем непохожих на те, какие господствуют в Европе.

Когда я готовился отправиться к императору Блефуску, одна значительная при дворе особа (которой я оказал очень существенную услугу в то время, как она была в большой немилости у его императорского величества) тайно прибыла ко мне поздно вечером в закрытом портшезе и, не называя себя, просила принять ее. Носильщики были отосланы, и я спрятал портшез вместе с его превосходительством в карман своего кафтана, после чего, приказав своему верному слуге говорить каждому, что мне нездоровится и что я пошел спать, я запер за собою дверь, поставил портшез по обыкновению на стол и сел на стул против него. Когда мы обменялись взаимными приветствиями, я заметил большую оза-



боченность на лице его превосходительства и пожелал узнать о ее причине. Тогда он просил выслушать его терпеливо, так как дело касалось

моей чести и жизни, и обратился ко мне со следующей речью, которую тотчас же по его уходе я в точности записал:

Надо вам сказать, начал он, что в последнее время относительно вас происходило в страшной тайне несколько совещаний особых комитетов, и два дня тому назад его величество принял окончательное решение.

Вы прекрасно знаете, что почти со дня вашего прибытия сюда Скайреш Болголам (*гельбет* или верховный адмирал) стал вашим смертельным врагом. Мне неизвестна первоначальная причина этой вражды, но его ненависть особенно усилилась после великой победы, одержанной вами над Блефуску, которая сильно помрачила его славу адмирала. Этот сановник, в сообществе с Флимнапом, канцлером казначейства, неприязнь которого к вам из-за жены всем известна, генералом Лимтоком, камергером Лелькеном и верхов-



ным судьей Бельмафом, составил акт, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях.

Это вступление сильно взволновало меня, так как я ясно сознавал свою невиновность и свои заслуги, и от нетерпения я чуть было не прервал оратора, но он умолял меня сохранить молчание и продолжал так:

Руководясь чувством глубокой благодарности за оказанные вами услуги, я познакомился со всеми подробностями дела и достал копию обвинительного акта, рискуя поплатиться за это своей головой. Вот этот акт.

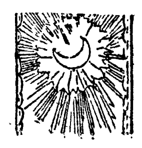
## ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ*

Против

КУИНБУС ФЛЕСТРИНА

Человека—Горы

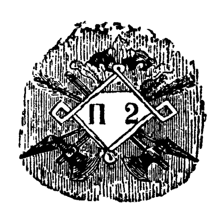


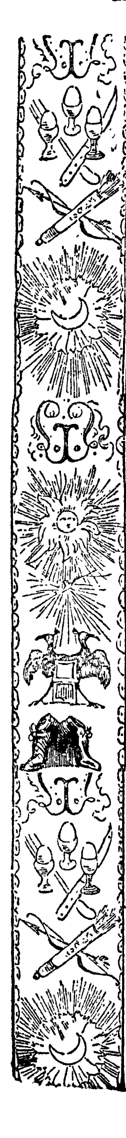
Принимая во внимание, что законом, изданным в царствование его императорского величества Келина Дефара Плюне, запрещено под стра-



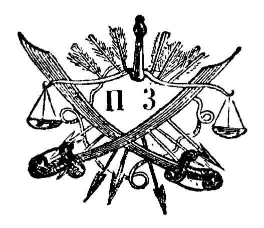
хом наказания, как за оскорбление величества, мочиться в ограде королевского дворца; что, несмотря на это, упомянутый Куинбус Флестрин, в явное нарушение упомянутого закона, под предлогом тушения пожара, охватившего покои любезной супруги его императорского величества, злобно, предательски и дьявольски выпустив мочу, погасил упомянутый пожар в упомянутых покоях, находясь в ограде упомянутого королевского дворца, вопреки существующему на этот предмет закону, в нарушение долга и пр. и пр.




Что упомянутый Куинбус Флестрин, приведя в императорский порт флот императора Блефуску и получив повеление от его императорского величества захватить все остальные суда упомянутой империи Блефуску, с тем, чтобы обратить эту империю в нашу провинцию под управлением

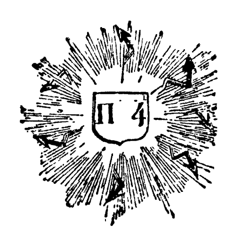


нашего вице-короля, уничтожить и казнить не только укрывающихся там тупоконечников, но и всех подданных этой империи, которые не отступятся немедленно от тупоконечной ереси,— упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, предъявил просьбу его благосклоннейшему и светлейшему императорскому величеству избавить его, Флестрина, от исполнения упомянутого поручения под предлогом отвращения к насилию в делах совести и нежелания уничтожать вольности и жизнь невинного народа.




Что, когда прибыло известное посольство от двора Блефуску ко двору его величества просить мира, он, упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, помогал, поддерживал, ободрял и увеселял упомянутых послов, хорошо зная, что они слуги монарха, который так недавно был открытым врагом его императорского величества и вел открытую войну с упомянутым величеством.






Что упомянутый Куинбус Флестрин, в противность долгу верноподданного, собирается теперь совершить путешествие ко двору и в империю Блефуску, на которое получил только лишь словесное соизволение его императорского величества, и что, под предлогом упомянутого соизволения, он имеет намерение вероломно и изменнически совершить упомянутое путешествие с целью оказать помощь, ободрить и поддержать императора Блефуску, так недавно бывшего врагом упомянутого его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне.

В обвинительном акте есть еще пункты, но прочтенные мною наиболее существенны.

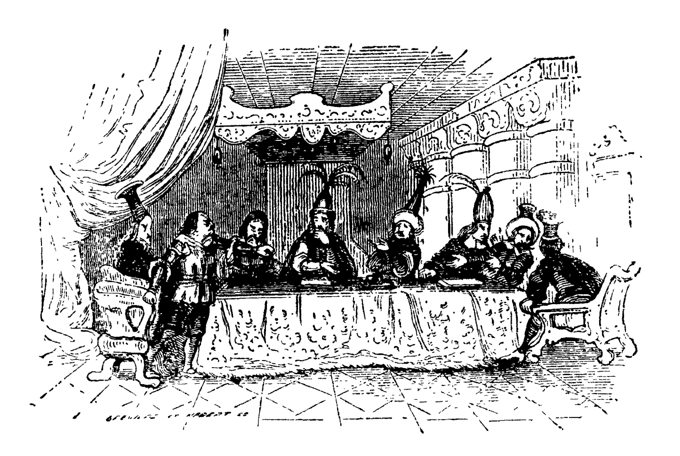
Надо признаться, что во время долгих прений по поводу этого обвинения его величество проявил большую к вам снисходительность, весьма часто ссылаясь на ваши заслуги перед ним и стараясь смягчить ваши

преступления. Канцлер казначейства и адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти. Они предложили поджечь ночью ваш дом, окружив его двадцатитысячной армией, вооруженной отравленными стрелами, предназначенными для вашего лица и рук. Возникла также мысль дать тайное повеление некоторым вашим слугам напитать ваши рубахи и простыни ядовитым соком, который скоро заставил бы вас разодрать ваше тело и причинил бы вам самую мучительную смерть. Генерал присоединился к этому мнению, так что в течение долгого времени большинство было против вас; но его величество, решив по возможности щадить вашу жизнь, в заключение привлек на свою сторону обер-гофмейстера.

В разгар этих прений Рельдресель, главный секретарь по тайным делам, который всегда являлся вашим истинным другом, получил повеление его величества высказать свое мнение, что он и сделал, вполне оправдав ваше доброе о нем мнение. Он согласился, что ваши преступления велики, но они все же оставляют место для милосердия, этой величайшей добродетели, которая так справедливо украшает его величество. Он сказал, что существующая между ним и вами дружба известна всякому, и потому высокопочтенное собрание может быть найдет его мнение пристрастным; однако, повинуясь полученному приказанию его величества, он изложит его совершенно свободно; что, если

его величеству будет благоугодно, во внимание к вашим заслугам и в соответствии с добротой своего сердца, пощадить вашу жизнь и удовольствоваться повелением выколоть вам оба глаза,* то он осмеливается думать, что такая мера, удовлетворив в некоторой степени правосудие, в то же время приведет в восхищение весь мир, который будет приветствовать столько же снисходительность монарха, сколько честность и великодушие лиц, имеющих честь быть его советниками; что потеря глаз не нанесет никакого ущерба вашей физической силе, благодаря которой вы еще можете быть полезны его величеству; что слепота, скрывая от нас опасность, только увеличит вашу храбрость; что боязнь потерять зрение служила вам главным препятствием при захвате неприятельского флота, и что для вас достаточно будет смотреть на все глазами министров, раз даже величайшие монархи вполне довольствуются этим.

Это предложение было встречено высоким собранием с крайним неодобрением. Адмирал Болгалам не в силах был сохранить хладнокровие; в бешенстве вскочив с места, он сказал, что удивляется, как осмелился секретарь подать голос за сохранение жизни изменника; что оказанные вами услуги, по соображениям государственной безопасности, еще более отягчают ваши преступления; что раз вы были способны простым мочеиспусканием (о чем он не может вспомнить без отвращения) потушить пожар в покоях ее



величества императрицы, то в другое время, вы будете способны таким же образом вызвать наводнение и затопить весь дворец; что та самая сила, которая позволила вам отнять у неприятеля флот, при первом вашем неудовольствии послужит на то, что вы отведете этот флот обратно; наконец, что у него есть полное основание думать, что в глубине души вы тупоконечник; и так как измена зарождается в сердце прежде, чем проявляет себя в действии, то он обвинил вас на этом основании в измене и настаивал, чтобы вы были немедленно казнены.

Канцлер казначейства был того же мнения; он показал, в какое затруднительное положение были приведены финансы его величества благодаря тяжелому бремени, которым лежит на них ваше содержание; финансовое напряжение скоро станет невыно-

симым, и предложение секретаря выколоть вам глаза не только не вылечит от этого зла, но по всей вероятности усугубит его, ибо, после этой операции, животные едят больше и скорее жиреют; и если его священное величество и члены совета, ваши судьи, обращаясь к своей совести, пришли к твердому убеждению в вашей виновности, то это является достаточным основанием приговорить вас к смерти, не затрудняясь подысканием формальных доказательств, требуемых буквой закона.

Но его императорское величество решительно высказался против смертной казни, милостиво изволив заметить, что, если совет находит лишение вас зрения наказанием слишком легким, то всегда будет время применить другое, более тяжелое. Тогда ваш друг секретарь, испросив позволение выслушать его возражения на замечания канцлера казначейства по поводу значительных расходов на ваше содержание, сильно обременяющих казну его величества, сказал: так как распоряжение доходами его величества всецело принадлежит его превосходительству, то ему не трудно будет предотвратить угрожающую опасность путем постепенного уменьшения расходов на ваше содержание; таким образом, вследствие недостаточного количества пищи, вы станете слабеть, худеть, потеряете аппетит и зачахнете в несколько месяцев; такая мера будет иметь еще и то преимущество, что разложение вашего трупа станет менее опасным, так как тело ваше

уменьшится в объеме по крайней мере в два раза; и немедленно после вашей смерти пять или шесть тысяч подданных его величества смогут в два или три дня отделить мясо от костей, сложить его в телеги, свезти и закопать далеко за городом во избежание заразы, а скелет сохранить как памятник, на удивление потомству.

Таким образом, благодаря дружескому расположению к вам секретаря, удалось прийти к удовлетворительному решению вашего дела. Было строго предписано сохранить в тайне намерение постепенно заморить вас голодом; приговор же о вашем ослеплении занесен в протокол по единогласному решению членов совета, за исключением адмирала Болголама, креатуры императрицы, который, благодаря непрестанным подстрекательствам ее величества, настаивал на вашей смерти; императрица же затаила на вас злобу из-за неблаговидного и незаконного способа, каким вы потушили пожар в ее апартаментах.

Через три дня ваш друг секретарь получит повеление явиться к вам и прочитать все пункты обвинительного акта; при этом он объяснит вам, насколько велики снисходительность и благосклонность его величества и государственного совета, благодаря которым вы приговорены только к ослеплению. Его величество не сомневается, что вы покорно и с благодарностью подчинитесь этому приговору; двадцать хирургов его величества назначены наблюдать за надлежащим совершением операции при помощи очень тонко

заостренных стрел, которые будут пущены в ваши глазные яблоки в то время, когда вы будете лежать на земле.

Засим, предоставляя вашему благоразумию позаботиться о принятии соответствующих мер, я должен, во избежание подозрений, немедленно удалиться так же тайно, как прибыл сюда.

С этими словами его превосходительство покинул меня, и я остался один, подавленный только что полученным сообщением.



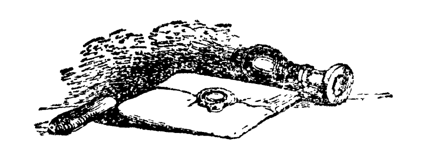
У лиллипутов существует обычай, введенный нынешним императором и его министрами, очень непохожий, как меня уверяли, на то, что практиковалось в прежние времена. Если, в угоду мстительности монарха или злобе фаворита, суд приговаривает кого-либо к жестокому наказанию, то император произносит в пленуме государственного совета речь, изображающую его великое милосердие и доброту, как качества, всем известные и всеми признанные. Речь не-



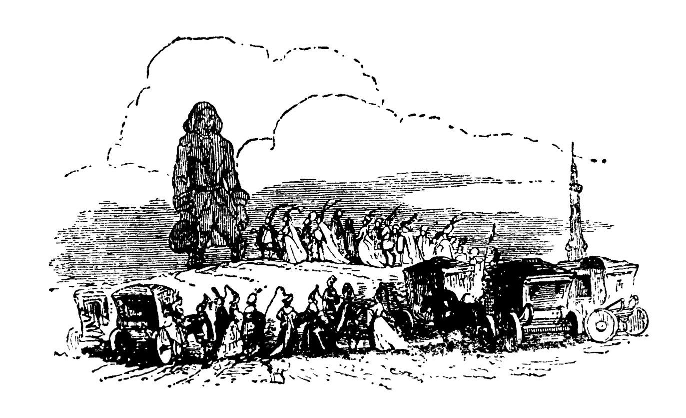
медленно публикуется по всей империи; и ничто так не устрашает народ, как эти панегирики императорскому милосердию;* ибо замечено, что чем они пространнее и велеречивее, тем бесчеловечнее наказание и невиннее жертва. Однако, должен признаться, что, не предназначенный ни рождением ни воспитанием к роли придворного, я был плохой судья в подобных вещах и никак не мог найти признаков кротости и милосердия в моем приговоре, а, напротив (хотя быть может и несправедливо), считал его скорее суровым, чем мягким. Иногда мне приходило на мысль явиться лично в совет и защищаться, ибо если я и не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, то все-таки надеялся, что они допускают некоторое смягчение приговора. Но с другой стороны, судя по описаниям многочисленных политических процессов, о которых приходилось мне чи-

тать, все они оканчивались в смысле желательном для судей, и я не решался вверить свою участь, в таких критических обстоятельствах, столь могущественным врагам. Меня очень соблазняла мысль оказать сопротивление; я отлично понимал, что, покуда я пользовался свободой, все силы этой империи не могли бы одолеть меня, и я легко мог бы забросать камнями и обратить в развалины всю столицу; но, вспомнив присягу, данную мною императору, все его милости ко мне и высокий титул *нардака*, которым он меня пожаловал, я тотчас с отвращением отверг этот проект. Я с трудом усваивал придворные взгляды на благодарность, и никак не мог убедить себя, что теперешняя суровость его величества освобождает меня от всяких обязательств по отношению к нему.

Наконец, я остановился на решении, за которое быть может многие не без основания меня осудят. Ведь, надо признаться, я обязан сохранением своего зрения, а стало быть и свободы, моему чрезвычайному безрассудству и неопытности. В самом деле, если бы в то время я знал так же хорошо нрав монархов и министров, и их обращение с преступниками, гораздо менее виновными, чем был я, как я узнал это потом, наблюдая придворную жизнь в других государствах, я бы с величайшей радостью и поспешностью подчинился столь легкому наказанию. Но я был молод и горяч; воспользовавшись разрешением его величества посетить императора Блефуску, я еще до окончания трехдневного срока послал моему другу секретарю письмо, в котором уведомлял его о своем



решении отправиться в то же утро в Блефуску,* согласно полученному мной разрешению. Не дожидаясь ответа, я направился к морскому берегу, где стоял на якоре наш флот. Захватив большой военный корабль, я привязал к его носу веревку, поднял якоря, разделся и положил свое платье в корабль (вместе с одеялом, которое принес на руке); затем, ведя корабль за собою, частью в брод, частью вплавь, я добрался до королевского порта Блефуску, где давно уже меня ожидала толпа народа. Мне дали двух проводников показать мне дорогу в столицу Блефуску, носящую то же название, что и государство. Я нес их в руках, пока не подошел на сто саженей к городским воротам; тут я попросил их известить о моем прибытии одного из государственных секретарей, и передать ему, что я ожидаю приказаний его величества. Через час я получил ответ, что его величество в сопровождении августейшей семьи и высших придворных чинов выехал встретить меня. Я приблизился на пятьдесят саженей. Император и его свита соскочили с лошадей, императрица и придворные дамы вышли из карет, и я не заметил у них ни малейшего страха или беспокойства. Я лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и импера-



трицы. Я объявил его величеству, что прибыл сюда, согласно моему обещанию и с соизволения императора, моего повелителя, чтобы иметь честь лицезреть могущественнейшего монарха и предложить ему зависящие от меня услуги, если они не будут противоречить обязанностям верноподданного моего государя; я ни слова не упомянул о постигшей меня немилости, потому что, не получив еще официального уведомления, я вполне мог и не знать о намерениях своего императора. С другой стороны, у меня было полное основание предполагать, что император не пожелает предать огласке мою опалу, если узнает, что я нахожусь вне его власти; однако скоро выяснилось, что я сильно ошибся в своих предположениях.

Не буду утомлять внимание читателя подробным описанием приема, оказанного мне при дворе императора Блефуску; замечу только, что он вполне соответствовал великодушию столь

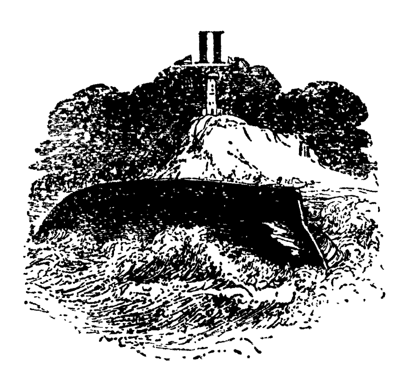
могущественного монарха. Не буду также говорить о неудобствах, которые я испытывал благодаря отсутствию подходящего помещения и постели: мне пришлось спать на голой земле, укрывшись своим одеялом.





## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Автор, благодаря счастливому случаю, находит возможность оставить империю Блефуску и после некоторых затруднений возвращается благополучно в свое отечество.*



По моем прибытии в Блефуску, спустя три дня, отправившись из любопытства на северо-восточный берег острова, я заметил на расстоянии полулиги, в открытом море, что то похожее на опрокинутую лодку. Сняв башмаки и чулки и пройдя в брод около двухсот или трехсот ярдов, я увидел, что, благодаря приливу, предмет приближается, и тут уже не оставалось никаких сомнений, что это настоящий бот, вероятно, оторванный бурей от какого-нибудь корабля. Я тотчас возвратился в город и попросил его величество дать в мое распоряжение двадцать самых больших кораблей, оставшихся у него после потери флота, и три тысячи ма-

тросов под командой вице-адмирала. Флот пошел кругом острова, а я кратчайшим путем возвратился к тому месту берега, где обнаружил бот; за это время прилив еще ближе пригнал его. Все матросы были снабжены веревками, которые я предварительно ссучил в несколько раз для большей прочности. Когда прибыли корабли, я разделся и отправился к боту, сначала в брод, а, не доходя ста ярдов, вплавь. Матросы бросили мне веревку, один конец которой я привязал к отверстию в передней части бота, а другой к одному из военных кораблей, но от всего этого было мало пользы, потому что, не доставая ногами дна, я не мог работать как следует. В виду этого мне пришлось подплыть к боту сзади и по мере сил подталкивать его вперед одной рукой. Так как мне помогал прилив, то я достиг такого места, где мог стать на ноги, погрузившись в воду до подбородка. Я отдохнул две или три минуты и затем продолжал подталкивать бот до тех пор, пока вода не дошла у меня до подмышек. Когда таким образом самая трудная часть предприятия была исполнена, я взял остальные веревки, сложенные на одном из кораблей, и привязал их сначала к боту, а потом к девяти сопровождавшим меня судам. Ветер был попутный, матросы тянули бот на буксире, я подталкивал его, и мы скоро подошли на сорок ярдов к берегу. Подождав отлива, когда бот оказался на суше, я, при помощи двух тысяч человек, снабженных веревками и машинами, перевернул бот и нашел, что повреждения его незначительны.



Не буду докучать читателю описанием затруднений, которые пришлось преодолеть, чтобы на веслах (работа над которыми отняла у меня десять дней) привести бот в императорский порт Блефуску, куда при моем прибытии стеклась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что этот бот привела ко мне моя счастливая звезда, чтобы я добрался на нем до места, откуда мне можно будет вернуться на родину; и я попросил его величество повелеть снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать дозволение на отъезд. После некоторых попыток убедить меня остаться, император соизволил дать свое согласие.

Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов обо мне от нашего императора. Однако, позднее мне частным образом сообщили, что его императорское величество, ни минуты не подозревая, что мне известны его намерения, усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, согласно данному им на то дозволению, о котором было хорошо известно всему двору; он был уверен, что я возвращусь через несколько дней, когда все формальности визита будут выполнены. Но через некоторое время мое долгое отсутствие начало его беспокоить; посовещавшись с канцлером казначейства и другими министрами, он послал ко двору Блефуску одну знатную особу* с копией моего обвинительного акта. Этот посланец имел инструкции поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, удовольствовавшегося наложением на меня такого легкого наказания, как ослепление, и объявить, что я бежал от правосудия; и если в течение двух часов не возвращусь назад, то буду лишен титула *нардака* и объявлен изменником. Посланный прибавил, что в видах сохранения мира и дружбы между двумя империями его повелитель питает надежду, что его брат, император Блефуску, даст повеление отправить меня в Лиллипутию, связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть меня наказанию за измену.

Император Блефуску, после трехдневного размышления, послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его

прекрасно понимает полную невозможность отправить меня в Лиллипутию, связанного по рукам и ногам; что, хотя я лишил его флота, однако же он считает себя обязанным мне за множество добрых услуг, оказанных мною во время мирных переговоров; что, впрочем, оба монарха скоро вздохнут свободнее, так как я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море; что он отдал приказ снарядить этот корабль по моим указаниям и надеется, что через несколько недель обе империи избавятся, наконец, от столь невыносимого бремени.

С этим ответом посланный возвратился в Лиллипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло, предлагая в то же время, но под условием хранить это в строгой тайне, свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора вполне искренним, однако решил не доверяться больше монархам и министрам, если есть возможность обойтись без их помощи, и потому, выразив императору свою глубокую благодарность за его милостивое внимание, я почтительнейше просил его величество извинить меня и сказал, что, хотя неизвестно к счастью или невзгодам судьба посылает мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить яблоком раздора между двумя столь могущественными монархами. У меня не было впечатления, что императору не понравился этот ответ, напротив, я узнал даже, что он остался очень доволен моим решением,* как и большинство его министров.

Эти обстоятельства заставили меня поспешить и уехать скорее, чем я предполагал. Двор, в нетерпеливом ожидании моего отъезда, оказывал мне всяческое содействие. Пятьсот человек сделали под моим руководством два паруса для моего бота, простегав для этого сложенное в тринадцать раз самое толстое тамошнее полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя, скручивая вместе по десяти, двадцати и тридцати самых толстых и прочных тамошних веревок. Большой камень, случайно найденный на берегу после долгих поисков



заменил мне якорь. Мне дали жир трехсот коров для смазки бота и других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько

самых высоких строевых деревьев на весла и мачты; в изготовлении их мне оказали, однако, большую помощь корабельные плотники его величества, которые выравнивали и обчищали то, что мною было сделано вчерне.

По прошествии месяца, когда все было готово, я отправился в столицу получить приказания его величества и попрощаться с ним. Император с августейшей семьей вышли из дворца: я лег на землю, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне; то же сделали императрица и все принцы крови. Его величество подарил мне пятьдесят кошельков с двумястами *спругов* в каждом, свой портрет



во весь рост, который я тотчас спрятал себе в перчатку для большей сохранности. Но весь церемониал моего отъезда был так сложен, что сейчас я не буду утомлять читателя его описанием.

Я погрузил в бот сто воловьих и триста бараньих туш, соответствующее количество хлеба

и напитков, и столько жареного мяса, сколько могли мне приготовить четыреста поваров. Кроме того, я взял с собою шесть живых коров и два быка и столько же овец с баранами, чтобы привезти их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собою большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увезти с собою с десяток туземцев, но император ни за что не согласился на это; не довольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, его величество обязал меня честным словом не брать с собою никого из его подданных даже с их согласия и по их желанию.

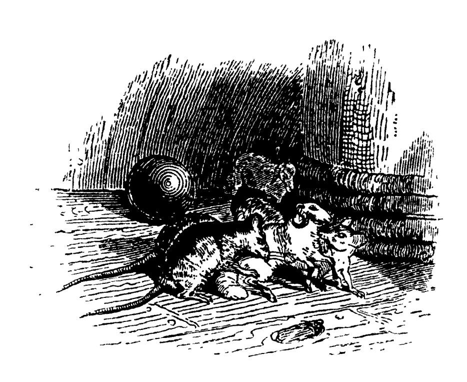
Приготовясь таким образом как можно лучше к путешествию, я поставил паруса 24-го сентября 1701 года в шесть часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около четырех лиг по направлению к северу, в шесть часов вечера я заметил на северо-западе, на расстоянии полулиги, небольшой островок. Я подъехал к нему и бросил якорь с подветренной стороны острова, который был повидимому необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо и, по моему предположению, не меньше шести часов, потому что проснулся часа за два до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав до восхода солнца, я поднял якорь и при попутном ветре взял с помощью карманного компаса тот же курс, что и накануне. Моим намерением было достигнуть по возможности одного из островов, лежащих, по моим соображениям, на северо-восток от Вандименовой Земли. В этот день я ничего не открыл, но около трех часов

пополудни следующего дня, находясь, согласно моим вычислениям, в двадцати четырех лигах от Блефуску, я заметил парус, двигавшийся на юго-восток; сам же я направлялся прямо на восток. Я стал кричать, но ответа не добился. Однако скоро ветер ослабел, и я получил возможность догнать судно. Я поставил все паруса и через полчаса корабль заметил меня, выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и я пристал к нему в шестом часу вечера 26-го сентября. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно, возвращавшееся из Японии северными и южными морями; капитан его, мистер Джон Бидль из Дептфорда, был человек в высшей степени любезный и превосходный моряк. Мы находились в это время под 30° южной широты. Экипаж корабля состоял из пятидесяти человек, и между ними я встретил одного моего старого товарища Питера Вильямса, который дал капитану самые благоприятные обо мне сведения. Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь. Когда я вкратце сказал ему это, он подумал, что я заговариваюсь, и что перенесенные несчастья лишили меня рассудка. Тогда я вынул из кармана коров и овец; это привело его в крайнее изумление и убедило в моей



правдивости. Затем я показал ему золото, полученное от имератора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану два кошелька с двумястами *спругов* в каждом и обещал ему подарить, по прибытии в Англию, стельную корову и овцу.

Но я не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось очень благополучным. Мы прибыли в Даунс 13 апреля 1702 года. В пути у меня была только одна неприятность: корабельные крысы утащили одну мою овечку, и я нашел в щели ее совершенно обглоданные кости. Весь остальной скот я благополучно доставил на берег и в Гринвиче пустил его на лужок; тонкая и нежная трава, сверх моего ожидания, послужила им прекрасным кормом. Я бы не мог сохранить этих животных



в течение столь долгого путешествия, если бы капитан не давал мне своих лучших сухарей, которые я растирал в порошок, размачивал водою и в таком виде давал им. В продолжение моего недолгого пребывания в Англии я собрал значительную сумму денег, показывая этих животных многим знатным лицам и простому народу, а перед началом второго путешествия продал их за шестьсот фунтов. Возвратившись в Англию из последнего путешествия, я нашел уже довольно большое стадо; особенно расплодились овцы; и я надеюсь, что они принесут значительную пользу шерстопрядильной промышленности,* благодаря необыкновенной тонине своей шерсти.

Я оставался с женой и детьми не больше двух месяцев, потому что мое ненасытное желание видеть чужие страны не давало мне покоя, и я не мог усидеть дома. Я оставил жене полторы тысячи фунтов и водворил в хорошем доме в Редриффе. Остальное свое имущество, частью в деньгах, частью в движимости, я увез с собою в надежде приумножить его. Старший

мой дядя Джон завещал мне поместье недалеко от Эппинга, приносившее в год до тридцати фунтов дохода, столько же дохода я получал от бывшей у меня в долгосрочной аренде харчевни *Черный Бык* в Феттер-Лэне. Таким образом, я не боялся, что оставляю семью на попечение прихода. Мой сын Джонни, названный так в честь своего дяди, посещал школу грамоты и был хорошим учеником. Моя дочь Бетти (которая теперь замужем и имеет детей) училась швейному мастерству. Я попрощался с женой, дочерью и сыном, причем дело не обошлось без слез с обеих сторон, и сел на купеческий корабль *Адвенчер*, вместимостью в триста тонн; назначение его было Сюрат, капитан—Джон Николес из Ливерпуля. Но отчет об этом путешествии составит вторую часть моих странствований.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

# ПУТЕШЕСТВИЕ В БРОБДИНГНЕГ

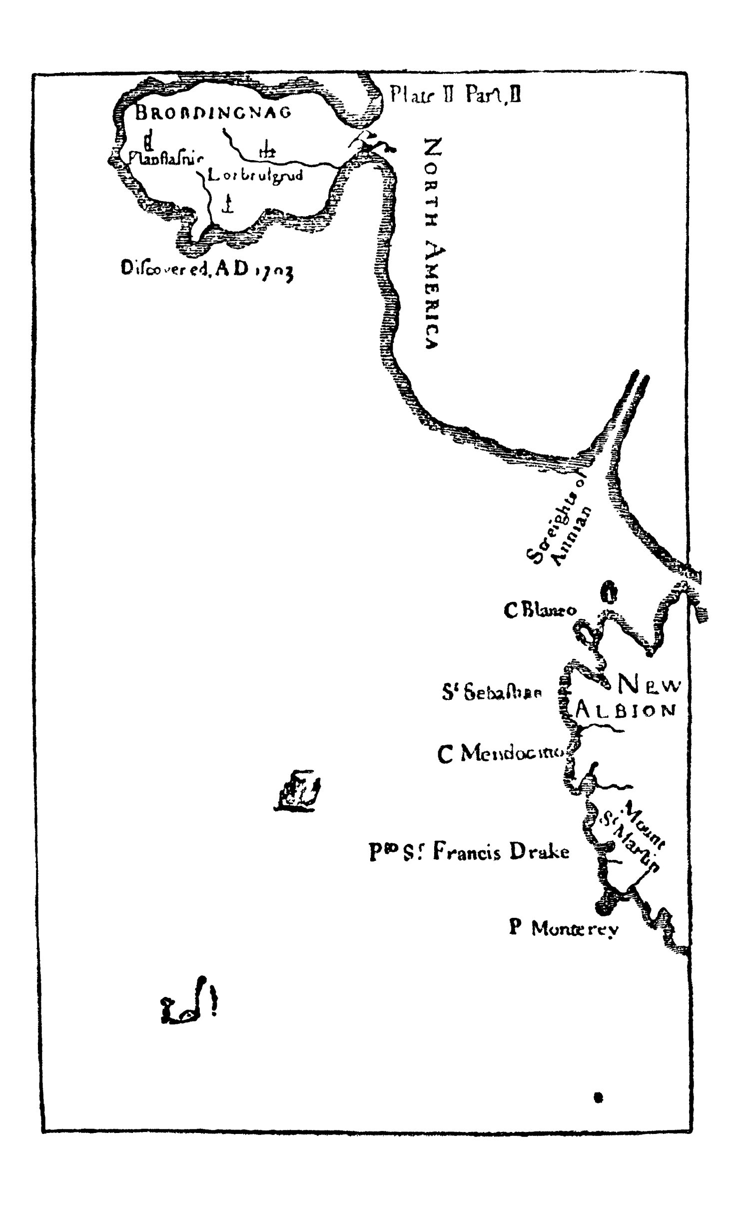


Plate II Part, II
BROBDINGNAG
Flanflasnic
Lorbrulgrud
Discovered, A D 1703
NORTH AMERICA
Streights of Annian
C Blanco
New Albion
St Sebastian
C Mendocino
Mount St Martin
Pto Sr Francis Drake
P Monterey



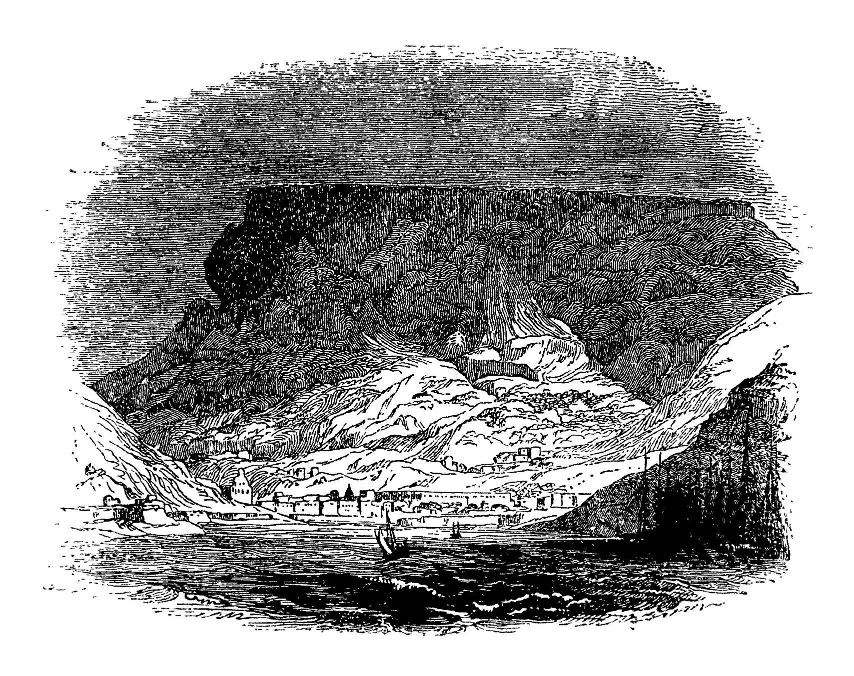
## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Описание сильной бури. Посылка баркаса за пресной водой. Автор отправляется на нем для исследования страны. Он оставлен на берегу, его подбирает один туземец и относит к фермеру. Прием автора на ферме и различные происшествия, случившиеся там. Описание жителей.*



ado думать, что сама природа и судьба предназначили меня к деятельной и беспокойной жизни, потому что через два месяца после возвращения домой, 20-го июня 1702 года, я снова оставил отечество и сел в Даунсе на корабль *Адвенчер,* отправлявшийся в Сюрат под командой капитана Джона Николеа из Корнуэльса. Ветер был попутный до мыса Доброй Надежды, где мы бросили якорь, чтобы

запастись свежей водой. Но на корабле открылась течь, мы выгрузили товары и зазимовали, потому что капитан заболел перемежающейся лихорадкой, и мы не могли покинуть мыс до конца марта, когда мы поставили, наконец, паруса и благополучно



совершили переход до Мадагаскарского пролива. Но когда мы вышли к северу от Мадагаскара и находились приблизительно на 5° южной широты, то умеренные северные и западные ветры,

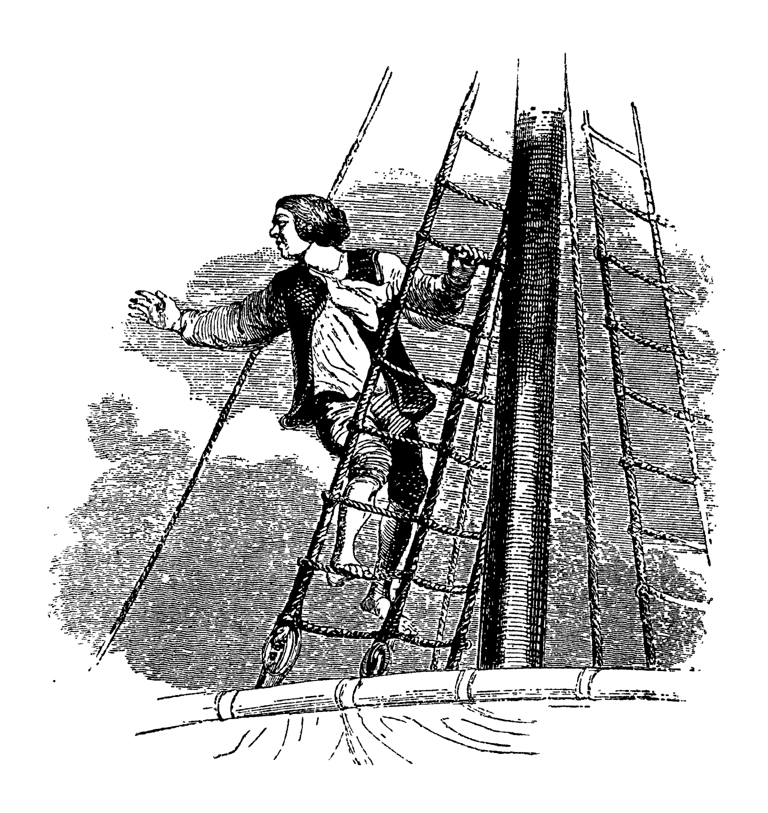
по наблюдениям моряков постоянно дующие в этом поясе с начала декабря и до начала мая. 19-го апреля вдруг сменились гораздо более сильным ветром, налетевшим прямо с запада и продолжавшимся двадцать дней подряд. Нас занесло за это время восточнее Молукских островов, на 3 градуса к северу от экватора, как выходило по вычислениям капитана, сделанным 2-го мая,* когда ветер прекратился и наступил полный штиль, немало меня обрадовавший. Но капитан, человек опытный в плавании по этим морям, приказал всем нам приготовиться к буре, которая действительно и разразилась на следующий же день, когда поднялся южный ветер, известный под именем муссона.

Видя, что ветер сильно крепчает,* мы убрали блинд и приготовились убавить фок-зейль. Но погода становилась хуже; осмотрев, прочно ли привязаны пушки, мы убавили бизань. Корабль находился в открытом море, и было решено лучше итти по ветру, чем лечь в дрейф. Мы взяли рифы от фок-зейля и поставили его, затем натянули шкот. Румпель лежал на полном ветре. Корабль бодро держался. Мы закрепили спереди нирал, но парус разорвался. Тогда мы спустили рею, сняли с нее парус и весь такелаж. Буря была ужасная, море сильно бушевало. Мы натянули тали у ручки румпеля и пришли на помощь рулевому. Мы не думали спускать брамстеньги, потому что корабль шел по ветру, а известно, что брамстеньги помогают управлению кораблем и увеличивают его ход, тем более, что перед нами было открытое море. Когда буря стихла, поставили грот и фок и легли в дрейф.

Затем подняли бизань, большой и малый марсели. Мы шли на северо-восток, при юго-западном ветре. Мы укрепили швартовы к штирборту, ослабили брасы у рей за ветром, сбрасонили под ветер и крепко притянули булиня, закрепив их. Мы маневрировали бизанью, стараясь сохранить ветер и поставить столько парусов, сколько могли выдержать корабельные мачты.

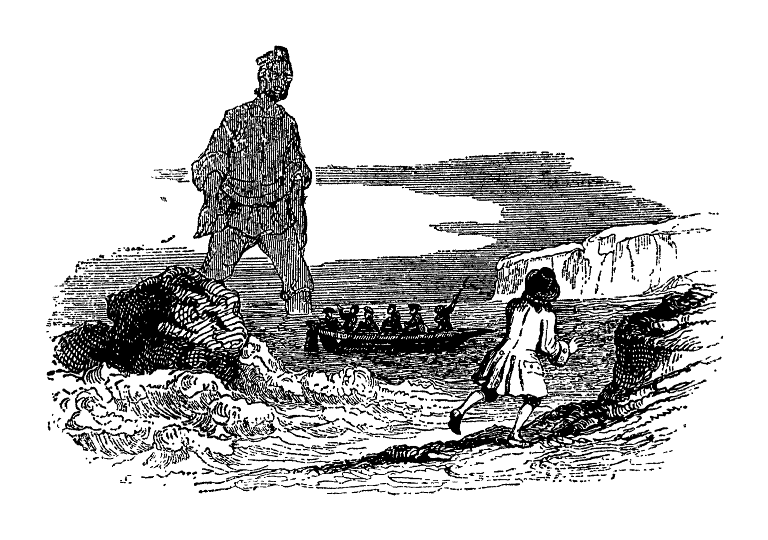
Во время этой бури, сопровождавшейся сильным З.-Ю.-З. ветром нас отнесло, по моим вычислениям, по крайней мере на пятьсот лиг к востоку, так что самые старые и опытные моряки не могли сказать, в какой части света мы находимся. Провианта у нас было вдоволь, корабль в хорошем состоянии, экипаж совершенно здоров, и только ограниченность запасов пресной воды внушала нам сильное беспокойство. Мы сочли за лучшее держаться прежнего направления, нежели отклоняться более к северу, так как при этом нас могло унести в северо-западные области Великой Татарии или к Ледовитому морю.

16-го июня 1703 года стоявший на брам-стеньге юнга увидел землю. 17-го мы подошли к острову или континенту мы не знали), на южной стороне которого выдавалась в море полоса земли и виднелась бухта, но не такой глубины, чтобы в нее мог войти корабль более ста тонн водоизмещения. Мы бросили якорь на расстоянии лиги от этой бухты, и капитан послал баркас с десятком хорошо вооруженных людей, снабдив их сосудами для воды, если таковая будет ими найдена. Я попросил у капитана позволения присоединиться к ним, чтобы



осмотреть страну и сделать открытия, какие будут в моих силах. Прибыв к берегу, мы не нашли ни реки, ни источника и ни малейших признаков населения. Поэтому матросы разбрелись по побережью в поисках за пресной водой, а я отправился один в противоположную сторону,

но на расстоянии мили кругом тянулись все те же бесплодные и скалистые места. Почувствовав усталость и не находя ничего любопытного, я стал медленно возвращаться к бухте; море широко открывалось передо мною, и к немалому удивлению я увидел, что наши матросы уже сели в баркас, и гребут что есть мочи по направлению к кораблю. Я уже собирался окликнуть их, хотя это было и бесполезно, как вдруг за-



метил, что их энергично преследует в море человек исполинского роста; вода едва доходила ему до колен, и он делал огромные шаги, но так как наши успели отъехать не меньше, чем на поллиги от него, и море кругом было по-

крыто острыми скалами, то чудовище не могло догнать лодку. Все это мне рассказали потом, а в тот момент я не имел мужества наблюдать исход погони, но со всех ног бросился удирать; запыхавшись, я взобрался на крутой холм, откуда мог обозреть окрестности. Земля кругом была хорошо возделана, но меня поразила высота травы на лугах, достигавшая двадцати футов.

Я вышел на большую дорогу, так, по крайней мере, мне казалось, хотя для туземцев эта дорога была только тропинкой, пересекавшей ячменное поле. В течение некоторого времени я почти ничего не мог видеть по сторонам, потому что приближалось время жатвы, и ячмень был высотой футов сорок. Только через час я достиг конца этого поля, обнесенного изгородью в сто двадцать футов вышины. Что касается деревьев, то они были так велики, что я совсем не мог определить их высоту. Чтобы попасть с этого поля на соседнее, нужно было подняться на четыре ступени, да еще перешагнуть через огромный камень. Мне не по силам было взобраться на эту лестницу, потому что каждая ступень имела шесть футов вышины, а верхний камень—больше двадцати. Поэтому я старался найти какую-нибудь щель в изгороди, как вдруг увидел, что с соседнего поля к лестнице подходит исполин, такой же огромный, как и тот, который гнался за нашим баркасом. Ростом он был с каланчу, а каждый его шаг, насколько я мог прикинуть, равнялся десяти ярдам. Объятый ужасом и изумлением я поспешно убежал и спрятался в ячмене, от-



куда увидел, как, взобравшись на ступеньки, великан оглянулся на соседнее поле направо и стал звать кого то голосом, звучавшим во много раз громче, чем наш голос в рупор; он раздавался с такой высоты, что сначала я принял его за раскаты грома. На зов к нему тотчас подошли семь таких же чудовищ с серпами в руках, величиной с шесть наших кос. Эти люди были одеты беднее первого и являлись повидимому его слугами или работниками, потому что после нескольких его слов отправились жать на то поле, где я спрятался. Я старался держаться от них подальше, но мог двигаться лишь с большим трудом, так как в некоторых местах расстояние между стеблями было не больше фута, и я едва пробирался между ними. Тем не менее я кое-как добрался до части поля, где ячмень был повален дождем и ветром. Здесь я не в силах был сделать ни шагу дальше; стебли так переплелись, что не было никакой возможности пробраться между ними, а усики поваленных колосьев были так крепки и остры, что прокалывали мне платье и вонзались в тело. Между тем я слышал, что жнецы находятся от меня не дальше ста ярдов. Разбитый усталостью и уничтоженный горем и отчаянием, я лег в борозду и от всего сердца желал смерти. Я оплакивал покинутую жену и сирот детей. Я горько сетовал на свои безрассудство и упрямство, побудившие меня предпринять второе путешествие, вопреки советам родных и друзей. В этом подавленном состоянии я невольно вспомнил Лиллипутию, жители которой смотрели на меня, как на ве-

личайшее чудо в свете, где я был способен тащить одной рукой весь императорский флот и совершить много других подвигов, которые увековечены в летописях этой империи и покажутся невероятными потомству, хотя они и засвидетельствованы миллионами очевидцев. Я представил себе унижение, ожидающее меня у этого народа, где я буду казаться таким же ничтожным существом, каким казался бы среди нас любой лиллипут. Но без сомнения это было еще не самое худшее из несчастий, ожидавших меня; ведь если человеческая дикость и жестокость, как свидетельствует наблюдение, возрастают пропорционально росту, то чего мне было ожидать теперь, кроме печальной участи быть съеденным первым же огромным варваром, которому случится поймать меня? Несомненно, философы правы, утверждая, что понятия великого и малого суть понятия относительные. Быть может судьбе угодно будет устроить так, что и лиллипуты встретят людей, столь же малых сравнительно с ними, как они были малы по сравнению со мной. И кто знает, быть может в какой-нибудь отдаленной и неизвестной нам части света существует порода смертных, превосходящих своим ростом даже этих гигантов?

Таким философским размышлениям предавался я, несмотря на овладевшие мной ужас и смятение. В это время один из жнецов подошел на десять ярдов к борозде, в которой я лежал; испугавшись, что при следующем его шаге я буду растоптан или разрезан пополам серпом, я в ужасе закричал благим матом. Великан

остановился, внимательно осмотрелся кругом и наконец заметил меня на земле. С минуту он наблюдал меня с тем опасливым видом, какой



бывает у нас, когда мы хотим схватить какого-нибудь зверька так, чтобы он не оцарапал или не укусил нас; я сам хватал иногда таким образом хорьков в Англии. Наконец, он отважился взять меня за талию большим и указательным пальцами и поднести к глазам на расстояние трех ярдов, чтобы получше рассмотреть. Я угадал его намерение, и у меня хватило настолько присутствия духа, что я решил не оказывать ни малейшего сопротивления, когда он держал меня так на высоте шестидесяти футов от земли, хотя он страшно сдавил мне ребра, боясь, чтобы я не выскользнул из его пальцев. Я позволил себе только поднять глаза к солнцу, умоляюще сложить руки и сказать несколько слов смиренным печальным тоном, подобающим положению, в котором я находился. Я все время был в страхе, что великан швырнет меня о землю, как мы швыряем противное насекомое, собираясь раздавить его. Но, благодарение моей счастливой звезде, мой голос и жесты повидимому понравились ему, и он начал рассматривать меня как диковину, изумляясь моей членораздельной речи, смысл которой был ему непонятен. Однако я не мог больше удержаться от стона и слез и, повернув голову к бокам, старался повыразительнее показать ему, что своими пальцами он причиняет мне нестерпимую боль. Повидимому он понял мою мимику, так как, подняв полу своего камзола, осторожно положил меня туда и бегом пустился со мной к своему хозяину, тому самому зажиточному фермеру, которого я прежде других увидел на поле.

Фермер, получив от своего работника (как я заключил из их разговора) все сведения обо мне, какие тот мог дать ему, взял соломинку, толщиною в трость, и стал поднимать ею полы моего кафтана: очевидно, он полагал, что природа одарила меня чем то в роде оболочки. Затем он дунул на мои волосы, чтобы лучше рассмотреть лицо. Созвав работников, он спросил их (как я потом узнал), не случалось ли им находить когда-нибудь на полях других зверьков, похожих на меня. Затем он осторожно опустил меня на землю и поставил на четвереньки; но я тотчас поднялся на ноги и стал расхаживать взад и вперед, желая показать этим людям, что у меня нет ни малейшего намерения бежать. Они сели в кружок, чтобы лучше наблюдать за моими движениями. Я снял шляпу и сделал глубокий поклон фермеру. Затем, став на колени, я поднял к небу глаза и руки и как можно громче произнес несколько слов; я вынул из кармана кошелек с золотом и с видом полной покорности вручил его хозяину. Тот принял кошелек в ладонь, поднес его к самым глазам, чтобы увидеть, что это такое, затем несколько раз потыкал его кончиком булавки, которую вынул у себя из рукава, но так и не понял его назначения. Тогда я сделал знак, чтобы он положил руку на землю; затем, взяв кошелек и открыв его, высыпал к нему на ладонь все золото. Там было шесть испанских золотых, в четыре пистоли каждый, и двадцать или тридцать монет помельче. Послюнив кончик мизинца, он поднял им сперва одну большую монету, потом другую; но видно было,



что он остался в полном неведении, что это за вещицы. Он сделал мне знак положить монеты обратно в кошелек и спрятать кошелек в карман, что я в конце концов и сделал после неоднократных бесплодных предложений принять от меня кошелек в подарок.

Мало-по-малу фермер убедился, что имеет дело с разумным существом. Он часто заговаривал со мною, но шум его голоса отдавался у меня в ушах подобно шуму водяной мельницы, хотя слова произносились им достаточно внятно. Я отвечал на разных языках, как можно громче, и он часто приближал свое ухо на два ярда ко мне, но все было напрасно, потому что мы совершенно не понимали друг друга. Наконец, фермер приказал слугам вернуться к своей работе, вынул из кармана носовой платок, сложил его вдвое, покрыл им левую руку, которую положил на землю ладонью вверх, и сделал мне знак взойти на нее, что было не трудно исполнить, так как его рука была толщиною не более фута. Я счел благоразумным повиноваться и, чтобы не упасть, лег на платок; для большей безопасности фермер закутал меня в него, как в одеяло, и в таком виде понес к себе в дом. Придя туда, он кликнул свою жену и показал меня ей; но та завизжала и попятилась, точь в точь как английские дамы при виде жабы или паука. Однако, видя мое примерное поведение и полное повиновение всем знакам ее мужа, она скоро привыкла ко мне и стала обходиться со мной очень ласково.

Был полдень, и слуга подал обед, который состоял (в соответствии со скромной обстановкой земледельца) только из одного большого куска говядины на блюде около двадцати четырех футов в диаметре. За стол сели фермер, его жена, трое детей и старуха бабушка. Фермер посадил меня около себя на столе, возвышавшемся на тридцать футов от пола. Боясь

свалиться с такой высоты, я отодвинулся подальше от края. Фермерша отрезала ломтик говядины, отломала кусочек хлеба и положила все это передо мною. Сделав ей глубокий поклон, я вынул свою вилку и нож и начал есть, что доставило всем большое удовольствие. Хозяйка велела подать служанке ликерную рюмочку, вместимостью около двух галлонов, и налила в нее какого то питья. С большим тру-



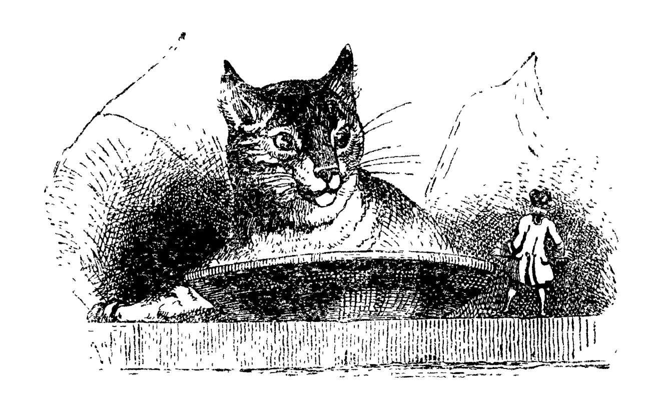
дом я взял рюмку обеими руками и самым почтительным образом выпил за здоровье хозяйки, громко произнеся тост по английски; это заставило от души рассмеяться всех присутствующих, и своим хохотом они едва не оглушили меня. Напиток, напоминавший слабый сидр, был довольно приятен на вкус. Затем хозяин знаками пригласил меня на свою сторону. Про-



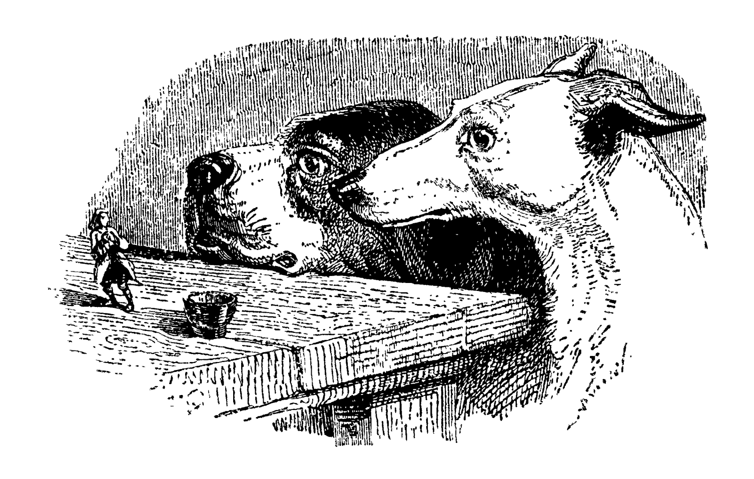
ходя по столу, я споткнулся о корку хлеба и грохнулся носом, но не ушибся; благосклонный читатель легко поймет и извинит мою неловкость, если примет во внимание, в каком

удивлении я пребывал все время. Немедленно вскочив на ноги и увидя, что мое падение сильно встревожило этих добрых людей, я взял шляпу (которую, как подобает благовоспитанному человеку, я держал под мышкой), помахал ею над головой и трижды прокричал ура в знак того, что все обошлось благополучно. Но когда я подошел к моему хозяину (так я буду называть впредь фермера), то сидевший подле него младший сын, десятилетний шалун, быстро схватил меня за ноги и поднял так высоко, что у меня захватило дух. К счастью отец выхватил меня из рук сына и дал ему такую оплеуху, которая наверное сбросила бы с лошадей целый эскадрон европейской кавалерии; он приказал также мальчику выйти из-за стола. Но, не желая оставлять в ребенке злобное к себе чувство и вспомнив, как обыкновенно бывают жестоки наши дети к воробьям, котятам и щенкам, я упал на колени и, указывая пальцем на мальчика, изо всех сил старался дать понять моему хозяину, что прошу его простить сына. Отец смягчился, и мальчишка снова занял свое место. Тогда я подошел к нему и поцеловал его руку, которую хозяин мой взял и нежно погладил ею меня.

Во время обеда к хозяйке вскочила на колени ее любимая кошка. Я услышал позади себя сильный шум, точно десяток чулочных вязальщиков работали на станках. Обернувшись, я увидел, что это мурлычет кошка, которую кормила и ласкала хозяйка; судя по голове и лапе, она была повидимому в три раза больше нашего быка. Свирепый вид этого животного совсем



расстроил меня, несмотря на то, что я находился на другом конце стола на расстоянии пятидесяти футов от него, и хозяйка крепко держала кошку, боясь, как бы она не прыгнула и не схватила меня своими когтями. Однако мои опасения оказались неосновательны: хозяин поднес меня к кошке на расстояние трех ярдов, и она не обратила на меня ни малейшего внимания. Мне часто приходилось слышать и во время путешествий убедиться на опыте, что бежать или выказывать страх перед хищным животным есть верный способ подвергнуться его преследованию или нападению, и потому в данном опасном положении я решил не проявлять ни малейшего беспокойства. Пять или шесть раз я бесстрашно подходил к самой морде кошки на расстояние полуярда, и она пятилась назад, словно была больше испугана, чем я. Во время того же обеда, как это обыкно-



венно бывает в деревенских домах, в комнату вбежали три или четыре собаки, но они мало испугали меня. Одна из них была дворовая, величиною в четыре слона, другая — борзая, выше дворовой, но тоньше ее.

В самом конце обеда вошла кормилица с годовалым ребенком на руках, который немедленно заметил меня и, согласно ораторскому искусству детей, поднял такой вопль, что его наверное услышали бы с Лондонского моста, если бы он находился в Челси: он принял меня за игрушку. Хозяйка, руководясь чувством материнской нежности, взяла меня и поставила перед ребенком, и тот тотчас же схватил меня за талию и стал засовывать к себе в рот мою голову; тогда я завопил таким благим матом, что ребенок в испуге выронил меня, и я не-



пременно сломал бы себе шею, если бы мать не подставила свой передник. Чтобы успокоить младенца, кормилица стала забавлять его погремушкой, которая имела вид пустого сосуда, наполненного камнями, и была привязана канатом к поясу ребенка. Но все было напрасно, так что оставалось последнее средство унять его — дать ему грудь. Должен признаться, что никогда в жизни не испытывал я такого отвращения, как при виде этой чудовищной груди,

и нет предмета, с которым бы я мог сравнить ее, чтобы дать любопытному читателю слабое представление об ее величине, форме и цвете. Скажу только, что она образовывала выпуклость вышиною в шесть футов, а по окружности была не меньше шестнадцати футов. Сосок был величиной почти в пол моей головы; его поверхность, как и поверхность всей груди, до того была испещрена пятнами, прыщами и веснушками, что нельзя было себе представить более тошнотворного зрелища. Я наблюдал его совсем вблизи, потому что кормилица, давая грудь, села поудобнее как раз около меня. Описанное зрелище навело меня на некоторые размышления по поводу нежности и белизны кожи наших английских дам. Я полагаю, что эти дамы кажутся нам такими красивыми только потому, что они одинакового роста с нами и их изъяны можно видеть не иначе как в микроскоп, который ясно показывает, как груба, толста и скверно окрашена самая нежная и белая кожа.

Во время моего пребывания в Лиллипутии мне казалось, что нет в мире людей с таким прекрасным цветом лица, каким природа одарила эти крошечные создания. Когда я беседовал на эту тему с одним ученым лиллипутом, моим близким другом, то он сказал мне, что мое лицо производит на него более приятное впечатление издали, когда он смотрит на меня с земли, чем с близкого расстояния, и откровенно признался мне, что, когда я в первый раз взял его на руки и поднес к лицу, то своим видом оно ужаснуло его. По его словам, у меня

на коже можно заметить большие отверстия, цвет ее представляет очень неприятное сочетание разных красок, а волосы на бороде кажутся в десять раз толще щетины кабана; между тем, позволю себе заметить, что я ничуть не безобразнее большинства моих соотечественников, и, несмотря на долгие путешествия, загорел очень мало. С другой стороны, беседуя со мной о тамошних придворных дамах, ученый этот говорил мне, что у одной лицо покрыто веснушками, у другой слишком велик рот, у третьей большой нос; а я ничего этого не замечал. Конечно, эти рассуждения в достаточной мере банальны, но я не мог удержаться от них, чтобы читатель не подумал, будто великаны, к которым я попал, действительно очень безобразны. Напротив, я должен отдать им справедливость и сказать, что это красивая раса; и в частности, черты лица моего хозяина, несмотря на то, что он простой фермер, казались мне очень правильными, когда я видел его на высоте шестидесяти футов.

После обеда хозяин отправился к рабочим, наказав жене, насколько можно было судить по его голосу и жестам, обращаться со мной позаботливее. Я очень устал и хотел спать; заметя это, хозяйка положила меня на свою постель и укрыла чистым белым носовым платком, который однако был больше и толще паруса военного корабля.

Я проспал около двух часов и мне снилось, что я дома в кругу семьи. Это еще больше омрачило мое печальное настроение, когда я проснулся и увидел, что нахожусь один в об-

ширной комнате, шириною в двести или триста футов, а вышиною более двухсот, и лежу на кровати в двадцать ярдов ширины. Моя хозяйка отправилась по делам и оставила меня одного. Кровать возвышалась над полом на восемь ярдов; между тем, некоторые естественные потребности побуждали меня сойти с кровати. Позвать на помощь я не решался, да это было и бесполезно, потому что мой слабый голос не мог быть услышан на громадном расстоянии, отделявшем мою комнату от кухни, где находилась семья. Когда я пребывал в этом затруднительном положении, две крысы взобрались по пологу на постель и стали бегать по ней взад и впе-



ред. Одна подбежала к самому моему лицу, я в ужасе вскочил и вынул для защиты тесак. Эти гнусные животные имели дерзость аттаковать меня с обеих сторон, и одна крыса даже уперлась передними лапами в мой воротник; к счастью, мне удалось распороть ей брюхо прежде, чем она успела нанести мне какой-нибудь вред. Она упала к моим ногам, а другая, видя печальную участь товарки, обратилась в бегство, получив в спину рану, которою я успел угостить ее, так что и она оставила за собою кровавый след. После этого подвига я стал прохаживаться взад и вперед по кровати, чтобы перевести дух и притти в себя. Крысы эти были величиной с большую дворнягу, но отличались гораздо большим проворством и лютостью, так что, если бы, ложась спать, я снял свой тесак, они несомненно растерзали бы меня на куски и сожрали. Я измерил хвост мертвой крысы и нашел, что он равен двум ярдам без одного дюйма. Однако у меня недостало присутствия духа сбросить крысу с постели, где кровь все еще шла из нее; заметив в ней некоторые признаки жизни, я сильным ударом разрубил ей шею и доканал ее.

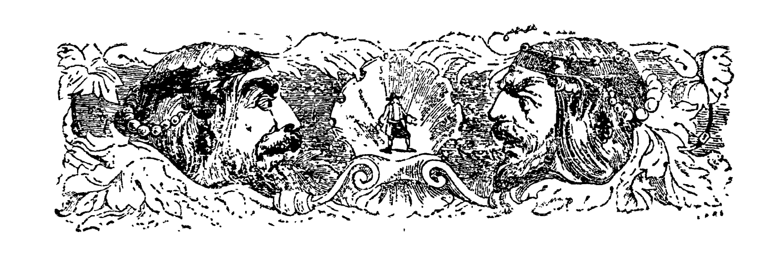
Вскоре после этого в комнату вошла хозяйка. Увидя, что я весь окровавлен, она поспешно бросилась ко мне и взяла меня на руки. Я указал на убитую крысу, улыбкой и другими знаками давая ей понять, что сам я не ранен, чему она сильно обрадовалась. Позвав служанку, она велела ей взять крысу щипцами и выбросить за окно, а сама поставила меня на стол; тогда я показал ей окровавленный тесак, вытер

его полой кафтана и вложил в ножны. Но я чувствовал настоятельную потребность сделать то, чего никто не мог сделать вместо меня, и поэтому всячески старался дать понять хозяйке, что хочу спуститься на пол. Когда это желание было исполнено, стыд помешал мне изъясниться более наглядно, и я ограничился тем, что, указывая пальцем на дверь, поклонился несколько раз. С большим трудом добрая женщина поняла наконец, в чем дело; взяв меня в руку, она отнесла в сад и там поставила на землю. Отойдя ярдов на двести, я сделал знак, чтобы она не смотрела на меня, спрятался между двумя листками щавеля и совершил свои нужды.

Надеюсь, благосклонный читатель извинит меня за то, что я останавливаю его внимание на такого рода подробностях; однако, сколь ни незначительными могут показаться эти подробности умам пошлым и низменным, они несомненно помогут философу обогатиться новыми мыслями и применить их на благо общественное и личное, попечение о коем является моей единственной целью при опубликовании описания как настоящего, так и других моих путешествий; больше всего забочусь я в них о правде, нисколько не стараясь блеснуть ни эрудицией, ни слогом. Все, что случилось со мной во время этого путешествия, произвело такое глубокое впечатление на мой ум и так отчетливо удержалось в моей памяти, что, поверяя эти события бумаге, я не могу опустить ни одного существенного обстоятельства. Тем не менее, после внимательного просмотра своей рукописи,

я вычеркнул много мелочей, содержавшихся в первоначальной редакции, из боязни показаться скучным и мелочным, в чем так часто, может быть не без основания, обвиняют путешественников.





## ГЛАВА ВТОРАЯ

*Портрет дочери фермера. Автора отвозят в соседний город, а потом в столицу. Подробности его путешествия.*



Моя хозяйка имела девятилетнюю дочь, девочку очень развитую для своего возраста, искусно владевшую иголкой и с большим вкусом одевавшую свою куклу. Вместе с матерью она смастерила мне на ночь постель в колыбельке куклы; колыбелька эта была положена в небольшой ящик из комода, а ящик поставлен на подвешенную к потолку полку, чтобы уберечь меня от крыс. Такова была моя постель все время, пока *я жил* с этими людьми, но в нее вносились некоторые улучшения, по мере того как *я*, начав усваивать их язык, мог

объяснять свои нужды. Девочка была настолько сообразительна, что, увидя раз или два, как я одеваюсь и раздеваюсь, могла и сама одевать и раздевать меня, но я никогда не злоупотреблял ее услугами и предпочитал, чтобы она



позволяла мне делать то и другое самому. Она сшила мне семь рубашек и другое белье из самого тонкого полотна, какое только можно было найти, но, говоря без преувеличения, это полотно было гораздо толще нашей дерюги;

она постоянно собственноручно стирала его для меня. Она была также моей учительницей и обучила меня своему языку: когда я пальцем указывал на какой-нибудь предмет, она называла его, так что через несколько дней я мог попросить все, что мне было нужно. Она имела прекрасный характер и была для своих лет небольшого роста, всего около 40 футов. Она дала мне имя *Грильдриг*, которое утвердилось за мной сперва в семье, а потом и во всем королевстве. Это слово означает то же, что латинское *homunculus*, итальянское — *homunceletino* и английское *mannikin*. В этой стране я был обязан главным образом ей сохранением своей жизни. Мы не разлучались никогда во все время моего пребывания там. Я назвал ее моей *Глюмдальклич*, то есть нянюшкой. Я заслужил бы упрек в глубокой неблагодарности, если бы не упомянул здесь о заботах и теплой ко мне привязанности Глюмдальклич, и мне от души хотелось бы отблагодарить ее по заслугам вместо того, чтобы стать невольным, но пагубным орудием постигшей ее немилости, как я имею большие основания опасаться.

Вскоре после моего прибытия между соседями хозяина начали распространяться слухи, что он нашел в поле странного зверька, величиной почти со *сплекнока*, но по виду своему совершенно похожего на человека; говорили, что этот зверек подражает всем действиям человека, что он как будто даже говорит на каком-то собственном языке и уже выучился произносить несколько слов на местном наречии; что он ходит, держась прямо на двух ногах, что он ручной, по-

корный, идет на зов и делает все, что ему приказывают; что строение его очень нежное, а лицо белее, чем у дворянской трехлетней девочки. Другой фермер, близкий сосед и большой приятель моего хозяина, пришел к нему разведать, насколько справедливы все эти слухи. Меня немедленно вынесли и поставили на стол, где я расхаживал по команде, вынимал из ножен мой тесак и вкладывал его обратно, делал реверанс гостю моего хозяина, спрашивал на его языке, как он поживает, говорил, что рад его видеть, — словом, в точности исполнял все, чему научила меня моя нянюшка. Чтобы лучше рассмотреть меня, фермер этот, человек старый и слабый глазами, надел очки; взглянув на него, я не мог удержаться от смеха, ибо глаза его казались похожими на полную луну, когда она светит в комнату в два окошка. Домашние, поняв причину моей веселости, стали тоже смеяться, и старикан оказался настолько глуп, что рассердился и затаил в себе обиду. Он был известен как большой скряга, и на мое несчастье эта репутация оказалась вполне заслуженной, потому что он тут же дал моему хозяину проклятый совет показывать меня как диковину на ярмарке в ближайшем городе, до которого было от нашего дома полчаса езды, то есть около двадцати двух миль. Я догадался, что затевается какое-то дурное дело, когда увидел, как старик долго перешептывается с хозяином, указывая по временам на меня; в страхе мне показалось даже, что я уловил и понял несколько слов. На другой день утром моя нянюшка Глюмдальклич рассказала мне, в чем



дело, искусно выведав все у матери. Прижав меня к груди, бедная девочка заплакала от стыда и горя. Она боялась, как бы мне не вышло какого-нибудь худа от этих грубых неотесанных людей, которые, беря меня на руки, могли задушить меня или причинить мне увечье. С другой стороны, зная мою природную скромность и чувствительность в делах чести, она предвидела, в каком я буду негодовании, если меня станут показывать за деньги на потеху толпы. Она сказала, что ее папа и мама обещали подарить ей Грильдрига, но она видит теперь, что

они хотят поступит с ней так же, как в прошлом году, когда подарили ягненка: как только он откормился, его продали мяснику. Признаюсь откровенно, сам я был меньше огорчен этими известиями, чем моя нянюшка. Я твердо надеялся, — и эта надежда никогда не покидала меня, — что в один прекрасный день я верну себе свободу; что же касается позора быть выставленным на показ как чудище, то я чувствовал себя совершенно чужим в этой стране и полагал, что в моем несчастье никто не в праве будет упрекнуть меня, если мне случится возвратиться в Англию, так как даже сам король Великобритании, оказавшись на моем месте, принужден был бы подвергнуться такому же унижению.

Послушавшись совета своего друга, мой хозяин в ближайший базарный день повез меня в ящике в соседний город, взяв с собой и маленькую дочь, мою нянюшку, которую он посадил на седло позади себя. Ящик был закрыт со всех сторон; в нем была только небольшая дверца, чтобы я мог входить и выходить, и несколько отверстий для доступа воздуха. Девочка была настолько заботлива, что положила в ящик стеганное одеяло с кроватки своей куклы, на которое я мог лечь. Все же эта поездка страшно растрясла и утомила меня, несмотря на то, что она продолжалась всего полчаса. Лошадь каждым своим шагом покрывала около сорока футов и бежала такой крупной рысью, что ее движения напоминали мне движения корабля во время бури, который то поднимается волной в гору, то низвергается в бездну, с той только разницей, что они совершались с большей ско-

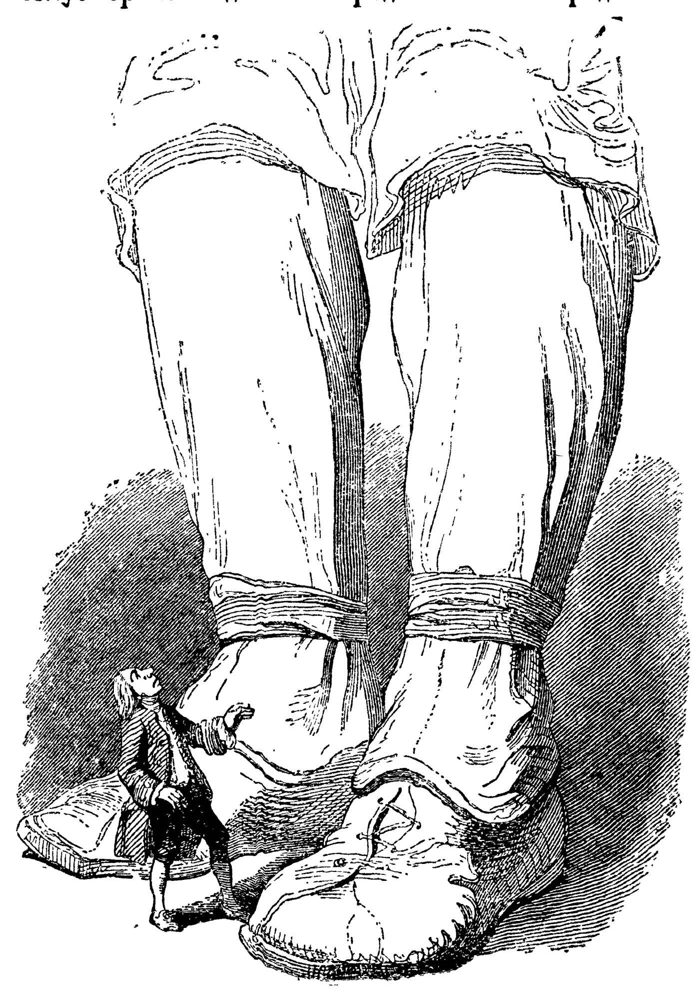
ростью. Сделанный нами путь приблизительно равнялся пути между Лондоном и Сент-Альбансом. Хозяин сошел с коня у гостиницы, где он обычно останавливался; посовещавшись с содержателем гостиницы и сделав некоторые приготовления, он нанял *грультруда*, т. е. глашатая, чтобы объявить по городу о прибытии необыкновенного существа, которое можно будет видеть в гостинице под вывескою Зеленого Орла; существо это не больше *сплекнока* (местного очень изящного зверька в шесть футов длины), всей своей внешностью похоже на человека, умеет произносить несколько слов и проделывает разные забавные штуки.

Меня поставили на стол в самой большой комнате гостиницы, величиной вероятно в триста квадратных футов. Моя нянюшка стояла на табурете возле самого стола, чтобы охранять меня и указывать, что я должен делать. Во избежание толкотни хозяин впускал в комнату не более тридцати человек сразу. По команде девочки я ходил взад и вперед по столу; она задавала мне вопросы, которые, как ей было известно, были мне понятны, и я громко отвечал на них. Несколько раз я обращался к присутствующим, то свидетельствуя им свое почтение, то выражая желание снова их видеть у себя, то произнося еще и другие фразы, которые я выучил. Я брал наперсток, наполненный вином, который Глюмдальклич дала мне вместо рюмки, и выпивал за здоровье публики. Я вынимал тесак и размахивал им, как показывают учителя фехтования в Англии. Моя нянюшка дала мне соломинку, и я проделывал ею упраж-



пения как пикой, искусству владеть которой меня обучали в юности. В этот день было двенадцать перемен зрителей, и каждый раз мне при-

ходилось сызнова повторять те же штуки, так что они страшно надоели мне и утомили до полусмерти. Видевшие представление передавали



обо мне такие чудеса, что народ буквально ломился в гостиницу. Оберегая свои интересы, мой хозяин не позволял никому, кроме дочери, прикасаться ко мне, и для предупреждения опасности скамьи были отставлены далеко от стола. Несмотря на это, какой то школьник запустил мне в голову орех с такой силой, что, не промахнись он, орех этот наверное раскроил бы мне череп, так как величиной он был с нашу



тыкву. Я с удовлетворением увидел, как озорник был отколочен и выгнан вон из залы.

Мой хозяин объявил по городу, что снова будет показывать меня в ближайший базарный

день. Тем временем он изготовил для меня более удобную повозку, в которой я очень нуждался, так как первое путешествие и непрерывное восьмичасовое представление до того изнурили меня, что я насилу стоял на ногах и едва мог выговорить слово. Мне понадобилось целых три дня, чтобы прийти в себя и восстановить свои силы, тем более, что и дома я не знал покоя, так как все соседние дворяне, на сто миль в окружности, наслышавшись обо мне, приезжали к хозяину посмотреть на диковину. Каждый день у меня бывало не менее тридцати человек с женами и детьми (так как страна эта густо населена); и мой хозяин, показывая меня дома, всегда требовал плату за полную залу, хотя бы в ней находилось только одно семейство. Таким образом в течение некоторого времени я почти не имел отдыха (исключая среды — ихнего воскресенья), несмотря на то, что меня не возили в город.

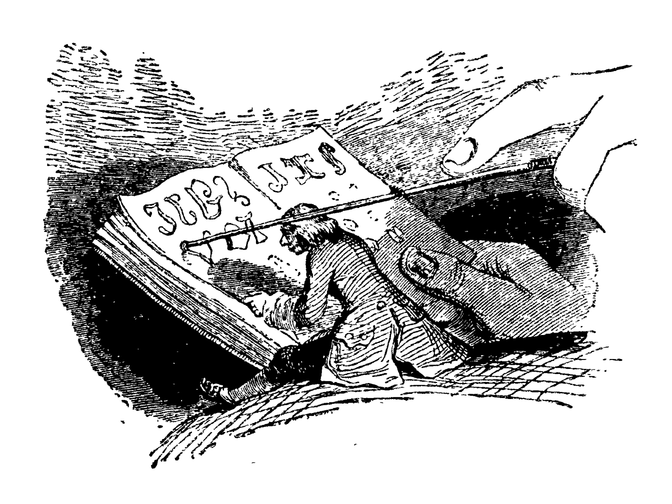
Видя, что я могу принести ему большие барыши, хозяин решил объехать со мною все крупные города королевства. Собрав все необходимое для долгого путешествия и сделав распоряжение по хозяйству, он простился с женой и 17 августа 1703 года, т. е. через два месяца после моего прибытия, мы отправились в столицу, расположенную почти в центре этого государства, на расстоянии трех тысяч миль от нашего дома. Хозяин поместил позади себя свою дочь Глюмдальклич. Она держала меня на коленях в ящике, привязанном к ее талии. Девочка обила стенки ящика самой мягкой материей, какую только можно было найти, а пол устлала

матрацами, поставила мне кроватку куклы снабдила меня бельем и всем необходимым и вообще постаралась устроить меня как можно удобнее. Нас сопровождал один работник, ехавший за нами с багажом.

Мой хозяин собирался показывать меня во всех городах, лежавших на нашем пути; кроме того, он удалялся иногда на пятьдесят и даже на сто миль в сторону от дороги, в какую нибудь деревню или к какому нибудь знатному лицу, если рассчитывал заработать деньги. Мы делали в день не больше ста сорока или ста шестидесяти миль, потому что Глюмдальклич, заботясь обо мне, жаловалась, что она устает от верховой езды. По моему желанию она часто вынимала меня из ящика, чтобы дать подышать свежим воздухом и показать окрестности, но всегда крепко держала меня за помочи. Мы переправились через пять или шесть рек, в несколько раз шире и глубже Нила или Ганга, и едва ли нам встретился хоть один такой маленький ручеек, как Темза у Лондонского моста. Мы были в пути десять недель, и в течение этого времени меня показывали в восемнадцати больших городах, не считая деревень и частных домов.

25 октября мы прибыли в столицу, называемую на тамошнем языке *Лорбрульгруд*, или *Гордость Вселенной*. Мой хозяин остановился на главной улице, недалеко от королевского дворца, и выпустил афиши с точным описанием моей особы и моих талантов. Он нанял большую залу, шириною в триста или четыреста футов, и поставил в ней стол футов шестьдесят в диа-

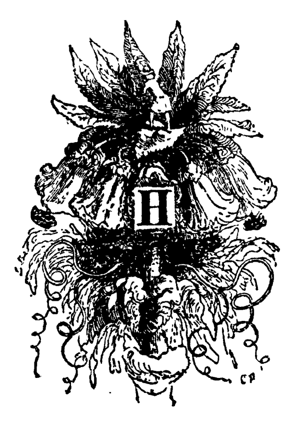
метре, на котором я должен был проделывать свои упражнения; стол этот обнесен был решеткой вышиной в три фута, чтобы предохранить меня от падений. К общему удовлетворению и восхищению, меня показывали по десяти раз в день. В это время я уже довольно сносно говорил на местном языке и превосходно понимал все задаваемые мне вопросы. Мало того, я выучил азбуку и мог читать, чем я обязан моей Глюмдальклич, которая занималась со мной дома, а также в часы досуга во время путешествия. При ней была в кармане книжечка немного побольше атласа Сансона,* заключавшая в себе краткий катехизис для девочек. По этой книге она выучила меня азбуке и чтению.





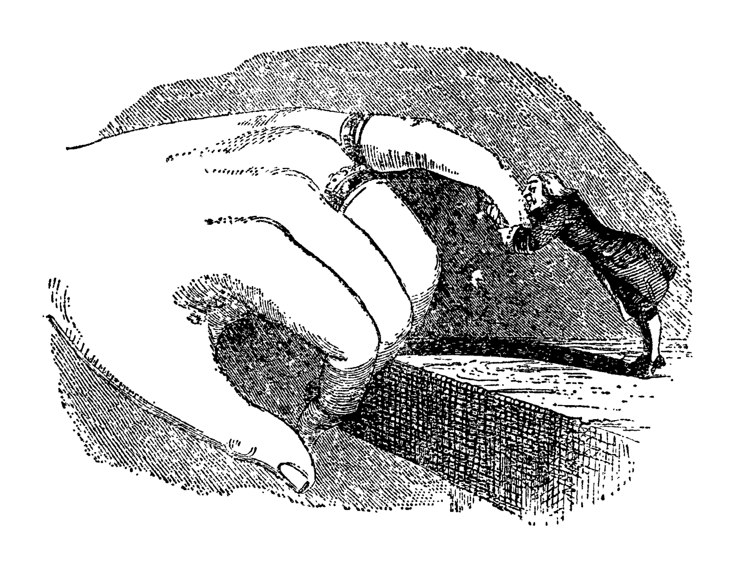
## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Автора требуют ко двору. Королева покупает его у фермера и представляет королю. Автор вступает в диспут с великими учеными его величества. Ему устраивают помещение во дворце. Он в большой милости у королевы. Он защищает честь своей родины. Его ссоры с карликом королевы.*



Непрерывные ежедневные упражнения, продолжавшиеся в течение нескольких недель, сильно подорвали мое здоровье. Чем более я доставлял выгод моему хозяину, тем ненасытнее, он становился. Я совсем потерял аппетит и стал похож на скелет. Заметя это, фермер пришел к заключению, что я скоро умру, и потому решил извлечь из меня все, что только возможно. Когда он пришел к такому выводу, к нему явился *слардрал*, или королевский адью-

тант, с требованием немедленно доставить меня во дворец для развлечения королевы и придворных дам. Некоторые из последних меня уже видели и распустили необыкновенные слухи о моей красоте, хороших манерах и большой сообразительности. Ее величество и ее свита пришли от меня в неописанный восторг. Я упал на колени и умолял оказать мне честь позволить поцеловать ногу ее величества, но



королева милостиво протянула мне мизинец (после того, как меня поставили на стол), который я обнял обеими руками и с глубоким почтением поднес к губам. Она задала мне несколько общих вопросов относительно моей ро-

дины и путешествий, на которые я ответил кратко и точно. Затем она спросила, был ли бы я доволен, если бы меня поселили во дворце. Я низко поклонился королеве и скромно отвечал, что я раб своего хозяина, но что если бы я был свободен распоряжаться своей судьбою, то с радостью посвятил бы свою жизнь на служение ее величеству. Тогда королева спросила моего хозяина, согласен ли он продать меня за хорошую цену. Так как мой хозяин боялся, что я не проживу и месяца, то он очень обрадовался случаю отделаться от меня, и запросил тысячу золотых, которые тут же ему были отсчитаны. Каждый из этих золотых равнялся восьмистам мойдорам,* но если принять во внимание соотношение между всеми предметами этой страны и Европы, а также высокую цену золота там, то эта сумма едва окажется равной тысяче английских гиней. Тогда я сказал королеве, что так как я стал теперь преданнейшим вассалом ее величества, то осмелюсь просить милости, чтобы Глюмдальклич, которая всегда проявляла столько заботливости и доброты ко мне, была принята на службу ее величества и попрежнему оставалась моей нянюшкой и учительницей. Ее величество согласилась исполнить мою просьбу и легко получила согласие фермера, очень довольного тем, что его дочь была устроена при дворе. Что касается самой Глюмдальклич, то бедная девочка не могла скрыть своей радости. Мой бывший хозяин удалился, пожелав мне всякого добра и сказав, что оставляет меня на прекрасной службе. Я не ответил ему ни слова и ограничился только легким поклоном.

Королева заметила мою холодность, и когда фермер оставил апартаменты, спросила о причине ее. Я взял на себя смелость ответить ее величеству, что я обязан этому человеку только тем, что мне, бедному, безобидному созданию, не раскроили черепа, когда случайно нашли на его поле; что я с избытком вознаградил фермера за это одолжение теми деньгами, которые он выручил, показав меня едва ли не половине королевства, и которые получил сейчас, продав меня; что, находясь у него, я влачил самое тяжелое существование, которое едва ли вынесло бы животное, сильнейшее меня в десять раз; что мое здоровье очень подорвано непрерывной повинностью забавлять зевак в течение целого дня; и что если бы фермер не считал мою жизнь в опасности, то ее величество не приобрела бы меня за такую дешевую цену. Но так как теперь мне нечего страшиться дурного обращения под покровительством столь великой и милостивой государыни, украшения природы, любви вселенной, услады своих подданных, феникса творения, то я надеюсь, что опасения моего бывшего хозяина неосновательны, потому что я уже чувствую восстановление моих душевных сил под влиянием августейшего присутствия ее величества.

Такова была в общих чертах моя речь, стоившая мне не малого труда при подборе подходящих слов для ее выражения. Последняя часть этой речи была составлена в принятом здесь стиле, с которым я познакомился благодаря Глюмдальклич, научившей меня нескольким фразам по дороге во дворец.

Королева, отнесясь весьма снисходительно к моему недостаточному знанию языка, была поражена тем, что нашла в таком маленьком создании столько ума и здравого смысла. Она взяла меня в руку и понесла к королю, находившемуся в тот момент в своем кабинете. Его величество, государь важный и суровый, не рассмотрев меня хорошенько с первого взгляда, холодно спросил королеву, с каких это пор она пристрастилась к *сплекнокам;* ибо он, повидимому, принял меня за это животное, когда я лежал ничком на правой руке ее величества. Но государыня, отличавшаяся тонким умом и веселым характером, тихо поставила меня на письменный стол и приказала рассказать его величеству о моих приключениях, что я и сделал в немногих словах. Глюмдальклич, стоявшая у дверей кабинета,—она ни на минуту не упускала меня из виду,—получив позволение войти, подтвердила все случившееся со мной с момента моего появления в доме ее отца.

Хотя король* был ученейшим человеком во всем государстве и получил отличное философское и особенно математическое образование, однако, рассмотрев внимательно мою внешность, и видя, что я хожу прямо, он сначала принял меня за заводную фигурку с часовым механизмом, сделанную каким-нибудь изобретательным мастером (нужно заметить, что искусство строить механизмы доведено здесь до величайшего совершенства). Но когда он усышал мой голос и нашел, что речь у меня складная и разумная, то не мог скрыть своего удивления. Он не поверил ни одному слову из моего рассказа о том, как



я прибыл в его королевство, и был уверен, что вся эта история выдумана Глюмдальклич и ее отцом, которые заставили меня заучить ее, чтобы выгоднее меня продать. В виду этого, он задал мне ряд других вопросов, на которые получил разумные ответы, не содержащие никаких недостатков, кроме иностранного акцента, несовершенного знания языка и нескольких простонародных выражений, заимствованных мною в семье фермера и несогласных с придворным вылощенным слогом.

Его величество велел пригласить трех больших ученых, отбывавших в то время недельное дежурство во дворце, согласно обычаям этого государства. Эти господа после продолжительного весьма тщательного исследования моей внешности пришли к различным заключениям относительно меня. Все трое однако согласились, что я не мог быть произведен на свет согласно нормальным законам природы, потому что не одарен способностью самосохранения, поскольку не обладаю ни быстротой ног, ни уменьем взбираться на деревья или рыть норы в земле. Обследовав мои зубы, они признали, что я животное плотоядное; но так как большинство четвероногих сильнее меня, а полевая мышь и некоторые другие отличаются гораздо большим проворством, то они не могли понять, каким образом я добываю себе пищу, разве только питаюсь улитками и разными насекомыми, каковое предположение было однако, при помощи многих ученых аргументов, признано несостоятельным. Один из этих виртуозов склонялся к мысли, что я являюсь только эмбрионом или недоноском.

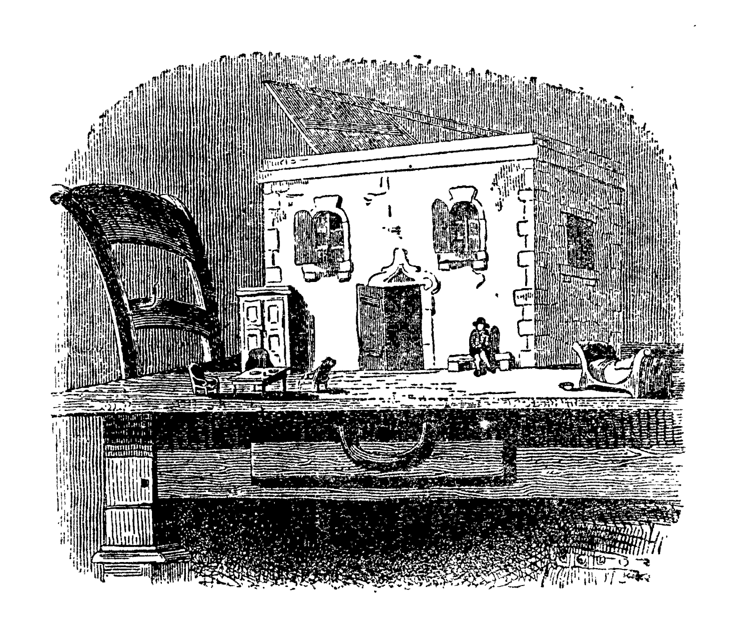
Но это мнение было отвергнуто двумя другими, которые указали на то, что мои члены развиты в совершенстве и закончены, и что я живу уже много лет, о чем красноречиво свидетельствует моя борода, волоски которой они отчетливо



видели в лупу. Они не допускали также, чтобы я был карлик, потому что мой крошечный рост был вне всякого сравнения; и, например, карлик, любимец королевы, самый маленький человек во всем государстве, был ростом в тридцать футов. После долгих дебатов они пришли к единодушному заключению, что я не что иное, как *рельплюм скалькатс*, что в буквальном переводе означает *lusus naturae* (игра природы); определение как раз в духе современной европейской философии, профессора которой, относясь с презрением к ссылке на *скрытые причины,* при помощи которых последователи Аристотеля тщетно стараются замаскировать свое невежество, изобрели это удивительное разрешение всех трудностей, свидетельствующее о необыкновенном прогрессе человеческого знания.

После этого заключительного решения я попросил позволить мне сказать несколько слов. Обратившись к королю, я уверил его величество, что прибыл из страны, населенной миллионами существ обоего пола одинакового со мной роста, где все животные, деревья, дома имеют соответственно уменьшенные размеры, и где, вследствие этого, я так же способен защищаться и добывать пищу, как делает это здесь каждый подданный его величества, так что все аргументы господ ученых несостоятельны. На это они ответили мне лишь презрительной улыбкой, заявив, что фермер давал мне прекрасные уроки. Король, человек гораздо более смышленный, чем эти ученые мужи, отпустив их, послал за фермером, который к счастью, еще не уехал из города. Расспросив

фермера сперва наедине, а потом на очной ставке со мной и дочерью, его величество стал склоняться к мысли, что все рассказанное нами близко к истине. Он выразил желание, чтобы королева окружила меня особыми заботами, и изъявил согласие оставить при мне Глюмдальклич, потому что видел нашу большую привязанность друг к другу. Для девочки было отведено помещение при дворе; ей назначили гувернантку, которая должна была заняться ее воспитанием, горничную, чтобы одевать ее, и еще две служанки для других услуг; но попечение обо мне было возложено всецело на Глюмдальклич. Королева приказала своему придворному столяру смастерить ящик, который мог бы служить мне спальней, по образцу, одобренному мной и Глюмдальклич. Этот столяр был замечательный мастер; в три недели он соорудил по моим указаниям деревянную комнату в шестнадцать футов длины и ширины и двенадцать футов высоты, с открывающимися окнами, дверью и двумя шкафами, как обыкновенно устраиваются спальни в Лондоне. Доска, из которой был сделан потолок, поднималась и опускалась на петлях, чтобы можно было ставить в спальне кровать, изготовленную мебельщиком ее величества. Глюмдальклич каждый день выносила эту кровать на воздух, собственноручно убирала ее и вечером снова ставила ее на место, опустив надо мной потолок. Другой мастер, известный искусным изготовлением мелких безделушек, сделал для меня из какого то особенного материала, похожего на слоновую кость, два кресла с подлокотниками и спин-



кой, два стола и комод для моих вещей. Все стены комнаты, а также потолок и пол были обиты войлоком, для предупреждения несчастных случайностей от неосторожности носильщиков, а также для того, чтобы ослабить тряску во время езды в экипаже. Я попросил сделать в двери замок, чтобы оградить мою комнату от крыс и мышей. После нескольких проб слесарь сделал наконец самый маленький, какой когда либо был видан здесь, но мне случилось видеть больший у ворот одного барского дома в Англии. Ключ я всегда носил в кармане, боясь, чтобы Глюмдальклич не потеряла его. Королева приказала также сделать мне костюм из самой

тонкой шелковой материи, какую только можно было найти; эта материя оказалась все же толще английских одеял и очень беспокоила меня, пока я не привык к ней. Костюм был сшит по местной моде, напоминавшей частью персидскую, частью китайскую, и был очень скромен и приличен.

Королева так полюбила мое общество, что никогда не обедала без меня. На стол, за которым сидела ее величество, ставили мой столик и стул, возле ее левого локтя. Глюмдальклич стояла около меня на табурете; она присматривала и прибирала за мной. У меня был целый серебряный сервиз, состоявший из блюд, тарелок и другой посуды; по сравнению с посудой королевы он имел вид детских кукольных сервизов, которые мне случалось видеть в лондонских игрушечных лавках. Моя нянюшка носила этот сервиз в кармане в серебряном ящике; за обедом она ставила что было нужно на моем столе, а после обеда сама все мыла и чистила. Кроме королевы, за ее столом обедали только две ее дочери принцессы; старшей было шестнадцать лет, а младшей тринадцать и один месяц. Ее величество имела обыкновение собственноручно класть кусок говядины мне на блюдо, который я резал сам; наблюдать за моей едой и моими крошечными порциями доставляло ей большое удовольствие. Сама же королева (несмотря на свой нежный желудок) брала в рот сразу такой кусок, который насытил бы дюжину английских фермеров, так что в течение некоторого времени я не мог без отвращения смотреть на это зрелище. Она грызла



и съедала с костями крылышко рябчика, хотя оно было в девять раз больше крыла нашей индейки, и откусывала кусок хлеба величиной в две наши ковриги по двенадцати пенни. В один прием выпивала она золотой кубок вместимостью в нашу бочку. Ее столовые ножи были в два раза больше нашей косы, если ее выпрямить на рукоятке. Соответственного размера были также ложки и вилки. Я вспоминаю, что раз Глюмдальклич понесла меня в столовую показать лежавшие вместе десять или двенадцать этих огромных ножей и вилок: мне кажется, что я никогда не видел более страшного зрелища.

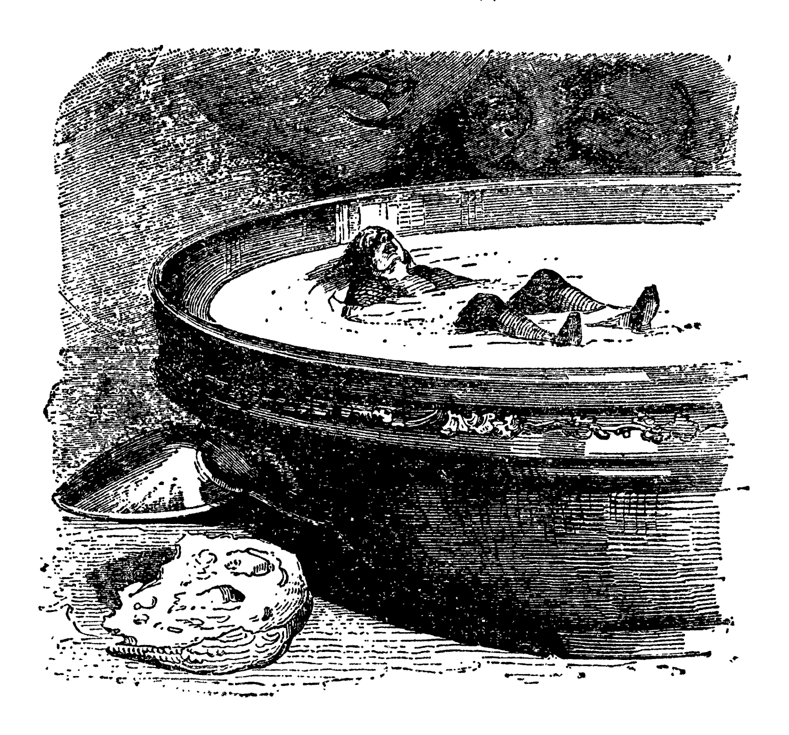
Каждую среду (которая, как я уже сказал, была их воскресеньем) король, королева и их дети обыкновенно обедали вместе в покоях короля, большим фаворитом которого я теперь сделался. На таких обедах мой стул и стол ставили по левую руку его величества, перед одной из солонок. Государь этот с удовольствием беседовал со мной, расспрашивая о европейских нравах, религии, законах, управлении и науке, и я давал ему обо всем самый подробный отчет. Ум короля отличался большой ясностью, а суждения точностью, и он высказал весьма мудрые заключения и наблюдения по поводу рассказанного мной. Но, признаюсь, когда я слишком распространился о моем любезном отечестве, о нашей торговле, войнах на суше и море, о религиозном расколе и политических партиях, король не выдержал,—видно было, что в нем заговорили предрассудки воспитания,— взял меня в правую руку и, лаская левой, с громким хохотом спросил, кто же я: виг или

тори? Затем, обратясь к первому министру, который стоял тут же с белым жезлом, длиною в гротмачту английского корабля *Царственный Монарх,* заметил, как ничтожно человеческое величие, если такие крохотные насекомые, как я, могут стремиться к нему. Кроме того, сказал он, я держу пари, что у этих созданий существуют титулы и ордена; они мастерят гнездышки и норки и называют их домами и городами; они щеголяют нарядами и выездами; они любят, сражаются, ведут диспуты, плутуют, изменяют. Он продолжал в таком же тоне, и краска гнева покрыла мое лицо; я кипел от негодования, слыша этот презрительный отзыв о моем благородном отечестве, владыке искусств и оружия, биче Франции, третейском судье Европы, кладезе добродетели, набожности, чести и истины, гордости и зависти вселенной.

Но так как положение мое было не таково, чтобы злобствовать на обиды, то по зрелом обсуждении я начал сомневаться, следует ли мне считать себя обиженным. Действительно, привыкнув в течение нескольких месяцев к внешности и разговорам этих людей и увидев, что все предметы, на которые обращались мои взоры, были пропорциональны величине обитателей я мало-по-малу утратил страх, первоначально возникавший у меня при виде их огромных размеров и мне стало казаться, будто я нахожусь в обществе разряженных в праздничные платья английских лордов и леди, с их важной поступью, поклонами и пустой болтовней, самым изысканным и учтивым образом исполнявших свои роли; сказать правду, у меня

возникало такое же сильное искушение посмеяться над ними, какое испытывал король и его вельможи, глядя на меня. И я не мог также удержаться от улыбки над самим собой, когда королева, поставя меня на свою руку, подносила к трюмо, где мы оба были видны во весь рост; ничто не могло быть смешнее этого контраста, так что у меня возникла настоящая иллюзия, будто я в несколько раз стал меньше своего действительного роста.

Никто меня так не раздражал и не оскорблял, как карлик королевы. До моего приезда во всей стране не было человека ниже его (ибо я в самом деле думаю, что ростом он был неполных тридцать футов), и потому, при виде создания в несколько раз меньшего, чем он, карлик становился нахальным, и всегда подбочонивался и смотрел на меня свысока, когда проходил мимо в переднюю королевы; видя, как я стою на столе и беседую с придворными, он не пропускал случая кольнуть меня и бросить остроту на счет моего роста. Отомстить ему я мог только называя его своим братом, вызывая его на поединок, вообще бросая в ответ реплики, какие обычны в устах придворных шутов. Однажды за обедом этот злобный щенок был так задет каким то моим замечанием, что, взобравшись на подлокотник кресла ее величества, схватил меня за талию, в то время, как я спокойно сидел за своим столиком, и бросил в серебряную чашку со сливками, после чего убежал со всех ног. Я окунулся в молоке по уши, и, не будь я хороший пловец, мне пришлось бы вероятно очень туго, потому что



Глюмдальклич в этот момент находилась на другом конце комнаты, а королева до такой степени испугалась, что у нее не достало присутствия духа помочь мне. Но вскоре на выручку прибежала моя нянюшка и вынула меня из чашки, после того как я проглотил пинты две сливок. Меня уложили в постель; к счастью, все ограничилось порчей костюма, который пришлось выбросить. Карлика больно высекли и кроме того заставили выпить чашку сливок, в которых по его милости я искупался.

С тех пор карлик навсегда потерял расположение королевы, и, спустя некоторое время, она подарила его одной знатной даме, так что я его больше не видел, к моему величайшему удовольствию; ибо трудно передать до каких крайностей доходила злоба этого урода.

Еще раньше он сыграл со мной одну грубую шутку, которая хотя и рассмешила королеву, но в то же время рассердила ее, так что она немедленно прогнала бы его, если бы я великодушно не заступился. Однажды за обедом ее величество взяла на тарелку мозговую кость и, вынув из нее мозг, положила обратно на блюдо. Карлик, улучив момент, когда Глюм-



дальклич пошла к буфету, вскочил на табурет, на котором она всегда стояла, присматривая за мной во время обеда, схватил меня обеими руками и, сжав мои ноги, всунул до пояса в пустую кость, где я и оставался некоторое время, представляя очень смешную фигуру. Прошло вероятно не меньше минуты прежде, чем кто нибудь заметил эту проказу, так как я считал для себя унизительным закричать. При дворе редко едят горячее кушанье, и только благодаря этому обстоятельству я не обжег ног, но мои чулки и панталоны оказались в самом плачевном состоянии. Карлик был высечен, однако же, вследствие моего заступничества, наказание этим и ограничилось.

Королева часто смеялась над моей боязливостью, и часто спрашивала, все ли мои соотечественники такие же трусы. Поводом к насмешкам королевы послужило следующее обстоятельство. Летом здесь множество мух; эти проклятые насекомые, величиной с дунстеблского жаворонка, непрерывно жужжа и летая вокруг меня, не давали мне за обедом ни минуты покоя. Иногда они садились на мое кушанье, оставляя на нем свои омерзительные экскременты или яйца; все это, отчетливо видимое мною, оставалось совершенно незаметным для туземцев, громадные глаза которых не были так зорки, как мои, по отношению к небольшим предметам. Иногда мухи садились мне на нос или на лоб и кусали до крови, распространяя отвратительный запах; причем мне нетрудно было видеть на их лапках следы того липкого вещества, которое, по словам наших натурали-

стов, позволяет этим насекомым свободно ползать по потолку. Мне стоило большого труда защищаться от этих гнусных насекомых, и я не мог без содрогания смотреть, как они садятся на меня. Любимой забавой карлика было набрать в кулак несколько мух, как это делают у нас школьники, и неожиданно швырнуть их мне в лицо, чтобы таким образом испугать меня и рассмешить королеву. Единственной моей защитой в этом случае был нож, которым я рассекал мух на части в то время, когда они подлетали ко мне, вызывая своей ловкостью общее восхищение.

Помню еще, как однажды утром Глюмдальклич поставила меня в ящике на окно, что̀ она обыкновенно делала в хорошую погоду, желая дать мне возможность подышать свежим воздухом (я никогда не соглашался, чтобы ящик вешали на гвозде за окном, как мы вешаем клетки с птицами в Англии). Я открыл одно из своих окон, сел за стол и стал завтракать куском сладкого пирога, как вдруг штук двадцать ос, привлеченных запахом, влетели в мою комнату с таким жужжанием, будто заиграло двадцать волынок. Одни завладели моим пирогом и раскрошили его на кусочки, другие летали у меня над головой, оглушая меня жужжанием и наводя неописуемый ужас своими жалами, тем не менее, у меня достало храбрости вынуть из ножен тесак и атаковать их в воздухе. Четырех я убил, остальные улетели, после чего я мгновенно захлопнул окно. Эти насекомые были величиною с куропатку. Я повынимал у них жала, оказавшиеся острыми, как иголки

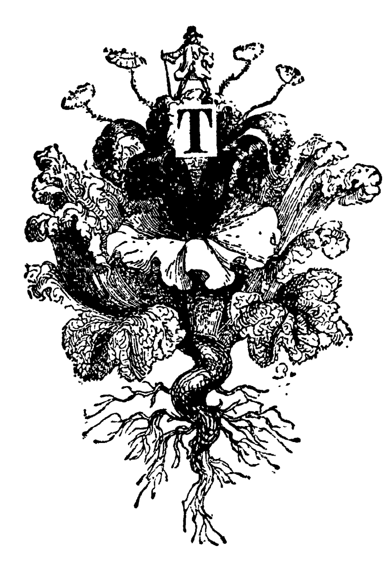
и достигавшие полуторых дюймов в длину. Все четыре убитых осы я тщательно сохранил и потом показывал вместе с другими редкостными вещами в разных европейских государствах, а по возвращении в Англию, трех я отдал в Грешэм колледж, а четвертую оставил себе.





## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Описание страны. Предлагаемая автором поправка географических карт. Королевский дворец и несколько слов о столице. Способ путешествия автора. Описание главного храма.*



Теперь я собираюсь дать читателю краткое описание страны, по крайней мере той ее части, которую я объехал и которая не простиралась более чем на две тысячи миль вокруг Лорбрульгруда, столицы королевства; дело в том, что королева, возившая меня с собой, никогда не отъезжала от столицы дальше, сопровождая короля в его путешествиях; она обыкновенно делала остановку и ожидала возвращения его величества

с границ государства. Владения этого монарха простираются на шесть тысяч миль* в длину и от трех до пяти тысяч миль в ширину. Это приводит меня к заключению, что наши европейские географы совершают большую ошибку, предполагая существование сплошного океана между Японией и Калифорнией;* я был всегда того мнения, что здесь необходимо должна быть земля, служащая противовесом громадному материку Татарии; вследствие этого они обязаны исправить свои карты и планы, присоединив обширное пространство земли к северо-западным частям Америки, в чем я с удовольствием готов помочь им.

Описываемое королевство есть полуостров, ограниченный на северо-востоке горным хребтом, высотой до тридцати миль; этот хребет совершенно непроходим по причине вулканов, венчающих его вершины. Величайшие ученые не знают, какого рода смертные населяют места по ту сторону гор, и даже вообще, населены ли эти места. С остальных трех сторон полуостров окружен океаном. Во всем королевстве нет ни одного морского порта; мало того, все те побережья, где реки впадают в море, так густо усеяны острыми скалами, и море там так бурно, что никто не отваживается проникнуть в него даже в самой маленькой лодке. Таким образом, эти люди совершенно отрезаны от общения с остальным миром. Но их большие реки покрыты кораблями и изобилуют превосходной рыбой. Туземцы редко ловят морскую рыбу, потому что ее виды такой же величины, как и в Европе, и следовательно она для них слишк-

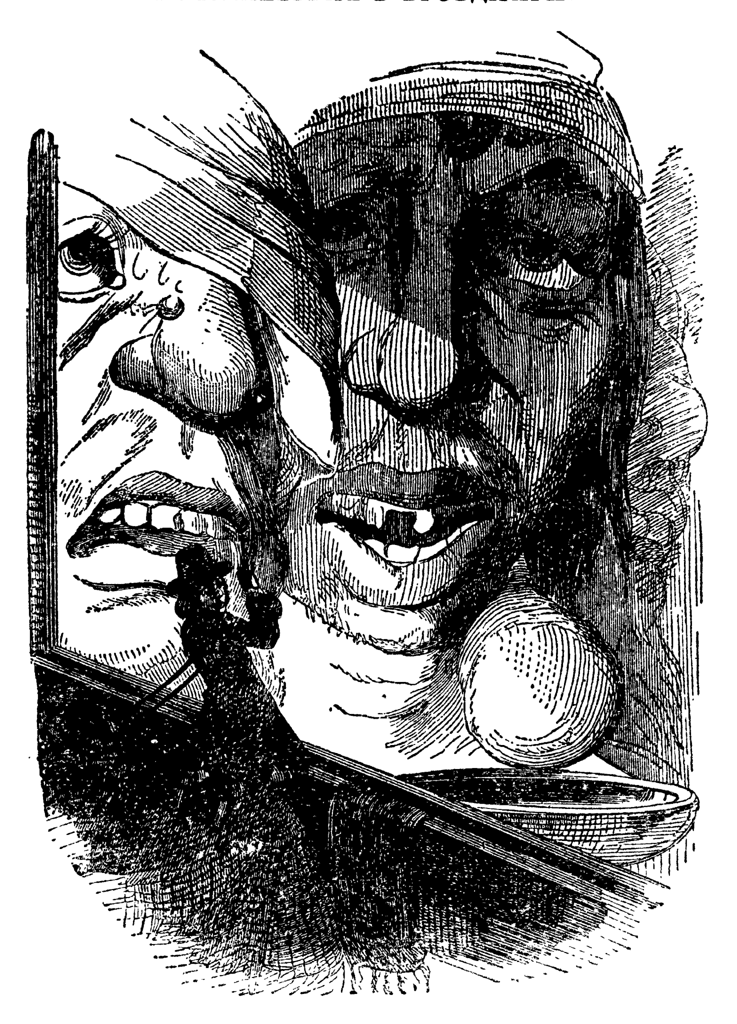


ком мала. Отсюда необходимо притти к заключению, что природа, произведя растения и животных столь огромных размеров, ограничила их распространение только этим континентом, и я предоставляю философам выяснить причины этого явления. Впрочем, иногда туземцы ловят китов, когда последних прибивает к скалам, и простой народ охотно употребляет китовое мясо в пищу. Я видел там таких китов, что человек едва мог нести их на плечах. Иногда, как диковинку, их привозят в корзинах в Лорбрульгруд. Мне привелось видеть кита на блюде за королевским столом; кушанье это считается редкостью, но я не заметил, чтобы оно понравилось королю; мне кажется даже, что он чувствовал отвращение к этой громаде, хотя в Гренландии я встречал китов еще больших размеров.

Страна эта плотно населена, ибо она заключает в себе пятьдесят один большой город, около ста крепостей, обнесенных стенами, и большое число деревень. Для удовлетворения любопытства читателей достаточно будет описать Лорбрульгруд. Город расположен по обоим берегам пересекающей его реки. В нем свыше восьмидесяти тысяч домов и шестисот тысяч жителей. Он тянется в длину на три *глонглюнга* (что составляет около пятидесяти четырех английских миль), а в ширину на два с половиной *глонглюнга*. Я лично произвел эти измерения на карте, составленной по приказанию короля, нарочно для меня разложенной на земле, где она занимала пространство в сто футов. Разувшись, я прошел несколько раз по диаметру и

окружности карты, сосчитал число моих шагов и без труда определил по масштабу точное протяжение города.

Королевский дворец не представляет одного правильного здания: это — скученная масса построек, занимающих семь миль в окружности; главные комнаты имеют обыкновенно двести сорок футов вышины и соответствующую длину и ширину. Для меня и Глюмдальклич была предоставлена карета, в которой она вместе с гувернанткой часто ездила осматривать город или делать покупки. В этих прогулках я всегда принимал участие, сидя в своем ящике; но по моему желанию девочка вынимала меня оттуда и держала на руке, чтобы я мог удобнее рассматривать дома и людей, когда мы проезжали по улицам. Мне кажется, что наша карета была не меньше залы заседаний Вестминстерского Аббатства, но не такая высокая; впрочем, я не могу поручиться за точность моих сравнений. Однажды гувернантка приказала кучеру остановиться возле лавок; воспользовавшись этим случаем, по сторонам кареты столпились нищие, и тут для моего непривычного европейского глаза открылось самое ужасное зрелище. Среди них была женщина, пораженная раком; ее грудь была чудовищно вздута, и на ней зияли раны такой величины, что в две или три из них я легко мог забраться и скрыться там целиком. У другого нищего на шее висел зоб, величиной в пять тюков шерсти; третий стоял на деревянных ногах, вышиною в двадцать футов каждая. Но омерзительнее всего было видеть вшей, ползавших по их одежде. Простым глазом



я различал лапы этих паразитов гораздо лучше, чем мы видим в микроскоп лапки европейских

вшей; так же ясно я видел их рыла, которыми они копались как свиньи. В первый раз в жизни я встречал подобных животных, и я с большим интересом анатомировал бы одно из них, несмотря на то, что отвратительный их вид возбуждал у меня тошноту, если бы у меня были хирургические инструменты (которые к несчастью остались на корабле).

Кроме большого ящика, в котором меня обыкновенно носили, королева заказала специально для поездок другой, поменьше, около двенадцати футов в длину и ширину и около десяти футов в высоту, так как первый был слишком велик для колен Глюмдальклич и загромождал карету. Этот второй ящик был сделан по моим указаниям тем же самым мастером; он был совершенно квадратный и в трех его стенках было проделано по окну; каждое окно было защищено снаружи железной проволокой, для ограждения от всяких случайностей во время далеких путешествий. К четвертой глухой стороне были прикреплены две прочных пряжки, в которые лицо, бравшее меня с собой, когда у меня являлось желание ехать на лошади, просовывало кожаный ремень и застегивало его у себя на поясе. Обязанность эта всегда поручалась какому-нибудь верному и опытному слуге, на которого я вполне мог положиться, сопровождал ли я короля и королеву в их путешествиях, хотелось ли мне посмотреть сады или сделать визит придворной даме или министру в те моменты, когда Глюмдальклич чувствовала себя нездоровой: ибо я скоро познакомился с самыми высокими сановниками, которые

стали оказывать мне величайшее почтение, хотя вероятно не столько вследствие моих личных достоинств, сколько потому, что я был в милости у их величеств. Если во время путешествия меня утомляла езда в карете, то слуга, ехавший верхом, пристегивал к себе мой ящик и ставил его на подушку у себя на коленях. Таким образом я мог из окон осматривать окрестности с трех сторон. В ящике у меня была походная постель, гамак, подвешенный к потолку, два стула и стол, крепко привинченные к полу, чтобы они не могли падать и опрокидываться во время движения лошади или кареты. Мне, как человеку давно привыкшему к морю, эти движения, хотя по временам они были очень резкими, не причиняли большого беспокойства.

Каждый раз, когда у меня возникало желание посмотреть город, я входил в свой дорожный кабинет, Глюмдальклич ставила его себе на колени, садилась в открытый портшез, и нас, согласно обычаю этой страны, несли четыре человека в сопровождении двух камер-лакеев королевы. Народ, наслышавшись обо мне, всегда толпился вокруг портшеза, и тогда девочка приказывала носильщикам остановиться и ставила меня на руку, чтобы любопытным было удобнее меня рассматривать.

Мне очень хотелось посетить главный храм и особенно возвышавшуюся над ним башню, которая считалась самой высокой в королевстве. И вот однажды моя нянюшка подняла меня туда. Однако я, признаться, разочаровался в своих ожиданиях, так как высота башни была

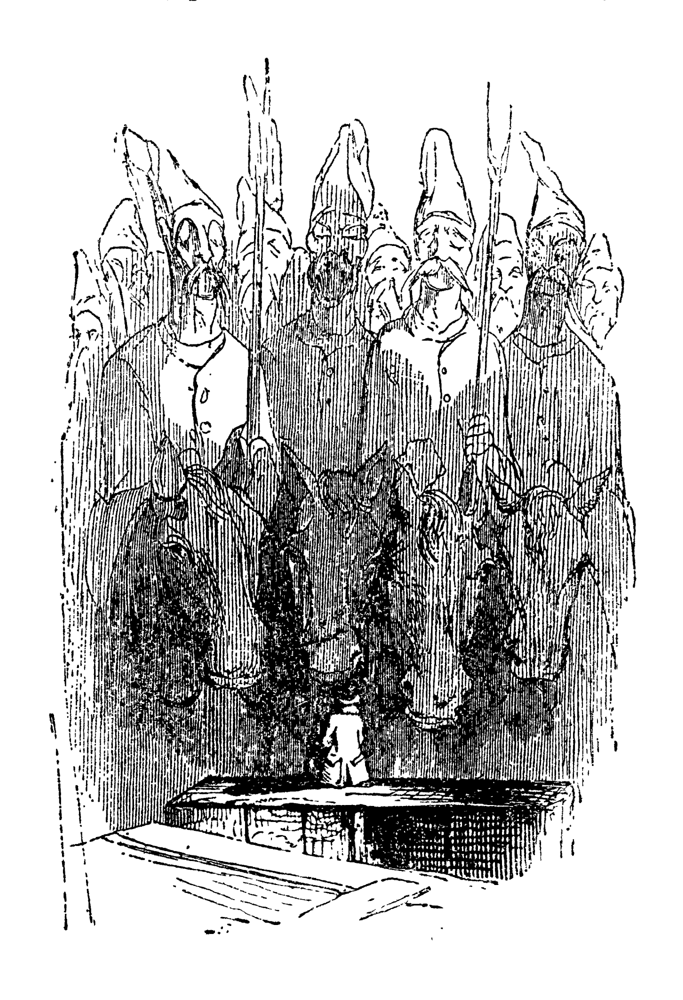


не более трех тысяч футов, считая от основания до вершины, что, если принять во внимание разницу в росте европейца и туземца, не

представляло ничего достойного удивления, так как башня эта (если память не изменяет мне) далеко не достигала высоты колокольни в Сольсбери,* в соответствующей пропорции. Но, не желая уничижать нацию, которой я так много обязан, — о чем не перестану повторять всю свою жизнь, — я должен сказать, что небольшая высота этой башни сторицей возмещена ее красотой и прочностью. Стены, толщиною почти в сто футов, построены из тесаных камней, каждый из которых равняется почти сорока квадратным футам, и украшены со всех сторон статуями богов и императоров, больше натурального роста, высеченными из мрамора и поставленными в нишах. Я измерил сломанный мизинец от одной статуи, который валялся в куче мусора, и нашел, что длина его равняется четырем футам и одному дюйму. Глюмдальклич завернула этот обломок в платок и принесла домой в кармане, чтобы присоединить к другим безделушкам, которые она очень любила, как и все дети ее возраста.

Королевская кухня поистине благородная сводчатая постройка вышиною около шестисот футов. Главная печь имеет в ширину на десять шагов меньше, чем купол собора св. Павла, который я нарочно измерил по возвращении в Англию. Но, я думаю, мне с трудом поверили бы, если бы я стал описывать рашперы, чудовищные горшки и котлы, туши, поджариваемые на вертеле, или другие подробности; по крайней мере, строгие критики способны были бы подумать, что я немного преувеличиваю подобно всем путешественникам. С другой сто-

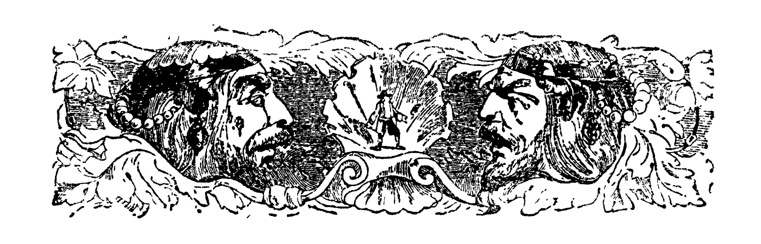
роны, желая избежать этого упрека, я боюсь впасть и в противоположную крайность; и если этот трактат будет переведен на бробдингнежский язык (Бробдингнег название этого королев-



ства) и опубликован там, то мне не хотелось бы, чтобы король и его подданные имели основание жаловаться на обиду, которую я причинил им, дав ложное и преуменьшенное представление об их стране.

Его величество редко держит в своих конюшнях более шестисот лошадей. Ростом они от пятидесяти четырех до шестидесяти футов. Во время торжественных выездов короля сопровождает гвардия в количестве пятисот всадников, что представляет зрелище, блистательнее которого, казалось мне, ничего не может быть, пока я не увидел его армии в боевом порядке, о чем буду иметь случай рассказать потом.





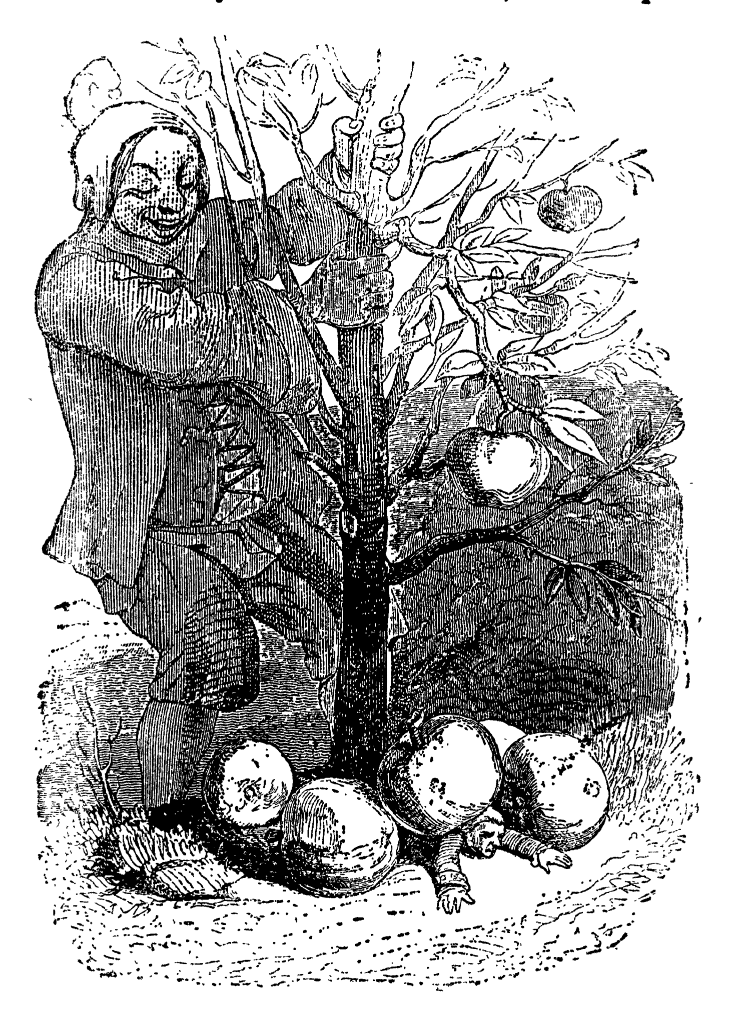
## ГЛАВА ПЯТАЯ

*Различные приключения автора. Казнь преступннка. Автор показывает свое искусство в мореплавании.*



Жизнь моя была бы довольно счастливой в этой стране, если бы маленький рост не подвергал меня многим смешным и досадным случайностям; некоторые из них я расскажу читателям. Глюмдальклич часто выносила меня в меньшем ящике в дворцовый сад и иногда вынимала оттуда и держала на руке или спускала на землю прогуляться. Я вспоминаю, как однажды, еще в то время, когда карлик жил при дворце, он пошел в сад следом за нами. Моя нянюшка спустила меня на землю по соседству с карликовыми яблонями, где остановился также и он. Смотря на эти деревья, я не мог удер-

жаться от соблазна блеснуть своим остроумием и сделал глупый намек на то, что деревья

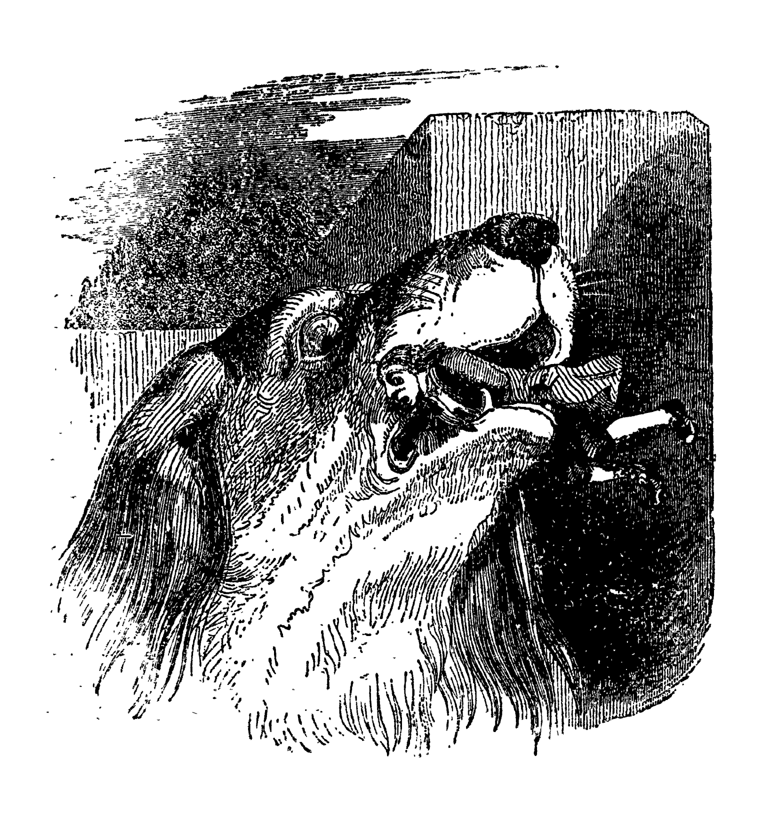


являются такими же карликами, как и он (тамошний язык выражал это так же хорошо, как и наш). В отместку злой шут, улучив момент, когда я проходил под одной из яблонь, встряхнул ее прямо над моей головой, вследствие чего дюжина яблок, величиной в бристольский боченок каждое, посыпалась вокруг меня, причем одно из них ударило меня в спину в момент, когда я нагнулся, сшибло меня с ног, и я плашмя растянулся на земле, но не ушибся, и по моей просьбе карлик был прощен, тем более, что я сам вызвал его на шалость.

В другой раз Глюмдальклич, оставя меня одного на зеленой лужайке, отлучилась куда то со своей гувернанткой. Тем временем внезапно разразился такой страшный град, что я немедленно был повален им на землю; и когда я упал, градины стали пребольно стегать меня по всему телу, точно тенисные мячи. Кое-как на четвереньках мне удалось доползти до края грядки с тмином и найти там убежище, уткнувшись лицом в землю, но я был так исколочен, что пролежал в постели десять дней. В этом нет ничего удивительного, потому что природа соблюдает здесь точное соответствие во всех своих явлениях, и каждая градина почти в тысячу восемьсот раз больше, чем у нас в Европе; я могу утверждать это на основании опыта, потому что из любопытства взвешивал тамошние градины и измерял их.

В том же саду со мной случилось другое более опасное, приключение. Однажды моя нянюшка, оставив меня в безопасном, по ее предположению, месте (о чем я часто просил ее,

чтобы иметь возможность на свободе предаться своим размышлениям) и не взяв с собой моего ящика, чтобы не утруждать себя переноской его, ушла в другую часть сада с гувернанткой и другими знакомыми дамами. Когда она удалилась на такое расстояние, что не могла услышать моего голоса, небольшой белый сеттер,



принадлежавший одному из садовников, забравшись случайно в сад, пробегал недалеко от места, где я лежал. Почуяв меня, собака устремилась ко мне, схватила меня в пасть и принесла к хозяину, подле которого осторожно положила меня на землю, виляя хвостом. По счастливой случайности, она была так хорошо выдрессирована, что принесла меня в зубах, не только не повредив моего тела, но даже не порвав платья. Бедный садовник, хорошо знавший меня и питавший ко мне большую симпатию, страшно перепугался. Он осторожно поднял меня обеими руками и спросил, как я себя чувствую; но я был так ошеломлен, что у меня захватило дыхание, и я не мог выговорить ни слова. Спустя несколько минут я пришел в себя, и садовник отнес меня здравым и невредимым к моей нянюшке, которая в это время возвратилась на место, где она оставила меня, и не найдя меня, а также не получая ответа на зов, была в смертельном испуге. Она сильно выбранила садовника за собаку. Но мы решили замолчать это дело: она — из боязни гнева королевы, а я, говоря правду, из нежелания разглашать при дворе историю, в которой я играл не очень завидную роль.

После этого случая Глюмдальклич твердо решила ни на минуту не выпускать меня из виду, когда мы выходили из дому. Я давно боялся такого решения и потому скрывал от нее некоторые незначительные приключения, случавшиеся со мной в ее отсутствие. Раз коршун, паривший над садом, ринулся на меня, и если бы я не вытащил храбро тесак и, оборо-

няясь им, не убежал под густые деревья, он наверное унес бы меня в своих когтях. В другой раз, взобравшись на вершину холмика рыхлой земли, я провалился по шею в нору, вырытую кротом; чтобы объяснить, почему у меня испорчено платье, я выдумал какую то небылицу, которую не стоит повторять. Точно так же, гуляя раз в одиночестве и вспоминая свою бедную Англию, я споткнулся о раковину улитки и сломал себе голень правой ноги.

Не могу определить, удовольствие или уничижение испытывал я во время этих одиноких прогулок, когда даже самые маленькие птицы не выказывали никакого страха* в моем присутствии; на расстоянии ярда от меня они прыгали и отыскивали червяков и букашек с таким равнодушием и спокойствием, точно вблизи никого не было. Помню, раз дрозд настолько обнаглел, что клювом выхватил у меня из рук кусок пирога, который Глюмдальклич дала мне на завтрак. Когда я пытался поймать какую-нибудь птицу, она смело поварачивалась ко мне и норовила клюнуть в пальцы, которые я боялся выставлять, затем, как ни в чем не бывало, продолжала охотиться за червяками или улитками. Но однажды я взял толстую дубинку и так ловко запустил ею изо всей силы в коноплянку, что она повалилась замертво; тогда, схватив ее за шею обеими руками, я с торжеством побежал с ней к нянюшке. Между тем птица, которая была только оглушена, оправилась и начала наносить мне крыльями такие удары по голове и туловищу (хотя я держал ее вытянутыми руками, и она не могла достать меня клювом),

что раз двадцать я едва не выпустил ее. Но на выручку подоспел слуга, который свернул птице шею. На следующий день, по приказанию королевы, мне подали эту коноплянку на обед. Насколько могу припомнить, она показалась мне более крупной, чем наш лебедь.

Часто фрейлины приглашали Глюмдальклич в свои комнаты и просили ее принести меня с собой ради удовольствия посмотреть и потрогать меня. Часто они раздевали меня до нага и голого клали себе на грудь, что мне было очень противно, потому что, говоря правду, их кожа издавала весьма неприятный запах. Я упоминаю здесь об этом обстоятельстве вовсе не с намерением опорочить этих прелестных дам, к которым я питаю всяческое почтение; просто мне кажется, что мои чувства, в соответствии с моим маленьким ростом, более изощрены, и нет никаких оснований думать, чтобы эти достопочтенные особы были менее приятны своим любовникам, или друг другу, чем особы того же ранга у нас в Англии. Наконец, я нахожу, что их природный запах гораздо сноснее тех духов, которые они обыкновенно употребляют, и от которых мне всегда бывало дурно. Я никогда не забуду, как однажды в жаркую погоду, после того как я долго занимался физической работой, один мой близкий друг лилипут отважился пожаловаться на резкий запах, исходящий от меня, хотя я так же мало страдаю этим недостатком, как и большинство представителей моего пола, и полагаю, что чувствительность лилипута была столь же тонкой по отношению ко мне, как моя по отношению к этим вели-



канам. Но я не могу при этом не отдать должного моей повелительнице королеве и Глюмдальклич, моей нянюшке, тело которых было так же душисто, как тело самой деликатной английской леди.

Наиболее неприятным для меня у этих фрейлин, когда моя нянюшка приносила меня к ним, было слишком уж бесцеремонное их обращение со мной, словно я был существом, не имеющим никакого значения. Они раздевались до нага, меняли рубашки в моем присутствии, когда я находился на туалетном столе перед их обнаженными телами; но я уверяю, что это зрелище совсем не соблазняло меня и не вызывало у меня никаких других чувств, кроме отвращения и гадливости; когда я смотрел с близкого расстояния, кожа их казалась страшно грубой и неровной, разноцветной и покрытой родимыми пятнами величиной с тарелку, а волоски, которыми она была покрыта, имели вид толстых бичевок; обойду молчанием остальные части их тела. Точно так же они нисколько не стеснялись выливать при мне то, что было ими выпито, в количестве по крайней мере двух бочек, в сосуд, вмещавший не менее трех тонн. Самая красивая из этих фрейлин, веселая шаловливая девушка шестнадцати лет, иногда сажала меня верхом на одном из своих сосков и заставляла совершать по своему телу другие экскурсии, но читатель разрешит мне не входить в дальнейшие подробности. Всё это до такой степени было неприятно мне, что я попросил Глюмдальклич придумать какое-нибудь извинение, чтобы не видеться больше с этой девицей.

Однажды молодой джентльмен, племянник гувернантки моей нянюшки, пригласил дам посмотреть смертную казнь. Приговоренный был убийца близкого друга этого джентльмена. Глюмдальклич от природы была очень сострадательна, и ее едва убедили принять участие в компании; что касается меня, то, хотя я питал отвращение к такого рода зрелищам, но любопытство соблазнило меня посмотреть вещь, которая по моим предположениям должна была быть необыкновенной. Преступник был привязан к стулу на специально воздвигнутом эшафоте; он был обезглавлен ударом меча длиною в сорок футов. Кровь брызнула из вен и артерий такой обильной и высокой струей, что с ней не мог бы сравняться большой версальский фонтан, и голова, падая на помост эшафота, так стукнула, что я привскочил, несмотря на то, что находился на расстоянии по крайней мере английской полумили от места казни.

Королева, часто слышавшая мои рассказы о морских путешествиях и пользовавшаяся каждым удобным случаем, чтобы доставить мне развлечение, когда видела меня в печальном настроении, спросила однажды, умею ли я обращаться с парусом или с веслами, и не будет ли полезно для моего здоровья позаниматься немного греблей. Я отвечал, что то и другое я умею в совершенстве, потому что хотя по профессии своей я хирург или корабельный врач но часто в критические моменты мне приходилось исполнять обязанности простого матроса. Но я не видел, каким образом желание королевы могло быть приведено в исполнение в этой

стране, где самая маленькая лодка по своим размерам равнялась нашему первоклассному военному кораблю; с другой стороны, судно, которым я был бы в силах управлять, не выдержало бы напора воды ни одной здешней реки. Тогда ее величество сказала, что ее столяр сделает лодку, если я буду руководить его работой, и что она прикажет устроить бассейн для катанья в этой лодке. Столяр, весьма искусный мастер, в десять дней соорудил, по моим указаниям, игрушечную лодку со всеми снастями, которая могла свободно выдержать восемь европейцев. Когда лодка была окончена, королева пришла в такой восторг, что тотчас же понесла показать ее королю. Последний приказал пустить ее для испытания в лохань с водой, но по недостатку места, я не мог действовать там веслами. Однако королева еще раньше составила другой проект. Она приказала столяру сделать деревянное корыто в триста футов длины, пятьдесят ширины и восемь глубины. Это корыто, хорошо просмоленное для предохранения от течи, было поставлено на полу у стены одной из комнат дворца. На дне его находился кран для спуска воды, когда она начинала застаиваться, и двое слуг легко могли в полчаса снова наполнить его водой. В нем я часто занимался греблей как для собственного развлечения, так и для доставления удовольствия королеве и ее фрейлинам, которых очень забавляло мое искусство и ловкость. Иногда я ставил парус, и тогда моя работа ограничивалась управлением им, дамы же производили ветер своими веерами; когда же они уставали, то на мой парус дули пажи,

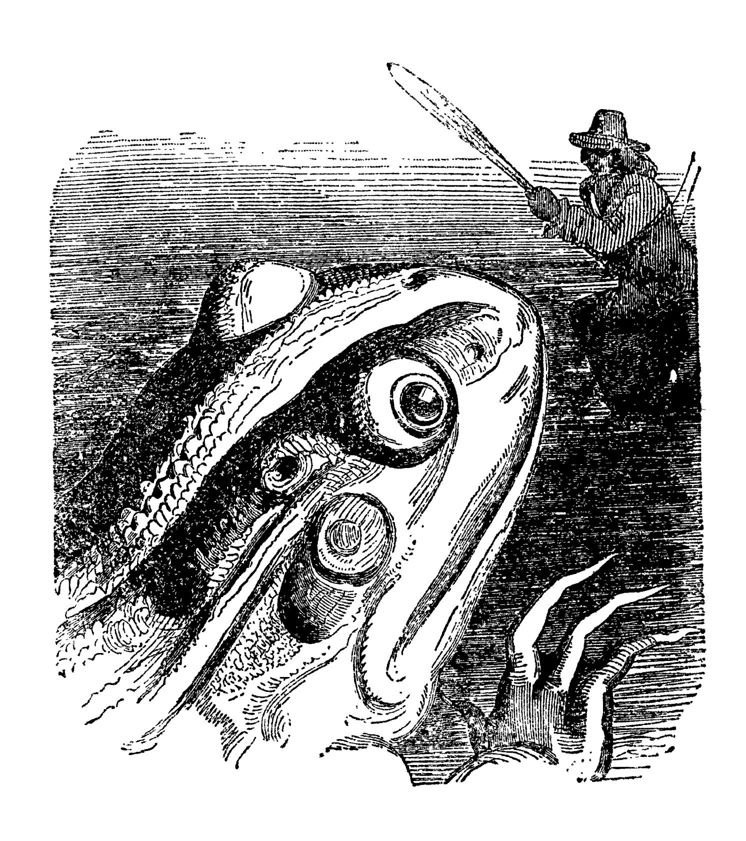


между тем как я с настоящим искусством моряка держал лодку то на штирборте, то на

бакборте. После катанья Глюмдальклич уносила лодку в свою комнату и вешала на гвоздь для просушки.

Раз во время этих упражнений случилось происшествие, которое едва не стоило мне жизни. Когда паж опустил лодку в корыто, гувернантка Глюмдальклич любезно подняла меня, чтобы посадить в лодку. Но я проскользнул у нее между пальцами и непременно упал бы на помост с высоты сорока футов, если бы, по счастливой случайности, меня не задержала большая булавка в корсаже этой любезной дамы. Головка булавки прошла между рубашкой и поясом моих штанов, и таким образом я повис в воздухе, пока Глюмдальклич не прибежала ко мне на помощь.

В другой раз слуга, на обязанности которого лежало наполнять мое корыто каждые три дня свежей водой, по небрежности не доглядел, как вылил из ведра вместе с водой громадную лягушку. Когда меня сажали в лодку, лягушка притаилась; но, едва увидев место, на котором можно было сесть, она вскарабкалась в лодку и так сильно накренила ее на одну сторону, что я должен был налечь всею тяжестью тела на противоположный борт, чтобы не дать лодке опрокинуться. Очутившись в лодке, лягушка стала прыгать взад и вперед над моей головой, обдавая мое лицо и платье своей вонючей слизью. Благодаря огромным своим размерам и нескладности, она казалась мне самым безобразным животным, какое можно себе представить. Тем не менее я просил Глюмдальклич предоставить мне самому разделаться с ней. После несколь-



ких тумаков веслом я, наконец, заставил ее выскочить из лодки.

Но величайшая опасность, какой только я подвергался в этом королевстве, исходила от обезьяны, принадлежавшей одному поваренку.

Уйдя куда то по делу или в гости, Глюмдальклич заперла меня в своей комнате. Погода стояла жаркая, и потому окно комнаты было открыто, точно так же, как окна и дверь моего большого ящика, в котором я любил проводить время, так как он был обширен и удобен. Сидя спокойно за столом и предаваясь размышлениям, я вдруг услышал, что кто то забрался через окно в комнату Глюмдальклич и стал прыгать по ней из конца в конец. Несмотря на сильный испуг, я все же рискнул, не трогаясь с места, взглянуть, что там происходит. Я увидел обезьяну: она резвилась и скакала взад и вперед, пока не наткнулась на мой ящик, который стала рассматривать с большим любопытством и удовольствием, заглядывая во все окна и в дверь. Я забился в дальний угол своей комнаты, т. е. ящика, но взор обезьяны, исследовавший его содержимое, привел меня в такой ужас, что я потерял способность соображать и не догадался спрятаться под кроватью, как легко мог это сделать. Между тем обезьяна, с гримасами и дикими звуками осматривавшая мою комнату, в заключение обнаружила меня. Тогда, просунув в дверь лапу, как кошка, играющая с мышью, обезьяна, — хотя я часто перебегал с места на место, чтобы ускользнуть от нее,—изловчилась, схватила меня за полу кафтана (сшитого из местного шелка, очень толстого и прочного) и вытащила наружу. Она взяла меня в верхнюю правую лапу и стала держать так, как кормилица держит ребенка, которому собирается дать грудь; у нас в Европе, я сам наблюдал это, обезьяны берут таким образом



котят. Когда я попытался сопротивляться, она так сильно сжала меня, что я счел более благоразумным покориться. По всей вероятности, она приняла меня за детеныша своей породы, потому что часто нежно гладила меня по лицу сво-

бодной лапой. Шум отворяемой двери прервал эти нежности; обезьяна мгновенно бросилась в окно, через которое она проникла в комнату, а оттуда на трех лапах, держа меня в четвертой, полезла по водосточным трубам на крышу соседней постройки. Я услышал крик Глюмдальклич в ту минуту, когда обезьяна уносила меня. Бедная девочка едва не помешалась; весь дворец был поднят на ноги, слуги побежали за лестницами: сотни людей видели со двора, как обезьяна уселась на самом коньке крыши: одной лапой она держала меня, как ребенка, а другой набивала мой рот разными явствами, которые вынимала из защечных мешков, и угощала тумаками, когда я отказывался от этой пищи. Стоявшая внизу челядь покатывалась со смеху, глядя на эту картину; и мне кажется, что людей этих нельзя строго осуждать, так как зрелище бесспорно было очень забавно для всех, кроме меня. Некоторые стали швырять камнями, надеясь прогнать таким образом обезьяну с крыши, но дворцовая полиция строго запретила это, так как иначе мне, вероятно, размозжили бы голову.

Были приставлены лестницы и по ним поднялось несколько человек; увидя себя окруженной и сообразив, что на трех лапах ей не удрать, обезьяна бросила меня на крышу и дала тягу. Я остался на высоте пятисот ярдов от земли, ожидая каждую минуту, что меня сбросит ветром, или что вследствие головокружения я сам скачусь вниз; но тут один бравый парень, слуга моей нянюшки, взобрался на крышу, положил меня в карман своих штанов, и благополучно спустился вниз. *

Я почти задыхался от дряни, которой обезьяна набила мой рот; но моя милая нянюшка извлекла ее оттуда небольшой иголкой, после чего меня стошнило, и я почувствовал большое облегчение. Однако я так ослабел и так был помят объятиями этого мерзкого животного, что пятнадцать дней пролежал в постели. Король, королева и все придворные каждый день осведомлялись о моем здоровье, и ее величество несколько раз навещала меня во время болезни. Обезьяну убили, и был отдан приказ не держать во дворце подобных животных.

Когда по выздоровлении я явился к королю благодарить его за оказанные мне милости, его величество много смеялся над моим приключением и спрашивал, какие мысли приходили мне в голову, когда я был в лапах обезьяны, как мне понравилось ее кушанье и ее способ угощенья; подействовал ли свежий воздух на мой желудок. Его величеству угодно было также знать, что я стал бы делать при подобной оказии у себя на родине. На эти вопросы я отвечал его величеству, что в Европе нет обезьян, кроме тех, которые, как диковинки, привозятся из чужих стран, и которые так малы, что я бы справился с целой дюжиной их, если бы они осмелились напасть на меня. Что же касается чудовища, с которым мне недавно пришлось иметь дело (обезьяна, в самом деле, величиной была со слона), то, не отними у меня страх способности владеть тесаком (произнося эти слова, я стал в воинственную позу и ухватился за рукоятку своего тесака), я, может быть, нанес бы этому страшилищу, когда оно просунуло лапу в мою



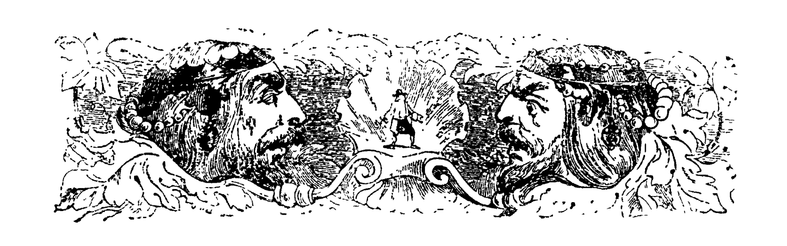
комнату, такую рану, что оно радо было бы как можно скорее убраться от меня. Все это я сказал твердым тоном, как человек, ревниво заботящийся о том, чтобы не возникло никаких сомнений насчет его храбрости. И все же речь моя вызвала лишь громкий смех придворных, который, несмотря на все их почтение к его величеству, они не в силах были сдержать.

Это навело меня на грустные размышления о тщете попыток добиться к себе уважения со стороны людей, находящихся в положении, совершенно несравнимом с нашим. Однако мораль моего поведения очень часто бывала для меня ясна по возвращении моем в Англию, где какой нибудь ничтожный и презренный плут, не имея за собой ни благородства происхождения, ни личных заслуг, ни ума, ни здравого смысла, осмеливается иногда напускать на себя важный вид и ставить себя на одну ногу с величайшими людьми в государстве.

Каждый день я давал при дворе повод для веселого смеха; и Глюмдальклич, несмотря на свою нежную привязанность ко мне, со свойственным ей юмором рассказывала королеве о моих выходках, когда считала, что они способны будут позабавить ее величество. Однажды девочке нездоровилось, и она была взята гуверданткой на загородную прогулку, миль за тридцать от дворца, подышать чистым воздухом. Карета остановилась у тропинки, пересекавшей поле; Глюмдальклич поставила мой дорожный ящик на землю, и я отправился прогуляться. На моем пути лежала куча коровьего помета. Я решил показать свою ловкость и попробовал перескочить через эту кучу. Я разбежался, но, к несчастью, сделал слишком короткий прыжок, и оказался в самой середине кучи, по колени в помете. Не мало труда стоило мне выбраться оттуда, после чего один из лакеев тщательно вытер своим носовым платком мое перепачканное платье, а Глюмдальклич больше не выпускала меня из ящика до возвращения домой,

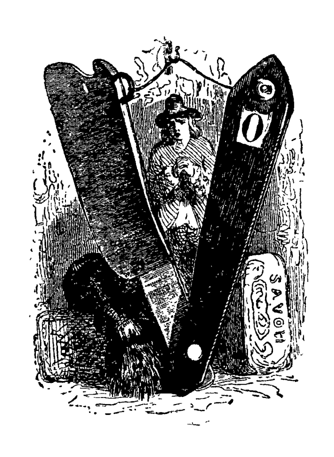
Королева немедленно была извещена об этом приключении, а лакеи разнесли его по всему дворцу, так что в течение нескольких дней я был предметом общих насмешек.





## ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Различные выдумки автора для развлечения короля и королевы. Он показывает свои музыкальные таланты. Король интересуется государственным строем Англии, который автор излагает ему. Замечания короля по этому поводу.*



Обыкновенно раз или два в неделю я представлялся королю во время его утреннего туалета, и часто мне доводилось видеть при этом, как его бреет цирюльник, который сначала наводил на меня ужас, что и не удивительно, так как его бритва была почти в два раза длиннее нашей косы. Следуя обычаям страны, его величество брился только два раза в неделю. Однажды я попросил у цирюльника дать мне помылки или мыльную пену и вытащил оттуда

около сорока или пятидесяти самых толстых волос. Затем, раздобыв тоненькую щепочку, я обстрогал ее в виде спинки гребешка, просверлив в ней на равных расстояниях, с помощью самой тонкой иголки, какую можно было достать у Глюмдальклич, ряд отверстий. В отверстия я вставил волоски, обрезав и оскоблив их на концах моим перочинным ножом так искусно, что получился довольно сносный гребень. Эта принадлежность туалета оказалась очень своевременной, потому что на моем гребне зубцы пообломались, а здесь не было такого искусного мастера, который мог бы сделать мне новый.

Это навело меня на мысль устроить одно развлечение, которому я посвятил много часов своего досуга. Я попросил камеристку королевы сохранять для меня вычески волос ее величества. Через некоторое время у меня набралось их довольно много. Тогда, посоветовавшись с моим приятелем столяром, получившим приказание исполнять все мои маленькие заказы, я поручил ему сделать под моим наблюдением два стула такой величины, как те, что стояли у меня в спальне, и просверлить в них тонким шилом отверстие вокруг тех частей, которые были предназначены для сиденья и спинки. В эти отверстия я вплел самые крепкие волосы, какие мне удалось набрать, как это делается в плетеных английских стульях. Окончив работу, я подарил стулья королеве, которая поставила их в своем будуаре, показывая всем как редкость; они действительно вызывали удивление всех, кто видел их

Королева очень желала, чтобы я сел на один из этих стульев, но я наотрез отказался исполнить ее требование, заявив, что я лучше соглашусь претерпеть тысячу смертей, чем помещу низменную часть моего тела на драгоценные волосы, украшавшие когда то голову ее величества. Из этих волос я сделал также небольшой изящный кошелек (я всегда отличался наклонностью мастерить разные вещицы) длиною около пяти футов, с вензелем ее величества, вытканным золотыми буквами; с согласия королевы, я подарил его Глюмдальклич. Но, говоря правду, этот кошелек годился скорее напоказ, чем для практического употребления, потому что он не мог выдержать тяжести больших монет; поэтому она клала туда только безделушки, которые так нравятся девочкам.

Король любил музыку,* и при дворе часто давались концерты, на которые иногда приносили и меня и помещали в ящике на столе; однако звуки инструментов были так оглушительны, что я с трудом различал мотив. Я уверен, что все барабанщики и трубачи английской королевской армии, заиграв разом под вашим ухом, не произвели бы такого эффекта. Во время концерта я старался устраиваться подальше от исполнителей, запирал в ящике окна, двери, задергивал гардины и портьеры; только при этих условиях я находил их музыку не лишенной приятности.

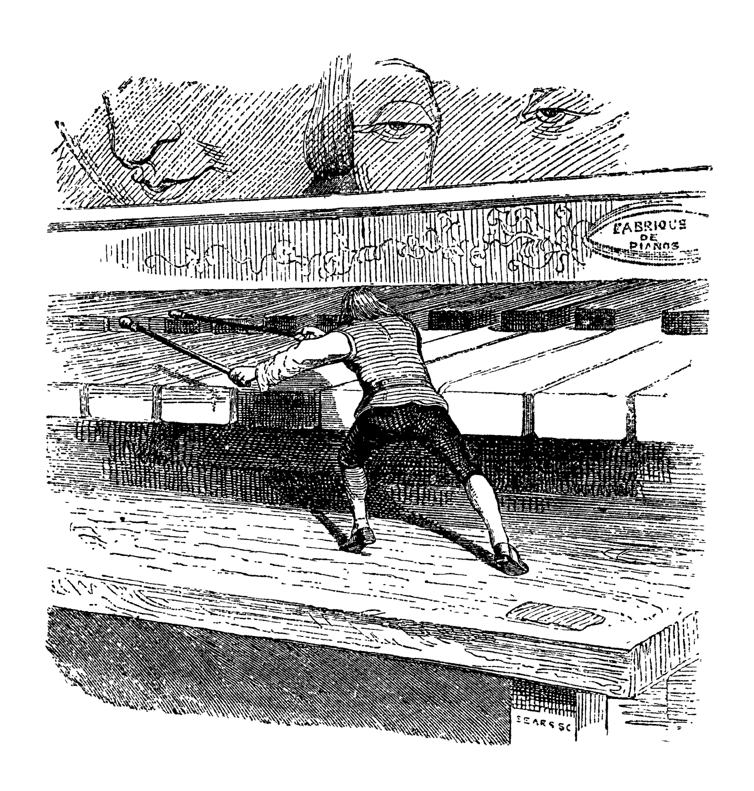
В молодости я немного научился играть на шпинете.* В комнате Глюмдальклич стоял такой же инструмент; два раза в неделю к ней приходил учитель давать уроки. Я называю



этот инструмент шпинетом по его некоторому сходству с последним и главное потому, что играют на нем точно так же, как и на шпинете. Мне пришла в голову мысль развлечь ко-

роля и королеву исполнением английских мелодий на этом инструменте. Но предприятие это оказалось необыкновенно трудным, так как инструмент имел в длину до шестидесяти футов, и каждая его клавиша была шириной в фут, так что, растянув обе руки, я не мог захватить больше пяти клавиш, причем для нажатия клавиши требовался основательный удар кулаком по ней, что стоило бы мне большого труда и дало бы ничтожные результаты. Придуманный мной выход был таков: я приготовил две круглых палки величиной в обыкновенную дубинку; один конец у них был толще другого; я обтянул толстые концы мышиной кожей, чтобы при ударах по клавишам не испортить их и не осложнять игру посторонними звуками. Перед шпинетом была поставлена скамья на четыре фута ниже клавиатуры, куда подняли меня. Я бегал по этой скамье взад и вперед, со всей доступной для меня быстротой, ударяя палками по нужным клавишам, и таким образом ухитрился сыграть жигу, к величайшему удовольствию их величеств. Но это было самое изнурительное физическое упражнение, какое мне случалось когда-либо проделывать; и все же я ударял не более, чем по шестнадцати клавишам, и не мог, следовательно, играть на басах и на дискантах одновременно, как делают другие артисты, что, разумеется, сильно вредило моему исполнению.

Король, который, как я уже заметил, был монарх весьма тонкого ума, часто приказывал приносить меня в ящике к нему в кабинет и ставить на письменном столе. Затем он пред-




лагал мне взять из ящика стул и сажал меня на расстоянии трех ярдов от себя на комоде, почти на уровне своего лица. В таком положении мне часто случалось беседовать с ним. Однажды я осмелился заметить его величеству, что презрение, выражаемое им к Европе и всему остальному миру, не согласуется с высокими качествами его благородного ума; что



умственные способности не возрастают пропорционально размерам тела, а, напротив, в нашей стране наблюдается, что самые высокие люди обыкновенно в наименьшей степени наделены ими; что среди животных пчелы и муравьи пользуются репутацией более изобретательных, искусных и смышленых, чем многие крупные породы, и что каким бы ничтожным я ни казался в глазах короля, все же я надеюсь, что рано или поздно мне представится случай оказать его величеству какую-нибудь важную услугу. Король слушал меня внима-

тельно и после этих бесед стал гораздо лучшего мнения обо мне, чем прежде. Он просил меня сообщить ему возможно более точные сведения об английском правительстве, ибо, как бы ни были государи привязаны к обычаям своей страны (такое заключение о других монархах он сделал на основании прежних бесед со мной), во всяком случае он был бы рад услышать что-нибудь, что заслуживало бы подражания.

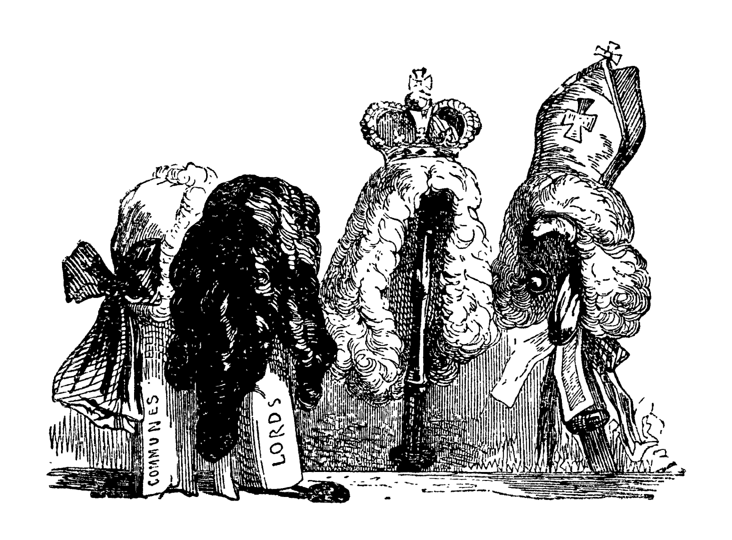
Сам вообрази, любезный читатель, как страстно желал я обладать в те минуты красноречием Демосфена или Цицерона, которое дало бы мне возможность прославить дорогое мое отечество в стиле, равняющемся его достоинствам и его величию.

Я начал свою речь с сообщения его величеству, что наше государство состоит из двух островов, образующих три могущественных королевства под властью одного монарха; к ним нужно еще прибавить наши колонии в Америке. Я долго распространялся о плодородии нашей почвы и умеренности нашего климата. Потом я подробно рассказал об устройстве нашего парламента, в состав которого входит славный корпус, называемый палатой перов, лиц самого знатного происхождения, владеющих древнейшими и обширнейшими вотчинами. Я описал ту необыкновенную заботливость, с какой всегда относились к их воспитанию в искусствах и военном деле, чтобы подготовить их к положению советников короля и королевства; способных принимать участие в законодательстве; быть членами верховного суда, ре-

шения которого не подлежат обжалованию; благодаря своей храбрости, отменному поведению и преданности всегда готовых первыми выступить на защиту своего монарха и отечества. Я сказал, что эти люди являются украшением и оплотом королевства, достойными наследниками своих знаменитых предков, почести которых были наградой за их доблесть, неизменно наследуемую потомками до настоящего времени; что в состав этого высокого собрания входит некоторое количество духовных особ, носящих сан епископов, специальной обязанностью которых является забота о религии и наблюдение за теми, кто научает ее истинам народ; что эти духовные особы отыскиваются и избираются королем и его мудрейшими советниками из среды духовенства всей нации, как наиболее отличившиеся святостью своей жизни и глубиною своей учености; что они действительно являются духовными отцами духовенства и всего народа.

Другую часть парламента,—продолжал я,—образует собрание, называемое палатой общин, членами которой бывают знатнейшие дворяне, свободно избираемые из числа этого сословия самим народом, за их великие способности и любовь к своей стране, представлять мудрость всей нации. Таким образом обе эти палаты являются самым величественным собранием в Европе, коему, вместе с королем, поручено все законодательство.

Затем я перешел к описанию судебных палат, руководимых судьями, этими почтенными мудрецами и толкователями законов, для раз-




решения тяжеб, наказания порока и ограждения невинности. Я упомянул о бережливом управлении нашими финансами и о храбрых подвигах нашей армии как на суше, так и на море. Я назвал число нашего населения, подсчитав, сколько миллионов может быть у нас в каждой религиозной секте и в каждой политической партии. Я не умолчал также об играх и увеселениях англичан, и вообще ни о какой подробности, если она могла, по моему мнению, служить к возвеличению моего отечества. И я закончил все кратким историческим обзором событий в Англии за последние сто лет.

Этот разговор продолжался в течение пяти аудиенций, из которых каждая заняла несколько часов. Король слушал меня очень внимательно,

часто записывая то, что я говорил, и те вопросы, которые он собирался задать мне.

Когда я окончил свое длинное повествование, его величество, в шестой аудиенции, справясь с своими заметками, высказал целый ряд сомнений, недоумений и возражений по поводу каждого из моих утверждений. Он спросил: какие методы применяются для телесного и духов-



ного развития знатного юношества, и в какого рода занятиях проводит оно обыкновенно первую и наиболее переимчивую часть своей жизни? Какой порядок пополнения этого собрания в случае угасания какого нибудь знатного рода? Какие качества требуются от тех, кто вновь возводится в звание лорда: не случается ли иногда, что эти назначения бывают обусловлены прихотью монарха, деньгами, предложенными придворной даме или первому министру, или желанием усилить партию, противную общественным интересам? Насколько основательно эти лорды знают законы своей страны, и позволяет ли им это знание решать в качестве высшей инстанции дела своих сограждан? Действительно ли эти лорды всегда так чужды корыстолюбия, партийности и других недостатков, что на них не может подействовать подкуп, лесть и тому подобное? Действительно ли духовные лорды, о которых я говорил, возводятся в этот сан только благодаря их глубокому знанию религиозных доктрин и благодаря их святой жизни? Неужели во времена, когда они являлись простыми священниками, они не были подвержены никаким слабостям? Неужели нет среди них растленных капелланов какого нибудь вельможи, мнениям которого они продолжают раболепно следовать и после того, как получили доступ в это собрание?

Затем король пожелал узнать, какая система практикуется при выборах тех депутатов, которых я назвал членами палаты общин; разве не случается, что чужой человек, с туго набитым кошельком, оказывает давление на избирателей,

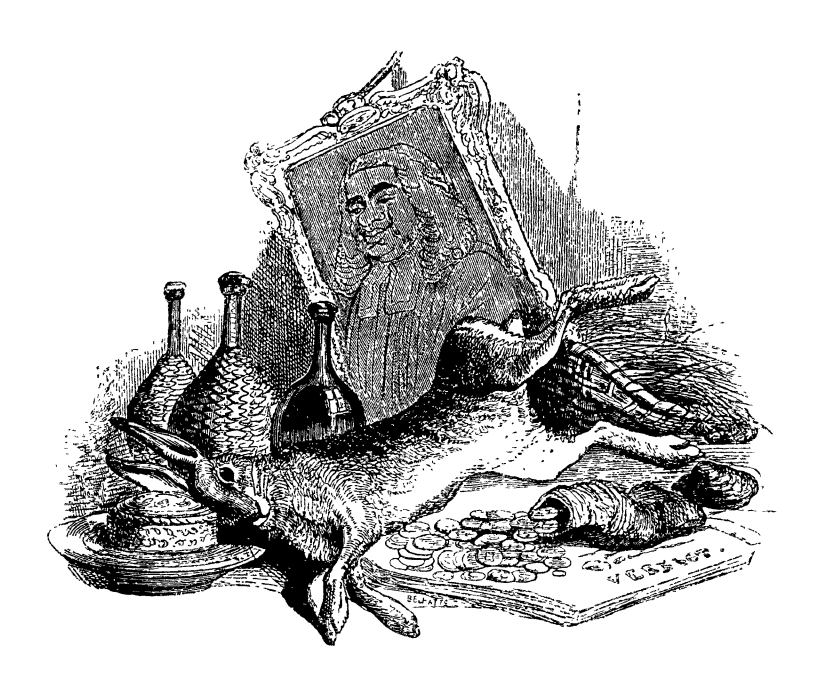



склоняя их голосовать за него вместо их помещика или наиболее достойного дворянина в околотке? Почему эти люди так страстно стремятся попасть в упомянутое собрание, если пребывание в нем, по моим словам, сопряжено с большим беспокойством и издержками, приводящими часто к разорению семьи, и не оплачивается ни жалованьем, ни пенсией? Такая

жертва требует от человека столько добродетели и гражданственности, что его величество выразил сомнение относительно искренности подобного служения обществу. И он желал узнать, нет ли у этих ревнителей каких нибудь видов вознаградить себя за понесенные ими тягости и беспокойство путем пожертвования общественного блага намерениям слабого и порочного монарха вкупе с его развращенными министрами. Он задал мне еще множество вопросов и выпытывал все подробности, касающиеся этой темы, высказав целый ряд критических замечаний и возражений, которые я считаю неудобным и неблагоразумным повторять здесь.

По поводу моего описания наших судебных палат его величеству было угодно получить разъяснения относительно нескольких пунктов. И я мог наилучшим образом удовлетворить его желание, так как когда то был почти разорен продолжительным процессом в верховном суде, несмотря на то, что процесс был мной выигран с присуждением судебных издержек. Король спросил: сколько нужно времени для судебного решения, и с какими расходами сопряжено ведение процесса? Могут ли адвокаты и стряпчие выступать в судах ходатаями по делам заведомо несправедливым, в явное нарушение чужого права? Оказывает ли какое нибудь давление на чашу весов правосудия принадлежность к религиозным сектам и политическим партиям? Получили ли упомянутые мной адвокаты широкое юридическое образование или же они знакомы только с местными, провинциальными и национальными обычаями? Принимают ли какое ни-

будь участие эти адвокаты, а равно и судьи, в составлении тех законов, толкование и комментирование которых предоставлено их усмотрению? Не случалось ли когда нибудь, чтобы одни и те же лица защищали такое дело, против которого в другое время они возражали, ссылаясь на прецеденты для доказательства противоположных мнений? Богатую или бед-



ную корпорацию составляют эти люди? Получают ли они за свои советы и ведение тяжбы денежное вознаграждение? В частности, допу-

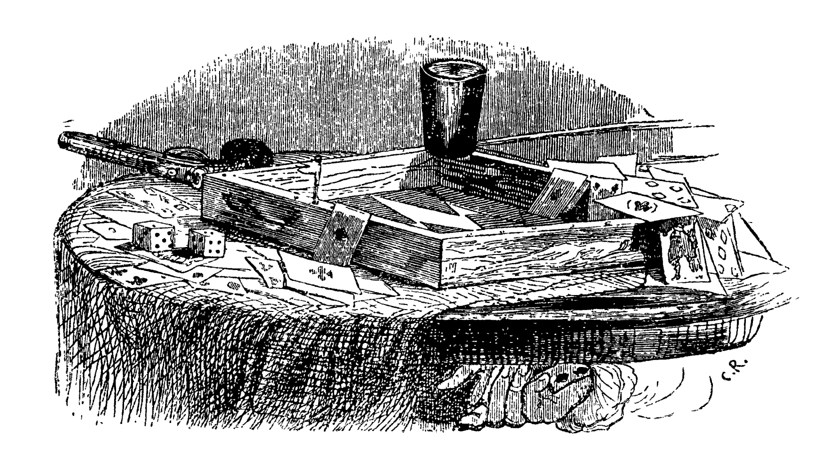
скаются ли они в качестве членов в нижнюю палату?

Затем король обратился к нашим финансам. Ему казалось, что мне изменила память, когда я называл цифру доходов и расходов, так как я определил первые в пять или шесть миллионов в год, между тем как расходы, по моим словам, превышают иногда означенную цифру больше, чем вдвое. Заметки, сделанные королем по этому поводу, были особенно тщательны, потому что, по его словам, он надеялся извлечь для себя пользу из знакомства с ведением наших финансов и не мог ошибиться в своих выкладках. Но раз мои цифры были правильны, то король недоумевал, каким образом государство может расточать свое состояние, как частный человек. Он спрашивал, кто наши кредиторы, и где мы находим деньги для платежа долгов. Он был поражен, слушая мои рассказы о столь обременительных и затяжных войнах, и вывел заключение, что или мы—народ сварливый, или же окружены дурными соседями, и что наши генералы наверное богаче королей. Он спрашивал, что за дела могут быть у нас за пределами наших островов, кроме торговли, дипломатических сношений и защиты берегов с помощью нашего флота. Особенно поразило короля то обстоятельство, что нам, свободному народу, необходима наемная регулярная армия в мирное время. Но если у нас существует самоуправление, осуществляемое выбранными нами депутатами, то—недоумевал король—кого же нам бояться и с кем воевать? И он спросил меня: разве не лучше может быть защищен дом ка-

ждого из граждан его хозяином с детьми и домочадцами, чем полдюжиной случайно завербованных на улице за небольшое жалованье мошенников, которые могут получить в сто раз больше, перерезав горло охраняемым ими лицам?

Король много смеялся над моей странной арифметикой (как угодно было ему выразиться), по которой я определил численность народонаселения в Англии, сложив количество последователей существующих у нас религиозных сект и политических партий. Он не понимал, почему тот, кто исповедует мнения, пагубные для общества, должен изменить их и не имеет права держать их при себе. И если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, то дозволение открыто исповедывать мнения пагубные служит выражением слабости; в самом деле, можно не запрещать человеку держать яд в своем доме, но нельзя позволять ему продавать этот яд, как лекарство.

Король обратил внимание, что в числе развлечений, которым предается наша знать и наше дворянство, я назвал азартные игры. Ему хотелось знать, в каком возрасте начинают играть, и до каких лет практикуется это занятие; сколько времени отнимает оно; не приводит ли иногда увлечение им к потере состояния; не случается ли, кроме того, что порочные и низкие люди, изучив все тонкости этого искусства, игрой наживают большие богатства и держат подчас в зависимости от себя людей весьма знатных, и что в то же время последние, находясь постоянно



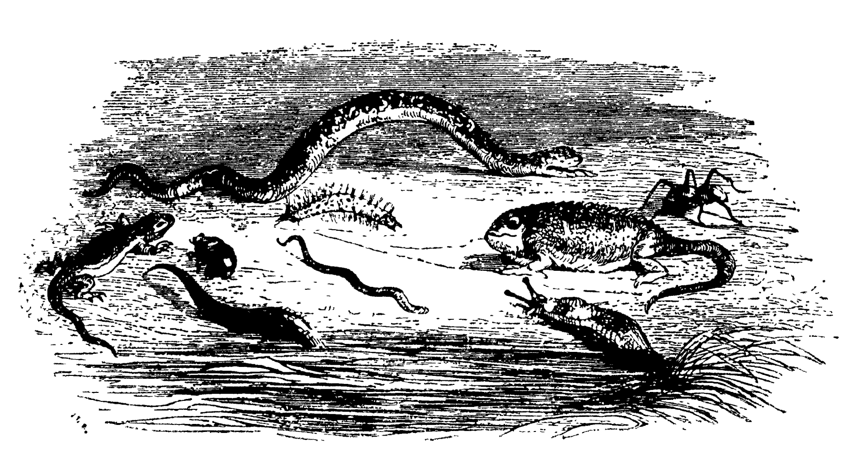
в презренной компании, отвлекаются от развития своих умственных способностей и бывают вынуждены, благодаря своим проигрышам, изучать искусство ловкого мошенничества и применять его на практике.

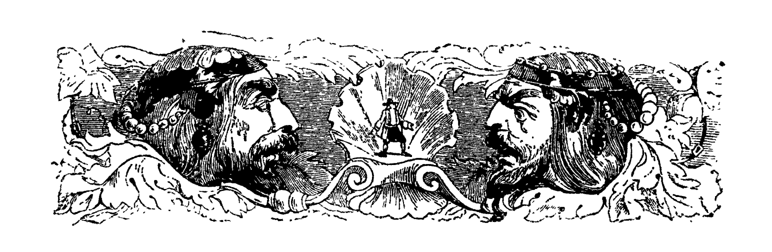
Мой краткий исторический очерк Англии за последнее столетие поверг короля в крайнее изумление. Он объявил, что, по его мнению, эта история есть не что иное, как куча заговоров, смут, убийств, избиений, революций и высылок, являющихся худшим результатом жадности, партийности, лицемерия, вероломства, жестокости, бешенства, безумия, ненависти, зависти, сластолюбия, злобы и честолюбия.

В следующей аудиенции его величество взял на себя труд вкратце резюмировать все, о чем я говорил; он сравнил свои вопросы с моими

ответами; потом, взяв меня в руки и тихо лаская, обратился ко мне с следующими словами, которых я никогда не забуду, как не забуду и самый тон, какими они были сказаны: Мой маленький друг Грильдриг, вы произнесли удивительнейший панегирик вашему отечеству; вы ясно доказали, что невежество, леность и порок являются главными качествами, приличествующими законодателю; что законы лучше всего объясняются, истолковываются и применяются на практике теми, кто более всего заинтересован и способен извращать, запутывать и обходить их. В ваших учреждениях я усматриваю некоторые черты, которые в своей основе может быть и терпимы, но они наполовину истреблены, а в остальной своей части совершенно замараны и осквернены. Из сказанного вами не видно, чтобы для занятия у вас высокого общественного положения требовалось обладание какими нибудь достоинствами; еще менее видно, чтобы люди жаловались высокими званиями на основании их добродетелей, чтобы духовенство получало повышение за свое благочестие или ученость, военные—за свою храбрость и благородное поведение, судьи—за свою неподкупность, сенаторы—за любовь к отечеству и государственные советники — за свою мудрость. Что касается вас самого (продолжал король), проведшего большую часть жизни в путешествиях, то я расположен думать, что до сих пор вам удалось избегнуть многих пороков вашей страны. Но резюме, сделанное мною на основании вашего рассказа, а также ответы, которых мне с таким трудом удалось добиться

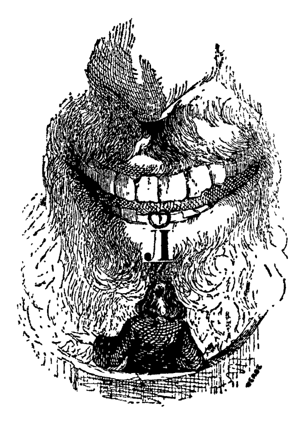
от вас, не могут не привести меня к заключению, что большинство ваших соотечественников есть выводок маленьких отвратительных пресмыкающихся, самых пагубных из всех, какие когда либо ползали по земной поверхности.





## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*Любовь автора к отечеству. Он делает выгодное предложение королю, но король отвергает это предложение. Невежество короля в делах политики. Несовершенство и ограниченность знаний этого народа. Законы, военное дело и партии в государстве.*




ишь моя крайняя любовь к истине помешала мне утаить эту часть моей истории. Напрасно было выказывать свое негодование, потому что, кроме смеха, оно ничего не могло возбудить; и мне пришлось спокойно и терпеливо выслушивать это оскорбительное третирование моего благородного и любимого отечества. Я искренно сожалел, что на мою долю выпала такая роль, как сожалел бы, вероятно,

любой из моих читателей; но монарх этот был так любознателен и с такой жадностью стремился выведать малейшие подробности нашей жизни, что ни моя благодарность, ни благовоспитанность не позволили отказать ему в посильном удовлетворении его любопытства. Однако же, да будет разрешено мне заметить в мое оправдание, я очень искусно обошел многие вопросы короля и каждому пункту придал гораздо более благоприятное освещение, чем то было совместимо с требованиями строгой истины. Таким образом, в свой рассказ я всегда вносил похвальное пристрастие к своему отечеству, которое Дионисий Галикарнасский* столь справедливо рекомендует всем историкам; мне хотелось скрыть слабости и уродливые явления в жизни моей родины и выставить в самом благоприятном свете ее красоту и добродетель. Таково было мое чистосердечное старание во время моих многочисленных бесед с этим могущественным монархом, к сожалению, однако, не увенчавшееся успехом.

Но нельзя быть слишком требовательным к королю, который совершенно отрезан от остального мира и вследствие этого находится в полном неведении относительно нравов и обычаев других народов. Такое неведение всегда порождает известную узость мысли и множество предрассудков, которых мы, подобно другим просвещенным европейцам, совершенно чужды. И, разумеется, было бы нелепо предлагать в качестве образца для всего человечества понятия добродетели и порока, принадлежащие столь отдаленному монарху.

Для подтверждения сказанного, а также, чтобы показать прискорбные последствия ограниченного образования, упомяну здесь о происшествии, которое покажется невероятным. В надежде снискать еще большее благоволение короля, я рассказал ему об изобретении три или четыре столетия тому назад некоего черного порошка, обладающего свойством мгновенно воспламеняться в каком угодно огромном количестве от малейшей искры и разлетаться в воздухе, производя при этом шум и сотрясение, подобные грому. Я сказал, что определенное количество этого порошка, будучи забито в полую медную или железную трубу, выбрасывает, смотря по величине трубы, железный или свинцовый шар, с такой силой и быстротой, что ничто не может устоять против его удара; что наиболее крупные из пущенных таким образом шаров не только уничтожают целые шеренги солдат, но разрушают до основания самые крепкие стены, пускают ко дну громадные корабли с тысячами людей, а скованные цепью вместе рассекают мачты и снасти, крошат на куски сотни человеческих тел и сеют кругом опустошение; что часто мы начиняем этим порошком большие полые железные шары и особыми орудиями пускаем их в осаждаемые города, где они взрывают мостовые, разносят на куски дома, зажигают их, разбрасывая во все стороны осколки, которые проламывают череп каждому, кто случится вблизи; что мне в совершенстве известны составные части этого порошка, которые стоят недорого и встречаются повсюду; что я знаю, как их нужно сме-



шивать, и могу научить мастеров изготовлять металлические трубы, согласуя их калибр с остальными предметами в королевстве его величества, причем самые большие не должны превышать ста футов в длину, и что, наконец, двадцать или тридцать таких труб, заряженных соответствующим количеством пороха и соответствующими ядрами, в несколько часов разрушат крепостные стены самого большого города в его владениях и обратят в развалины всю столицу, если бы население ее восстало

и осмелилось оказать сопротивление его власти. Я скромно предложил его величеству эту маленькую услугу в знак благодарности за многие его милости и покровительство.

Выслушав описание этих разрушительных орудий и мое предложение, король пришел в ужас. Он был поражен, как может такое бессильное и ничтожное насекомое, каким был я (это его собственное выражение), не только питать столь бесчеловечные мысли, но и до того свыкнуться с ними, что совершенно равнодушно рисовать сцены кровопролития и опустошения, как самые обыкновенные действия этих разрушительных машин, изобретателем которых, сказал он, был, должно быть, какой то злобный гений, враг рода человеческого. Он заявил, что хотя ничто не доставляет ему такого удовольствия, как открытия в области искусства и природы, тем не менее он скорее согласится потерять половину своего королевства, чем быть посвященным в тайну подобного изобретения, и советует мне, если я дорожу своей жизнью, никогда больше не упоминать о нем.

Странное действие узких принципов и ограниченного кругозора! Этот монарх, обладающий всеми качествами, обеспечивающими любовь, почтение и уважение, — одаренный большими способностями, проницательным умом, глубокой ученостью и удивительными талантами, — почти обожаемый подданными, — вследствие чрезмерной ненужной щепетильности, совершенно непонятной нам европейцам, упустил из рук средство, которое сделало бы его

властелином жизни, свободы и имущества своего народа. Говоря так, я не имею ни малейшего намерения умалить какую нибудь из многочисленных добродетелей этого превосходного короля, хотя я отлично сознаю, что мой рассказ сильно уронит его в мнении читателя англичанина; но я утверждаю, что подобный недостаток является следствием невежества этого народа, у которого политика до сих пор не возведена на степень науки, какою сделали ее более утонченные умы Европы. Я очень хорошо помню, как однажды, в разговоре с королем, мое замечание насчет того, что у нас написано тысячи книг об искусстве управления, вызвало у



него (в противоположность моим ожиданиям) самое нелестное мнение о наших умственных способностях. Он заявил, что ненавидит и презирает всякую тайну, утонченность и интригу как у государей, так и у министров. Он не мог понять, чтò я разумею под словами государственная тайна, если дело не касается неприятеля или враждебной нации. Все искусство управления он ограничивает самыми тесными рамками и требует для него только здравого смысла, разумности, справедливости, кротости, быстрого решения уголовных и гражданских дел и еще нескольких очевидных для каждого качеств, которые не стоят того, чтобы на них останавливаться. По его мнению, всякий, кто вместо одного колоса* или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине бòльшую услугу, чем все политики взятые вместе.

Знания этого народа очень недостаточны; они ограничиваются моралью, историей, поэзией и математикой, но в этих областях, нужно отдать справедливость, им достигнуто большое совершенство. Что касается математики, то она имеет здесь чисто прикладной характер и направлена на улучшение земледелия и всякого рода механизмов, так что у нас она получила бы невысокую оценку. А относительно идей, сущностей, абстракций и трансценденталий мне так и не удалось внедрить в их головы ни малейшего представления.

В этой стране не дозволяется формулировать закон при помощи числа слов, превышающего число букв алфавита, а в нем их насчитывают

всего двадцать две; но лишь очень немногие законы достигают даже этой длины. Все они выражены в самых ясных и простых терминах, и эти люди не отличаются такой изворотливостью ума, чтобы открыть в законе несколько смыслов; писать комментарий к какому либо закону считается большим преступлением. Что касается гражданского и уголовного судопроизводства, то прецедентов в этих областях у них так мало, что они не могут похвастаться особенным искусством по этой части.

Искусство книгопечатания у них, как и у китайцев, существует с незапамятных времен. Но библиотеки их не очень велики. Так, например, королевская, считающаяся самой значительной, заключает в себе не более тысячи томов, помещающихся в галлерее, длиною в сто двадцать футов, откуда мне было дозволено брать любую книгу. Столяр королевы смастерил в одной из комнат Глюмдальклич деревянный станок, вышиною в двадцать пять футов, по форме похожий на стоячую лестницу, каждая ступенька которой имела пятьдесят футов длины. Она составляла подвижный ряд ярусов, и нижний конец помещался на расстоянии десяти футов от стены комнаты. Книга, которую я желал читать, приставлялась к стене; я взбирался на самую верхнюю ступень лестницы и, повернув лицо к книге, начинал чтение с верху страницы, передвигаясь вдоль нее слева направо на расстояние восьми или десяти шагов, смотря по длине строки, до тех пор, пока строки не опускались ниже уровня моих глаз; тогда я спускался на следующую ступень, пока постепенно не дохо-



дил до конца страницы; после чего поднимался снова и прочитывал таким же образом другую страницу; листы книги я переворачивал обеими руками, что было не трудно делать, так как каждый из них по толщине и плотности не превосходил нашего картона, и в книге самого

большого формата имел длину всего от восемнадцати до двадцати футов.

Их слог* отличается ясностью, мужественностью и гладкостью, без малейшей цветистости; ибо более всего они стараются избегать нагромождения ненужных слов и разнообразия выражений. Я прочитал много их книг, особенно исторического и нравственного содержания. Между прочим мне доставил большое удовольствие маленький, старинный трактат, который всегда лежал в спальне Глюмдальклич и принадлежал ее гувернантке, почтенной пожилой даме, много читавшей на моральные и религиозные темы. Книга повествует о слабости человеческого рода и не пользуется большим уважением, исключая женщин и простого народа. Однако мне было любопытно узнать, что мог сказать местный писатель на подобную тему. Он повторяет обычные рассуждения европейских моралистов, показывая, каким слабым, презренным и беспомощным животным является по своей природе человек; как он неспособен защищаться от климатических условий и ярости диких животных; как эти животные превосходят его одни своей силой, другие быстротой, третьи предусмотрительностью, четвертые трудолюбием. Он доказывает, что в последние упадочные столетия природа вырождается и может производить только каких то недоносков сравнительно с людьми, которые жили в древние времена. По его мнению есть большое основание думать, что не только человеческая порода была первоначально крупнее, но что в прежние времена существовали также великаны, о чем сви-

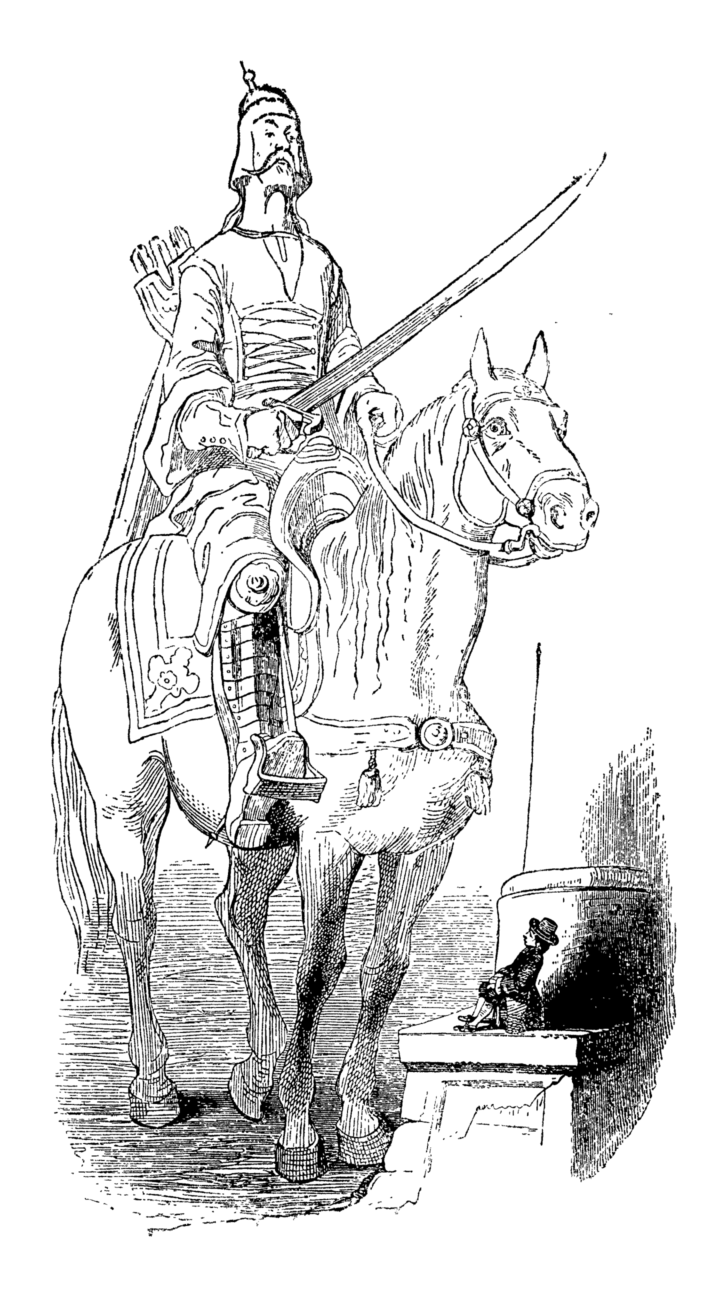
детельствует история и предания, и что подтверждается огромными костями и черепами, случайно откапываемыми в различных частях королевства, по своим размерам значительно превосходящими нынешних измельчавших людей. Он утверждает, что сами законы природы необходимо требуют, чтобы вначале мы были крупнее ростом и сильнее, менее подвержены гибели от незначительной случайности: упавшей с крыши черепицы, камня, брошенного рукой мальчика, ручейка, в котором мы тонем. Из этих рассуждений автор извлекает несколько нравственных правил, полезных для повседневной жизни, которые незачем здесь повторять. Прочитав эту книгу, я невольно задумался над вопросом, почему у людей так распространена страсть произносить поучения на нравственные темы, а также досадовать и сетовать на свои слабости, обнаруживающиеся при борьбе со стихиями. Мне кажется, тщательное исследование вопроса может доказать всю необоснованность подобных жалоб, как у нас, так и у этого народа.

Что касается военного дела, то туземцы гордятся численностью королевской армии, которая состоит из ста семидесяти шести тысяч пехоты и тридцати двух тысяч кавалерии, если можно назвать армией корпус, составленный в городе из купцов, а в деревне из фермеров, под командой больших вельмож или мелкого дворянства, не получающих ни жалованья, ни другого вознаграждения. Но армия эта достаточно хорошо делает свои упражнения и отличается прекрасной дисциплиной, что впрочем не удивительно, ибо как может быть иначе там,

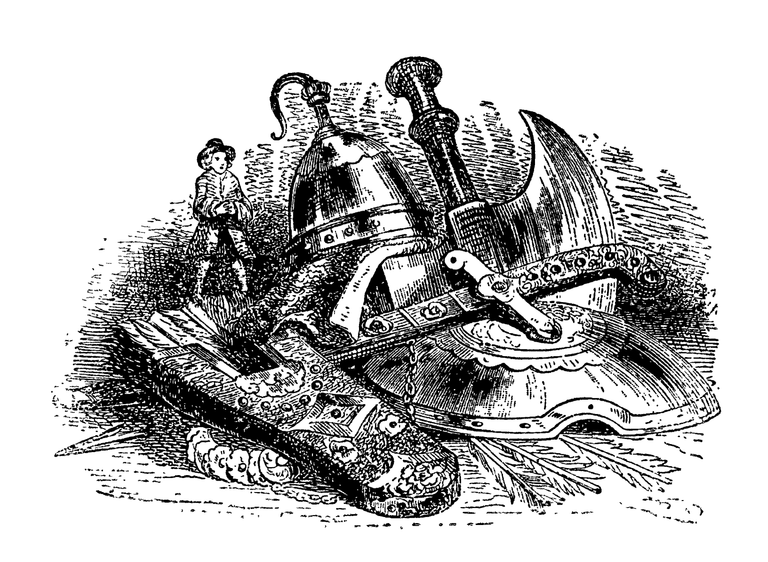
где каждый фермер находится под командой своего помещика, а каждый горожанин под командой уважаемых лиц в городе, и где эти начальники избираются баллотировкой, как в Венеции.

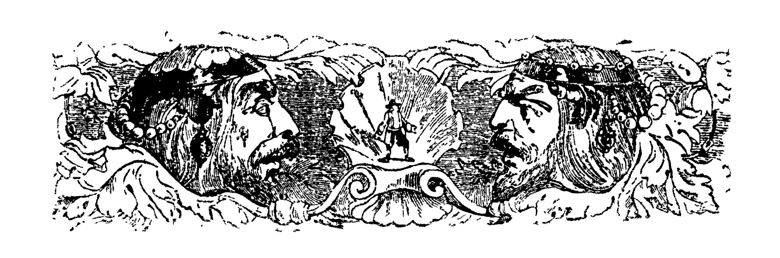
Мне часто приходилось видеть военные упражнения столичной милиции на большом поле в двадцать квадратных миль, недалеко от города. Хотя в сборе было не более двадцати пяти тысяч пехоты и шести тысяч кавалерии, но я ни за что не мог бы сосчитать их, такое громадное пространство занимала армия. Каждый кавалерист, сидя на лошади, представлял собой колонну, вышиною около ста футов. Я видел, как весь этот кавалерийский корпус по команде разом обнажал сабли и размахивал ими в воздухе. Никакое воображение не может придумать ничего более грандиозного и поразительного! Казалось, будто десять тысяч молний разом вспыхивали со всех сторон небесного свода.

Мне было любопытно узнать, каким образом этот государь, владения которого нигде не граничат с другим государством, пришел к мысли организовать армию и обучить свой народ военной дисциплине. Вот что я узнал по этому поводу как из рассказов, так и из чтения исторических сочинений. В течение нескольких столетий эта страна страдала общею болезнью человеческого рода: дворянство часто боролось за власть, народ — за свободу, а король — за абсолютное господство. Силы эти, хотя и счастливо умеряемые законами королевства, по временам выходили из равновесия и не раз затевали гражданскую войну. Последняя из таких войн сча-



стливо окончилась при деде ныне царствующего монарха и привела все партии к соглашению и взаимным уступкам. Тогда с общего согласия была сформирована милиция, которая всегда готова предотвратить новую смуту.





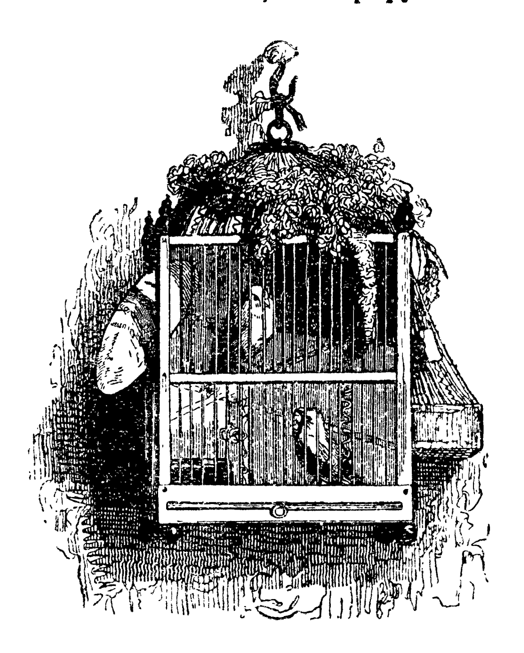
## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Король и королева предпринимают путешествие к границам государства. Автор сопровождает их. Подробный рассказ о том, каким образом автор оставляет страну. Он возвращается в Англию.*




меня всегда было предчувствие, что рано или поздно я возвращу себе свободу, хотя я не мог ни предугадать, каким способом, ни придумать никакого проекта, который имел бы малейшие шансы на успех. Корабль, на котором я прибыл сюда, был первый, показавшийся у этих берегов, и король отдал строжайшее повеление, на случай, если появится другой такой же корабль, притащить его к берегу и доставить со всем экипажем на телеге в Лорбрульгруд. Король имел сильное желание* подыскать

мне женщину одинакового роста, от которой у меня могли бы быть дети. Однако мне кажется я скорее согласился бы умереть, чем принять на себя позор оставить потомство, которое содержалось бы в клетках, как прирученные кана-



рейки, и стало бы может быть предметом купли и продажи, как диковинка, для развлечения знатных лиц. Правда, обращение со мной было самое любезное; я был любимцем могущественного короля и королевы, предметом внимания всего двора; но самая манера обхождения со мной оскорбляла мое человеческое достоинство. Я никогда не мог забыть оставленную на родине

семью. Я чувствовал потребность находиться среди людей, с которыми я мог бы обращаться как равный с равным, и ходить по улицам и полям, не опасаясь быть растоптанным, подобно лягушке или щенку. Мое освобождение произошло раньше, чем я ожидал и не совсем обыкновенным образом. Я добросовестно расскажу все обстоятельства этого удивительного происшествия.

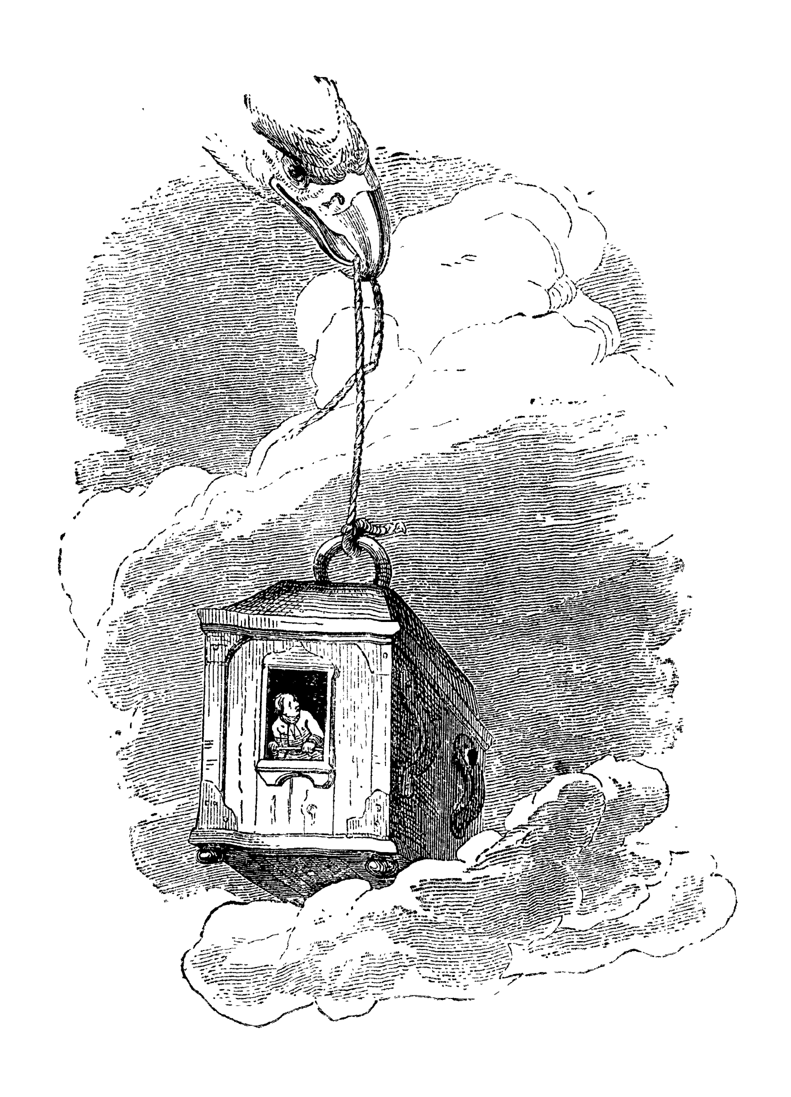
Уже два года я находился в этой стране. В начале третьего мы с Глюмдальклич сопровождали короля и королеву в их путешествии к южному побережью королевства. Меня по обыкновению возили в дорожном ящике, который, как я уже описывал, был очень удобной комнатой шириною в двенадцать футов. В этой комнате, при помощи шелковых веревок, я велел прикрепить к четырем углам потолка гамак, который ослаблял силу толчков, когда слуга держал меня перед собой верхом на лошади, согласно изъявляемому мной иногда желанию. Часто во время дороги я засыпал в этом гамаке. В крыше моего ящика, прямо над гамаком, было устроено столяром, по моему желанию, отверстие, величиною в квадратный фут, для доступа свежего воздуха в жаркую погоду; во время моего сна, я мог по желанию открывать и закрывать это отверстие, при помощи доски, двигавшейся в желобках.

Когда мы достигли цели нашего путешествия, король решил провести несколько дней во дворце, подле Фленфласника, города, расположенного в восемнадцати английских милях от морского берега. Глюмдальклич и я были сильно утомлены; я схватил небольшой насморк, а бед-

пая девочка так сильно заболела, что вынуждена была оставаться в своей комнате. Я сгорал желанием видеть океан—единственное место, которое могло служить театром моего бегства, если бы ему суждено было когда нибудь осуществиться. Я притворился более больным, чем был на самом деле, и просил отпустить меня подышать свежим морским воздухом с пажем, которого очень любил, и которому меня доверяли уже несколько раз. Никогда не забуду, с какой неохотой Глюмдальклич согласилась на



эту прогулку и сколько наставлений дала она пажу заботливо беречь меня; она была вся в слезах, как будто предчувствуя, что̀ должно было произойти со мной. Мальчик нес меня в ящике около получаса по направлению к скалистому морскому берегу. Здесь я велел ему поставить ящик и, открыв одно из окон, стал с тоской смотреть на воды океана. Я чувствовал себя нехорошо, и сказал пажу, что хочу вздремнуть в гамаке, надеясь, что сон принесет мне облегчение. Я лег, и паж плотно закрыл окно, чтобы предохранить меня от простуды. Я скоро заснул, и все мои предположения сводятся к тому, что паж, думая, что во время сна со мной не может случиться ничего опасного, направился к скалам искать птичьи гнезда; ибо и раньше мне случалось наблюдать из моего окна, как он находил эти гнезда в расщелинах скал и доставал оттуда яйца. Как бы то ни было, но я внезапно проснулся от резкого толчка, точно кто то с силой дернул за кольцо, прикрепленное к крышке моего ящика, чтобы удобнее было носить его. Я чувствовал, как мой ящик поднялся высоко в воздухе и затем понесся со страшной скоростью. Первый толчек едва не выбросил меня из гамака, но потом движение стало более плавным. Я несколько раз принимался кричать во всю глотку, но крик мой был бесполезен. Я смотрел в окна и видел только облака и небо. Над головой я слышал шум, похожий на всплески крыльев, и мало по малу начал сознавать опасность своего положения: должно быть орел,* захватив клювом кольцо моего ящика, понес его с намерением бросить



о скалу как черепаху в панцыре, и затем вытащить из под обломков мое тело и пожрать его; смышленность и чутье этой птицы делает ее способной выследить добычу на большом расстоянии, хотя бы она была скрыта лучше, чем я, огражденный досками толщиною в два дюйма.

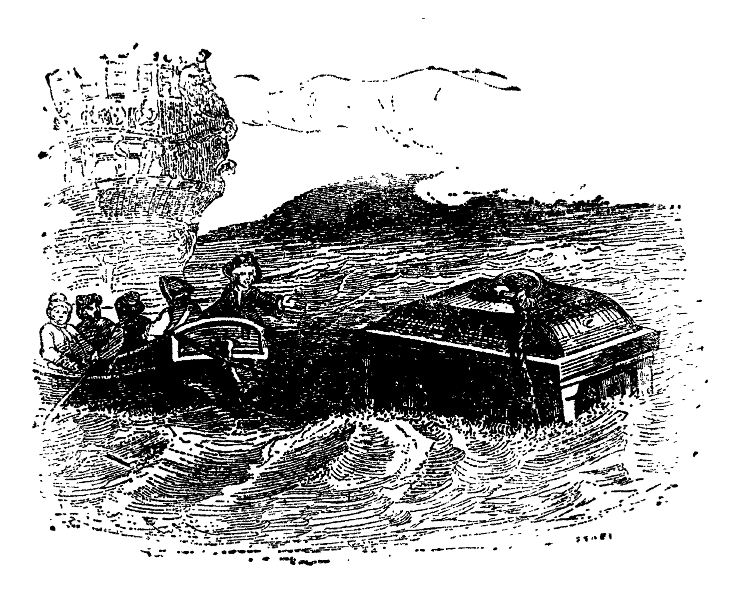
Спустя некоторое время я заметил, что шум усилился, а взмахи крыльев участились, и что мой ящик закачался из стороны в сторону, подобно вывеске в ветренную погоду. Я услышал, несколько ударов или тумаков, нанесенных, по моему предположению орлу (ибо, я был уверен, что именно орел держал в клюве кольцо моего ящика), затем вдруг я почувствовал, что падаю отвесно вниз около минуты, но с такой невероятной быстротой, что у меня захватило дух. Мое падение было остановлено страшным всплеском, который отдался в моих ушах сильнее, чем шум Ниагарского водопада. После этого я в продолжение минуты был во мраке, затем мой ящик начал подниматься, и в верхнюю часть окон я увидел свет. Тогда я понял, что упал в море. Благодаря тяжести моего тела, а также различным вещам и железным пластинам, которыми ящик был скреплен для прочности по всем четырем углам, он погрузился в воду на пять футов. Я предполагал и предполагаю теперь, что на орла, летевшего с ящиком, напали два или три соперника, надеясь поделиться добычей, и что во время битвы орел выпустил меня из клюва, будучи не в силах иначе защищаться. Железные пластины, укрепленные на дне ящика (самые тяжелые из всех),

помогли ему сохранить во время падения равновесие и не дали разбиться о поверхность воды. Все скрепы были тесно пригнаны; двери отворялись не на петлях, а поднимались и опускались как задвижки; словом, моя комната была закрыта так плотно, что воды туда проникло очень немного. С трудом выйдя из гамака, я отважился отодвинуть в крышке упомянутую выше доску, чтобы впустить свежего воздуху, от недостатка которого я почти задыхался.

Как часто возникало у меня тогда желание быть с моей милой Глюмдальклич, от которой это неожиданное происшествие в течение одного только часа так отдалило меня! По совести говорю, что среди собственных несчастий я не мог удержаться от слез при мысли о моей бедной нянюшке, о горе, которое причинит ей эта потеря, о немилости к ней королевы и о крушении ее надежд. Вряд ли многим путешественникам выпадало на долю такое трудное и отчаянное положение, в каком находился я в это время, ежеминутно ожидая, что мой ящик разобьется или во всяком случае будет опрокинут первым же порывом ветра и первой же волной. Стоило только разбиться хотя бы одному оконному стеклу, и мне грозила бы неминуемая смерть; между тем, эти стекла были защищены только железными решетками, поставленными снаружи в ограждение от дорожных случайностей. Заметив, что вода начинает просачиваться сквозь щели, хотя они были весьма незначительны, я как мог законопатил их. Я был не в силах поднять крышу моего ящика, что непременно сделал бы и взобрался бы наверх; там я мог,

по крайней мере, протянуть несколько часов дольше, чем сидя взаперти в этом, если можно так сказать, трюме. Но если бы даже мне удалось избежать опасности в продолжение одного или двух дней, то затем чего я мог ожидать, кроме смерти от голода и холода? В таком состоянии я пробыл около четырех часов, каждую минуту ожидая и даже желая гибели.

Я уже говорил читателю, что к глухой стороне моего ящика были приделаны две прочные пряжки, в которые слуга, возивший меня на лошади, продевал кожаный ремень и пристегивал его к своему поясу. Находясь в этом неутешительном положении, я вдруг услышал, или мне только почудилось, что по этой сто-



роне ящика что то царапается; скоро после этого мне показалось, что ящик тащат или буксируют по морю, так как по временам я чувствовал как бы дерганье, от которого волны подымались до самых верхушек моих окон, погружая меня в темноту. Это поселило у меня слабую надежду на освобождение, хотя я не мог понять, откуда могла притти помощь. Я решился отвинтить один из моих стульев, прикрепленных к полу, и с большими усилиями снова привинтил его под подвижной доской, которую незадолго перед тем отодвинул. Взобравшись на этот стул и приблизив насколько возможно свой рот к отверстию, я стал громко звать на помощь, на всех известных мне языках. Потом я привязал платок к палке, бывшей всегда со мной, и, просунув ее в отверстие, стал махать платком с целью привлечь внимание лодки или корабля, если бы таковые находились поблизости, и дать знать матросам, что в ящике заключен несчастный смертный.

Но все это, казалось, не приводило ни к каким результатам; однакоже я ясно ощущал, что моя комната все подвигается вперед. Спустя час или более, сторона ящика, где находились пряжки, толкнулась о что то твердое. Я испугался, не скала ли это, и почувствовал, что ящик качается больше, чем прежде. Я ясно расслышал на крыше моей комнаты шум, словно был брошен канат, затем он заскрипел, как если бы его продевали в кольцо. После этого я почувствовал, что в несколько приемов меня подняли фута на три выше, чем я был прежде. Я снова выставил палку с платком и начал

призывать на помощь до тех пор, пока не охрип. В ответ я услышал громкие восклицания, повторившиеся три раза и приведшие меня в неописуемый восторг, понятный только тому, кто сам испытал его. Затем я услышал топот ног над моей головой, и кто то громко закричал мне в отверстие по-английски: Если есть кто нибудь здесь, пусть говорит, я слушаю. Я отвечал, что я англичанин, вовлеченный злою судьбою в величайшие бедствия, какие постигали когда нибудь разумное существо, и заклинал всем, что может тронуть



сердце, освободить меня из моей темницы. На это голос сказал, что я в безопасности, так как мой ящик привязан к кораблю, и немедленно явится плотник, который пропилит в крыше отверстие, достаточно широкое, чтобы вытащить меня. Я отвечал, что в этом нет надобности, и даром будет потрачено много времени; гораздо же проще приказать какому нибудь матросу просунуть палец в кольцо ящика, вынуть его из воды и поставить в каюте капитана. Услыша мои нелепые слова некоторые матросы подумали, что имеют дело с сумасшедшим, другие смеялись. И в самом деле, я совершенно упустил из виду, что нахожусь теперь среди людей одинакового со мной роста и силы. Явился плотник и в несколько минут пропилил дыру в четыре квадратных фута, затем спустил небольшую лестницу, по которой я вышел наверх, после чего был взят на корабль в состоянии крайней слабости.

Изумленные матросы задавали мне тысячи вопросов, на которые я не имел расположения отвечать. Равным образом, я был приведен в замешательство при виде стольких пигмеев, потому что такими казались эти люди моим глазам, привыкшим долгое время смотреть только на предметы чудовищной величины. Но капитан, мистер Томас Вилькокс, достойный и почтенный шропширец, заметив, что я готов упасть в обморок, отвел меня в свою каюту, дал укрепляющего лекарства и заставил лечь в свою постель, советуя мне немного отдохнуть, что действительно было мне крайне необходимо. Прежде чем заснуть, я сообщил капитану, что в моем ящике находится ценная мебель, ко-

торую было бы жаль потерять; что там есть прекрасный гамак, походная постель, два стула, стол и комод, что комната вся увешана или лучше сказать обита шелком и бумажными тканями, и что если капитан прикажет какому нибудь матросу принести в каюту ящик, то я открою его и покажу ему все свои богатства. Услышав этот вздор, капитан подумал, что я в бреду, однако (я полагаю, чтобы успокоить меня) обещал распорядиться исполнить мое желание. Затем он вышел на палубу и велел нескольким матросам спуститься в мой ящик, откуда они вытащили (как я узнал потом) все мои вещи и содрали обивку, причем стулья, комод и постель, привинченные к полу, были сильно испорчены, так как матросы по неведению стали вырывать их оттуда. Они сняли некоторые доски для корабельных нужд и, взяв все, что обратило на себя их внимание, бросили остов ящика в море; получив теперь много повреждений в полу и стенках, он быстро наполнился водой и пошел ко дну. Я был очень доволен, что мне не пришлось присутствовать при этом разрушении, так как уверен, что такое зрелище очень расстроило бы меня, приведя мне на память пережитое, которое я старался поскорее забыть.

Я спал несколько часов, но мой сон постоянно прерывался виденьями только что покинутых мной мест и опасностей, которых мне удалось избежать. Все же, проснувшись, я почувствовал, что силы мои восстановились. Было около восьми часов вечера, и капитан, полагавший, что я долго уже голодаю, приказал немедленно



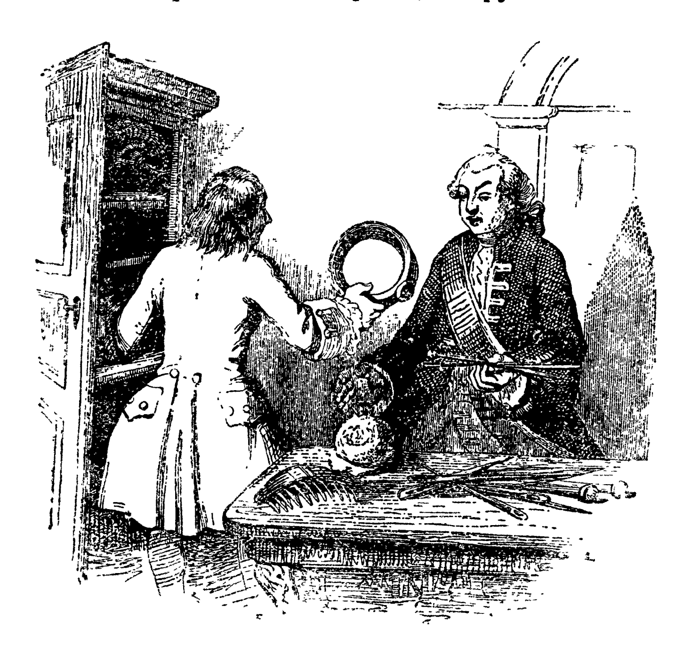
подать ужин. Он гостеприимно угощал меня, заметив мне все же, что глаза мои безумны, а речь несвязна. Когда мы остались одни, он попросил меня рассказать о моих приключениях, и сообщить, какая случайность бросила меня в этой чудовищной деревянной коробке на волю ветра и волн. Он сказал, что около полудня заметил ее в зрительную трубу, и сначала подумал, что это парус. Так как курс его проходил недалеко, то он решил подъехать к этому парусу, в надежде купить немного сухарей, в которых у него чувствовался недостаток. Подойдя ближе и убедившись в своей ошибке, он послал шлюпку узнать, в чем дело. Матросы в испуге воротились назад, клятвенно уверяя, что видели плавучий дом. Посмеявшись над их глупостью,

капитан сам спустился в шлюпку, приказав матросам взять с собою два прочных каната. Так как море было спокойно, то он несколько раз объехал вокруг ящика и заметил в нем окна с железными решетками. Затем он обнаружил две скобы на одной стороне, которая была вся досчатая, без отверстий для пропуска света. Капитан приказал подплыть к этой стороне и, привязав канат к одной скобе, велел матросам тащить мой ящик на буксире к кораблю. Когда его притащили, капитан приказал привязать другой канат к кольцу, прикрепленному на крыше, и на блоках поднять ящик; но не смотря на участие всей команды, меня удалось поднять только на два или на три фута. Капитан сказал, что они видели мою палку с платком, просунутую в дыру, и заключили, что в ящике заключен какой то несчастный. Я спросил капитана, не видел ли он, или кто нибудь из экипажа, на небе громадных птиц перед тем, как меня заметили с корабля. На это он ответил, что, когда он обсуждал событие с матросами во время моего сна, то один из матросов сообщил, что видел трех орлов, летевших по направлению к северу, но они не показались ему больше обыкновенных; последнее обстоятельство, я полагаю, объясняется большой высотой, на которой летели птицы; капитан же не догадался, почему я задаю такой вопрос. Затем я спросил его, далеко ли мы находимся от земли. На это он ответил, что, по самым точным вычислениям, мы находимся от берега на расстоянии не менее ста лиг. Я сказал капитану, что он больше, чем на половину, ошибается, так как я упал в море спустя каких

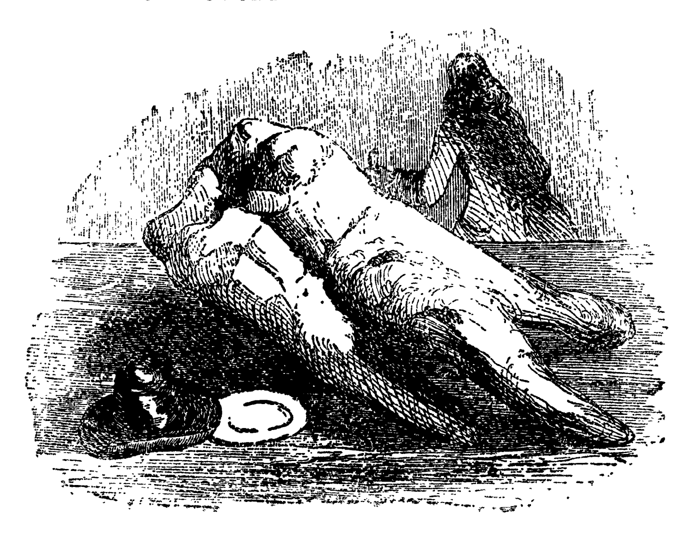
нибудь два часа после того, как покинул страну, в которой жил. После моего замечания капитан снова стал думать, что мозги мои не в порядке, на что он намекнул мне и посоветовал отправиться спать в каюту, которую он приготовил для меня. Я уверил капитана, что благодаря его любезному приему и прекрасному обществу я совершенно восстановил свои силы, и что никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Тогда он принял серьезный вид, и извинившись, что будет говорить со мной откровенно, спросил меня, не повредился ли мой рассудок оттого, что на моей совести лежит тяжкое преступление, в наказание за которое, по повелению какого нибудь государя, я был посажен в этот сундук: ведь существует же в некоторых странах обычай сажать больших преступников без пищи в дырявые суда и пускать эти суда в море; хотя он очень бранит себя за то, что принял на корабль такого преступника, все же он дает слово доставить меня в целости в первый порт. Он добавил, что подозрения его еще более укрепились после нелепых речей, с которыми я обратился сначала к матросам, а потом и к нему, по поводу моей комнаты или сундука, после моих беспокойных взглядов и странного поведения за ужином.

Я попросил капитана терпеливо выслушать рассказ о моих приключениях, которые я добросовестно изложил, начиная с минуты, когда покинул Англию, до минуты, когда он меня нашел. И так как истина находит всегда доступ в рассудительный ум, то этот достойный и почтен-

ный джентльмен, обладавший известной образованностью и большим здравым смыслом, скоро проникся убеждением в моей искренности и правдивости. Однако, желая еще более подтвердить все сказанное мною, я попросил капитана приказать принести мой комод, ключ от которого был у меня в кармане (ибо он уже сообщил мне, каким образом матросы распорядились с моей комнатой). Я открыл комод в присутствии капитана и показал ему небольшую коллекцию редкостей, собранных мною в стране, которую мне суждено было покинуть таким странным образом. Здесь был гребень, который я смастерил из волос королевской бороды, и другой, сделан-



ный из того же материала, но вместо дерева на его спинку я употребил обрезок ногтя с большого пальца его величества. Затем я показал целую серию иголок и булавок длиною от фута до полуярда; несколько волос королевы, выпавших во время прически; золотое кольцо, которое королева однажды любезно подарила мне, сняв его с мизинца и повесив мне на шею, как ожерелье. Я просил капитана принять кольцо в благодарность за оказанные им мне услуги, но он наотрез отказался. Я показал ему также мозоль, которую собственными руками срезал с пальца на ноге одной фрейлины; эта мозоль, величиною с кентское яблоко, была так тверда, что по возвращении в Англию я вырезал из нее кубок и оправил в серебро. Наконец, я просил его рассмотреть штаны из мышиной кожи, которые были в тот момент на мне.



Я едва убедил капитана принять от меня в подарок зуб одного слуги, заметив, что он с большим любопытством рассматривает этот зуб, видимо очень поразивший его воображение. Капитан принял подарок с благодарностью, какой не заслуживала подобная безделушка. Зуб этот по ошибке был выдернут неопытным хирургом у одного из лакеев Глюмдальклич, страдавшего зубной болью, но оказался здоровым. Вычистив этот зуб, я спрятал его, как диковину, себе в комод. Он был длиной в фут и четыре дюйма в диаметре.

Капитан остался очень доволен моим безыскусственным рассказом и выразил надежду, что по прибытии в Англию я изложу его на бумаге и, сделав достоянием публики, окажу услугу всему свету. На это я ответил, что, по моему мнению, Англия с избытком снабжена книгами путешествий; что в настоящее время нет события, которое показалось бы нашему читателю необыкновенным; а это заставляет меня подозревать, что многие авторы менее заботятся об истине, чем об удовлетворении своего тщеславия и своей корысти и стараются только развлечь невежественных читателей; что моя история будет повествовать о самых обыкновенных событиях, и читатель не найдет в ней красочных описаний диковинных растений, деревьев, птиц и животных, или описания варварских обычаев и идолопоклонства дикарей, которыми так изобилуют многие путешествия. Во всяком случае я поблагодарил капитана за его доброе мнение и обещал подумать по поводу этого вопроса.

Капитан очень удивлялся, почему я так громко говорю, и спросил меня, не были ли туги на

ухо король или королева той страны, где я жил. На это я ответил, что говорю громко вследствие привычки, приобретенной за последние два года, и что меня, в свою очередь, удивляют голоса капитана и всего экипажа, которые мне кажутся шопотом, но которые впрочем ясно различает мое ухо. Чтобы разговаривать с моими великанами, необходимо было говорить так, как говорят на улице с человеком, стоящим на вершине колокольни, за исключением тех случаев, когда меня ставили на стол или брали на руку. Я сообщил ему также и мое другое наблюдение: по моем прибытии на корабль, когда вокруг собрались все матросы, они показались мне самыми ничтожными по своим размерам существами, какие только я когда либо видел. И в самом деле, с тех пор, как судьба забросила меня во владения этого короля, мои глаза до того привыкли к предметам чудовищной величины, что я не мог смотреть на себя в зеркало, так как сравнение порождало во мне очень неприятные мысли о моем ничтожестве. Тогда капитан сказал, что, наблюдая меня во время ужина, он заметил, что я с большим удивлением рассматриваю каждый предмет, и часто делаю над собой усилие, чтобы не рассмеяться; он не знал, чем объяснить такую странность, и приписывал ее расстройству моего рассудка. Я ответил, что его наблюдения совершенно правильны, но мог ли я держать себя иначе при виде блюда величиною в три пенса, свиного окорока, который можно было съесть в один прием, при виде чашки, напоминавшей скорлупу ореха,— и я описал ему путем таких же сравнений всю

обстановку и все припасы. И хотя королева снабдила меня всем необходимым во время моего пребывания на ее службе, тем не менее мои представления всегда были в соответствии с тем, что я видел кругом, причем я так же закрывал глаза на свои ничтожные размеры, как люди закрывают их на свои недостатки. Капитан отлично понял мою насмешку и весело ответил мне старой английской поговоркой, что у меня глаза больше желудка, так как он не заметил у меня большого аппетита, несмотря на то, что я постился в течение целого дня. И, продолжая смеяться, заявил, что заплатил бы сто фунтов за удовольствие посмотреть на мою комнату в клюве орла и в то время, как она падала в море со страшной высоты; эта поистине удивительная картина достойна описания в назидание грядущим поколениям. При этом сравнение с Фаэтоном* было настолько очевидно, что он не удержался и высказал его, хотя я не был особенно польщен таким мнением о себе.

После остановки в Тонкине, капитан отправился в Англию; корабль находился под 44° северной широты и 143° долготы. Но так как спустя два дня после моего прибытия мы встретили пассатный ветер, то долго держали курс к югу, прошли вдоль Новой Голландии, держа направление на З.-Ю.-З, потом на Ю.-Ю.-З. до тех пор, пока не обогнули мыс Доброй Надежды. Наше путешествие было довольно счастливо, но я не буду утомлять читателя его описанием. Раз или два капитан заходил в порты запастись провизией и свежей водой, но я ни

разу не сходил с корабля до самого прибытия в Даунс, что произошло 3-го июня 1706 года, то есть спустя шесть месяцев после моего освобождения. Я предлагал капитану в вознаграждение за мой переезд все, что у меня было, но он не согласился взять ни одного фартинга. Мы дружески расстались, и я взял с него слово навестить меня в Редриффе. Затем я нанял лошадь и проводника за пять шиллингов, занятых у капитана.

Наблюдая по дороге деревья, дома, людей и домашний скот, я все думал, что нахожусь в Лил-



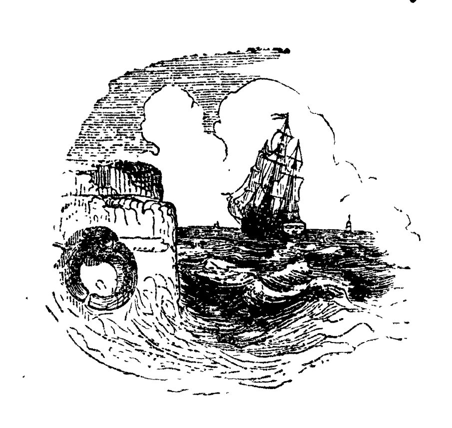
липутии. Я боялся раздавить встречавшихся на пути прохожих и часто громко кричал, чтобы они посторонились; такая грубость с моей стороны привела к тому, что мне раз или два чуть не раскроили череп.

По прибытии моем домой, куда я принужден был спрашивать дорогу, один из моих слуг отворил двери. Входя я нагнулся (как гусь под воротами), чтобы не удариться головой о притолоку. Жена прибежала обнять меня, но я нагнулся ниже ее колен, полагая, что иначе ей не достать моего лица. Дочь стала на колени, желая получить мое благословение, но я не увидел ее, пока она не поднялась, что объясняется моей долгой привычкой задирать



голову вверх и направлять глаза на высоту шестидесяти футов; затем я сделал жест, которым хотел поднять ее одной рукой за талию. На моих слуг и на одного или двух из бывших тут друзей я смотрел сверху вниз, как смотрит великан на пигмеев. Я заметил жене, что они верно вели слишком экономную жизнь, так как обе вместе с дочерью обратились в ничто. Короче сказать, я держал себя столь непонятным образом, что все составили обо мне то же мнение, какое составил капитан, увидя меня впервые, то есть решили, что я сошел с ума. Я упоминаю здесь об этом только для того, чтобы показать, как велика бывает сила привычки и предубеждения.

Скоро все недоразумения между мною, семьей и друзьями рассеялись, но жена торжественно заявила, что больше я никогда не увижу моря. Однако же моя злая судьба распорядилась иначе, и даже жена не могла удержать меня, как скоро узнает об этом читатель. Этим я оканчиваю вторую часть моих злосчастных путешествий.



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

# ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛАПУТУ, БАЛЬНИБАРБИ, ЛАГГНЕГГ, ГЛАББДОБДРИБ, И ЯПОНИЮ

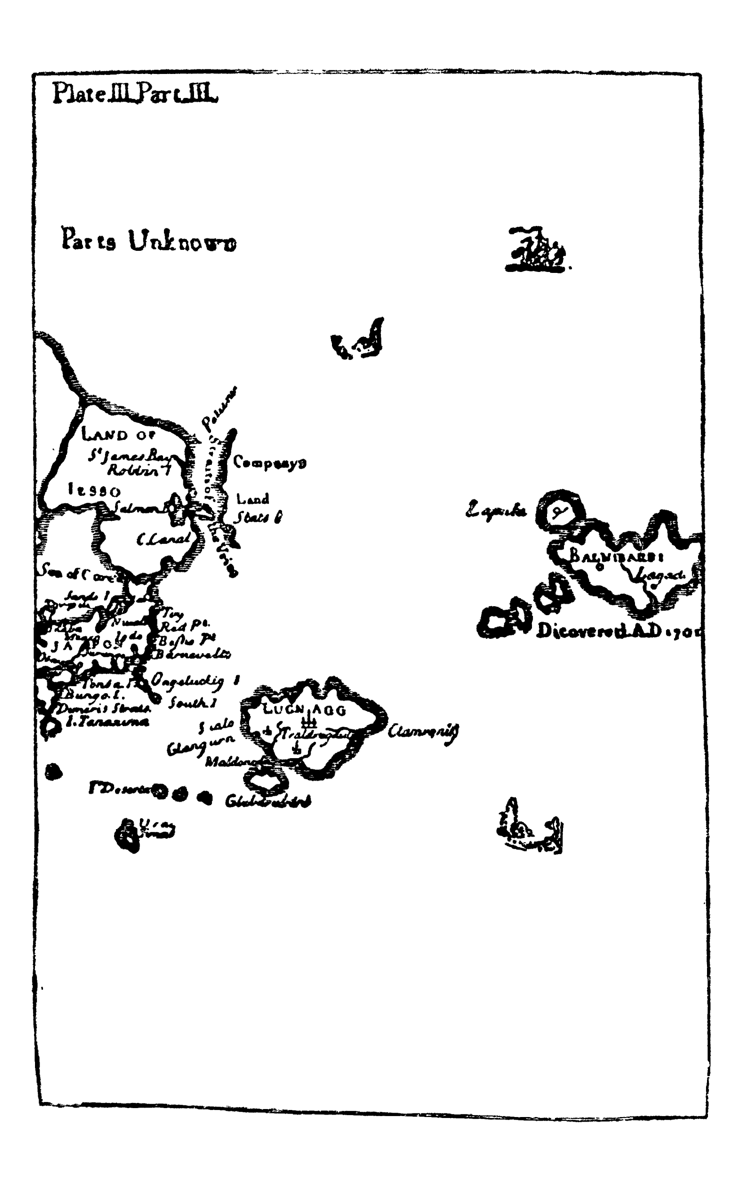
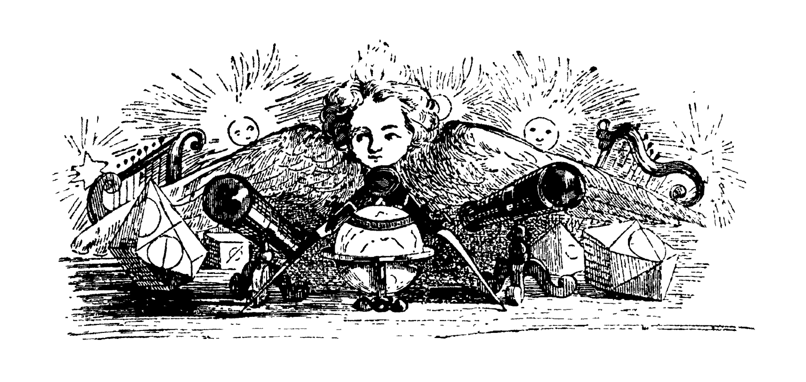
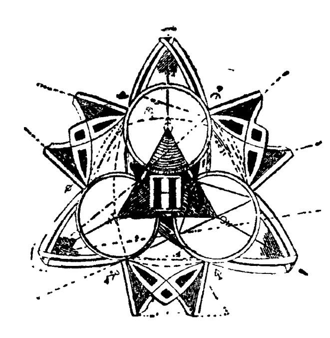


Plate III. Part III.
Parts Unknown
Land of
Iesso
Companys
Land
Sea of Corea
Japon
Lugnagg
Balnibarbi
Lagado



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Автор отправляется в третье путешествие. Он взят в плен пиратами. Злоба одного голландца. Прибытие автора на некий остров. Его поднимают на Лапуту.*




е пробыл я дома и десяти дней, как ко мне пришел в гости капитан Вильям Робинсон, из Корнуэльса, командир большого корабля *Добрая Надежда* в триста тонн водоизмещения. Когда то я был хирургом на другом судне, являвшемся в четвертой части собственностью этого капитана и совершавшем под его командой рейс в Левант. Он всегда обращался со мной скорее как с братом, чем как с подчиненным. Узнав о моем прибытии, он посетил меня, как мне каза-

лось, руководимый исключительно дружескими чувствами, что так понятно после долгой разлуки. Но после нескольких посещений, выразив радость, что находит меня в добром здравии, и спросив, окончательно ли я решил поселиться дома, он сообщил, что через два месяца отправляется в Ост-Индию, и в заключение напрямик



пригласил меня, пустив при этом в ход ряд красноречивых доводов, быть хирургом на его корабле; он заявил, что, кроме двух фельдшеров, у меня будет помощником еще один хирург; что я буду получать двойной оклад жалованья против обыкновенного, и что, убедившись на опыте

в том, что я знаю морское дело нисколько ни хуже его, он обязывается считаться с моими советами, как если бы я был его товарищем.

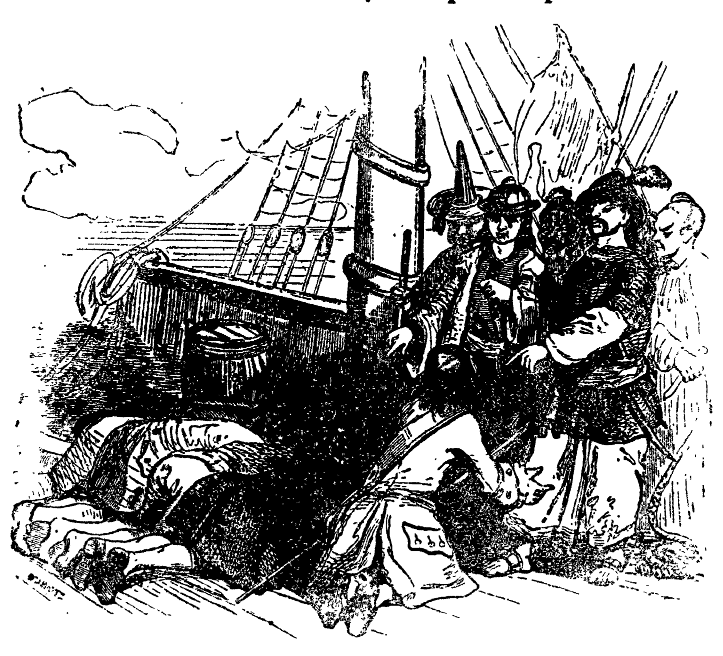
Капитан наговорил мне столько любезностей и я знал его за такого порядочного человека, что не мог отказаться от его предложения: несмотря на все постигшие меня невзгоды, жажда видеть свет томила меня с прежней силой. Оставалось единственное затруднение — уговорить жену; но в конце концов и она дала свое согласие, когда я изложил те выгоды, которое путешествие это сулило нашим детям.

Мы снялись с якоря 5 августа 1706 года и прибыли в форт С.-Жорж* 11 апреля 1707 года. Мы оставались там три недели с целью обновить экипаж судна, так как между матросами было много больных. Оттуда мы отправились в Тонкин, где капитан решил простоять некоторое время, потому что закупленные им товары не могли быть изготовлены и сданы раньше нескольких месяцев. Таким образом, в надежде хотя бы отчасти покрыть расходы по этой стоянке, капитан купил шлюп, нагрузил его различными товарами, составляющими предмет всегдашней торговли тонкинцев с соседними островами, и отправил на нем под моим начальством четырнадцать человек, из которых трое были туземцы, дав мне полномочие распродать эти товары, пока он будет оканчивать свои дела в Тонкине.

Не прошло и трех дней нашего плавания, как поднялась сильная буря, и в продолжение пяти дней нас гнало по направлению к северо-востоку и затем к востоку; после этого настала

хорошая погода, хотя не переставал дуть сильный западный ветер. На десятый день за нами пустились в погоню два пирата, которые скоро настигли нас, так как мой сильно нагруженный шлюп мог только медленно подвигаться вперед, и мы были лишены возможности защищаться.

Мы были взяты на абордаж почти одновременно обоими пиратами, которые ворвались на



наш корабль во главе своих людей; но, найдя нас лежащих ничком (таков был отданный мной приказ), они удовольствовались тем, что крепко связали нас и, поставив над нами стражу, отправились обыскивать судно.

Я заметил среди них одного голландца, который, повидимому, пользовался некоторым авторитетом, хотя не командовал ни одним из кораблей. По нашей наружности он признал в нас англичан и, обращаясь к нам на своем языке, поклялся связать спинами друг с другом и бросить в море. Я довольно сносно говорил по-голландски; я объяснил ему, кто мы, и просил его, приняв во внимание, что мы христиане и протестанты, подданные соседнего государства, которое находится в дружественных отношениях с его отечеством, ходатайствовать за нас перед командирами, чтобы те отнеслись к нам милостиво. Эти слова привели голландца в ярость, он повторил угрозы и, обратясь к своим товарищам, начал с жаром что то говорить, повидимому на японском языке, часто произнося слово *христианос*.

Командиром более крупного судна пиратов был японец, который говорил немного по-голландски, хотя и очень плохо. Подойдя ко мне и задав несколько вопросов, на которые я ответил очень смиренно, он объявил, что мы не будем преданы смерти. Низко поклонившись капитану, я обратился к голландцу и сказал, что мне прискорбно видеть в язычнике больше милосердия, чем в своем брате христианине. Но мне пришлось скоро раскаяться в своих необдуманных словах, ибо этот злобный негодяй, после неоднократных тщетных стараний убедить обоих капитанов бросить меня в море (на что те не соглашались после данного ими обещания сохранить мою жизнь), добился все же назначения мне наказания, худшего, чем

сама смерть. Люди мои были размещены поровну на обоих пиратских суднах, а на моем шлюпе была сформирована новая команда. Меня же самого решено было посадить в челнок и, снабдив веслами, парусом и провизией на четыре дня, предоставить на волю ветра и волн. Капитан японец был настолько милостив, что удвоил количество провизии из собственных запасов и запретил обыскивать меня. Когда я спускался в челнок, голландец, стоя на палубе, покрывал меня всеми проклятиями* и ругательствами, какие только существуют на его языке.

За час до нашей встречи с пиратами я вычислил, что мы находились под 46° северной широты и 183° долготы.* Отойдя на довольно значительное расстояние от пиратов, я, при помощи карманной зрительной трубки, открыл несколько островов на юго-востоке. Я поставил парус и с помощью попутного ветра надеялся достигнуть ближайшего из этих островов, что мне и удалось в течение трех часов. Остров был весь скалистый; однако мне посчастливилось найти много птичьих яиц, и, добыв кремнем огонь, я развел костер из вереска и сухих водорослей, на котором испек яйца. Ужин мой состоял из этого единстьенного кушанья, так как я решил по возможности беречь запас своей провизии. Я провел ночь под защитой скалы, постелив себе немного вереска, и спал очень хорошо.

На следующий день, подняв парус, я отправился к другому острову, а оттуда к третьему и к четвертому, прибегая иногда, кроме паруса, к веслам. Но чтобы не утомлять внимание читателя подробным описанием моих бедствий, до-

статочно будет сказать, что на пятый день я прибыл к последнему из замеченных мною островов, расположенному на юго-юго-востоке от первого.

Этот остров был гораздо дальше, чем я предполагал, и потому только после пятичасового перехода я достиг его берегов. Я объехал его почти кругом, прежде чем мне удалось найти подходящее место для высадки; то была небольшая бухточ-



ка, где могло бы поместиться всего три моих челнока. Весь остров был скалист и лишь кое-где испещрен небольшими газонами и душистыми

травами. Я достал мою скудную провизию и, подкрепившись немного, остаток ее спрятал в один из гротов, которыми изобиловал остров. На утесах я собрал много яиц, затем принес сухих водорослей и травы, намереваясь на другой день развести костер и как нибудь испечь эти яйца (так как при мне было огниво, кремень, трут и зажигательное стекло). Ночь я провел в том гроте, где поместил провизию. Постелью мне служили те же водоросли и травы, которые я приготовил для костра. Спал я очень мало, потому что беспокойное душевное состояние взяло верх над усталостью и не давало заснуть. Мне казалось невозможным сохранить мою жизнь в столь пустынном месте, и я считал, что неминуемо должен буду погибнуть Я был так подавлен этими размышлениями, что у меня недоставало энергии встать, и когда наконец я собрался с силами и выполз из пещеры, было уже совсем светло. Я немного прошелся между скалами: небо было совершенно ясно, и солнце жгло так сильно, что я принужден был отвернуться от него. Вдруг стало темно, но совсем не так, как от облака, когда оно закрывает солнце. Я оглянулся назад и увидел в воздухе большое непрозрачное тело, заслонявшее солнце и двигавшееся по направлению к острову: тело это находилось, как мне казалось, на высоте двух миль и закрывало солнце в течение шести или семи минут; но я не ощущал похолодания воздуха и не заметил, чтобы небо потемнело больше, чем в том случае, если бы я стоял в тени, отбрасываемой горой. По мере приближения ко мне этого тела оно



стало мне казаться твердым; основание же его было плоско, гладко и ярко сверкало, отражая

освещенную солнцем поверхность моря. Я стоял на возвышенности в двухстах ярдах от берега и видел, как это обширное тело спускается почти отвесно на расстоянии английской мили от меня. Я вооружился карманной зрительной трубкой и мог ясно различить на нем много людей, спускавшихся и поднимавшихся по отлогим, повидимому, сторонам тела; но что делали там эти люди, я не мог рассмотреть.

Естественная любовь к жизни наполнила меня чувством радости, и у меня явилась надежда, что это приключение так или иначе поможет мне выйти из этого пустынного места и отчаянного положения, в котором я находился. Но, с другой стороны, читатель едва ли будет в состоянии представить себе, с каким удивлением смотрел я на парящий в воздухе остров, населенный людьми, которые (как мне казалось) могли поднимать и опускать его или направлять вперед по своему желанию. Но я не был тогда расположен предаваться философским размышлениям по поводу этого явления, и для меня представляло гораздо больше интереса наблюдать, какое направление возьмет остров, так как на мгновенье он как будто остановился. Скоро однако он приблизился ко мне, и я мог рассмотреть, что его стороны окружены несколькими галлереями, расположенными уступами и соединенными между собой, на известных промежутках, лестницами, позволявшими переходить с одной галлереи на другую. На самой нижней галлерее я увидел нескольких человек, из которых одни ловили рыбу длинными удочками, а другие смотрели на эту ловлю. Я стал махать

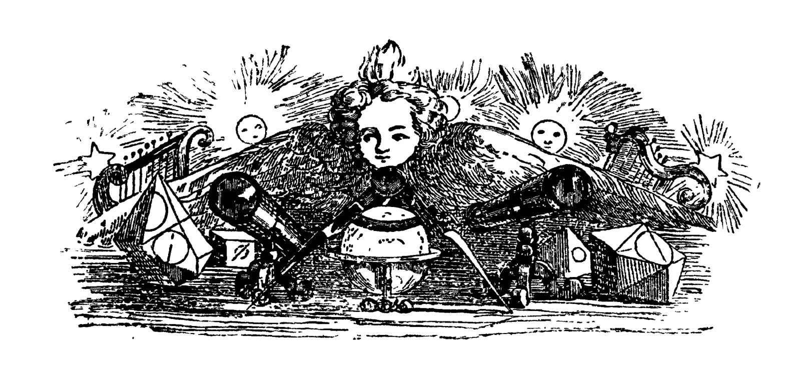
ночным колпаком (моя шляпа давно уже износилась) и платком по направлению к острову и, когда он приблизился еще больше, я закричал во всю глотку. Затем, вглядевшись внимательнее, я увидел, что на обращенной ко мне стороне острова собирается толпа. Судя по тому, что находившиеся тут люди указывали на меня пальцами и жестикулировали между собою, я заключил, что они заметили меня, хотя и не отвечали на мои крики. Я увидел только, что из толпы отделились четыре или пять человек и поспешно стали подниматься по лестницам на вершину острова, где и исчезли. Я догадывался, и совершенно основательно, что эти люди были посланы к какой нибудь важной особе за распоряжениями по поводу настоящего случая.

Толпа народа увеличилась, и менее чем через полчаса остров пришел в движение и поднялся таким образом, что нижняя галлерея оказалась на расстоянии около ста ярдов от места, где я находился. Тогда, приняв молящее положение, я начал говорить самым подобострастным тоном, но не получил никакого ответа. Люди, стоявшие ближе всего ко мне, были повидимому, если судить по их костюмам, знатные особы. Они вели между собою какое то серьезное совещание, часто посматривая на меня. Наконец, один из них что то закричал на чистом, изящном и благозвучном наречии, по звуку напоминавшем итальянский язык, почему я и ответил на этом языке, рассчитывая, по крайней мере, что для их слуха он будет приятнее другого языка. Хотя мы и не поняли друг друга, но намерение мое было легко угадать по

бедственному положению, в котором я находился.

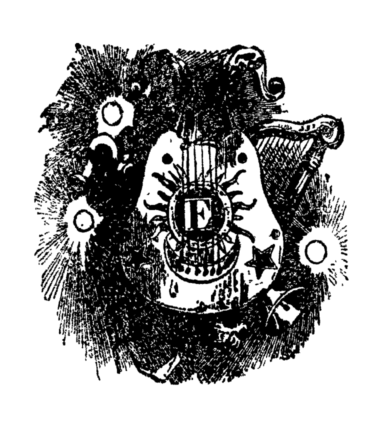
Мне сделали знак спуститься со скалы и итти к берегу, что я и исполнил. Летучий остров поднялся на соответствующую высоту, так что его край пришелся как раз надо мной, затем с нижней галлереи была спущена цепь с прикрепленным к ней сиденьем, на которое я сел и при помощи блоков был поднят наверх.





## ГЛАВА ВТОРАЯ

*Описание характера и нравов лапутян. Представление об их науке. О короле и его дворе. Прием, оказанный при дворе автору. Страхи и тревоги лапутян. Жены лапутян.*




два я высадился на остров, как меня окружила толпа народа; стоявшие ко мне поближе повидимому принадлежали к высшему классу. Все рассматривали меня с знаками величайшего удивления; но и сам я не был у них в долгу в этом отношении, потому что мне никогда еще не приходилось видеть смертных, которые бы так поражали своей фигурой, оде-

ждой и наружностью. У всех головы были скошены или направо или налево; один глаз смотрел внутрь, а другой прямо вверх к зениту.



Их верхняя одежда была украшена изображениями солнца, луны, звезд, вперемежку с изображениями скрипки, флейты, арфы, трубы, гитары, клавикордов и многих других музыкальных инструментов, неизвестных в Европе. Я заметил поодаль множество людей в одежде слуг с наполненными воздухом пузырями, прикрепленными на подобие бичей к концам коротких палок, которые они держали в руках. Как мне сообщили потом, в каждом пузыре находился сухой горох или мелкие камешки. Этими пузырями они время от времени хлопали по губам и ушам лиц, стоявших подле них, значение каковых действий я сначала не понимал. Пови-

димому, умы этих людей так поглощены напряженными размышлениями, что они неспособны ни говорить, ни слушать речи собеседников, пока их внимание не привлечено каким нибудь внешним воздействием на органы речи и слуха; вот почему люди достаточные держат всегда в числе прислуги одного так называемого хлопальщика (по туземному *клайменоле*) и без него никогда не выходят из дому и не делают визи-

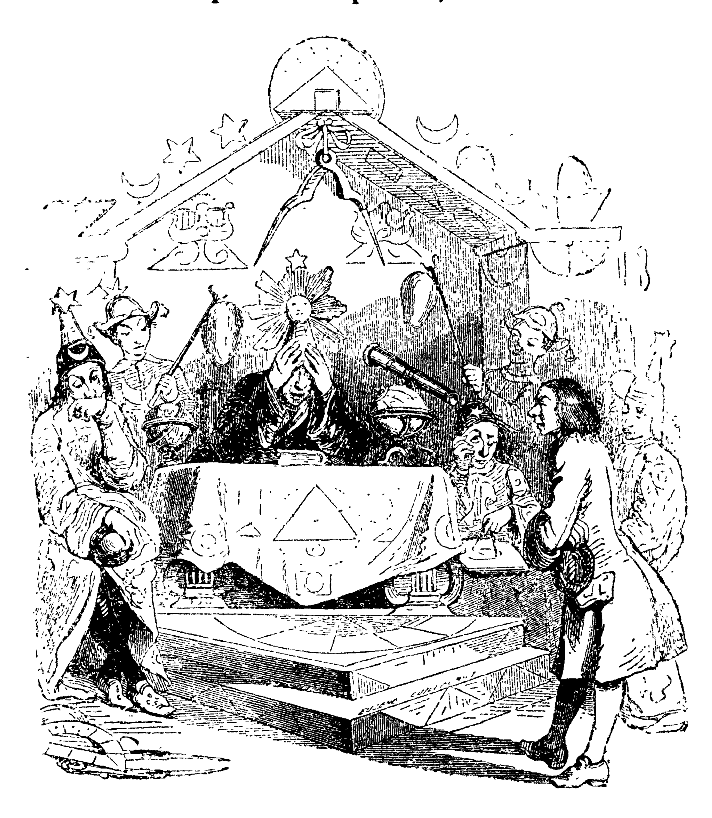


тов. Обязанность такого слуги заключается в том, что при встрече двух, трех или большего числа лиц он должен слегка хлопать по губам того, кому следует говорить, и по правому уху того или тех, к кому говорящий обращается. Этот хлопальщик равным образом должен неизменно сопровождать своего господина на его прогулках и в случае надобности легонько хлопать его по глазам, так как тот всегда бывает настолько погружен в размышления, что на каждом шагу подвергается опасности упасть в яму или стукнуться головой о столб, а на улице— сбивать с ног прохожих или самому очутиться в канаве.

Мне необходимо было сообщить читателю все эти подробности, без которых ему, как и мне, было бы невозможно понять тех ужимок, с какими эти люди проводили меня по лестницам на вершину острова, а оттуда в королевский дворец. Во время восхождения они несколько раз забывали, что им следовало делать, и оставляли меня одного, пока хлопальщики не выводили из забытья своих господ; повидимому, на них не произвели никакого впечатления ни мои непривычные для них наружность и костюм, ни восклицания простого народа, мысли и умы которого не так поглощены созерцанием.

Наконец мы достигли дворца и проследовали в аудиенц-залу, где я увидел короля на троне, окруженного с обеих сторон знатнейшими вельможами. Перед троном стоял большой стол, заваленный глобусами, планетными кругами и различными математическими инструментами. Его величество не обратил на нас ни малей-

шего внимания, несмотря на то, что наш приход был достаточно шумным, благодаря сопровождавшей нас придворной челяди; он был тогда погружен в решение трудной задачи, и мы ожидали по крайней мере час, пока он ее окон-



чил. По обеим сторонам короля стояли два пажа с пузырями в руках. Когда они заметили, что

король решил задачу, один из них почтительно хлопнул его по губам, а другой по правому уху; король вздрогнул, точно внезапно разбуженный, и, обратив свои взоры на меня и сопровождавшую меня свиту, вспомнил о причине нашего прихода, о котором ему было заранее доложено. Он произнес несколько слов, после чего молодой человек, вооруженный пузырем, тотчас подошел ко мне и легонько хлопнул меня по правому уху; я стал делать знаки, что не нуждаюсь в подобном напоминании, и это—как я заметил позднее—внушило его величеству и всему двору очень невысокое мнение о моих умственных способностях. Догадываясь, что король задает мне вопросы, я отвечал на всех известных мне языках. Наконец, когда выяснилось, что мы не можем понять друг друга, меня отвели по приказанию короля (который, относится к иностранцам гораздо гостеприимнее, чем его предшественники) в одну из дворцовых зал, где ко мне приставили двух слуг. Подали обед, и четыре знатные особы, которых я видел подле самого короля в тронном зале, сделали мне честь, сев со мной за стол. Обед состоял из двух перемен, по три блюда в каждой. В первой перемене было баранье плечо, вырезанное в форме равностороннего треугольника,* кусок говядины в форме ромбоида и пудинг в форме циклоида. Во вторую перемену вошли две утки, приготовленные в форме скрипок, сосиски и колбаса в виде флейты и гобоя, и телячья грудинка в виде арфы. Слуги резали нам хлеб на куски, имевшие форму конусов, цилиндров, параллелограммов и других геометрических фигур.




Во время обеда я осмелился спросить названия различных предметов на их языке; и эти знатные особы, при содействии хлопальщиков, любезно отвечали мне в надежде, что мое восхищение их способностями еще более возрастет, если я буду в состоянии разговаривать с ними. Скоро я уже мог попросить хлеба, воды и всего, что мне было нужно.

После обеда мои сотрапезники удалились, и ко мне, по приказанию короля, прибыло новое лицо в сопровождении хлопальщика. Лицо это принесло с собой перья, чернила, бумагу и три или четыре книги, и знаками дало мне понять, что

оно прислано обучать меня языку. Мы занимались четыре часа, и за это время я написал большое количество слов в несколько колонн, с переводом каждого из них, и кое-как выучил ряд небольших фраз. Учитель мой приказывал одному из слуг принести какой нибудь предмет, повернуться, поклониться, сесть, встать, ходить и т. п., после чего я записывал произнесенную им фразу. Он показал мне также в одной книге изображение солнца, луны, звезд, зодиака, тропиков и полярных кругов и сообщил название многих плоских фигур и стереометрических тел. Он назвал и описал мне все музыкальные инструменты и познакомил меня с техническими терминами, употребляющимися при игре на каждом из них. Когда он ушел, я расположил все эти слова с их толкованиями в алфавитном порядке. Благодаря такой методе и моей памяти, я в несколько дней приобрел некоторые познания в лапутском языке.

Я никогда не мог узнать правильной этимологии слова Лапута, которое перевожу словами *летучий* или *плавучий остров*. *Лап* на древнем языке, вышедшем из употребления, означает *высокий*, а *унту*—*правитель*; отсюда, как утверждают ученые, произошло слово *Лапута*, искаженное *Лапунту*. Но я не могу согласиться с подобным словопроизводством, и оно мне кажется немного насильственным. Я отважился предложить тамошним ученым свою гипотезу относительно происхождения означенного слова: по моему *Лапута* есть не что иное, как *лап аутед*: *лап* означает игру солнечных лучей на морской поверхности, а *аутед*—крыло; впрочем я не на-

стаиваю на этой гипотезе,* а только предлагаю ее на суд здравомыслящего читателя.

Лица, попечению которых доверил меня король, видя плохое состояние моего костюма, распорядились, чтобы на следующий день явился портной и снял мерку для нового костюма. При совершении этой операции мастер употреблял совсем иные приемы, чем те, какие практикуются его собратьями по ремеслу в Европе. Прежде всего он определил при помощи квадранта мой рост, затем вооружился линейкой и циркулем и вычислил на бумаге размеры и очертания моего тела. Через шесть дней платье было готово; оно было сделано очень скверно, совсем не по фигуре, что объясняется ошибкой, вкравшейся в его вычисления.* Моим утешением было то, что я наблюдал подобные случайности очень часто и перестал обращать на них внимание.

Вследствие отсутствия платья и легкого нездоровья, я провел несколько дней в комнате и за это время значительно расширил свой лексикон, так что при первом посещении двора я мог более или менее удовлетворительно отвечать королю на многие его вопросы. Его величество отдал приказ направить остров на северо-восток по направлению к Лагадо, столице всего королевства, расположенного внизу, на земной поверхности. Для этого нужно было пройти девяносто лиг, и наше путешествие продолжалось четыре с половиною дня, причем я ни в малейшей степени не ощущал поступательного движения острова в воздухе. На другой день, около одиннадцати часов утра, король, знать, придворные и чиновники, вооружась музыкаль-

ными инструментами, начали концерт, который продолжался в течение трех часов непрерывно, так что я был совершенно оглушен; я не мог также понять цели этого концерта, пока мой учитель не объяснил мне, что уши народа, населяющего летучий остров, одарены способностью воспринимать музыку сфер, которая всегда раздается в известные периоды, и что каждый придворный готовится теперь принять участие в этом мировом концерте на том инструменте, каким он лучше всего владеет.

Во время нашего полета к Лагадо, столичному городу, его величество приказывал останавливать остров над некоторыми городами и деревнями для приема прошений от своих подданных. С этой целью спускались вниз тонкие веревочки с небольшим грузом на конце. К этим веревочкам население подвешивало свои прошения, и они поднимались прямо вверх, как клочки бумаги, прикрепляемые школьниками к концу веревки, на которой они пускают змеев. Иногда мы получали снизу вино и съестные припасы, которые поднимались к нам на блоках.

Мои математические познания оказали мне большую услугу в усвоении их фразеологии, заимствованной в значительной степени из математики и музыки; ибо я немного знаком также и с музыкой. Все их идеи непрестанно вращаются около линий и фигур. Если они хотят, например, восхвалить красоту женщины или какого нибудь животного, они непременно опишут ее при помощи ромбов, окружностей, параллелограммов, эллипсов и других геометрических терминов или же терминов, заимствован-

ных из музыки, перечислять которые здесь не к чему. В королевской кухне я видел всевозможные математические и музыкальные инструменты, по образцу которых повара режут жаркое для стола его величества.

Дома лапутян построены очень скверно; стены поставлены криво, во всем здании нельзя найти ни одного прямого угла; эти недостатки объясняются презрительным их отношением к прикладной геометрии, которую они считают наукой вульгарной и ремесленной; указания, которые они делают, слишком утончены и недоступны для рабочих, что служит источником беспрестанных ошибок. И хотя они довольно искусно владеют на бумаге линейкой, карандашом и циркулем, однако, что касается обыкновенных повседневных действий, то я не встречал других таких неловких, неуклюжих и косолапых людей, столь тугих на понимание всего что не касается математики и музыки. Они очень плохо рассуждают и всегда с запальчивостью возражают, кроме тех случаев, когда они бывают правы, что наблюдается редко. Воображение, фантазия и изобретательность совершенно чужды этим людям, в языке которых нет даже слов для обозначения этих душевных способностей, и вся их умственная деятельность заключена в границах двух упомянутых наук.

Большинство лапутян, особенно те, кто занимается астрономией, верят в астрологию, хотя и стыдятся открыто признаваться в этом. Но меня более всего поразила, и я никак не мог объяснить ее, замеченная мной у них сильная наклонность говорить на политические темы, де-

литься новостями и постоянно обсуждать государственные дела, внося в эти обсуждения необыкновенную страстность. Впрочем, ту же наклонность я заметил и у большинства европейских математиков, хотя никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой; разве только, основываясь на том, что маленький круг имеет столько же градусов, как и самый большой, они предполагают, что и управление миром требует не большего искусства, чем какое необходимо для управления и поворачивания глобуса. Но я думаю, что эта наклонность обусловлена скорее весьма распространенной человеческой слабостью, побуждающей нас больше всего интересоваться и заниматься вещами, которые имеют к нам наименьшее касательство, и к пониманию которых мы меньше всего подготовлены нашими знаниями и природными способностями.

Лапутяне находятся в вечной тревоге и ни одной минуты не наслаждаются душевным спокойствием, причем их треволнения происходят от причин, которые не производят почти никакого действия на остальных смертных. И в самом деле, страх у них вызывается различными изменениями, которые, по их мнению, происходят в небесных телах. Так, например, они боятся, что земля, вследствие постоянного приближения к солнцу, современем будет поглощена и уничтожена последним; что поверхность солнца постепенно покроется его собственными извержениями и не будет больше давать ни света, ни тепла; что земля едва ускользнула от удара хвоста последней кометы, который несо-

мнению превратил бы ее в пепел, и что будущая комета, появление которой, по их вычислениям, ожидается через тридцать один год, по всей вероятности, уничтожит землю, ибо если эта комета в своем перигелии приблизится на определенное расстояние к солнцу (чего заставляют опасаться вычисления), то она получит от него теплоты в десять тысяч раз больше, чем ее содержится в раскаленном докрасна железе, и, удаляясь от солнца, унесет за собой огненный хвост длиною в миллион четырнадцать миль; и если земля пройдет сквозь него на расстоянии ста тысяч миль от ядра или главного тела кометы, то во время этого прохождения она должна будет воспламениться и обратиться в пепел. Лапутяне боятся далее, что солнце, изливая ежедневно свои лучи без всякого возмещения этой потери, в конце концов целиком сгорит и уничтожится, что необходимо повлечет за собой разрушение земли и всех планет, получающих от него свой свет.

Вследствие страхов, внушаемых как этими, так и другими не менее грозными опасностями, лапутяне постоянно находятся в такой тревоге, что не могут ни спокойно спать в своих кроватях, ни наслаждаться обыкновенными удовольствиями и радостями жизни. Когда лапутянин встречается утром с знакомым, то его первым вопросом бывает: как поживает солнце, какой вид имело оно при заходе и восходе, и есть ли надежда избежать столкновения с приближающейся кометой? Такие разговоры они способны вести с тем же увлечением, с каким дети слушают страшные рассказы о духах и привиде-

ниях: жадно им внимая, они от страха не решаются ложиться спать.

Женщины острова отличаются гораздо более живым темпераментом; они презирают своих мужей и проявляют необыкновенную нежность к чужеземцам, каковые тут всегда находятся в порядочном количестве, прибывая с конти-



нента ко двору по поручению общин и городов, или по собственным делам; но островитяне смотрят на них свысока, потому что они лишены созерцательных способностей. Среди них то местные дамы и выбирают себе поклонников; неприятно только, что они действуют слишком бесцеремонно и откровенно: муж всегда настолько увлечен умозрениями, что жена его и любовник могут на его глазах дать полную волю своим чувствам, лишь бы только у супруга под рукой были бумаги и математические инструменты и возле него не стоял хлопальщик.

Жены и дочери лапутян жалуются на свою уединенную жизнь на острове, хотя, по моему, это приятнейший уголок в мире; несмотря на то, что они живут здесь в полном довольстве и роскоши и пользуются свободой делать все, что им вздумается, островитянки все же жаждут увидеть свет и насладиться столичными удовольствиями, но они могут спускаться на землю только с особого каждый раз разрешения короля; а получить его бывает не легко, потому что высокопоставленные лица на основании долгого опыта убедились, как трудно бывает заставить своих жен возвратиться с континента на остров. Мне рассказывали, что одна знатная придворная дама*— мать нескольких детей, жена первого министра, самого богатого человека в королевстве, очень приятного по наружности, весьма нежно любящего ее и живущего в самом роскошном дворце на острове, — сказавшись больной, спустилась в Лагадо и скрывалась там в течение нескольких месяцев, пока король не отдал приказ разыскать ее во что бы

ни стало: и вот знатную леди нашли в грязном кабаке, всю в лохмотьях, заложившую свои

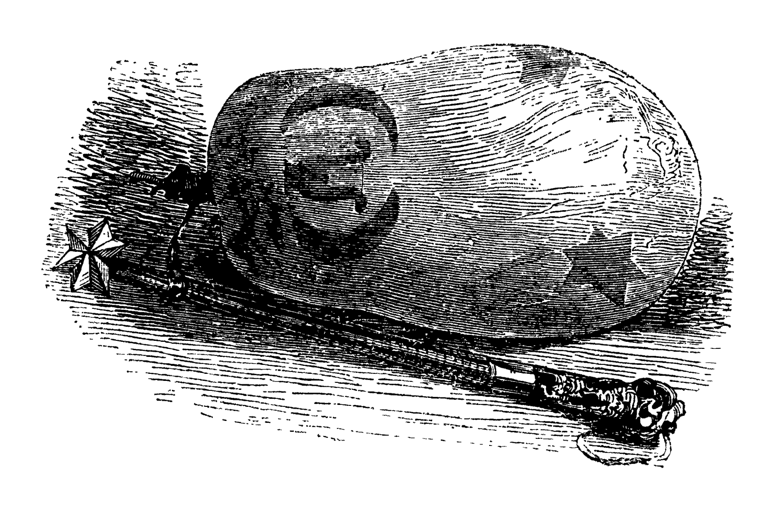


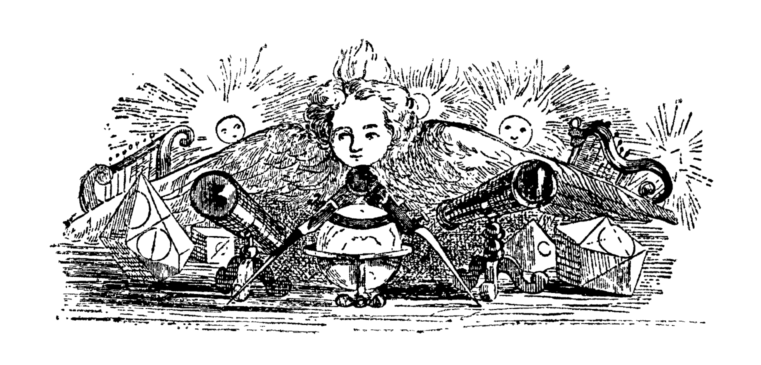
платья для содержания старого безобразного лакея, который ежедневно колотил ее и с которым она была разлучена, вопреки ее желанию. И хотя муж принял ее как нельзя более ласково, не сделав ей ни малейшего упрека, она вскоре после этого ухитрилась снова улизнуть на континент к тому же поклоннику, захватив с собой все драгоценности, и с тех пор о ней нет ни слуху.

Читатель может подумать, что это скорее анекдот в духе европейских или английских

нравов, чем истинное происшествие из жизни столь отдаленной страны. Но пусть он благоволит принять во внимание, что женские причуды не ограничены ни климатом, ни национальностью, и что они гораздо однообразнее, чем то кажется с первого взгляда.

Меньше, чем через месяц, я сделал порядочные успехи в лапутском языке, так что мог свободно отвечать на большинство вопросов, задаваемых мне королем, когда я имел честь посещать его. Его величество нисколько не интересовался законами, правлением, историей, религией, нравами и обычаями стран, которые я посетил. Он ограничился только расспросами о состоянии математики, причем выслушивал мои ответы с величайшим пренебрежением и равнодушием, несмотря на то, что внимание его было часто возбуждаемо хлопальщиками, стоявшими по обеим сторонам его особы.





## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Описание одного замечательного прибора, устроенного благодаря успехам современной философии и астрономии. Обширное развитие астрономических знаний у лапутян. Королевский метод подавления восстаний.*




просил у его величества дозволения осмотреть достопримечательности острова, на что он любезно дал свое согласие, приказав моему наставнику быть моим руководителем. Больше всего хотелось мне знать, какой искусственной или естественной причине остров обязан своими разнообразными движениями. По этому поводу я представлю теперь читателю философское объяснение.

Летучий или плавучий остров имеет форму правильного круга диаметром в 7.837 ярдов или около четырех с половиной миль; следовательно, его поверхность равняется десяти тысячам акров. Высота острова равна тремстам ярдам. Дно или нижняя поверхность, видимая только наблюдателям, находящимся на земле, есть гладкая правильная алмазная пластинка, толщиной около двухсот ярдов. На ней лежат различные минералы в обычном порядке, и все это покрыто слоем богатого чернозема в десять или двенадцать футов глубины. Наклон поверхности острова от окружности к центру служит естественной причиной того, что роса и дождь, падающие на остров, собираются в ручейки и текут к его середине, где вливаются в четыре больших бассейна, каждый из которых имеет около полумили в окружности и находится в двухстах ярдах от центра острова. Под действием солнечных лучей вода бассейнов непрерывно испаряется в течение дня, что препятствует переполнению их. Кроме того, монарх обладает возможностью поднимать остров в заоблачные сферы, где нет водяных паров, и, следовательно, может предотвратить падение росы и дождей, когда ему заблагорассудится: ведь, по единогласному мнению натуралистов, самые высокие облака не поднимаются выше двух миль; по крайней мере, таких случаев никогда не наблюдалось в этой стране.

В центре острова находится пропасть около пятидесяти ярдов в диаметре, через которую астрономы опускаются в большую пещеру, имеющую форму купола и называющуюся по-

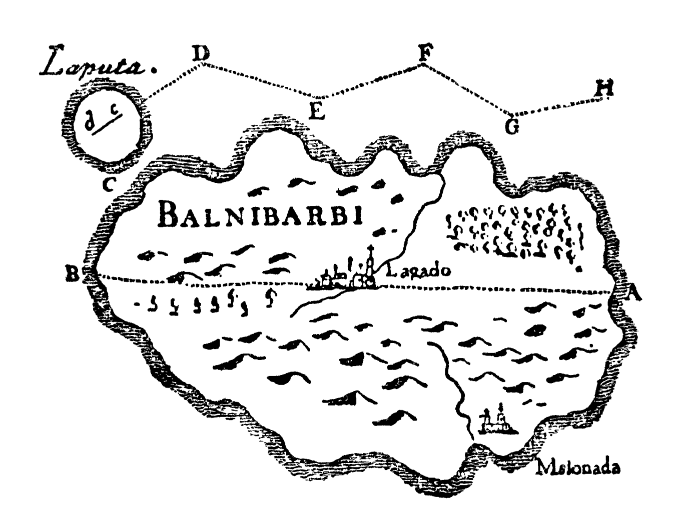
этому *фландона гагноле* или астрономической пещерой; она расположена на глубине ста ярдов в толще алмаза. В этой пещере всегда горят двадцать ламп, которые, отражаясь от алмазных стенок, ярко освещают каждый уголок. Вся пещера заставлена разнообразнейшими секстантами, квадрантами, телескопами, астролябиями и другими астрономическими инструментами. Но главной достопримечательностью, от которой зависит судьба всего острова, является огромный магнит, по форме напоминающий ткацкий челнок. Он имеет в длину шесть ярдов, а в ширину — в самой толстой своей части — свыше трех ярдов. Магнит этот укреплен на очень прочной алмазной оси, проходящей через его середину; он вращается на ней и подвешен так точно, что малейшее прикосновение руки может повернуть его. Он охвачен полым алмазным цилиндром, имеющим четыре фута в высоту, столько же в толщину и двенадцать ярдов в диаметре, и поддерживаемым горизонтально на восьми алмазных ножках, вышиною в шесть ярдов каждая. В середине внутренней поверхности цилиндра сделаны два гнезда, глубиною в двенадцать дюймов каждое, в которые всажены концы оси и в которых, когда бывает нужно, она вращается.

Никакая сила не может сдвинуть с места описанный нами магнит, потому что цилиндр вместе с ножками составляет одно целое с массой алмаза, служащего основанием всего острова.

При помощи этого магнита остров может подниматься, опускаться и передвигаться с од-

ного места в другое. Ибо, по отношению к подвластной монарху части земной поверхности, магнит обладает с одного конца притягательной силой, а с другого — отталкивательной. Когда магнит поставлен вертикально и его притягательный полюс обращен к земле, остров опускается, но когда обращен книзу полюс магнита, обладающий отталкивательной силой, то остров поднимается прямо вверх. При косом положении магнита остров тоже движется в косом направлении, ибо силы этого магнита всегда действуют по линиям, параллельным его направлению.

При помощи такого косого движения остров переносится в разные части владений монарха. Для объяснения способа перемещения острова



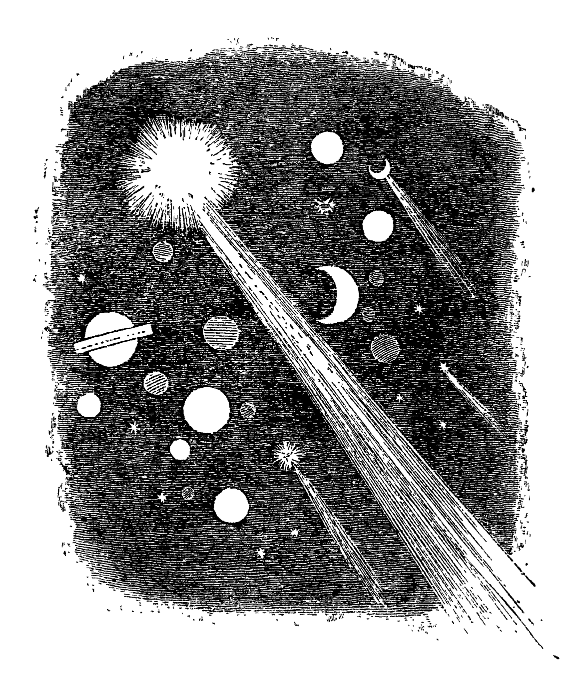
допустим, что *AB* есть линия, проходящая через государство Бальнибарби, *cd* магнит, у которого *d* — отталкивательный полюс, а *c* — притягательный, и что остров находится над точкой *C*. Пусть магнит будет поставлен в положение *cd*, при котором его отрицательный полюс направлен вниз, тогда остров будет подталкиваться наискось вверх по направлению к *D*. По прибытии его в *D*, пусть магнит будет повернут на оси так, чтобы его притягательный полюс был направлен к *E*, тогда и остров будет двигаться наискось по направлению к *E*. Если теперь снова повернуть магнит и поставить его в положение *EF*, отталкивательным полюсом книзу, остров поднимется наискось по направлению к *F*, откуда, направляя притягательный полюс к *G*, остров можно перенести к *G* и от *G* к *H*, повернув магнит так, чтобы его отталкивательный полюс был обращен прямо вниз. Таким образом, изменяя по мере надобности положение камня, можно поднимать и опускать остров в косых направлениях, и при помощи таких попеременных подъемов и спусков (при незначительных уклонениях вкось) остров переносится из одной части государства в другую.

Однако надо заметить, что Лапута не может двигаться за пределы своего государства, а равно и не может подниматься на высоту большую четырех миль. Астрономы (написавшие обширные исследования касательно свойств этого магнита) дают следующее объяснение указанного явления: магнитная сила не простирается далее четырех миль; с другой стороны, дей-

ствующие на магнит минералы в недрах земли и в море, на расстоянии шести лиг от берега, залегают не по всему земному шару, а только в пределах владений его величества. Пользуясь преимуществами столь выгодного положения, монарх этот без труда мог привести к повиновению все страны, лежащие в пределах притяжения магнита.

Если поставить магнит в положение, параллельное плоскости горизонта, то остров останавливается; в самом деле, в этом случае полюсы магнита, находясь на одинаковом расстоянии от земли, действуют с одинаковой силой, один — притягивая остров книзу, другой — толкая его вверх; вследствие чего не может произойти никакого движения.

Описанный магнит находится в ведении надежных астрономов, которые время от времени меняют его положение, согласно приказаниям монарха. Эти ученые большую часть своей жизни проводят в наблюдениях над движениями небесных тел при помощи зрительных труб, которые своим качеством значительно превосходят наши. И хотя самые большие тамошние телескопы не длиннее трех футов, однако они увеличивают значительно сильнее, чем наши, имеющие длину в сто футов, и показывают небесные тела с большей ясностью. Это преимущество позволило им в своих открытиях оставить далеко позади наших европейских астрономов. Так, ими составлен каталог десяти тысяч неподвижных звезд, *между тем как самый обширный из наших каталогов содержит не более одной трети этого числа. Кроме того, они



открыли две маленьких звезды или спутника, обращающихся около Марса, из которых ближайший к Марсу удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем ее диаметрам, а более отдаленный находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров. Первый совершает свое обращение в течение десяти часов, а второй в течение двадцати одного с половиной часа, так что квадраты времен их обращения почти пропорциональны кубам их расстояний от центра Марса, каковое обстоятельство с очевидностью показывает, что означен-

ные спутники управляются тем же самым законом тяготения, которому подчинены другие небесные тела.

Они произвели наблюдения над девяносто тремя различными кометами и установили с большой точностью периоды их возвращения. Если это справедливо (а утверждения их весьма категоричны), то было бы весьма желательно, чтобы результаты их наблюдений сделались публичным достоянием, ибо тогда теория комет, которая теперь полна недостатков и сильно хромает, была бы доведена до того же совершенства, что и другие области астрономии.

Король мог бы стать самым абсолютным монархом в мире, если бы ему удалось убедить своих министров действовать с ним заодно. Но последние, будучи владельцами собственности на континенте и принимая во внимание, что положение фаворита весьма непрочно, никогда не соглашались на порабощение своего отечества.

Если какой нибудь город поднимает мятеж или восстание, если в нем вспыхивает междуусобица, или он отказывается платить обычные подати, то король располагает двумя средствами привести его к покорности. Первое и более мягкое из них заключается в помещении острова над таким городом и окружающими его землями: вследствие этого король лишает их благодетельного действия солнца и дождя, так что в непокорной стране начинаются голод и болезни. Смотря по степени преступления, эта карательная мера усиливается метанием сверху больших камней, от которых население может укрыться только в подвалах или погребах, пре-

доставляя полному разрушению крыши своих жилищ. Но если мятежники продолжают упорствовать, король прибегает ко второму, более радикальному средству: остров опускается прямо на головы непокорных и сокрушает их вместе с их домами. Однако к этому крайнему средству король прибегает в очень редких случаях и весьма неохотно, да и министры не решаются рекомендовать ему подобное мероприятие, так как оно, с одной стороны, способно внушить к ним народную ненависть, а с другой, может причинить большой вред их собственному имуществу, находящемуся на континенте, ибо остров есть владение короля.

Кроме того, существует другая, еще более важная причина, почему короли этого государства всегда питали отвращение к столь страшной мере и прибегали к ней только в случаях самой крайней необходимости. Если город, осужденный на разрушение, расположен подле высоких скал, а так именно и расположены в большинстве случаев крупные города, вероятно для предохранения от указанной катастрофы,—или если в таком городе существует много колоколен или каменных башен, то внезапное падение острова может повредить его основание или нижнюю поверхность, которая хотя и состоит, как я уже говорил, из одного цельного алмаза, толщиною в двести ярдов, все же при сильном толчке может расколоться, а при приближении к пламени расположенных под ней построек — треснуть, как это случается с железными или каменными крышками наших каминов. Все это отлично известно населению, которое соответ-

ственно соразмеряет свое сопротивление, когда дело касается его свободы и имущества. И король, несмотря на свое крайнее раздражение и твердую решимость стереть в порошок мятежный город, отдает распоряжение опустить остров как можно тише, под предлогом милостивого отношения к своему народу, на самом же деле из боязни разбить алмазное основание, так как в этом случае, по общему мнению всех философов, магнит не в состоянии будет удержать остров в воздухе, и вся его масса рухнет на землю.

Года за три* до моего прибытия к лапутянам, когда король совершал полет над своими владениями, произошло необыкновенное событие, которое чуть было не оказалось роковым для этой монархии, по крайней мере для ее теперешнего строя. Линдалино, второй по величине город в королевстве, был первым, удостоившимся посещения его величества. Через три дня по его отъезде горожане, часто жаловавшиеся на большие притеснения, заперли городские ворота, арестовали губернатора, и с невероятной быстротой и энергией воздвигли четыре массивные башни по четырем углам города (площадь которого представляет собой правильный четыреугольник) такой же высоты, как и гранитная остроконечная скала, возвышающаяся как раз в центре города. На верхушке каждой башни, так же, как и на верхушке скалы, они утвердили по большому магниту, и, на случай крушения их замысла, запаслись огромным количеством весьма горючего топлива, надеясь расколоть сильным пламенем алмазное основание острова

если бы проект с магнитами оказался неудачным.

Только через восемь месяцев король получил донесение о том, что Линдалино поднял мятеж. Он отдал тогда распоряжение направить остров к городу. Население было исполнено единодушия, запаслось провиантом. Посреди города протекает большая река. Король парил над мятежниками несколько дней, лишая их солнца и дождя. Он велел опустить с острова множество бичевок, но никто и не подумал обратиться к нему с челобитной, зато во множестве полетели весьма дерзкие требования возместить все причиненные городу несправедливости, вернуть привилегии, предоставить неселению право выбора губернатора и тому подобные несуразности. В ответ на это его величество приказал всем островитянам бросать с нижней галлереи на город большие камни; но от этого несчастья горожане обереглись, укрывшись со своими пожитками в четырех башнях и других каменных зданиях, а также в погребах.

Тогда король, твердо решивший привести к покорности этих гордецов, приказал медленно опустить остров на сорок ярдов от верхушек башен и скалы. Приказание короля было исполнено, но чиновники, приводившие его в исполнение, обнаружили, что спуск совершился гораздо быстрее, чем обыкновенно, и, повернув магнит, только с большим трудом могли удерживать остров в неподвижном положении, но заметили, что он все же проявляет тенденцию к падению. Они немедленно дали знать королю об этом удивительном явлении и просили у его

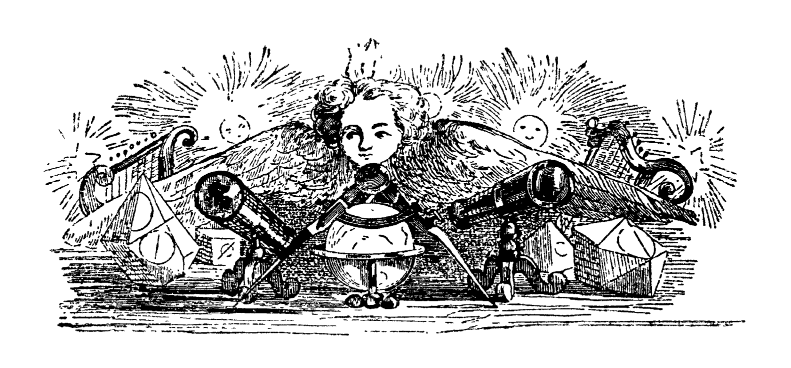
величества разрешения поднять остров выше; король дал согласие, был созван большой совет, и чиновники, ведающие магнитом, получили приказание присутствовать на нем. Один из старейших и опытнейших среди них испросил разрешения произвести придуманный им опыт. Он взял прочный шнурок в сто ярдов длины, и, когда остров поднялся над городом на такую высоту, что прекратилось действие подмеченной притягательной силы, прикрепил к концу шнурка кусок алмаза, содержавший в себе некоторое количество железной руды, подобно алмазу, составлявшему основание или нижнюю поверхность острова, и стал медленно спускать его с нижней галлереи к верхушке одной из башен. Не спустился алмаз и на четыре ярда, как чиновник почувствовал, что он с такой силой увлекается вниз, что ему едва удалось вытащить его обратно. После этого он сбросил с острова несколько обломков алмаза и заметил, что все они с силой были притянуты верхушкой башни. Тот же опыт был проделан по отношению к остальным трем башням и скале, и результат каждый раз получался одинаковый.

Это событие расстроило все планы короля, и (мы не будем останавливаться на подробностях) ему пришлось оставить город в покое.

Один из министров уверял меня, что, если бы остров опустился над городом так низко, что не мог бы больше подняться, то горожане навсегда лишили бы его возможности передвигаться, убили бы короля и всех его прислужников и совершенно изменили образ правления.

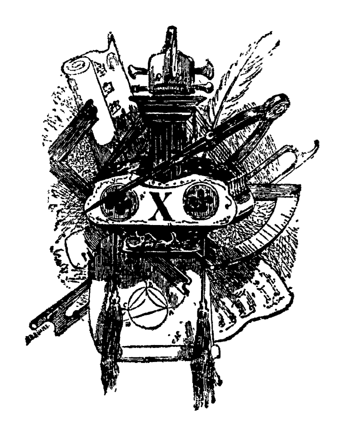
Основной закон государства запрещает королю* и двум его старшим сыновьям оставлять остров. То же запрещение распространяется и на королеву, пока она не утратит способности рожать детей.





## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Автор оставляет Лапуту. Его спускают в Бальнибарби. Прибытие автора в столицу. Описание столицы и прилегающей местности. Один сановник гостеприимно принимает у себя автора. Его беседы с этим сановником.*



Хотя я не могу пожаловаться на прием, оказанный мне на острове, все же я должен сознаться, что не пользовался там особенным вниманием, и ко мне относились даже с некоторым пренебрежением. Это и понятно, если вспомнить, что король и население не интересовались ничем, кроме математики и музыки, и в этом отношении мои познания значительно

уступали их сведениям, так что они смотрели на меня свысока.

С другой стороны, осмотрев все достопримечательности острова, я сам сильно желал оставить его, так как мне смертельно надоели эти люди. Они действительно чрезвычайно сведущи в математике и музыке, и хотя я питаю большое уважение к этим двум знаниям и сам кое что смыслю в них, тем не менее лапутяне настолько отвлечены и так глубоко погружены в умозрения, что я в жизни не встречал более неприятных собеседников. В течение двухмесячного моего пребывания на острове я разговаривал только с женщинами, купцами, хлопальщиками и пажами, вследствие чего все стали относиться ко мне с крайним презрением, хотя перечисленные мной лица были единственными, от которых можно было услышать разумные ответы на задаваемые мной вопросы.

Благодаря усиленным занятиям я довольно хорошо изучил местный язык; я томился заключением на острове, где мне оказывали так мало внимания, и решил покинуть его при первом удобном случае.

Между придворными находился один вельможа, близкий родственник короля. Это обстоятельство было единственной причиной уважения к нему царедворцев, так как все они считали его человеком крайне глупым и невежественным. Он оказал много весьма важных услуг государству, обладал большими природными и приобретенными талантами и отличался прямотой и честностью; но ухо его было так нечувствительно к музыке, что, по уверению его

недоброжелателей, он часто отбивал такт невпопад; и наставники лишь с крайним трудом могли научить его доказывать простейшие математические теоремы. Этот вельможа оказывал мне большое благоволение: часто навещал меня, желая получить сведения о европейской жизни, законах и обычаях, нравах и науках различных посещенных мною стран. Он слушал меня с большим вниманием и делал тонкие замечания по поводу рассказываемого мной. Согласно требованиям придворного этикета, при нем тоже состояли два хлопальщика, но он никогда не прибегал к их услугам, исключая придворных церемоний и официальных визитов, и постоянно отпускал их домой, когда мы оставались наедине.

Я попросил эту почтенную особу исходатайствовать мне у его величества разрешение покинуть остров. Вельможа исполнил мою просьбу, хотя и с сожалением, как ему угодно было сказать мне; он сделал мне много лестных предложений, но я отказался от них с выражением глубочайшей признательности.

16 февраля я попрощался с его величеством и придворными. Король наградил меня подарками, ценностью около двухсот английских фунтов; такие же подарки я получил и от моего покровителя, родственника короля, который вместе с тем дал мне рекомендательное письмо к своему другу, жившему в Лагадо, столице королевства. В это время остров парил над горой на расстоянии двух миль от города, и меня спустили с нижней галлереи тем же способом, каким прежде подняли сюда.

Континент, поскольку он находится под властью монарха летучего острова, известен под общим именем *Бальнибарби,* а столица, как я уже говорил, называется *Лагадо.* Опустившись на твердую землю, я почувствовал некоторое удовлетворение. Так как я был одет в местный костюм и достаточно владел местным языком, чтобы разговаривать с местными жителями, то без всяких затруднений добрался до столицы. Я скоро отыскал дом лица, к которому у меня было рекомендательное письмо, передал ему письмо от его вельможного друга с острова, и был любезно принят. Этот сановник, по имени Мьюноди,* велел приготовить у себя в доме для меня комнату, где я и прожил все время моего пребывания в столице, пользуясь самым радушным гостеприимством хозяина.

На другой день по моем приезде он пригласил меня прокатиться вместе с ним по городу, который равняется половине Лондона; но здания в нем построены очень странно, и многие из них были полуразрушены. Прохожие на улицах куда то мчались, имели дикий вид, глаза их были неподвижно устремлены в одну точку, и почти все они были одеты в лохмотья. Миновав городские ворота, мы поехали полем, сделав около трех миль. Здесь я увидел много крестьян, работавших с помощью разнообразных орудий, но не мог разобрать, что собственно они делают, тем более, что поля, бывшие перед моими глазами, не имели ни малейших признаков травы или хлеба, хотя почва была повидимому превосходная. Я не мог не выразить своего удивления по поводу столь странного вида города и деревни



и решил обратиться к своему спутнику с просьбой объяснить мне, что означают эти озабоченные лица, эти занятые работой руки, как на улицах, так и на полях, ибо я не замечал никаких благотворных результатов, производимых ими; напротив, мне никогда не приходилось видеть хуже возделанных полей, хуже построенных и обвалившихся домов, и людей, внешность

и платье которых свидетельствовали бы о такой нищете и лишениях.*

Господин Мьюноди был очень знатной особой и несколько лет состоял губернатором Лагадо, но благодаря интригам министров его за неспособностью отстранили от должности. Тем не менее король относится к нему благосклонно, считая его человеком благомыслящим, хотя ограниченным и недалеким по части умственных способностей.

На откровенно высказанное мною мнение об этой стране и ее жителях он ограничился замечанием, что я нахожусь у них слишком короткое время для того, чтобы составить правильное суждение, и что у различных наций существуют различные нравы и обычаи, и тому подобные общие места. Но когда мы возвратились к его дворцу, он спросил, как я нахожу постройку, какие несуразности замечаю я в ней и какого рода жалобы есть у меня на платье и внешность его слуг. Он мог смело задавать подобные вопросы, так как все у него было великолепно, изящно, в порядке. Я ответил, что мудрость, знатность и богатство его превосходительства предохранили его от недостатков, которые были порождены у его соотечественников безрассудством и нищетой. Тогда он сказал мне, что если я пожелаю отправиться с ним в его загородный дом, расположенный приблизительно в двадцати милях, в его поместье, то там у нас будет больше досуга для подобного рода бесед. Я заявил его превосходительству, что я весь к его услугам, и на следующий день утром мы отправились в путь.

По дороге Мьюноди обратил мое внимание на различные методы, применямые фермерами при обработке земли, которые были для меня совершенно непонятны, ибо, за весьма редкими исключениями, я не мог заметить на полях ни одного колоса и ни одной былинки. Но после трехчасового пути картина совершенно переменилась. Перед нами открылась прекрасная местность: аккуратно построенные фермерские домики на небольшом расстоянии друг от друга; огороженные поля, разделенные на виноградники, хлебные нивы и луга. Я давно не видел такого приятного пейзажа. Его превосходительство, заметя, что лицо мое проясняется, сказал мне со вздохом, что здесь начинаются его владения, которыми мы будем ехать до самого дома и которые все будут в таком же роде; что его соотечественники смеются над ним и презирают его за то, что он плохо ведет хозяйство и подает государству столь дурной пример, которому, впрочем, подражают очень немногие, такие же своенравные и хилые старики, как он сам.

Наконец мы подъехали к дому. Это было великолепное здание, построенное по лучшим правилам старинной архитектуры. Фонтаны, сады, аллеи, рощи—все было устроено очень умно и со вкусом. Я воздал виденному заслуженную похвалу, но его превосходительство не обращал на мои слова ни малейшего внимания до конца ужина. Когда мы остались вдвоем, мой хозяин с очень грустным видом сказал мне, что часто он подумывает, не лучше ли ему срыть свои дома в городе и деревне и пере-



строить их по теперешней моде; уничтожить свое полевое хозяйство и завести другое, согласно новейшим требованиям, ознакомив с ними также и фермеров; в противном случае он рискует навлечь на себя упреки в гордости, оригинальничаньи, аффектации, невежестве, само-

дурстве и, чего доброго, увеличить неудовольствие его величества. Он выразил предположение, что восхищение мое вероятно остынет или ослабеет, когда он познакомит меня с вещами, о которых я вряд ли слышал при дворе, где люди слишком погружены в свои умозрения и им некогда обращать внимание на то, что делается на земле.

Речь его сводилась к следующему: около сорока лет тому назад несколько жителей столицы поднялись на Лапуту—одни по делам, другие ради удовольствия, и после пятимесячного пребывания на острове возвратились домой с весьма поверхностными познаниями в математике, но в крайне легкомысленном настроении, приобретенном ими в этой воздушной области. По своем возвращении лица эти прониклись презрением ко всем нашим учреждениям и начали составлять проекты пересоздания науки, искусства, законов, языка и техники на новый лад. С этой целью они выхлопотали королевскую привилегию на учреждение Академии Прожектеров в Лагадо. Затея эта имела такой успех, что теперь в королевстве нет ни одного сколько-нибудь значительного города, в котором бы не возникла такая Академия. В этих заведениях профессора изобретают новые методы земледелия и архитектуры и новые орудия и инструменты для всякого рода ремесл и производств, с помощью которых, как они уверяют, один человек будет исполнять работу десятерых; в течение недели можно будет воздвигнуть дворец из такого прочного материала, что он простоит вечно, не требуя никакого ремонта; все земные плоды будут

созревать во всякое время года, по желанию потребителей, причем эти плоды по размерам превзойдут в сто раз те, какие мы имеем теперь... но не перечтешь всех их проектов осчастливить человечество. Жаль только, что ни один из этих проектов еще не разработан до конца, а между тем страна, в ожидании будущих благ, приведена в запустение, дома в развалинах, а население голодает и ходит в лохмотьях. Однако все это не только не охлаждает рвения прожектеров, но еще пуще подогревает его, и их одинаково воодушевляет как надежда, так и отчаяние. Что касается самого Мьюноди, то он, не будучи человеком предприимчивым, продолжает действовать по старинке, живет в домах, построенных его предками, и во всем следует их примеру, не заводя никаких новшеств. Еще несколько человек из знати и среднего дворянства поступают так же, как и он, но на них смотрят с презрением и недоброжелательством, как на врагов науки, невежд и вредных членов общества, приносящих прогресс и благо страны в жертву своему покою и лени.

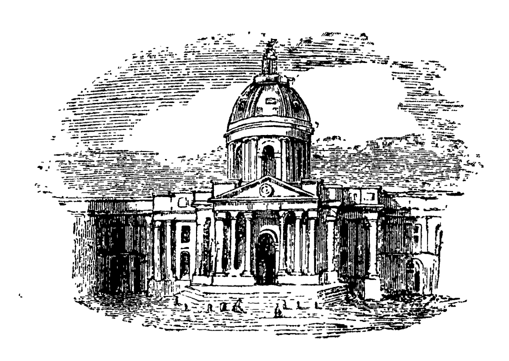
В заключение его превосходительство сказал, что он воздерживается от сообщения мне дальнейших подробностей, не желая лишить меня удовольствия, которое я наверное получу при личном осмотре главной Академии, куда он решил свести меня. Он только попросил меня обратить внимание на разрушенные постройки на склоне горы, в трех милях от нас; он рассказал мне, что на расстоянии полумили от дома у него была отличная мельница, которая работала водой, отведенной из большой реки, и удовле-

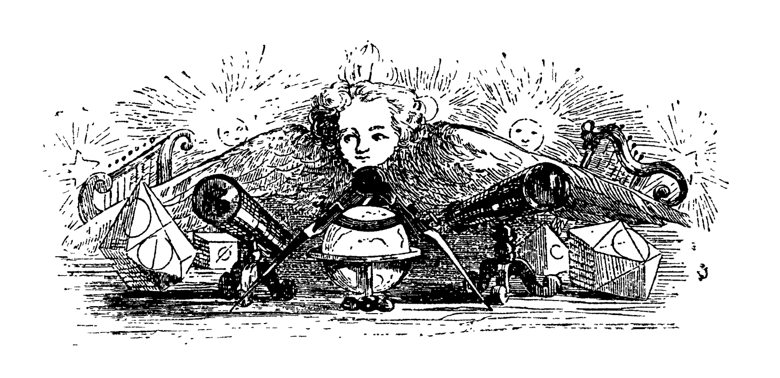


творяла потребностям как его семьи, так и большинства арендаторов. Около семи лет тому назад к нему явилась компания прожектеров с предложением разрушить эту мельницу и построить новую на склоне горы, по хребту которой они собирались прорыть длинный канал в качестве водохранилища, куда вода будет подниматься при помощи труб и машин и приводить в движение мельницу, так как ветер и воздух, волнуя воду на вершине, сделают ее будто бы более текучей и при падении воды по склону ее понадобится для вращения мель-

ничного колеса вдвое меньше, чем в том случае, когда она течет по почти ровной местности. Его превосходительство сказал, что, будучи тогда в несколько натянутых отношениях со двором и уступая увещеваниям друзей, он согласился привести этот проект в исполнение; после двухлетних работ, на которых было занято сто человек, предприятие потерпело крах, и прожектеры скрылись, свалив всю вину на него, постоянно издеваясь над ним с тех пор и подбивая других проделать такой же эксперимент, с таким же ручательством за успех и с таким же разочарованием напоследок.

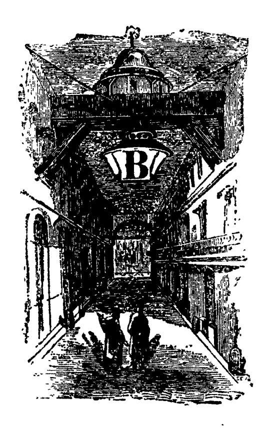
Спустя несколько дней мы возвратились в город. Его превосходительство, приняв во внимание дурную репутацию, которой он пользовался в Академии, не счел удобным сопровождать меня туда, но поручил свести меня туда одному своему другу. Мой хозяин отрекомендовал меня как человека, увлекающегося новыми техническими изобретениями, весьма любознательного и легковерного, что, впрочем, было недалеко от истины, ибо в молодости я и сам был большим прожектером.





## ГЛАВА ПЯТАЯ*

*Автору дозволяют осмотреть Великую Академию в Лагадо. Подробное описание Академии. Искусства, изучением которых занимаются профессора.*




еликая Академия занимает не одно здание, а два ряда домов по обеим сторонам улицы, где был раньше пустырь, купленный и застроенный исключительно для Академии.

Ректор Академии оказал мне благосклонный прием, и я посещал Академию ежедневно в течение довольно продолжительного времени. Каждая комната заключала в себе одного или нескольких прожектеров, и я полагаю, что таких комнат в Академии не менее пятисот.

Первый ученый, которого я посетил, был тощий человечек с закопченным лицом и ру-




ками, с длинными всклокоченными и местами опаленными волосами и бородой. Его платье, рубаха и кожа были такого же цвета. Восемь лет он разрабатывал проект извлечения солнечных лучей из огурцов; добытые таким образом лучи он собирался заключить в герметически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться

ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета. Он не сомневался, что еще через восемь лет будет иметь возможность продавать солнечные лучи для губернаторских садов по умеренной цене; но он жаловался, что запасы его невелики и просил меня дать ему что нибудь, в качестве поощрения его изобретательности, тем более, что в этом году огурцы очень дороги. Я предложил профессору несколько монет, которыми предусмотрительно снабдил меня мой хозяин, хорошо знавший привычку этих господ выпрашивать милостыню у каждого, кто посещает их.

Войдя в другую комнату, я чуть было не выскочил тотчас же вон, потому что едва не задохся от ужасного зловония. Однако, мой спутник удержал меня, шопотом сказав, что необходимо войти, иначе мы нанесем большую обиду; таким образом, я принужден был следовать за ним, не затыкая даже носа. Изобретатель, сидевший в этой комнате, был одним из старейших членов Академии. Лицо и борода ученого были бледно-желтые; его руки и платье были все испачканы нечистотами. Когда я был представлен, он крепко обнял меня (любезность, без которой я отлично мог бы обойтись). С первого дня своего вступления в Академию он занимается превращением человеческих экскрементов в те питательные вещества, из которых они образовались, путем отделения от них нескольких составных частей, удаления окраски, сообщаемой им желчью, выпаривания зловония и выделения слюны. Город ежедневно отпускал ученому посудину, наполненную человече-



скими нечистотами, величиной с бристольскую бочку.

Там же я увидел другого ученого, занимавшегося пережиганием льда в порох. Он показал мне написанное им исследование о ковкости пламени,* которое он собирается опубликовать.

Там был также весьма изобретательный архитектор, разрабатывавший способ постройки домов, начиная с крыши и кончая фундаментом. Он оправдывал мне этот способ ссылкой на приемы двух мудрых насекомых—пчелы и паука

Там был наконец слепорожденный, под руководством которого занималось несколько таких же слепых учеников. Их занятия состояли в смешивании красок для живописцев, каковые профессор учил распознавать при помощи обоняния и осязания. Правда, на мое несчастье, во время моего посещения они не особенно удачно справлялись со своей задачей, да и сам профессор постоянно совершал ошибки. Ученый этот пользуется большим уважением своих коллег.

В другой комнате меня очень позабавил изобретатель, открывший способ пахать землю при помощи свиней и таким образом избавиться от расхода на плуги, скот и рабочих. Способ этот заключается в следующем: на десятине земли вы закапываете на расстоянии шести дюймов и на глубине восьми известное количество желудей, фиников, каштанов и других плодов или овощей, до которых особенно лакомы свиньи; затем вы выгоняете на это поле штук шестьсот или больше свиней, и они в течение нескольких дней, в поисках за пищей, взроют рылом всю землю, сделав ее пригодной для посева и в то же время удобрив ее своим навозом. Правда, произведенный опыт показал, что такая обработка земли требует больших хлопот и расходов, а урожай ничтожен. Однако никто не сомневается, что это изобретение поддается усовершенствованию и имеет блестящую будущность.

Я вошел в следующую комнату, где стены и потолок были сплошь затянуты паутиной,* за исключением узкого прохода для изобретателя. Едва я показался в дверях, как последний громко



закричал мне, чтобы я был осторожнее и не порвал его паутины. Он стал жаловаться на роковую ошибку, которую совершал до сих пор мир, утилизируя шелковичных червей, тогда как у нас всегда под рукой множество насекомых,

бесконечно превосходящих упомянутых червей, ибо они одарены всеми качествами не только прядильщиков, но и ткачей. Далее изобретатель указал, что утилизация пауков совершенно избавит от расходов на окраску тканей; и я вполне убедился в этом, когда он показал нам массу красивых разноцветных мух, которыми кормил пауков и цвет которых, по его уверениям, необходимо должен передаваться изготовленной пауком пряже. И так как у него были мухи всех цветов, то он надеялся удовлетворить вкусам каждого, как только ему удастся найти подходящую пищу для мух в виде камеди, масла и других клейких веществ и придать таким образом большую плотность и прочность нитям паутины.

Там же был астроном, проектировавший поместить солнечные часы на большой флюгер ратуши, с целью согласовать годовые и суточные движения земли и солнца с случайными движениями ветра.

Я пожаловался в это время на легкие спазмы в желудке, и мой спутник привел меня в комнату знаменитого медика, особенно прославившегося лечением гастрических болезней путем двух противоположных операций, производимых одним и тем же инструментом. У него был большой раздувальный мех с длинным тонким наконечником из слоновой кости. Доктор утверждал, что, вводя трубку на восемь дюймов в задний проход и раздувая мехи, он может привести кишки в такое состояние, что они станут похожи на высохший пузырь. Если болезнь более упорна и жестока, доктор вводит трубку, когда мехи

наполнены воздухом, и вгоняет этот воздух в тело больного; затем он вынимает трубку, чтобы вновь наполнить мехи, плотно закрывая на это время большим пальцем заднепроходное отверстие. Эту операцию он повторяет три или четыре раза; после этого введенный в желудок воздух быстро устремляется наружу, увлекая с собой все вредные вещества (как вода из на-



соса), и больной выздоравливает. Я видел, как он произвел оба эксперимента над собакой, но не заметил, чтобы первый оказал какое нибудь действие. После второго животное страшно раз-

дулось и едва не лопнуло, затем так обильно опорожнилось, что мне и моему спутнику стало очень противно. Собака мгновенно околела, и мы покинули доктора, прилагавшего старания вернуть ее к жизни при помощи той же операции.

Я посетил еще много других комнат, но, заботясь о краткости, не стану утруждать читателя описанием всех диковин, которые я там видел.

До сих пор я познакомился только с одним отделением Академии; другое же отделение было предназначено для ученых, двигавших вперед спекулятивные науки; о нем я и скажу несколько слов, предварительно упомянув еще об одном знаменитом ученом, известном здесь



под именем *универсального искусника*. Он рассказал нам, что вот уже тридцать лет он посвящает все свои мысли улучшению человеческого существования. В его распоряжении две большие комнаты, наполненные удивительными диковинами, и пятьдесят помощников. Одни сгущают воздух в вещество сухое и осязаемое, извлекая из него селитру и процеживая водянистые и текучие его частицы; другие размягчают мрамор для подушек и подушечек для булавок; третьи приводят в окаменелое состояние копыта живой лошади, чтобы предохранить их от изнашивания. Что касается самого искусника, то он занят был в то время разработкой двух великих замыслов; первый из них — обсеменение полей мякиной, в которой, по его утверждению, заключена настоящая производительная сила, что он доказывал множеством экспериментов, для меня, к сожалению, совершенно непонятных; а второй — приостановка роста шерсти на двух ягнятах при помощи особого прикладываемого снаружи состава из камеди, минеральных и растительных веществ; и он надеялся в недалеком будущем развести во всем королевстве породу голых овец.

После этого мы пересекли двор и вошли в другое отделение Академии, где, как я уже сказал, заседали прожектеры в области спекулятивных наук.

Первый профессор, которого я здесь увидел, помещался в огромной комнате, окруженный сорока учениками. Мы обменялись взаимными приветствиями. Увидя, что я внимательно рассматриваю станок,* занимавший большую часть

комнаты, он сказал, что я, быть может, буду удивлен его работой над проектом, цель которого заключается в усовершенствовании умозрительного знания при помощи технических и механических операций. Но мир вскоре оценит всю полезность этого проекта; и он льстил себя уверенностью, что более возвышенная идея никогда еще не возникала ни в чьей голове. Каждому известно, как трудно изучать науки и искусства по общепринятой методе; между тем, с помощью его изобретения самый невежественный человек, произведя небольшие издержки и затратив немного физических усилий, может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию при полном отсутствии эрудиции и таланта. Затем он подвел меня к станку, подле которого рядами стояли его ученики. Станок этот имеет двадцать квадратных футов и помещается посередине комнаты. Поверхность его состоит из множества деревянных дощечек, каждая величиною в игральную кость, одни побольше, другие поменьше. Все они сцеплены между собой тонкими проволоками. С обеих сторон каждой дощечки приклеено по кусочку бумаги; на этих бумажках написаны все слова их языка, в различных наклонениях, временах и падежах, но без всякого порядка. Профессор попросил меня быть внимательнее, так как он собирался пустить в ход свою машину. По команде этого ученого мужа каждый ученик взял железную рукоятку, которые в числе сорока были вставлены по краям станка; после того как ученики сделали несколько оборотов рукоятками, рас-

положение слов совершенно изменилось. Тогда профессор приказал тридцати шести ученикам медленно читать образовавшиеся строки в том порядке, в каком они разместились в раме; если случалось, что три или четыре слова составляли часть фразы, ее диктовали остальным четырем ученикам, исполнявшим роль писцов. Это упражнение было повторено три или четыре раза, и машина была так устроена, что после каждого оборота слова принимали все новое расположение по мере того, как квадратики переворачивались с одной стороны на другую.

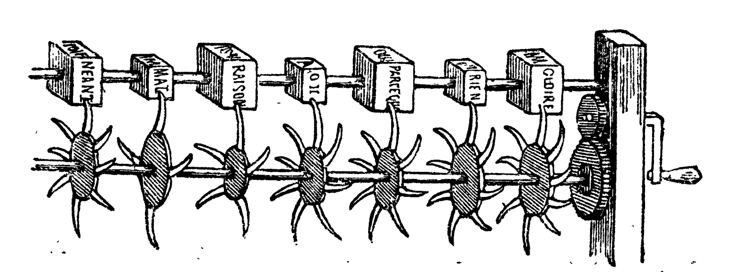
Молодые студенты занимались этими упражнениями по шести часов в день; и профессор

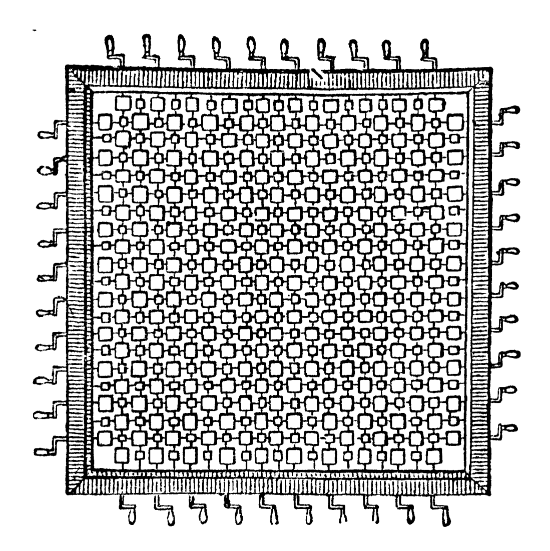


показал мне множество томов in-folio, составленных из подобных отрывочных фраз; он намеревался связать их вместе и из полученного таким образом материала дать миру полный компендий всех искусств и наук; эта работа могла бы быть однако еще более улучшена и значительно ускорена, если бы удалось собрать фонд для сооружения пятисот таких станков в Лагадо, и сопоставить фразы, полученные на каждом из них.

Он сообщил мне, что это изобретение с юных лет поглощает все его мысли, что теперь в его станок входит целый словарь, и что им точнейшим образом высчитано соотношение числа частиц, имен, глаголов и других частей речи, употребляемых в наших книгах.

Я принес глубочайшую благодарность этому почтенному мужу за его любезное посвящение меня в тайны своего великого изобретения, и дал обещание, если мне удастся когда нибудь вернуться на родину, воздать ему должное, как единственному изобретателю этой изумительной машины, форму и устройство которой я попросил у него позволения срисовать на бумаге и прилагаю свой рисунок к настоящему изда-





нию. Я сказал ему, что в Европе хотя и существует между учеными обычай похищать друг у друга изобретения, имеющий, впрочем, ту положительную сторону, что возбуждает полемику для разрешения вопроса, кому принадлежит подлинное первенство, тем не менее, я обещаю принять все меры, чтобы честь этого изобретения всецело осталась за ним и никем не оспаривалась.

После этого мы пошли в школу языкознания, где заседали три профессора в ученой конференции, посвященной вопросу об усовершенствовании родного языка. Первый проект предлагал сократить разговорную речь путем сведения многосложных слов к односложным и упразднения глаголов и причастий, так как

в действительности все мыслимые вещи суть только имена. Второй проект требовал полного уничтожения всех слов; автор этого проекта ссылался главным образом на его пользу для здоровья и сбережение времени. Ведь очевидно, что каждое произносимое нами слово сопряжено с некоторым изнашиванием легких, и следовательно приводит к сокращению нашей жизни. А так как слова суть только названия *вещей,* то автор проекта высказывает предположение, что для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний. Это изобретение, благодаря его большим удобствам и пользе для здоровья, по всей вероятности, получило бы широкое распространение, если бы женщины, войдя в стачку с невежественной чернью, не пригрозили поднять восстание, требуя, чтобы языку их была предоставлена полная воля, согласно старому дедовскому обычаю: так простой народ постоянно оказывается непримиримым врагом науки! Тем не менее, многие весьма ученые и мудрые люди пользуются этим способом выражения мыслей при помощи вещей. Единственным неудобством является то обстоятельство, что в случае необходимости вести пространный разговор на разнообразные темы собеседникам приходится таскать на плечах большой узел с вещами, если средства не позволяют нанять для этого одного или двух здоровых парней. Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, изнемогавших под тяжестью ноши, подобно нашим торговцам в разнос. При встрече на улице они снимали с плеч мешки, открывали

их и, достав оттуда необходимые вещи, вели таким образом беседу в продолжение часа; затем складывали свои пожитки, помогали друг другу взвалить их на плечи, прощались и расходились.

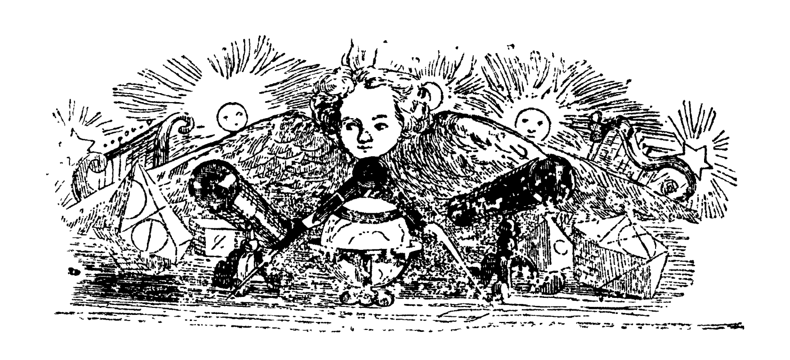
Впрочем, для коротких и несложных разговоров можно носить все необходимое в кармане или под мышкой, а разговор, происходящий в домашней обстановке, не вызывает никаких затруднений. Поэтому комнаты, где собираются лица, применяющие этот метод, наполнены всевозможными предметами, пригодными служить материалом для таких искусственных разговоров.

Другим великим преимуществом этого изобретения является то, что им можно пользоваться как всемирным языком, понятным для всех цивилизованных наций, ибо мебель и домашняя утварь всюду одинакова, или очень похожа, так что ее употребление легко может быть понято. Таким образом посланники без труда могут говорить с иностранными королями и их министрами, язык которых им совершенно неизвестен.

Я посетил также математическую школу, где учитель преподает эту науку по такой методе, какую едва ли возможно представить себе у нас в Европе. Каждая теорема с доказательством тщательно переписывается на тоненькой облатке чернилами, составленными из микстуры против головной боли. Ученик глотает облатку натощак и в течение трех следующих дней не ест ничего, кроме хлеба и воды. Когда облатка переваривается, микстура поднимается в мозг, принося с собой туда же теорему. Однако, до

сих пор успех этого метода незначителен, что объясняется отчасти какой то ошибкой в определении дозы или состава микстуры, а отчасти озорством мальчишек, которым эта пилюля так противна, что они стараются после приема выплюнуть ее прежде, чем она успеет оказать свое действие; к тому же, их никак не удается убедить соблюдать в точности предписанное воздержание.





## ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Продолжение описания Академии. Автор предлагает некоторые усовершенствования, которые с благодарностью принимаются.*



В школе политических прожектеров я не был особенно порадован. Тамошние профессора были, на мой взгляд, людьми совершенно рехнувшимися, а такое зрелище всегда наводит на меня тоску. Эти несчастные предлагали способы убедить монархов выбирать себе фаворитов из людей умных, способных и добродетельных; научить министров принимать в расчет общественное благо; награждать людей достойных, талантливых, оказавших обществу выдающиеся услуги; учить монархов познанию их истинных

интересов, которые основаны на интересах их народов; поручать должности лицам, обладающим необходимыми качествами для того, чтобы занимать их; и множество других диких и невозможных фантазий, которые никогда еще не зарождались в головах людей здравомыслящих. Таким образом я еще раз убедился в справедливости старинного изречения, что на свете нет такой нелепости, которую бы иные философы не защищали, как истину.

Я должен однако отдать справедливость этому отделению Академии и признать, что не все в нем имело такой химерический характер. Так, я познакомился там с одним весьма талантли-



вым доктором, который, повидимому, в совершенстве изучил природу и механизм правительственной власти. Этот знаменитый муж с большой пользой посвятил свое время нахождению радикальных лекарств от всех болезней и нравственного повреждения, которым подвержены различные общественные власти, благодаря порокам и слабостям правителей — с одной стороны, и распущенности управляемых — с другой. Так, например, поскольку все писатели и философы единогласно утверждают, что существует большая аналогия между естественным и политическим телом, то не яснее ли ясного, что здоровье обоих тел должно сохраняться, и болезни лечиться, одними и теми же средствами? Всеми признано, что сенаторы и члены высоких палат часто страдают многословием, запальчивостью и другими дурными настроениями; многими болезнями головы и особенно сердца; сильными конвульсиями с мучительными сокращениями нервов и мускулов обеих рук, и особенно правой; разлитием желчи, ветрами в животе, головокружением, бредом; золотушными опухолями, наполненными гнойной и зловонной материей; кислыми отрыжками; волчьим аппетитом, несварением желудка и массой других болезней, которые не к чему перечислять. Вследствие этого знаменитый доктор предлагает, чтобы во время созыва сената на первых трех его заседаниях присутствовало несколько врачей, которые, по окончании прений, щупали бы пульс у каждого сенатора; затем, по зрелом обсуждении характера каждой болезни и метода ее лечения, врачи эти должны возвратиться на четвертый

день в залу заседаний, в сопровождении аптекарей, снабженных необходимыми медикаментами, и, прежде чем сенаторы начнут совещание, дать каждому из них: утолительного, слабительного, очищающего, разъедающего, вяжущего, облегчительного, расслабляющего, противоголовного, противожелтушного, противомокротного, противоушного, смотря по роду болезни; испытав действие лекарств, в следующее заседание врачи должны или повторить, или переменить или перестать давать их.

Осуществление этого проекта должно обойтись недорого, и он может, по моему скромному мнению, принести много пользы для ускорения делопроизводства в тех странах, где сенат принимает какое нибдь участие в законодательной власти; породить единодушие, сократить прения, открыть несколько ртов, теперь закрытых, и закрыть гораздо большее число открытых; обуздать пыл молодости и смягчить сухость старости; расшевелить тупых и охладить горячих.

Далее: так как все жалуются, что фавориты государей страдают короткой и слабой памятью, то тот же доктор предлагает каждому, получившему аудиенцию у первого министра, по изложении в самых коротких и ясных словах сущности дела, на прощанье потянуть его за нос, или дать ему пинок в живот, или наступить на мозоль, или надрать ему уши, или уколоть через штаны булавкой, или ущипнуть до синяка руку и тем предотвратить министерскую забывчивость. Операцию следует повторять каждый приемный день, пока просьба не

будет исполнена или не последует категорический отказ.

Он предлагает также, чтобы каждый сенатор, высказав в большом национальном совете свое мнение и приведя в его пользу доводы, подавал свой голос за прямо противоположное мнение, и ручается, что при соблюдении этого предписания исход голосования всегда будет благодетелен для государства.

Если раздоры между партиями становятся ожесточенными, он рекомендует замечательное средство примирения. Оно заключается в следующем: вы берете сотню лидеров каждой партии и разбиваете их на пары, так чтобы головы людей, входящих в каждую пару, были приблизительно одинаковой величины; затем пусть



два искусных хирурга отпилят одновременно затылки у каждой пары таким образом, чтобы мозг разделился на две равные части. Пусть будет произведен обмен срезанными затылками, и каждый из них приставлен к голове политического противника. Операция эта требует повидимому большой тщательности, но профессор уверял нас, что если она сделана искусно, то выздоровление обеспечено. Он рассуждал следующим образом: две половинки головного мозга, принужденные спорить между собой в пространстве одного черепа, скоро придут к доброму соглашению и породят ту умеренность и ту правильность мышления, которые так желательны для голов людей, воображающих, будто они появились на свет только для того, чтобы стоять на страже его и управлять его движениями. Что же касается качественного или количественного различия между мозгами вождей враждующих партий, то, по уверениям доктора, основанным на продолжительном опыте, это сущие пустяки.

Я присутствовал при жарком споре двух профессоров о наиболее удобных и действительных путях и способах взимания податей, так чтобы они не отягощали население. Один утверждал, что справедливее всего обложить известным налогом пороки и безрассудства, при чем сумма обложения в каждом отдельном случае должна определяться самым справедливым образом жюри, составленным из соседей облагаемого. Другой был прямо противоположного мнения: должны быть обложены налогом те качества тела и души, за которые люди больше

всего ценят себя; налог должен повышаться или понижаться, смотря по степени совершенства этих качеств, оценку которых следует всецело предоставить совести самих плательщиков. Наиболее высоким налогом облагаются лица, пользующиеся наибольшей благосклонностью другого пола, и ставка налога определяется соответственно количеству и природе полученных ими знаков благорасположения; причем сборщики податей должны довольствоваться их собственными показаниями. Он предлагал также обложить высоким налогом ум, храбрость и учтивость и взимать этот налог тем же способом, т. е. сам плательщик определяет степень, в какой он обладает указанными качествами. Однако, честь, справедливость, мудрость и знания не подлежат обложению, потому что оценка их до такой степени субъективна, что не найдется человека, который признал бы их существование у своего ближнего или правильно оценил их у самого себя.

Женщины, по его предложению, должны быть обложены соответственно их красоте и уменью одеваться, причем им, как и мужчинам, следует предоставить право самим расценивать себя. Но женское постоянство, целомудрие, здравый смысл и добрый нрав не должны быть облагаемы, так как доходы от этих статей едва ли покроют издержки по взиманию налога.

Чтобы заставить сенаторов служить интересам короны, он предлагает распределять среди них высшие должности по жребию; причем каждый из сенаторов должен сперва присягнуть и поручиться в том, что будет голосовать

в интересах двора, независимо от того, какой жребий выпадет ему; однако неудачники обладают правом снова тянуть жребий при освобождении какой нибудь вакансии. Таким образом у сенаторов всегда будет поддерживаться надежда на получение места; никто из них не станет жаловаться на неисполнение обещания, и неудачники будут взваливать свои неудачи на судьбу, у которой плечи шире и крепче, чем у любого министра.



Другой профессор показал мне обширную рукопись инструкций* для открытия противоправительственных заговоров. Он рекомендует

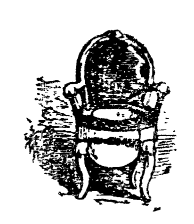
государственным мужам исследовать пищу всех подозрительных лиц; разузнать, в какое время они садятся за стол; на каком боку спят; какой рукой подтираются; тщательно рассмотреть* их экскременты и на основании их цвета, запаха, вкуса, густоты, поноса или запора составить суждение об их мыслях и намерениях: ибо люди никогда не бывают так серьезны, глубокомысленны и сосредоточенны, как в то время, когда они сидят на стульчаке, в чем он убедился на собственном опыте; в самом деле, когда, находясь в таком положении, он пробовал, просто в виде опыта, размышлять, каков наилучший способ убийства короля, то кал его приобретал зеленоватую окраску, и цвет его бывал совсем другой, когда он думал только о поднятии восстания или о поджоге столицы.

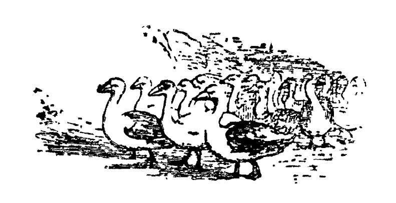
Все рассуждение написано с большой проницательностью и заключает в себе много наблюдений, любопытных и полезных для государственных людей, хотя эти наблюдения показались мне недостаточно полными. Я отважился сказать это автору и предложил, если он пожелает, сделать некоторые добавления. Он принял мое предложение с большей благожелательностью, чем это обычно бывает у писателей, особенно тех, которые занимаются составлением проектов, заявив что будет рад услышать дальнейшие указания.

Тогда я сказал ему, что в королевстве Трибниа,* называемом туземцами Лангден, где я пробыл некоторое время в одно из моих путешествий, большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвини-

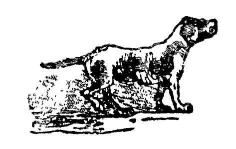
телей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жалованье у министров и депутатов. Заговоры в этом королевстве обыкновенно являются махинацией людей, желающих укрепить свою репутацию тонких политиков; вдохнуть новые силы в одряхлевшие органы власти; задушить или отвлечь общественное недовольство; наполнить свои сундуки конфискованным имуществом; укрепить или подорвать доверие к государственному кредиту, согласуя колебания курса с своими личными выгодами. Прежде всего они соглашаются и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвинить в составлении заговора; затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их авторов заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков, больших искусников по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв. Так, например, они открыли, что

сиденье на стульчаке означает тайное совещание;





стая гусей — сенат;



хромая собака — претендента;*



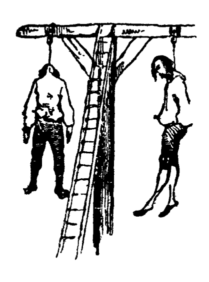
чума — постоянную армию



сарыч — первого министра;



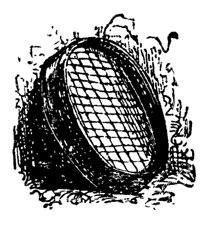
подагра — архиепископа;



виселица — государственного секретаря;



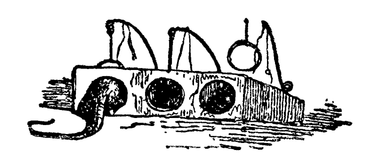
ночной горшок — комитет вельмож;



решето — фрейлину;



метла — революцию;



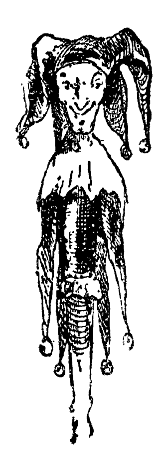
мышеловка — государственную службу;



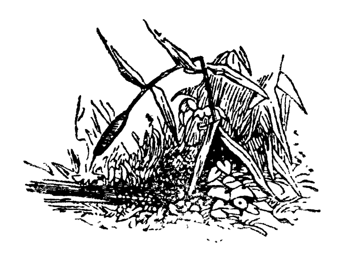
бездонная бочка — казначейство;



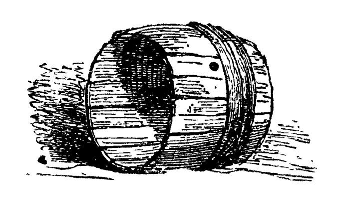
помойная яма — двор;



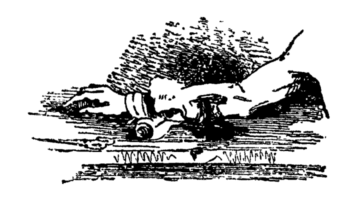
дурацкий колпак — фаворита;



сломанный тростник — судебную палату;



пустая бочка — генерала;



гноящаяся рана — систему управления.

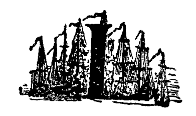
Если этот метод оказывается недостаточным, они руководствуются двумя другими, более действительными, известными между учеными под именем *акростихов* и *анаграмм*. Один из этих методов позволяет им расшифровывать все инициалы, согласно их политическому смыслу. Так



*N* — будет означать заговор;



B — кавалерийский полк;

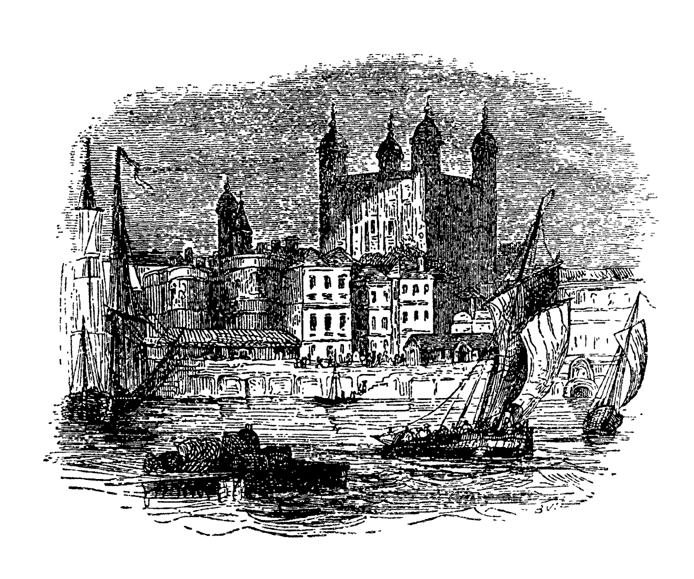


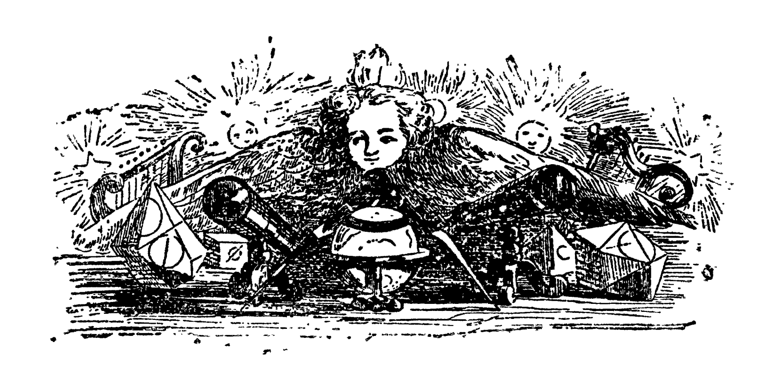
*L* — флот на море.

Пользуясь вторым методом, заключающимся в перестановке букв подозрительного письма, можно прочитать самые затаенные мысли и узнать самые сокровенные намерения недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю: «Наш брат Том нажил геморой»,* искусный дешифровальщик из этих самых букв прочитает фразу, что заговор открыт, надо сопротивляться и т. д. Это и есть анаграмматический метод.

Профессор горячо поблагодарил меня за сообщение этих наблюдений и обещал сделать почетное упоминание обо мне в своем трактате.

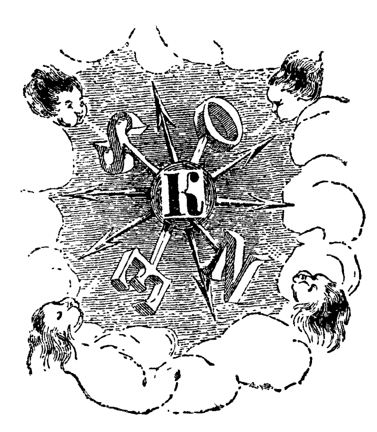
Ничто более в этой стране не привлекало к себе моего внимания, и я стал подумывать о возвращении в Англию.





## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*Автор оставляет Лагадо и прибывает в Мальдонадо. Он не попадает на корабль. Совершает короткое путешествие в Глаббдобдриб. Прием, оказанный автору правителем этого острова.*




онтинент, частью которого является это королевство, простирается, как я имею основание думать, на восток по направлению к неисследованной области Америки, к западу от Калифорнии; на север оно тянется по направлению к Тихому океану, который находится на расстоянии не более ста пятидесяти миль от Лагадо; здесь есть прекрасный порт,

ведущий оживленную торговлю с большим островом Лаггнегг, расположенным на северо-запад под 29° северной широты и 140° долготы. Остров Лаггнегг лежит на юго-восток от Японии на расстоянии около ста лиг. Японский император и король Лаггнегга живут в тесной дружбе, благодаря которой между двумя этими островами происходят частые сообщения. Поэтому я решил направить свой путь туда с целью при первом случае возвратиться в Европу. Я нанял двух мулов и проводника, чтобы он указал мне дорогу и перевез мой небольшой багаж. Про-



стившись с моим благородным покровителем, оказавшим мне столько услуг и сделавшим богатый подарок, я отправился в путь.

Мое путешествие прошло без всяких случайностей или приключений, о которых стоило бы упомянуть. Когда я прибыл в Мальдонадо (морской порт острова), там не только не было ко-

рабля, отправляющегося в Лаггнегг, но и не предвиделось в близком будущем. Город этот величиной с Портсмут. Вскоре я завел некоторые знакомства и был принят весьма гостеприимно. Один знатный господин сказал мне, что так как корабль, идущий в Лаггнегг, будет готов к отплытию не ранее месяца, то мне может быть доставит некоторое удовольствие экскурсия на островок Глаббдобдриб, лежащий в пяти лигах к юго-западу. Он предложил сопровождать меня вместе со своим другом и достать мне для этой поездки небольшой удобный баркас.

Слово Глаббдобдриб, насколько для меня понятна его этимология, означает остров *чародеев* и *волшебников*. Он равняется одной трети острова Уайта и очень плодороден. Им управляет глава племени, сплошь состоящего из волшебников. Жители этого острова вступают в браки только между собою, и старейший в роде является монархом или правителем. У него великолепный дворец с огромным парком в три тысячи акров, окруженным каменной стеной в двадцать футов вышины. В этом парке есть несколько огороженных мест для скотоводства, хлебопашества и садоводства.

Слуги этого правителя и его семьи имеют несколько необычный вид. Благодаря хорошему знанию некромантии, правитель обладает силой вызывать по своему желанию мертвых и заставлять их служить себе в течение двадцати четырех часов, но не дольше; равным образом он не может вызывать одно и то же лицо чаще, чем раз в три месяца, исключая каких нибудь чрезвычайных случаев.

Когда мы прибыли на остров, было около одиннадцати часов утра; один из моих спутников отправился к правителю испросить у него аудиенцию для иностранца, который явился на остров в надежде удостоиться высокой чести быть принятым его высочеством. Правитель немедленно дал свое согласие, и мы все трое



вошли в дворцовые ворота между двумя рядами стражи, вооруженной и одетой по весьма старинной моде; на лицах у нее было нечто такое, что наполнило меня невыразимым ужасом. Мы миновали несколько комнат между двумя рядами таких же слуг и пришли в аудиенц-зал, где, после трех глубоких поклонов и нескольких общих вопросов, нам было разрешено сесть на три табурета у нижней ступеньки трона его высочества. Правитель понимал язык Бальнибарби, хотя он несколько отличается от местного наречия. Он задал мне несколько вопросов о моих путешествиях и, желая показать, что со мной будут обращаться запросто, дал знак присутствующим удалиться, после чего, к моему величайшему изумлению, они мгновенно исчезли, как исчезает сновидение, когда мы внезапно просыпаемся. Некоторое время я не мог прийти в себя, пока правитель не уверил меня, что я нахожусь здесь в полной безопасности. Видя полное спокойствие на лицах моих двух спутников, привыкших к подобного рода приемам, я понемногу пришел в себя и вкратце рассказал его высочеству некоторые из моих приключений; но я не мог окончательно подавить своего волнения и часто оглядывался назад, чтобы взглянуть на те места, где стояли исчезнувшие слуги-призраки. Я удостоился чести обедать вместе с правителем, причем новый отряд привидений подавал кушанья и прислуживал за столом. Однако теперь все это не так пугало меня, как утром. Я оставался во дворце до захода солнца, но почтительно попросил его высочество извинить меня



за то, что я не могу принять его приглашение остановиться во дворце. Вместе с своими друзьями я переночевал на частной квартире в городе, являющемся столицей этого островка, и на другой день утром мы снова отправились к правителю засвидетельствовать ему свое почтение и предоставить себя в его распоряжение.

Так мы провели на острове десять дней, большую часть дня у правителя, а ночь на городской квартире. Скоро я до такой степени свыкся с обществом теней и духов, что на третий или четвертый день они уже не вызывали у меня ни малейшего волнения, или, по крайней мере,

если у меня и осталось немного страха, то любопытство превозмогало его. Видя это, его высочество правитель предложил мне назвать имена каких мне вздумается лиц* и в каком угодно числе среди всех умерших от начала мира и до настоящего времени и задать им какие угодно вопросы, лишь бы только они касались событий, происходивших при их жизни. И я во всяком случае могу быть уверен, что услышу только правду, так как ложь есть искусство совершенно бесполезное на том свете.

Я почтительно выразил его высочеству свою признательность за такую высокую милость. В это время мы находились в комнате, откуда открывался красивый вид на парк, и так как мое воображение было настроено торжественно, и мне рисовались величественные сцены, то я пожелал увидеть Александра Великого во главе его армии, тотчас после битвы под Арбелой. И вот, по мановению пальца правителя, он немедленно появился передо мной на широком поле под окном, у которого мы стояли. Александр был приглашен в комнату; с большими затруднениями я разбирал его речь на древне-греческом языке, с своей стороны он тоже плохо понимал меня. Он поклялся мне, что не был отравлен, а умер от лихорадки благодаря неумеренному пьянству.

Затем я увидел Ганнибала во время его перехода через Альпы, который объявил мне, что у него в лагере не было ни капли уксуса.*

Я видел Цезаря и Помпея во главе их войск, готовых вступить в сражение. Я видел также



Цезаря в момент его последнего торжества. Затем я попросил вызвать римский сенат в одной большой комнате и для сравнения с ним современный парламент в другой. Первый казался собранием героев и полубогов, второй—сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов.

По моей просьбе, правитель сделал знак Цезарю и Бруту приблизиться к нам. При виде Брута я проникся глубоким благоговением; в каждой черте этого благородного лица не трудно было увидеть самую совершенную добродетель, величайшее бесстрастие и твердость



духа, преданнейшую любовь к родине и благожелательность к людям. С большим удовольствием я убедился, что оба эти человека находятся в отличных отношениях друг с другом, и Цезарь откровенно признался мне, что величайшие подвиги, совершенные им в течение жизни, далеко не могут сравниться со славой того, кто отнял у него эту жизнь. Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, в которой он, между прочим, сообщил мне, что его пре-

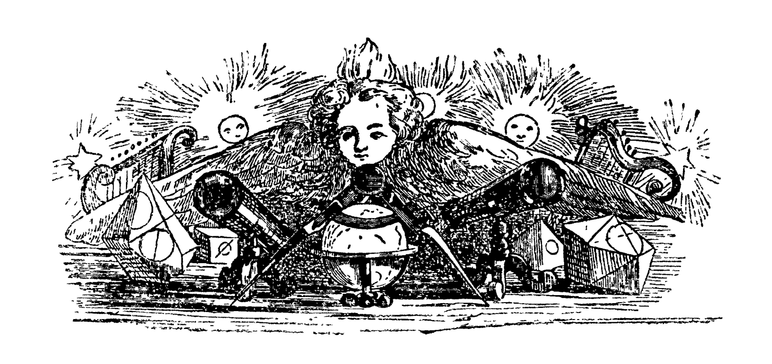


док Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон младший, сер Томас Мур и он сам всегда находятся вместе: секстумвират, к которому вся история человечества не может прибавить седьмого члена.

Я утомил бы читателя перечисленнем всех знаменитых людей, вызванных правителем для удовлетворения моего ненасытного желания

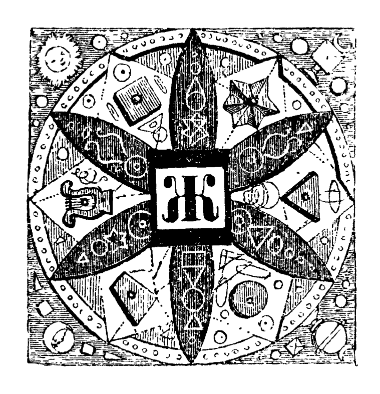
видеть мир во все эпохи его древней истории. Больше всего я наслаждался лицезрением людей, истреблявших тиранов и узурпаторов и восстановлявших свободу и попранные права угнетенных народов. Но я не способен передать волновавшие меня чувства в такой форме, чтобы заинтересовать читателя.





## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Продолжение описания Глаббдобдриба. Поправки к древней и новой истории.*



Желая увидеть тех мужей древности, которые прославили свое имя умом и познаниями, я посвятил этому особый день. Мне пришло на мысль вызвать Гомера и Аристотеля во главе всех их комментаторов; но последних оказалось так много, что несколько сот их принуждены были подождать на дворе и в других комнатах дворца. С первого же взгляда я узнал этих двух героев и не только отличил их от толпы, но и друг от друга. Гомер был красивее и выше Аристотеля, держался очень прямо для своего возраста,



и глаза у него были необыкновенно живые и проницательные. Аристотель был сильно сгорблен и опирался на палку; у него было худощавое лицо, прямые, редкие волосы и глухой голос. Я скоро заметил, что оба великие

мужа совершенно чужды остальной компании, никогда этих людей не видели и ничего о них не слышали. Один из призраков, имени которого я не назову, шепнул мне на ухо, что на том свете все эти комментаторы держатся на весьма почтительном расстоянии от своих принципалов, благодаря чувству стыда и сознанию своей виновности в чудовищном искажении для потомства смысла произведений этих авторов. Я познакомил Дидима и Евстафия* с Гомером и убедил его отнестись к ним лучше, чем может быть они заслуживали, ибо он скоро обнаружил, что оба комментатора слишком бездарны и неспособны проникнуть в дух поэта. Но Аристотель потерял всякое терпение, когда я представил ему Скота и Рамуса* и стал излагать ему их взгляды; он спросил их, неужели и все остальное племя комментаторов состоит из таких же олухов, как они.

Затем я попросил правителя вызвать Декарта и Гассенди, которым предложил изложить Аристотелю их системы. Этот великий философ откровенно признал свои ошибки в естественной философии, потому что во многих случаях его рассуждения были основаны на догадках, как это приходится делать всем людям; и он высказал предположение, что Гассенди, разработавший в современном вкусе учение Эпикура, и Декарт с его теорией вихрей будут одинаково отвергнуты потомством. Он предсказал ту же участь теории тяготения,* которую с таким рвением отстаивают современные ученые. При этом он заметил, что новые системы природы, подобно новой моде, меняются с каждым поколением и что

даже тот кто пытается доказать их математическим методом, успевает в этом не надолго и выходит из моды, когда наступают назначенные судьбой сроки.

В продолжение пяти дней я вел беседы также и со многими другими учеными древнего мира. Я видел большинство римских императоров. Я стал упрашивать правителя вызвать поваров Гелиогабала, чтобы они приготовили для нас обед, но, за недостатком материалов, они не могли показать нам как следует своего искусства. Один илот Агесилая сделал нам спартанскую похлебку, но, отведав ее, я не мог проглотить второй ложки.

Сопровождавшие меня на остров два джентльмена должны были съездить по делам домой на три дня. Это время я употребил на свидания с великими людьми, умершими в течение двух или трех последних столетий, славными в моем отечестве или других европейских странах. Будучи всегда большим поклонником древних знаменитых родов, я попросил правителя вызвать дюжину или две королей с их предками, в количестве восьми или девяти поколений. Но меня постигло мучительное и неожиданное разочарование. Вместо величественного ряда венценосных особ я увидел в одной династии двух скрипачей, трех ловких царедворцев и одного итальянского прелата; в другой — цырюльника, аббата и двух кардиналов. Но я питаю слишком глубокое почтение к коронованным головам, чтобы останавливаться дольше на этом щекотливом предмете. Что же касается графов, маркизов, герцогов и тому подобных лиц, то



с ними я не был так щепетилен, и признаюсь, что не без удовольствия прослеживал до первоисточника своеобразные черточки, которыми отличаются некоторые знатные роды. Я без труда мог открыть, откуда в одном роду происходит длинный подбородок; почему другой род в двух поколениях изобилует мошенниками, а в двух следующих дураками; почему третий состоит из помешанных, а четвертый из негодяев; чем объясняются слова, произнесенные Полидором Виргилием* по поводу одного знатного рода: *Nec vir fortis, nec foemina casta;*

каким образом жестокость, лживость и трусость стали характерными чертами некоторых фамилий, отличающими их так же ясно, как фамильные гербы; кто первый занес в тот или другой благородный род сифилис, перешедший в следующие поколения в форме золотушных опухолей. Все это перестало меня поражать, когда я увидел столько нарушений родословных линий пажами, лакеями, кучерами, игроками, скрипачами, комедиантами, полководцами и карманными воришками.



Особенно сильное отвращение вызвала у меня новая история. И в самом деле, когда я увидел воочию людей, которые в течение прошедшего столетия пользовались громкой славой при дворах королей, то понял, в каком заблуждении держат мир продажные писаки, приписывая величайшие военные подвиги трусам, мудрые советы дуракам, искренность льстецам, римскую доблесть изменникам отечеству, набожность безбожникам, целомудрие содомитам, правдивость доносчикам. Я узнал, сколько невинных превосходных людей было приговорено к смерти или изгнанию благодаря проискам могущественных министров, подкупавших судей, и партийной злобе; сколько подлецов возводилось на высокие должности, облекалось доверием, властью, почетом и осыпалось материальными благами; какое огромное участие принимали в дворцовых движениях, государственных советах и сенатах сводники, проститутки, паразиты и шуты. Какое невысокое составилось у меня мнение о человеческой мудрости и честности, когда я получил правильные сведения о пружинах и мотивах великих мировых событий и революций и о тех ничтожных случайностях, которым они обязаны своим успехом.

Там я открыл недобросовестность и невежество тех, кто притязает писать анекдоты или секретные мемуары; кто отправляет на тот свет столько королей, поднеся им кубок с ядом, кто подробно пересказывает происходившие без свидетелей разговоры государя с первым министром; кто посвящает вас в мысли и намерения посланников и государственных секретарей, но,

к несчастью, постоянно при этом ошибается. Там я узнал истинные причины многих вели-



ких событий, поразивших мир; увидел, как непотребная женщина может управлять потайной лестницей, потайная лестница советом министров, а совет министров сенатом. Один генерал сознался в моем присутствии, что он одержал победу просто благодаря своей трусости и дурному командованию, а один адмирал открыл, что он победил неприятеля вследствии плохой осведомленности, между тем как он собирался сдать свой флот.* Три короля торжественно объ-

явили мне, что за все их царствование они ни разу не назначили на государственные должности ни одного достойного человека, разве что по ошибке или вследствие предательства какого нибудь министра, которому они доверились, но они ручались, что подобная ошибка не повторилась бы, если бы им пришлось царствовать снова; и с большой убедительностью они доказали мне, что без развращенности нравов невозможно удержать королевский трон, потому что положительный, смелый, настойчивый характер, который создается у человека добродетелью, является большим неудобством для государственной деятельности.

Я любопытствовал получить точные сведения, каким способом добываются знатные титулы и огромные богатства. Я ограничил свои исследования самой недавней эпохой, не касаясь, впрочем, настоящего времени, из страха причинить обиду хотя бы иноземцам (ибо, я надеюсь, читателю нет надобности говорить, что все сказанное мной по этому поводу не имеет ни малейшего касательства к моей родине). По моей просьбе было вызвано множество титулованных лиц и богачей и, после самых поверхностных расспросов, передо мной раскрылась такая картина бесчестья, что я не могу спокойно вспоминать об этом. Вероломство, угнетение, подкуп, обман, сводничество и тому подобные мерзости были еще самыми простительными средствами из упомянутых ими, и потому, как требовало того благоразумие, я отнесся к ним весьма снисходительно. Но, когда одни из них сознались, что своим величием и богат-

ством они обязаны содомии и кровосмешению, другие — торговле своими женами и дочерьми, третьи — измене своему отечеству или государю, четвертые — отраве, а большая часть — нарушению правосудия с целью погубить невинного, то эти открытия, — я надеюсь мне простят это, — побудили меня несколько умерить чувство глубокого почтения, которым я от природы проникнут к высокопоставленным особам, как и подобает маленькому человеку по отношению к лицам, наделенным высокими достинствами.

Часто мне приходилось читать о великих услугах, оказанных монархам и отечеству, и я исполнился желанием увидеть лиц, которыми эти услуги были оказаны. Однако мне ответили, что имена их невозможно найти в архивах, за исключением немногих, которых история изобразила отъявленнейшими мошенниками и предателями; о большинстве их мне никогда не приходилось слышать ни слова. Все они появились передо мной с удрученным видом и в очень худом платье, заявляя мне в большинстве случаев, что умерли в нищете и немилости, иногда даже на эшафоте или на виселице.

Среди них находился человек, судьба которого показалась мне исключительной. Подле него стоял восемнадцатилетний юноша. Человек этот сказал мне, что много лет он командовал кораблем, и в морском сражении при Акциуме счастливая судьба помогла ему пробиться сквозь ряды неприятельского флота и потопить три первоклассных неприятельских корабля, а четвертый захватить в плен, что было единствен-

ной причиной бегства Антония и последовавшей затем победы; юноша же, стоявший подле него, был его единственный сын, убитый в этом сражении. Он прибавил, что в сознании своих заслуг он явился по окончании войны в Рим ко двору Августа с просьбой назначить его командиром большого корабля, капитан которого был убит; но ходатайство его было оставлено без внимания, и командование кораблем было поручено юноше, никогда не видевшему моря, сыну либертины,* служанки одной из любовниц императора. По возвращении на свой корабль, достойный человек был обвинен в нерадивом исполнении служебных обязанностей, и его судно передано одному пажу, фавориту вице-адмирала Публиколы; после этого он удалился на бедную ферму, вдали от Рима, где и окончил свою жизнь. Мне так хотелось узнать, насколько справедлива эта история, что я попросил вызвать Агриппу, который командовал римским флотом в сражении при Акциуме. Явившийся Агриппа подтвердил справедливость рассказа и добавил к нему много подробностей в пользу капитана, из скромности преуменьшившего или утаившего большую часть своих заслуг в этом деле.

Я был поражен зрелищем быстрого роста развращенности этой империи, обусловленного поздно проникшей в нее роскошью. Вследствие этого на меня не произвели уже такового впечатления аналогичные явления в других странах, где всевозможные пороки царили гораздо дольше и где слава и добыча издавна монополизирована главнокомандующими, которые, быть



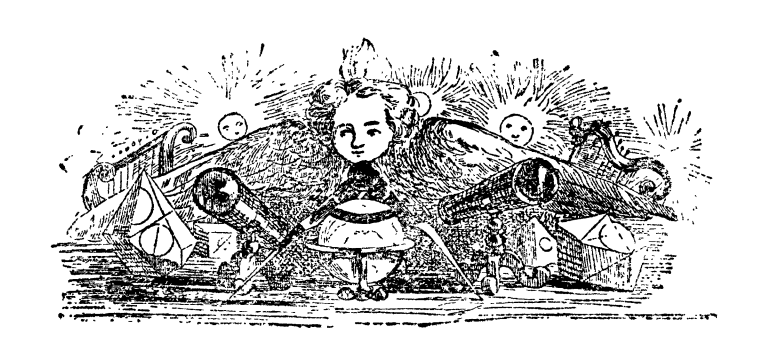
может, меньше всего имеют право на то и на другое.

Так как все вызываемые с того света лица сохраняли в мельчайших подробностях внешность, которую они имели при жизни, то я наполнился мрачными мыслями при виде вырождения человечества за последнее столетие: насколько венерические болезни со всеми их последствиями и разновидностями изменили

все черты лица англичанина, уменьшили рост, расслабили нервы, размягчили сухожилия и мускулы, прогнали румянец, сделали все тело дряблым и бессильным.

Я опустился до того, что попросил вызвать английских поселян старого закала, некогда столь славных простотою нравов, пищи и одежды, честностью в торговле, подлинным свободолюбием, храбростью и любовью к отечеству. Сравнив живых с покойниками, я был сильно удручен при виде того, как все эти чистые отечественные добродетели опозорены внуками, которые, продавая свои голоса во время выборов в парламент, приобрели все пороки и развращенность, каким только можно научиться при дворе.





## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

*Автор возвращается в Мальдонадо и оттуда едет в королевство Лаггнегг. Его арестовывают и отправляют во дворец. Прием, оказанный автору во дворце. Милостивое отношение короля к своим подданным.*



Когда наступил день нашего отъезда, я простился с его высочеством правителем Глаббдобдриба и возвратился с двумя моими спутниками в Мальдонадо, куда после двухнедельного ожидания прибыл корабль, отправляющийся в Лаггнегг. Два моих друга и еще несколько лиц были настолько любезны, что снабдили меня провизией и проводили на корабль. Я провел в дороге месяц. Мы перенесли сильную

бурю и вынуждены были взять курс на запад, чтобы достигнуть области пассатных ветров, дующих здесь на пространстве около шестидесяти лиг. 21 апреля 1708 года* мы вошли в реку Клюмегниг, устье которой служит морским портом, лежащим на юго-восточной оконечности Лаггнегга. Мы бросили якорь на расстоянии одной лиги от города и потребовали сигналом лоцмана. Менее чем через полчаса к нам на борт взошли два лоцмана и провели нас между рифами и скалами, по очень опасному проходу, в большую бухту, где корабли могли стоять в совершенной безопасности на расстоянии одного кабельтова от городской стены.

Некоторые из наших матросов, со злым ли умыслом или по оплошности, рассказали лоцманам, что у них на корабле есть иностранец, знаменитый путешественник. Последние сообщили об этом таможенному чиновнику, который подверг меня строгому допросу, когда я вышел на берег. Он говорил со мной на языке Бальнибарби, который благодаря оживленной торговле хорошо известен в этом городе, особенно между моряками и служащими в таможне. Я вкратце рассказал ему некоторые из моих приключений, стараясь придать рассказу возможно больше правдоподобия и связности. Однако я счел необходимым скрыть свою национальность и назвался голландцем, так как у меня было намерение отправиться в Японию, куда, как известно, из всех европейцев открыт доступ только голландцам.* Поэтому я сказал таможенному чиновнику, что, потерпев кораблекрушение у берегов Бальнибарби, и будучи

выброшен на скалу, я был поднят на Лапуту или Летучий Остров (о котором таможеннику часто приходилось слышать), а теперь пытаюсь добраться до Японии, откуда мне может представиться случай возвратиться на родину. Чиновник ответил мне, что он должен арестовать меня до распоряжений от двора, куда он напишет немедленно, и надеется получить ответ в течение двух недель. Мне отвели удобное



помещение, у входа в которое был поставлен часовой. Однако я мог свободно гулять по большому саду; обращались со мною довольно

хорошо, и содержался я все время на счет короля. Множество лиц просило разрешения посетить меня, главным образом из любопытства, ибо разнесся слух, что я прибыл из весьма отдаленных стран, о существовании которых здесь никто не слышал.

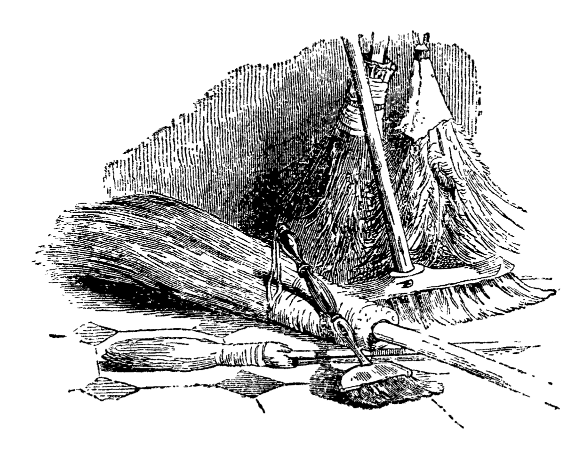
Я пригласил переводчиком одного молодого человека, прибывшего вместе со мною на корабле; он был уроженец Лаггнегга, но несколько лет прожил в Мальдонадо и в совершенстве владел обоими языками. При его помощи я мог разговаривать с посетителями, но разговор этот состоял лишь из их вопросов и моих ответов.

Письмо из дворца было получено к ожидаемому нами сроку. В нем содержался приказ привезти меня со свитой, под конвоем десяти человек, в Тральдрегдаб или Трильдрогдриб (насколько я помню, это слово произносится двояко). Вся моя свита состояла из упомянутого бедного юноши, переводчика, которого я уговорил поступить ко мне на службу; по моей почтительной просьбе каждому из нас дали по мулу. За полдня до нашего отъезда был послан гонец уведомить короля о моем скором прибытии и попросить у его величества назначить день и час, когда он милостиво соизволит удостоить меня чести *лизать пыль у подножия его трона.* Таков стиль здешнего двора, и я убедился на опыте, что это не простая формула. В самом деле, когда через два дня по моем прибытии я получил аудиенцию, то мне приказали ползти на брюхе и лизать пол по дороге к трону; впрочем, из уважения ко мне, как к иностранцу,



пол был так чисто вымыт, что пыли на нем осталось немного. Это была исключительная милость, оказываемая лишь самым высоким сановникам, когда они испрашивали аудиенцию. Больше того: пол иногда нарочно посыпают пылью, если лицо, удостоившееся высочайшей аудиенции, имеет много могущественных врагов при дворе. Мне самому случилось раз видеть одного важного сановника, у которого рот до такой степени был набит пылью, что, подползя к трону на надлежащее расстояние, он не

способен был вымолвить слова. И ничем не избавиться от этой пытки, так как плевать и вытирать рот во время аудиенции в присутствии его величества считается большим преступлением. При этом дворе существует еще один обычай, к которому я отношусь с крайним неодобрением. Когда король желает мягким и милостивым образом казнить кого нибудь из сановников, он повелевает посыпать пол особым ядовитым коричневым порошком, полизав который приговоренный умирает в течение двадцати четырех часов. Впрочем, следует отдать должное великому милосердию этого монарха и его попечению о жизни подданных (в этом отношении европейским монархам не мешало бы подражать ему) и к чести его сказать, что после каждой такой казни отдается строгий приказ



начисто вымыть пол в аудиенц-зале, и в случае небрежного исполнения этого приказа слугам

угрожает опасность навлечь на себя немилость монарха. Я сам слышал, как его величество давал распоряжение отстегать плетьми одного пажа за то, что тот, несмотря на свою очередь, злонамеренно пренебрег своей обязанностью и не позаботился об очистке пола после казни; благодаря этой небрежности был отравлен явившийся на аудиенцию молодой, подававший большие надежды вельможа, хотя король в то время вовсе не имел намерения лишить его жизни. Однако добрый монарх был настолько милостив, что освободил пажа от порки, после того как тот пообещал, что больше не будет так поступать без специального распоряжения короля.

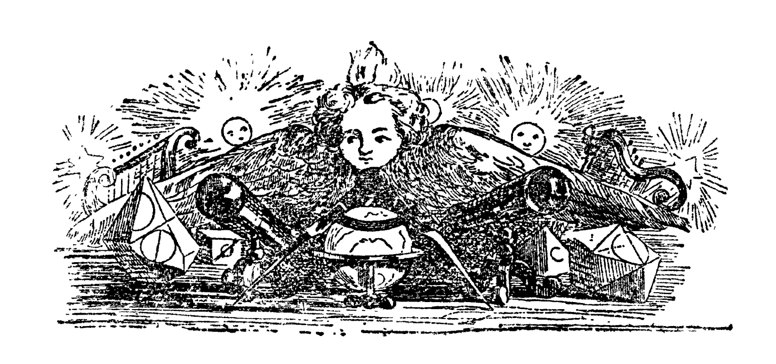
Возвратимся, однако, к нашему повествованию: когда я дополз ярда на четыре до трона, я осторожно встал на колени и, стукнув семь раз лбом о пол, произнес следующие слова, заученные мною накануне: *Икплинг глоффзсроб скутсеромм блиоп мляшнальт звин тнодбокеф слиофед гердлеб ашт.* Это приветствие установлено законами страны для всех лиц, допущенных к королевской аудиенции. Перевести его можно так: *Да переживет ваше небесное величество солнце на одиннадцать с половиною лун!* Выслушав приветствие, король задал мне вопрос, который я хотя и не понял, но ответил ему, как меня научили: *Флюфт дрин ялерик дуольдам прастред мирпуш,* что означает: *Язык мой во рту моего друга.* Этими словами я давал понять, что прошу обратиться к услугам моего переводчика. Тогда был введен уже упомянутый мной молодой человек, с помощью которого я отвечал на все вопросы, которые его величеству было угодно задавать

мне в течение более часа. Я говорил на бальнибарбийском языке, а переводчик передавал все сказанное мною по-лаггнеггски.

Я очень понравился королю, и он приказал своему *блиффмарклубу*, то есть обер-гофмейстеру, отвести во дворце помещение для меня и моего переводчика, назначив мне довольствие и предоставив кошелек с золотом на прочие расходы.

Я прожил в этой стране три месяца, повинуясь желанию его величества, который осыпал меня высокими милостями и делал мне очень лестные предложения. Но я счел более благоразумным и справедливым провести остаток своих дней с женою и детьми.





## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

*Похвальное слово лагнежцам. Подробное описание струльдбругов, со включением многочисленных бесед автора по этому поводу со многими выдающимися людьми.*



Лаггнежцы обходительный и великодушный народ. Хотя они не лишены некоторой гордости, свойственной всем восточным народам, тем не менее они очень любезны с иностранцами, особенно с теми, кто пользуется расположением двора. Я сделал много знакомств среди людей самого высшего общества и при посредстве переводчика вел с ними приятные и поучительные беседы.

Однажды, когда я находился в избранном обществе, мне был задан вопрос: видел ли я кого нибудь из *струльдбругов* или *бессмертных?* Я отвечал отрицательно и попросил объяснить мне, что может означать это слово в приложении к смертным существам. Мой собеседник ответил мне, что изредка у кого нибудь из лаггнежцев рождается ребенок с круглым



красным пятнышком на лбу, как раз над левой бровью; это служит несомненным признаком, что такой ребенок никогда не умрет. Пятнышко имеет сначала величину серебряной монеты

в три пенса, но с течением времени разрастается и меняет свой цвет; в двенадцать лет оно делается зеленым и остается таким до двадцати пяти, затем цвет его переходит в темно-синий. В сорок пять лет пятно становится черным как уголь и увеличивается до размеров английского шиллинга, после чего не подвергается дальнейшим изменениям. Дети с пятнышком рождаются, впрочем, так редко, что, по мнению моего собеседника, во всем королевстве не наберется больше тысячи ста *струльдбругов* обоего пола; до пятидесяти человек живет в столице и среди них есть девочка, родившаяся около трех лет тому назад. Рождение таких детей не составляет принадлежности определенных семей, но является чистой случайностью, так что даже дети *струльдбругов* смертны, как и все люди.

Признаюсь откровенно, этот рассказ привел меня в неописанный восторг; и так как мой собеседник понимал язык Бальнибарби, на котором я очень хорошо говорил, то я не мог сдержать своих чувств, выразив их, быть может, чересчур пылко. В восхищении я воскликнул: Счастливая нация, где каждый рождающийся ребенок имеет надежду стать бессмертным! Счастливый народ, имеющий столько живых примеров добродетелей предков и стольких наставников, способных научить мудрости, добытой опытом всех прежних поколений! Но стократ счастливы несравненные *струльдбруги*, самой природой изъятые от подчинения общему бедствию человеческого рода, а потому обладающие умами независимыми и свободными от



подавленности и угнетенного настроения, причиняемого постоянным страхом смерти! Я выразил удивление, что не встретил при дворе ни одного из этих славных бессмертных; черное пятно на лбу — настолько бросающаяся в глаза примета, что я не мог бы не обратить на нее внимания; между тем невозможно допустить, чтобы его величество, рассудительнейший монарх, не окружил себя столь мудрыми и опытными советниками. Разве что добродетель этих почтенных мудрецов слишком сурова для испорченных и распущенных придворных нравов; ведь мы часто познаем на опыте, с каким упрямством и легкомыслием молодежь не хочет слушаться трезвых советов старших. Как бы то ни было, если его величеству было угодно разрешить мне свободный доступ к его особе, я воспользуюсь первым удобным случаем и при

помощи переводчика подробно и свободно выскажу ему мое мнение по этому поводу. Однако угодно ли ему будет последовать моему совету или нет, сам я во всяком случае с глубочайшею благодарностью приму неоднократно высказанное его величеством милостивое предложение поселиться в его государстве и проведу всю свою жизнь в беседах со *струльдбругами*, этими высшими существами, если только им угодно будет допустить меня в свое общество.

Человек, к которому я обратился с этой речью, потому что (как я уже заметил) он говорил на бальнибарбийском языке, взглянув на меня с улыбкой сожаления по поводу моего невежества, сказал, что он рад всякому предлогу удержать меня в стране и просит моего позволения перевести всем присутствующим то, что мной было только что сказано. Закончив свой перевод, он в течение некоторого времени разговаривал с ними на местном языке, которого я совершенно не понимал; точно так же я не мог догадаться по выражению их лиц, какое впечатление произвела на них моя речь. После непродолжительного молчания мой собеседник сказал мне, что его и мои друзья (так он счел удобным выразиться) восхищены моими тонкими замечаниями по поводу великого счастья и преимущества бессмертной жизни и что они очень желали бы знать, какой образ жизни я избрал бы себе, если бы волей судьбы я родился *струльдбругом*.

Я отвечал, что не трудно быть красноречивым на столь богатую и увлекательную тему, особенно мне, так часто тешившему себя меч-



гами о том, как бы я устроил свою жизнь, если бы был королем, генералом или видным сановником; что же касается бессмертия, то я нередко размышлял о подробностях моего образа жизни и времяпрепровождения, если бы мне было суждено жить вечно.

Итак, если бы мне суждено было родиться на свет *струльдбругом,* то, едва только научившись различать между жизнью и смертью и познав таким образом, в чем заключается мое счастье, я прежде всего приложил бы все усилия свои к тому, чтобы сделаться богатым. Преследуя эту цель при помощи бережливости и умеренности, я с полным основанием мог бы рассчитывать лет через двести стать первым

богачом в королевстве. Далее, с самой ранней юности я предался бы изучению наук и искусств и таким образом со временем затмил бы всех своей ученостью. Наконец, я вел бы тщательную летопись всех выдающихся общественных событий и беспристрастно зарисовывал бы характеры сменяющих друг друга монархов и выдающихся государственных деятелей, сопровождая эти записи своими размышлениями и наблюдениями. Я бы тщательно заносил в эту летопись все изменения в обычаях, языке, одежде, пище и развлечениях. Благодаря своим знаниям и наблюдениям я стал бы живым кладезем премудрости и настоящим оракулом своего народа.

После шестидесяти лет я перестал бы мечтать о женитьбе, но был бы гостеприимен, оставаясь попрежнему бережливым. Я занялся бы формированием умов подающих надежды юношей, убеждая их на основании моих воспоминаний, опыта и наблюдений, подкрепленных бесчисленными примерами, сколь полезна добродетель в общественной и личной жизни. Но самыми лучшими и постоянными моими друзьями и собеседниками были бы мои собратья по бессмертию, между которыми я бы избрал человек двенадцать, начиная от самых глубоких стариков и кончая своими сверстниками. Если бы между ними оказались нуждающиеся, я предложил бы им удобное помещение в моем доме и всегда приглашал бы их к своему столу, присоединяя к ним небольшое число наиболее выдающихся смертных; с течением времени я привык бы относиться равнодушно к смерти дру-

зей, и не без удовольствия смотрел бы на их потомков, в роде того как мы любуемся ежегодной сменой гвоздик и тюльпанов в нашем саду, нисколько не сокрушаясь о тех, что цвели и увяли прошлое лето.

Мы, *струльдбруги,* будем обмениваться друг с другом собранными нами в течение веков наблюдениями и воспоминаниями, отмечать все большее и большее проникновение разврата в мир и бороться с ним на каждом шагу нашими предостережениями и наставлениями, каковые, в соединении с могущественным влиянием нашего личного примера, может быть предотвратят непрестанное вырождение человечества, вызывавшее испокон веков столь справедливые сокрушения.

Ко всему этому прибавьте удовольствие быть свидетелем различных революций и уничтожения государств и империй, удовольствие видеть перемены во всех слоях общества от высших до низших; древние города в развалинах; безвестные деревушки, ставшие резиденцией королей; знаменитые реки, высохшие в ручейки; океан, обнажающий один берег и наводняющий другой; открытие многих неизвестных еще стран; погружение в варварство культурнейших народов и приобщение к культуре народов самых варварских. Мне будет вероятно суждено также быть свидетелем многих великих открытий, например, непрерывного движения и универсальной медицины.

Каких только чудесных открытий мы не сделали бы тогда в астрономии, обладая возможностью самолично проверять правильность



наших собственных предсказаний, наблюдать появление и возвращение комет и все перемены в движениях солнца, луны и звезд!

Я распространился также на множество других тем, которые в изобилии были доставлены мне естественным желанием бесконечной жизни и подлунного счастия. Когда я кончил, и содержание моей речи было переведено тем из присутствующих, которые не понимали ее, лагнежцы

начали оживленно разговаривать между собой на местном языке, по временам с насмешкой поглядывая на меня. Наконец, господин, служивший мне переводчиком, сказал, что все просят его вывести меня из заблуждения, в которое я впал вследствие слабоумия, свойственного человеческой природе вообще, что до некоторой степени извиняет меня. Тем более, что порода *струльдбругов* составляет исключительную особенность их страны; ибо подобных людей нельзя встретить ни в Бальнибарби, ни в Японии, где он имел честь быть посланником его величества и где к его рассказу о существовании этого замечательного явления отнеслись с большим недоверием; да и мое удивление, когда он в первый раз упомянул мне о бессмертных, ясно свидетельствует, насколько новым был для меня этот факт и с каким трудом я верил своим ушам. Во время своего пребывания в обоих названных королевствах он вел долгие беседы с местными жителями и сделал наблюдение, что долголетие является общим желанием, заветнейшей мечтой всех людей и что всякий, стоящий одной ногой в могиле, старается как можно прочнее утвердить свою другую ногу на земле. Самые дряхлые старики дорожат каждым лишним днем жизни и смотрят на смерть, как на величайшее зло, от которого природа всегда побуждает бежать подальше. Только здесь, на острове Лаггнегге, нет этой бешеной жажды жизни, ибо у всех перед глазами живой пример долголетия—*струльдбруги.*

Придуманный мной образ жизни—безрассуден и нелеп, потому что предполагает вечную моло-



дость, здоровье и силу, на что не вправе надеяться ни один человек, как бы необузданы ни были его желания. Вопрос, стало быть, не в том, предпочтет ли человек сохранить навсегда свежесть молодости и ее спутников—силу и здоровье, а в том, как он проведет бесконечную жизнь, подверженную всем невзгодам, которые приносит с собой старость. Ибо, хотя не много людей изъявят желание остаться бессмертными на таких тяжелых условиях, все же

собеседник мой заметил, что в обоих упомянутых королевствах, то есть в Бальнибарби и в Японии, каждый старается по возможности отдалить от себя смерть, — в каком бы преклонном возрасте она ни приходила; и ему редко приходилось слышать о людях, добровольно лишавших себя жизни, разве что их побуждали к этому нестерпимые физические страдания или большое горе. И он спросил меня, не наблюдается ли то же самое явление и в моем отечестве, а также в тех странах, которые привелось посетить мне во время моих путешествий.

После этого предисловия он сделал мне подробное описание живущих среди них *струльдбругов*. Он сказал, что почти до тридцатилетнего возраста они ничем не отличаются от остальных людей; затем становятся мало по малу мрачными и угрюмыми, и меланхолия их растет до восьмидесяти лет. Это он узнал из их признаний; так как их рождается не больше двух или трех в столетие, то они слишком малочисленны для того, чтобы можно было прийти к прочному выводу на основании объективных наблюдений. По достижении восьмидесятилетнего возраста, который здесь считается пределом человеческой жизни, они не только подвергаются всем недугам и слабостям, свойственным прочим старикам, но бывают еще подавлены страшной перспективой влачить такое существование вечно. *Струльдбруги* не только упрямы, сварливы, жадны, угрюмы, тщеславны и болтливы, но они неспособны также к дружбе и лишены естественных добрых чувств, которые у них не простираются дальше, чем на внуков.

Зависть и немощные желания непрестанно снедают их, причем главными объектами зависти являются у них, повидимому, пороки молодости и смерть стариков. Размышляя над первыми, они с горечью сознают, что для них совершенно отрезана всякая возможность наслаждения; а при виде похорон ропщут и жалуются, что для них нет надежды достигнуть тихой пристани, в которой находят покой другие. В их памяти хранится лишь усвоенное и воспринятое в юности или в зрелом возрасте, да и то в очень несовершенном виде, так что при проверке подлинности какого нибудь события или осведомлении о его подробностях надежнее полагаться на устные предания, чем на самые ясные их воспоминания. Наименее несчастными среди них являются впавшие в детство и совершенно потерявшие память; они внушают к себе больше жалости и участия, потому что лишены множества дурных качеств, которые изобилуют у остальных бессмертных.

Если случится, что *струльдбруг* женится на женщине, подобно ему обреченной на бессмертие, то этот брак, благодаря снисходительности законов королевства, расторгается, лишь только младший из супругов достигает восьмидесятилетнего возраста. Ибо закон считает неразумной жестокостью отягчать бедственную участь безвинно осужденных на вечную жизнь бременем вечной жены.

Как только *струльдбругам* исполняется восемьдесят лет, для них наступает гражданская смерть; наследники немедленно получают их имущество; лишь небольшой паек оставляется для их про-

питания, бедные же содержатся на общественный счет. По достижении этого возраста они считаются неспособными к занятиям должностей, соединенных с доверием или доходами, они не могут ни покупать, ни брать в аренду землю, им не разрешается выступать свидетелями ни по уголовным, ни по гражданским делам, ни даже по тяжбам из-за границ земельных владений.

В девяносто лет у *струльдбругов* выпадают зубы и волосы; в этом возрасте они перестают различать вкус пищи, но едят и пьют все, что попадается под руку, без всякого удовольствия и аппетита. Болезни, которым они подвержены, продолжаются без усиления и ослабления. В разговоре они забывают названия самых обыденных вещей и имена лиц даже их ближайших друзей и родственников. Вследствие этого они не способны развлекаться чтением, так как их память не удерживает начала фразы, когда они доходят до ее конца; таким образом они лишены единственного доступного для них развлечения.

Так как язык этой страны постоянно изменяется, то *струльдбруги*, родившиеся в одном столетии, с трудом понимают язык людей, родившихся в другом, а после двухсот лет вообще неспособны вести разговор (кроме небольшого количества фраз, состоящих из общих слов) с окружающими их смертными, и таким образом они подвержены печальной участи чувствовать себя иностранцами в своем отечестве.

Вот какое описание *струльдбругов* было сделано мне, и я думаю, что передаю его совершенно точно. Позднее я собственными глазами



увидел пять или шесть *струльдбругов* различного возраста, и самым молодым из них было не больше двухсот лет; мои друзья, приводившие их ко мне несколько раз, хотя и говорили им, что я великий путешественник и видел весь свет, однако *струльдбруги* не полюбопытствовали задать мне ни одного вопроса; они просили

меня только дать им *сломскудаск,* то есть подарок на память. Это благовидный способ выпрашивания милостыни в обход закона, строго запрещающего *струльдбругам* нищенство, так как они содержатся на общественный счет, хотя, надо сказать правду, очень скудно.

*Струльдбругов* все ненавидят и презирают. Рождение каждого из них служит дурным предзнаменованием и записывается с большой аккуратностью; так что возраст каждого можно узнать, справившись в государственных архивах, которые, впрочем, не восходят дальше тысячи лет или по крайней мере были уничтожены временем или общественными волнениями. Но обыкновенный способ узнать лета *струльдбруга* это спросить его, каких королей и каких знаменитостей он может припомнить, и затем справиться с историей, ибо последний монарх, удержавшийся в его памяти, мог начать свое царствование только в то время, когда этому *струльдбругу* еще не исполнилось восьмидесяти лет.

Мне никогда не приходилось видеть такого омерзительного зрелища, какое представляли эти люди, причем женщины были еще противнее мужчин. Помимо обыкновенной уродливости, свойственной глубокой дряхлости, они с годами все явственнее становятся похожими на привидения, ужас которых не поддается никакому описанию. Среди пяти или шести женщин я скоро различил тех, что были старше, хотя различие в годах между ними измерялось всего какой-нибудь сотней или двумя годов.

Читатель легко поверит, что, после всего мной услышанного и увиденного, мое горячее



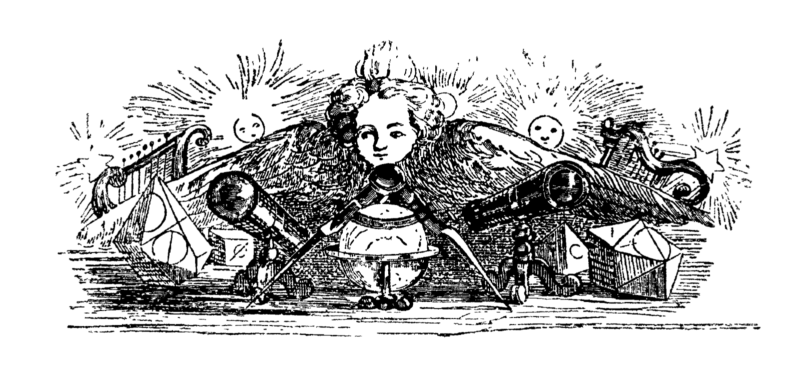
желание быть бессмертным значительно поостыло. Я искренно устыдился заманчивых картин, которые рисовало мое воображение, и подумал, что ни один тиран не мог бы изобрести казни, которой я с радостью не принял бы, лишь бы только избавиться от такой жизни.

Король весело посмеялся, узнав о разговоре, происшедшем у меня с друзьями, и предложил

мне взять с собой на родину парочку *струльдбругов,* чтобы излечить моих соотечественников от страха смерти. Я бы охотно принял на себя заботу и расходы по их перевозке, если бы основные законы королевства не запрещали *струльдбругам* оставлять свое отечество.

Нельзя не согласиться, что здешние законы относительно *струльдбругов* отличаются большой разумностью и что всякая другая страна должна была бы в подобных обстоятельствах ввести такие же законы. Иначе, благодаря алчности, являющейся необходимым следствием старости, эти бессмертные завладели бы со временем собственностью всей нации и присвоили бы себе всю гражданскую власть, что, вследствие их полной неспособности к управлению, привело бы к гибели государства.





## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

*Автор оставляет Лагнег и отправляется в Японию. Отсюда он возвращается на голландском корабле в Амстердам, а из Амстердама в Англию*



Я полагаю, что рассказ о *струльдбругах* доставил некоторое развлечение читателю, так как он отличается некоторой необычностью; по крайней мере, я не помню, чтобы встречал что нибудь подобное в других книгах путешествий, попадавшихся мне под руки. Если же я ошибаюсь, пусть извинением моим послужит то, что путешественники, описывая одну и ту же страну, могут невольно остановиться на одних и тех же подробностях, не заслуживая

вследствие этого упрека в заимствовании или списывании у тех, кто раньше их побывал в посещенных ими местах.

Между королевством Лаггнегг и Великой Японской Империей существуют постоянные торговые сношения, и весьма вероятно, что японские писатели упоминают о *струльдбругах;* но мое пребывание в Японии было настолько кратковременно и мне настолько непонятен японский язык, что я не имел возможности узнать что нибудь по этому поводу. Однако я надеюсь, что голландцы на основании моего рассказа заинтересуются бессмертными и исправят мои неточности.

Его величество очень уговаривал меня занять при его дворе какую нибудь должность, но, видя мое твердое решение возвратиться на родину, согласился отпустить меня и соизволил даже собственноручно написать рекомендательное письмо к японскому императору. Он подарил мне также четыреста сорок четыре крупных золотых монеты (здесь любят четные числа) вместе с красным алмазом, который я продал в Англии за тысячу сто фунтов.

6 мая 1709 года я торжественно расстался с его величеством и со всеми моими друзьями. Король был настолько любезен, что повелел отряду своей гвардии сопровождать меня до Глангвенстальда, королевского порта, лежащего на юго-западной стороне острова. Через шесть дней я был на корабле, отплывавшем в Японию. После пятнадцатидневного пути корабль вошел в небольшой порт Ксамоши, расположенный в юго-восточной части Японии. Город построен

на длинной косе, от которой идет узкий пролив, ведущий к северу в длинный морской рукав, на северо-западной стороне которого находится Иедо, столица империи. Высадившись на берег, я показал таможенным чиновникам письмо его императорскому величеству от короля Лаггнегга. В таможне прекрасно знали королевскую печать,




величиной с мою ладонь. На ней изображен был король, помогающий хромому нищему подняться с земли. Городской магистрат, услыхав

об этом письме, принял меня как посла дружественной державы. Он снабдил меня экипажами и слугами и взял на себя расходы по моей поездке в Иедо. По прибытии туда я получил аудиенцию и вручил письмо. Оно было вскрыто с большими церемониями и прочитано императору через переводчика, который по приказанию его величества предложил мне выразить какую нибудь просьбу, и она немедленно будет исполнена императором в уважение к его царственному брату, королю Лаггнегга. На обязанности этого переводчика лежало ведение дел с голландцами; поэтому он скоро догадался по моей внешности, что я европеец, и повторил слова его величества на голландском языке, которым он владел в совершенстве. Согласно ранее принятому решению, я отвечал, что я голландский купец, потерпевший кораблекрушение в одной далекой стране, откуда морем и сушей добрался в Лаггнегг, а из Лаггнегга прибыл на корабле в Японию, с которой, как мне было известно, мои соотечественники ведут торговлю; я надеюсь, что мне представится случай вернуться с кем нибудь из них на родину, и в ожидании такого случая я почтительно прошу его величество разрешить мне под охраной отправиться в Нагасаки. Я попросил также, чтобы его величество, из уважения к моему покровителю королю Лаггнегга, милостиво освободил меня от совершения возлагаемого на моих соотечественников обряда попрания ногами распятия,* ибо заброшен в его страну несчастиями и не имею намерения вести торговлю. Когда переводчик передал императору эту просьбу, его

величество несколько удивился и сказал, что я первый из моих соотечественников обнаруживаю щепетильность в этом вопросе, так что у него закрадывается сомнение, действительно ли я голландец; из моих слов видно только, что я настоящий христианин; тем не менее, во внимание к моим доводам и главным образом из желания оказать любезность королю Лаггнегга необычным знаком своего благоволения, он соглашается на мою странную прихоть, но предупреждает, что придется действовать осторожно, и он отдаст своим чиновникам приказание пропустить меня как бы по забывчивости; ибо, если узнают об этом мои соотечественники-голландцы, то они, по уверению императора, перережут мне по дороге горло. Я выразил королю при помощи переводчика благодарность за столь исключительную милость. Так как в это время в Нагасаки собирался выступить отряд солдат, то офицер, начальствовавший над этим отрядом, получил приказ охранять меня по пути и специальные инструкции насчет распятия.

После весьма долгого и утомительного путешествия я прибыл в Нагасаки 9 июня 1709 года. Здесь скоро я познакомился с компанией голландских моряков, служивших на амстердамском корабле *Амбоина,* вместимостью в 450 тонн. Я долго жил в Голландии, учился в Лейдене и хорошо знал голландский язык. Матросы скоро узнали, откуда я прибыл, и стали с любопытством расспрашивать о моих путешествиях и о моей жизни. Я сочинил коротенькую, но правдоподобную историю, утаив большую часть собы-

тий. У меня было много знакомых в Голландии, и потому мне было не трудно придумать фамилию моих родителей, которые, по моим словам, были скромные поселяне из провинции Гельдерланд. Я предложил капитану корабля (некоему Теодору Вангрульту) взять с меня сколько ему будет угодно за доставку в Голландию; но, узнав, что я хирург, он удовольствовался половиной нормальной платы, с условием, чтобы я исполнял у него на корабле обязанности врача. Перед тем как отправиться в путь, матросы не раз спрашивали меня, исполнил ли я упомянутую выше церемонию, но я отделывался неопределенным ответом, что мной были исполнены все требования императора и двора. Однако шкипер, злобный парень, указал на меня офицеру, говоря, что я еще не топтал распятие. Но офицер, получивший секретный приказ не требовать от меня исполнения формальностей, дал негодяю в ответ двадцать бамбуковых ударов по плечам, после чего ко мне никто больше не приставал с подобными вопросами.

Во время этого путешествия не произошло ничего заслуживающего упоминания. До мыса Доброй Надежды у нас был попутный ветер. Мы сделали там небольшую остановку, чтобы набрать пресной воды. 10 апреля 1710 года мы благополучно прибыли в Амстердам, потеряв в дороге только четырех человек: трое умерли от болезней, а четвертый упал с бизань-мачты в море у берегов Гвинеи. Из Амстердама я скоро отправился на небольшом городском судне в Англию.

16 апреля мы бросили якорь в Даунсе. Я высадился на другой день утром и снова увидел свою родину после пяти с половиной лет отсутствия из нее.* Я отправился прямо в Редрифф, куда прибыл в два часа по полудни того же дня и застал жену и детей в добром здоровье.



## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

# ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГУИГНГНМОВ

Plate VI Part IIII.

Nuyts Land

I St Pierre

Edels Land

Lewins Land

I St Francois

Sweers I

I Maatsuyker

De Wits L

Houyhnhnms Land

Discovered A.D.



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Автор отправляется в путешествие капитаном корабля. Его экипаж составляет против него заговор; его содержат долгое время под стражей в каюте и высаживают на берег в неизвестной стране. Он направляется вглубь этой страны. Описание особенной породы животных йэху. Автор встречает двух гуигнгнмов.*



Я провел дома с женой и детьми около пяти месяцев и мог бы назвать себя очень счастливым, если бы научился наконец познавать, что такое счастье. Я оставил мою бедную жену беременной и принял выгодное предложение занять должность капитана на корабле *Адвенчюрер*, хорошем купеческом судне, вместимостью в 350 тонн. Я хорошо изучил мореходное искусство, а обязанности хирурга мне по-

рядочно надоели; вот почему, не отказываясь при случае заняться и этим делом, я пригласил в качестве корабельного врача Роберта Пьюрефой, человека молодого, но искусного. Мы отплыли из Портсмута 7 сентября 1710 года; 14-го мы встретили у Тенерифа капитана Пококка, из Бристоля, который направлялся в Кампеши за сандаловым деревом. Но поднявшаяся 16 числа буря разъединила нас; по возвращении в Англию я узнал, что корабль его потонул, и из всего экипажа спасся один только юнга. Этот капитан был славный парень и хороший моряк, но отличался некоторым упрямством в своих мнениях, и этот недостаток погубил его, как он погубил уже многих других. Ибо, если бы он последовал моему совету, то теперь, подобно мне, преспокойно находился бы дома в своей семье.

На моем корабле несколько матросов умерло от горячки, так что я принужден был пополнить экипаж людьми с Барбадоса и других Антильских островов, у которых я останавливался, согласно данным мне хозяевами корабля инструкциям. Но скоро мне пришлось горько раскаяться в этом: оказалось, что большая часть набранных мною матросов были морские разбойники. Я имел пятьдесят человек на борту и мне было поручено вступить в торговые сношения с индейцами, населяющими острова Южного океана, и произвести исследование этих широт. Негодяи, которых я взял на корабль, подговорили остальных матросов, и все они составили заговор, с целью завладеть кораблем и арестовать меня. В одно прекрасное утро они

привели свой замысел в исполнение: ворвались ко мне в каюту, связали меня по рукам и ногам и угрожали выбросить за борт, если я вздумаю сопротивляться. Мне оставалось только сказать им, что я их пленник и покоряюсь своей участи. Они заставили меня поклясться в этом, и, когда я исполнил их требование, развязали меня,



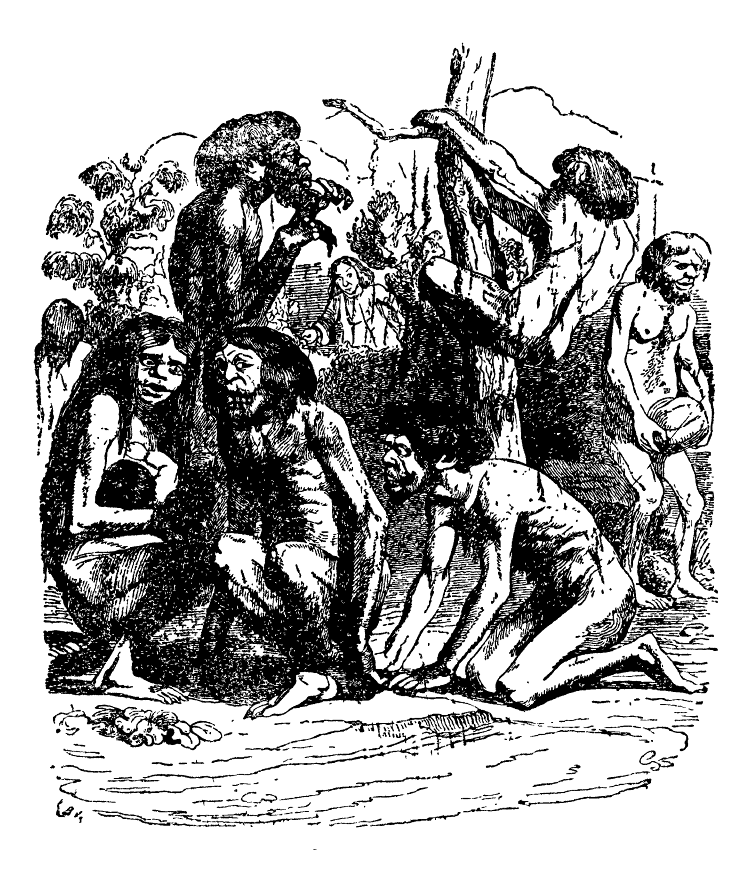
приковав лишь за ногу цепью к кровати и поставив возле моей двери часового с заряженным ружьем, которому приказали стрелять в меня при малейшей моей попытке к освобождению. Они присылали мне пищу и питье, а управле-

ние кораблем захватили в свои руки. Целью их было сделаться пиратами и грабить испанцев; однако, вследствие своей малочисленности, они не могли немедленно заняться этим. Поэтому они решили распродать товары, находившиеся на корабле, и направиться к острову Мадагаскару для пополнения экипажа, так как многие из них умерли во время моего заключения. В течение многих недель разбойники плавали по океану, ведя торговлю с индейцами. Но я не знал взятого ими курса, так как все это время находился под строжайшим арестом в каюте, ежеминутно ожидая жестокой казни, которою они часто угрожали мне.

9 мая 1711 года ко мне в каюту спустился некий Джемс Уэльч и объявил, что по приказанию капитана он высадит меня на берег. Я пытался было усовестить его, но напрасно; он отказался даже сказать мне, кто был их новым капитаном. Разбойники посадили меня в баркас, позволив надеть мое лучшее, почти новое платье и взять небольшой узел белья: а из оружия оставили мне только тесак; и они были настолько любезны, что не обыскали у меня карманов, в которых находились деньги и кое-какие мелочи. Отплыв от корабля на расстояние лиги, разбойники высадили меня на берег. Я просил сказать мне, что это за страна. Мои люди побожились, что знают об этом не больше меня; они сказали только, что капитан (как они называли его), распродав весь корабельный груз, решил отделаться от меня, лишь только они увидят где нибудь землю. Затем они немедленно отчалили и, посоветовав мне как

можно скорее итти внутрь страны, чтобы не быть захваченным приливом, пожелали мне счастливого пути.

В этом незавидном положении я направился вперед наудачу и скоро выбрался с песчаного берега и присел на холмик отдохнуть и поразмыслить, что делать дальше. Отдых немного подкрепил мои силы, и я продолжал путь, решив отдаться в руки первым дикарям, которых встречу по дороге, и купить у них жизнь за несколько браслетов, стекляшек и других безделушек, какими обыкновенно запасаются моряки, отправляясь в дикие страны; несколько таких безделушек было и у меня. Местность была пересечена длинными рядами деревьев, которые, повидимому, были посажены здесь не рукою человека, а природой; между деревьями расстилались большие луга и поля, засеянные овсом. Я осторожно подвигался вперед, оглядываясь по сторонам, из боязни, как бы кто нибудь не напал на меня врасплох или не подстрелил сзади или сбоку из лука. Через несколько времени я вышел на проезжую дорогу, на которой заметил много следов человеческих ног, но еще больше отпечатков лошадиных копыт. Наконец, я увидел в поле каких то животных; два или три таких же животных сидели на деревьях. Их крайне странная и безобразная внешность несколько смутила меня, и я прилег за кустом, чтобы лучше разглядеть их. Некоторые подошли близко к тому месту, где я лежал, так что я мог видеть их очень отчетливо. Голова и грудь у них были покрыты густыми волосами, у одних вьющимися, у других глад-



кими; бороды их напоминали козлиные; вдоль спины и передней части лап тянулись узкие полоски шерсти; но остальные части их тела были голые, так что я мог видеть их кожу, темно-коричневого цвета. Хвоста у них не было, и задница была голая, исключая мест вокруг заднего прохода; я полагаю, что природа покрыла

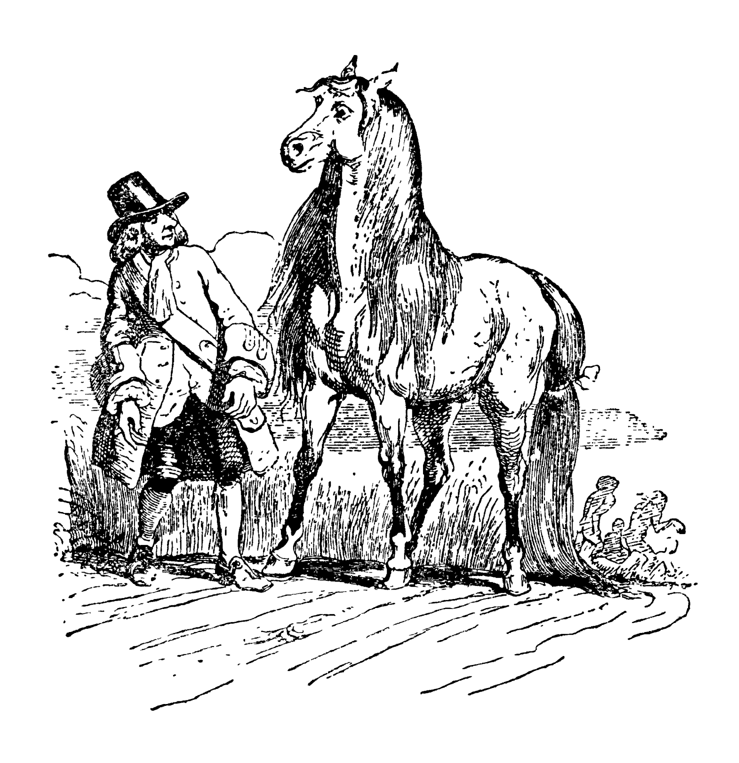
эти места волосами, чтобы предохранить их во время сидения на земле; ибо эти существа сидели, лежали и часто становились на задние лапы. Вооруженные сильно развитыми, крючковатыми и заостренными когтями на передних и задних лапах, они с ловкостью белки карабкались на самые высокие деревья. Они часто прыгали, скакали и бегали с удивительным проворством. Самки были несколько меньше самцов; на голове у них росли длинные гладкие волосы, но лица были чистые, а некоторые другие части тела были покрыты только легким пушком, кроме заднепроходного отверстия и срамных частей; груди их висели между передними лапами, и часто, когда они ползали на четвереньках, почти касались земли. Волосы как у самцов, так и у самок, были различных цветов: коричневые, черные, красные и золотистые. В общем я никогда еще, во все мои путешествия, не встречал более безобразного животного, которое с первого же взгляда вызывало бы к себе такое отвращение. Полагая, что я достаточно насмотрелся на них, я встал с чувством омерзения и гадливости и продолжал свой путь по дороге, в надежде, что она приведет меня к хижине какого нибудь индейца. Но не успел я сделать нескольких шагов, как встретил одно из описанных мною животных, направлявшееся прямо ко мне. Заметив меня, уродина остановилась и с ужасными гримасами вытаращила на меня глаза как на существо никогда им невиданное; затем, подойдя ближе, подняла свою переднюю лапу, — то ли из любопытства, то ли из злобы,—я не мог определить. Тогда



я вынул тесак и плашмя нанес им сильный удар по лапе животного; я не хотел бить его лезвием, ибо боялся, что навлеку на себя недовольство обитателей этой страны, если им станет известно, что я убил или изувечил принадлежащее им животное. Почувствовав боль, животное пустилось наутек и завизжало так громко, что из соседнего поля прибежало целое стадо, около сорока штук, таких же тварей, которые столпились вокруг меня с воем и ужасными гримасами.

Я бросился к дереву и, прислонясь спиной к его стволу, стал размахивать тесаком, не подпуская к себе гнусных тварей. Однакоже несколько представителей этой проклятой породы, ухватившись за ветви сзади меня, взобрались на дерево и начали оттуда испражняться мне на голову. Правда, мне удалось увернуться, прижавшись плотнее к стволу дерева, но я чуть не задохся от падавшего со всех сторон вокруг меня вонючего кала.

Вдруг в этот критический момент я увидел, что все животные бросились убегать со всех ног. Тогда я решился оставить дерево и продолжать путь, недоумевая, что бы могло так напугать их. Но взглянув налево, я увидел спокойно двигавшуюся по полю лошадь; вид этой лошади, которую мои преследователи заметили раньше, и был причиной их поспешного бегства. Приблизившись ко мне, лошадь слегка вздрогнула, но скоро оправилась и стала смотреть мне прямо в лицо с выражением крайнего удивления. Она осмотрела мои руки и ноги и несколько раз обошла кругом меня. Я хотел было итти дальше, но лошадь загородила дорогу, продолжая кротко смотреть на меня и не выражая ни малейшего намерения причинить мне какое либо насилие. Так мы и стояли некоторое время, оглядывая друг друга; наконец, я набрался смелости протянуть руку к шее лошади с намерением погладить ее, насвистывая и пустив в ход приемы, какие обычно применяются жокеями с целью приручить незнакомого коня. Но животное отнеслось, повидимому, к моей ласке с презрением, замотало головой,



нахмурило брови и, тихонько подняв правую переднюю ногу, отстранило мою руку. Затем лошадь заржала три или четыре раза, но с такими разнообразными модуляциями, что я готов был подумать, уж не разговаривает ли она на своем языке.

Когда мы стояли таким образом друг против друга, к нам подошла еще одна лошадь. Она обратилась к первой с самым церемонным при-

ветствием: они легонько постукались друг с другом правыми передними копытами и стали поочередно ржать, варьируя звуки на разные лады, так что они казались почти членораздельными. Затем они отошли от меня на несколько шагов, как бы с намерением посовещаться, и начали прогуливаться рядышком взад и вперед, подобно людям, решающим важный вопрос, но часто при этом посматривали на меня, словно наблюдая, чтобы я не удрал. Пораженный таким поведением неразумных животных, я пришел к заключению, что обитатели этой страны должны быть мудрейшим народом на земле, если только они одарены разумом в соответственной степени. Эта мысль подействовала на меня так успокоительно, что я решил продолжать путь, пока не достигну какого нибудь жилья или деревни, или не встречу кого нибудь из туземцев, оставя лошадей беседовать между собой, сколько им вздумается. Но первая из них, серая в яблоках, заметив, что я ухожу, повернула ко мне голову и заржала, обращаясь ко мне, таким выразительным тоном, что мне показалось, будто я понимаю, чего она хочет; я тотчас повернулся назад и подошел к ней в ожидании дальнейших приказаний; при этом я всячески старался скрыть свой страх, ибо я начал уже немного побаиваться исхода этого приключения; и читатель легко может себе представить, что положение мое было не из приятных.

Обе лошади подошли ко мне вплотную и с большим вниманием начали рассматривать мое лицо и руки. Серый конь ощупал со всех

сторон мою шляпу правым копытом передней ноги, отчего она так помялась, что мне пришлось снять ее и поправить; проделав это, я снова надел ее. Мои движения, повидимому, сильно поразили серого коня и его товарища (караковой масти): последний прикоснулся к полам моего кафтана, и то обстоятельство, что они болтались свободно, снова привело в большое изумление обеих лошадей. Караковый конь погладил меня по правой руке, повидимому удивляясь ее мягкости и цвету, но он так крепко сжал ее между копытом и бабкой, что я не вытерпел и закричал. После этого оба коня стали прикасаться ко мне осторожнее. Большое недоумение вызвали у них мои башмаки и чулки, которые они многократно ощупывали с ржанием и жестами, очень напоминая философа, пытающегося понять какое либо новое и трудное явление.

Вообще поведение этих животных отличалось такой последовательностью и целесообразностью, такой обдуманностью и рассудительностью, что, в конце-концов, у меня возникла мысль, уж не волшебники ли это, которые превратились в лошадей с каким-нибудь неведомым для меня умыслом, и, повстречав по дороге чужестранца, решили позабавиться с ним; а может быть были действительно поражены видом человека, по своей одежде, чертам лица и телосложению очень непохожего на людей, живущих в этой отдаленной стране. Придя к такому заключению, я решился обратиться к ним со следующей речью: Господа, если вы действительно колдуны, как я имею достаточные основания полагать, то вы пони-

маете все языки; поэтому я осмеливаюсь доложить вашей милости, что я—бедный англичанин, которого злая судьба забросила на ваш берег; и я прошу разрешения сесть верхом на одного из вас, как на настоящую лошадь, и доехать до какого нибудь хутора или деревни, где



я мог бы отдохнуть и найти приют. В благодарность за эту услугу, я подарю вам вот этот ножик или этот браслет, — тут я вынул обе вещицы из кармана. Во время моей речи оба коня стояли молча, как будто слушая меня с большим вниманием; когда я кончил, они стали оживленно что то ржать другу другу,

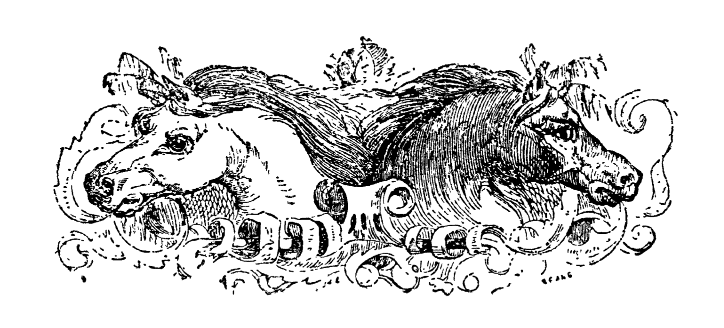
словно ведя между собой серьезный разговор. Для меня стало ясно тогда, что их язык отлично выражает чувства, и что, при незначительном усилии, слова его можно разложить на звуки и буквы, пожалуй, даже легче, чем китайские слова.

Я отчетливо расслышал слово *йеху*, которое оба коня повторили несколько раз. Хотя я не мог понять его значения, все же, вслушиваясь внимательно в их разговор, я сам старался произнести это слово; как только лошади замолчали, я громко прокричал: *йэху*, *йэху*—всячески подражая ржанью лошади. Это, повидимому, очень поразило их, и серый конь дважды повторил это слово, как бы желая научить меня правильному его произношению. Я стал повторять за ним возможно точнее и нашел, что с каждым разом делаю заметные успехи, хотя и очень далек от совершенства. После этого караковый конь попробовал научить меня еще одному слову, гораздо более трудному для произношения; согласно английской орфографии, его можно написать так *houyhnhnm* (*гуигнгнм*). Произношение этого слова давалось мне не так легко, как произношение первого, но после двух или трех попыток дело пошло лучше, и обе лошади были, повидимому, удивлены моей смышленностью.

Поговорив еще немного, вероятно попрежнему обо мне, друзья расстались, постукавшись копытами, как и при встрече; затем серый конь сделал мне знак, чтобы я шел вперед, и я счел благоразумным подчиниться его приглашению, пока не найду лучшего руководителя. Когда

я замедлял свои шаги, конь начинал ржать: *гуун, гуун*. Догадавшись, что означает это ржанье, я постарался, насколько мог, объяснить ему, что устал и не могу итти скорее; тогда конь останавливался, чтобы дать мне возможность отдохнуть.





## ГЛАВА ВТОРАЯ

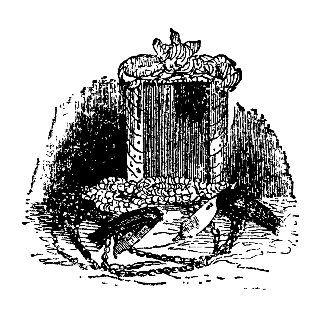
*Гуигнгнм приводит автора к своему жилищу. Описание этого жилища. Прием, оказанный автору. Пища гуигнгнмов. Затруднения автора вследствие отсутствия подходящей для него пищи и устранение этого затруднения. Чем питался автор в этой стране.*



Сделав около трех миль, мы подошли к длинному низкому строению, крытому соломой и со стенами из вбитых в землю и перевитых прутьями кольев. Здесь я почувствовал некоторое облегчение и вынул из кармана несколько безделушек, какими обыкновенно запасаются путешественники для подарков американским дикарям; я надеялся, что благодаря

этим безделушкам хозяева дома окажут мне более радушный прием. Лошадь знаком пригласила меня войти первым, и я очутился в просторной комнате с чистым глиняным полом; по одной ее стене, во всю длину, тянулись ясли с решетками для сена. Там были трое лошаков и две кобылицы: они не стояли возле яслей и не ели, как это делают всегда незанятые лошади, а сидели по собачьи, что меня крайне удивило. Но я еще более удивился, когда увидел, что другие лошади заняты домашними работами, исполняя, повидимому, обязанности простых слуг. Все это окончательно укрепило меня в моем первоначальном предположении, что народ, сумевший так выдрессировать неразумных животных, несомненно, должен превосходить своею мудростью все другие народы земного шара. Серый конь вошел следом за мной, предупредив, таким образом, возможность дурного приема со стороны других лошадей. Он несколько раз заржал повелительным тоном хозяина, на что другие почтительно отвечали ему.

Кроме этой комнаты там было еще три, тянувшиеся одна за другой вдоль здания: мы прошли в них через три двери, расположенные по одной линии в виде просеки. Во второй комнате мы остановились; серый вошел в третью комнату один, сделав мне знак обождать. Я остался во второй комнате и приготовил подарки для хозяина и хозяйки дома; это были два ножа, три браслета с фальшивыми жемчужинами, маленькое зеркальце и ожерелья из бус. Конь заржал три или четыре раза, и я насторожил уши в надежде услышать в ответ человеческий



голос; но я услышал такое же ржание только в немного более высоком тоне. Я начал думать тогда, что дом этот принадлежит очень важной особе, раз понадобилось столько церемоний прежде, чем быть допущенным к хозяину. Но чтобы важная особа могла обслуживаться только лошадьми—было выше моего понимания. Я испугался, уж не помутился ли мой рассудок от перенесенных мною лишений и страданий. Я сделал над собой усилие и внимательно осмотрелся кругом: комната, в которой я остался один, была убрана так же, как и первая только с большим изяществом и роскошью. Я несколько раз протер глаза, но передо мной находились все те же предметы. Я стал щипать себе руки и бока, чтобы проснуться, так как мне все еще казалось, что я сплю. После этого я окончательно пришел к заключению, что вся эта видимость есть не что иное, как волшебство и магия.* Не успел я остановиться на этой мысли, как в дверях снова показался серый конь и знаками пригласил последовать за ним в третью комнату, где я увидел очень красивую кобылу с двумя

жеребятами; они сидели, поджав под себя задние ноги, на недурно сделанных очень опрятных и чистых соломенных цыновках.

Когда я вошел, кобыла тотчас встала и подошла ко мне; внимательно осмотрев мои руки



и лицо, она отвернулась с выражением величайшего презрения; после этого она обратилась к серому коню, и я слышал, как в их разговоре часто повторялось слово *йэху*, значения которого я тогда еще не понимал, хотя и изучил его произношение прежде других слов. Но, к ве-

личайшему своему уничижению, я скоро узнал, что оно значит. Случилось это таким образом: окончив переговоры с кобылой, серый конь, кивнув мне головой и повторяя слово *гуун*, *гуун*, которое я часто слышал от него в дороге, и которое означало приказание следовать за ним, вывел меня на задний двор, где находилось другое строение в некотором отдалении от дома. Когда мы вошли туда, я увидел трех таких же отвратительных тварей, с какими я повстречался вскоре по прибытии в эту страну; они пожирали коренья и мясо каких то животных,—впоследствии я узнал, что то были трупы дохлых собак, ослов и коров. Все они были привязаны за шею к бревну крепкими ивовыми прутьями; пищу свою они держали в когтях передних ног и разрывали ее зубами.

Хозяин конь приказал своему слуге, гнедому лошаку, отвязать самого крупного из этих животных и вывести его во двор; поставив нас рядом, хозяин и слуга произвели тщательное сравнение нашей внешности, несколько раз повторяя при этом слово *йэху*. Невозможно описать ужаса и удивления, овладевших мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своему строению в точности напоминает человека. Правда, лицо у него было плоское и широкое, нос приплюснутый, губы толстые и рот огромный, но эти особенности свойственны всем вообще дикарям, потому что матери кладут своих детей ничком на землю и таскают их за спиной, отчего ребенок постоянно тыкается носом о плечи матери. Передние лапы *йэху* отличались от моих рук только длиной ногтей,

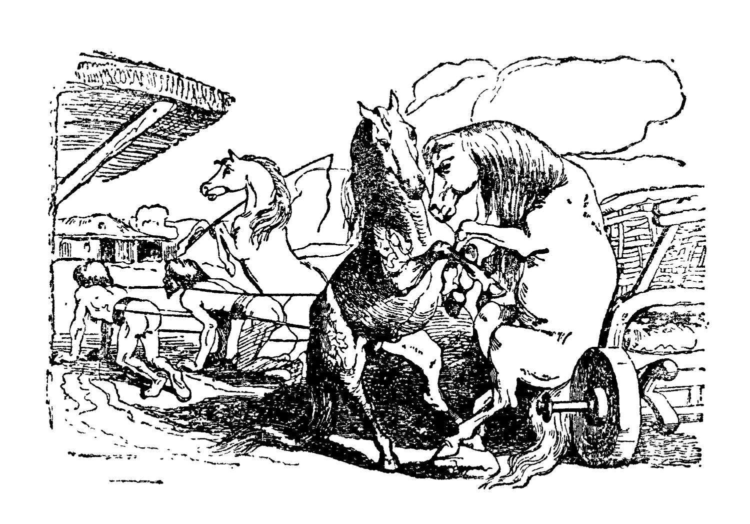


загрубелостью, коричневым цветом ладоней и тем, что их тыльная сторона была покрыта волосами. Такое же сходство и такие же различия существовали и между нашими ногами; я сразу понял это, хотя лошади не могли ничего заметить, так как на мне были чулки и башмаки; то же надо сказать и относительно всего тела вообще, исключая только цвета кожи и волос, что было уже описано мною выше.

Но обеих лошадей повергало повидимому в большое недоумение то обстоятельство, что благодаря платью, о котором они не имели никакого понятия, все остальные части моего тела сильно отличались от тела *йэху*. Гнедой лошак подал мне какой то корень, взяв его между копытом и бабкой (каким образом делают это лошади, будет описано в своем месте); я взял его и, понюхав, самым вежливым образом возвратил ему; тогда он принес из хлева *йэху* кусок ослиного мяса, но оно издавало такой противный запах, что я с омерзением отвернулся; лошак бросил мясо *йэху*, и животное с жадностью сожрало его. Потом он показал мне охапку сена и полный гарнец овса; но я покачал головою, давая понять, что ни то ни другое не годится мне в пищу. Тут я испугался, что мне придется умереть с голоду, если я не встречу здесь человека, подобного мне; что же касается двух гнусных *йэху*, то будь в то время на моем месте даже величайший друг человеческого рода, я уверен, и он признал бы, что нет на свете одушевленных существ более отвратительных, чем эти твари; и чем ближе я с ними знакомился во время моего пребывания в этой стране, тем более усиливалась моя ненависть к ним. Заметя это отвращение по моим жестам, конь хозяин велел отвести *йэху* назад в хлев. После этого он поднес ко рту переднее копыто, чем я был немало изумлен, хотя он совершил это движение с непринужденностью, свидетельствовавшей, что оно было для него самым естественным, и делал также другие знаки, желая узнать, что же я буду есть; но я не мог ответить на

этот вопрос понятным для него образом, да если бы даже он и понял меня, было бы не легче, так как я не видел, откуда бы он мог достать мне подходящую пищу. Во время этих переговоров прошла мимо корова; я показал на нее пальцем и выразил желание подойти к ней и подоить ее. Меня поняли; ибо серый конь повел меня обратно в дом и приказал кобыле-служанке открыть одну комнату, где стояло много молока в деревянной и глиняной посуде, очень чистой и в большом порядке; кобыла подала мне большую кружку с молоком, и я с удовольствием напился, после чего почувствовал себя гораздо бодрее и свежее.

Около полудня к дому подкатила особенного устройства повозка, которую тащили четыре *йэху*. В повозке сидел старый конь, повидимому,



знатная особа; он сошел на землю, опираясь на задние ноги, потому что передняя левая нога у него была повреждена. Этот конь приехал обедать к моему хозяину, который принял его с большой любезностью. Они обедали в лучшей комнате, и на второе блюдо им подали овес, вареный в молоке; гость ел это кушанье в горячем виде, а остальные лошади—в холодном. Их ясли расположены были кругообразно посреди комнаты и разгорожены на несколько отделений, возле которых все и уселись на подостланную солому. Над яслями помещалась большая решетка с сеном, разгороженная на столько же отделений, как и ясли, так что каждый конь и каждая кобыла ели отдельно свои порции сена и овсяной каши с молоком, очень благопристойно и аккуратно. Жеребята держали себя весьма скромно, а хозяева были крайне любезны и предупредительны к своему гостю. Серый велел мне подойти к нему и завел со своим другом длинный разговор обо мне, как я мог заключить по тому, что гость часто поглядывал на меня, и собеседники то и дело произносили слово *йэху*.

Во время этого разговора я надел перчатки; серый хозяин, заметив это, был поражен, и знаками стал спрашивать, что это я сделал со своими передними ногами; три или четыре раза он прикоснулся к ним своим копытом, как бы давая понять, что я должен привести их в прежнее состояние, что я и сделал, сняв перчатки и положив их в карман. Этот эпизод вызвал среди присутствующих оживленный разговор, и я заметил, что мое поведение расположило

всех в мою пользу, в чем вскоре я имел случай убедиться. Мне было приказано произнести заученные мной слова, и во время обеда хозяин научил меня называть овес, молоко, огонь, воду и некоторые другие предметы, что давалось мне очень легко, так как еще с молоду я отличался большими способностями к языкам.

После обеда конь-хозяин отвел меня в сторону и дал понять мне знаками и словами свое огорчение по поводу того, что для меня не было подходящей еды. Овес на языке *гуигнгнмов* называется *глунг*. Это слово я произнес два или три раза, так как хотя сначала я отказался от овса, однако, по некотором размышлении, нашел, что из него можно приготовить нечто вроде хлеба; а хлеб с молоком могли бы поддержать мое существование до тех пор, пока мне не представится случай уйти отсюда в какую нибудь другую страну, где я найду таких же людей, как сам. Конь тотчас же приказал белой кобыле служанке принести овса на деревянном блюде. Я кое как поджарил этот овес на огне и стал тереть пока не отстала шелуха, которую я постарался отвеять от зерна; затем я истолок зерно между двух камней, взял воды, приготовил тесто, испек его на огне и съел горячим, запивая молоком. Сначала это кушанье показалось мне крайне безвкусным, хотя оно очень распространено во многих европейских странах, но с течением времени я привык к нему. К тому же это был не первый случай в моей жизни, когда приходилось довольствоваться самою грубою пищей, и я еще раз убедился в том, как мало взыскательна человеческая природа. Не могу не заме-

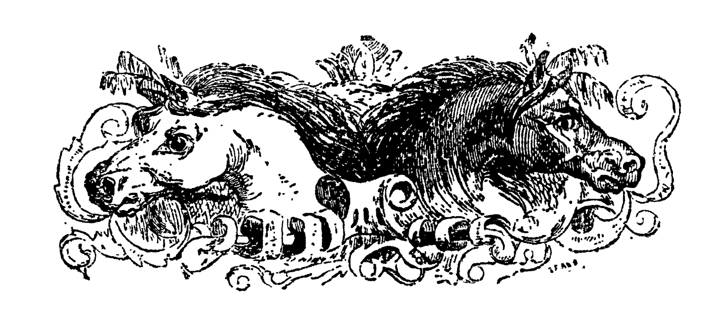
тить при этом, что за все время моего пребывания на острове, я ни одной минуты не был болен. Правда, иногда мне удавалось поймать в сети, сделанные из волос *йэху*, кролика или какую-нибудь птицу; иногда я находил съедобные травы, которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам, и изредка роскошествовал: сбивал себе масло и лакомился простоквашей. Сначала я очень болезненно ощущал отсутствие соли, но скоро привык обходиться без нее, и я убежден, что распространенное употребление этого вещества есть результат невоздержанности, и соль была введена главным образом для возбуждения жажды; исключая, конечно, случаи, когда она необходима для предохранения от порчи мяса в далеких путешествиях или в местах, удаленных от рынков. Ведь мы не знаем ни одного животного, которое любило бы соль.* Что касается меня, то должен признаться, что, покинув эту страну, я очень не скоро научился переносить вкус соли в кушаньях, которые я ел.

Но довольно об этом; я не хочу подражать другим путешественникам, наполняющим целые главы своих книг описанием своей пищи, как будто читателю так уж интересно, хорошо или дурно кушал автор. Однако мне было необходимо коснуться этого предмета, чтобы устранить всякие недоразумения относительно того, каким образом мог я просуществовать три года в такой стране и среди такого населения.

С наступлением вечера конь-хозяин распорядился отвести мне особое помещение в шести ярдах от дома и отдельно от хлева *йэху*. Я нашел

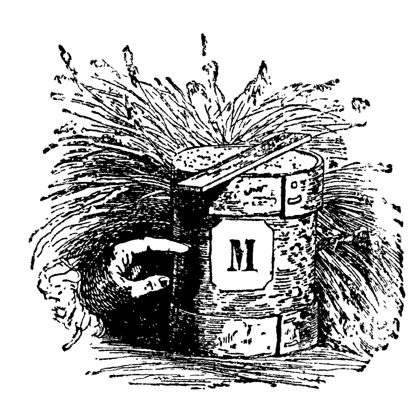
там немного соломы и, покрывшись платьем, крепко заснул. Но вскоре я устроился гораздо удобнее, как читатель узнает из дальнейшего рассказа, посвященного более подробному описанию моего образа жизни в этой стране.





## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Автор обучается туземному языку. Гуигнгнм, его хозяин, помогает ему в занятиях. Язык гуигнгнмов. Много знатных гуигнгнмов приходит взглянуть из любопытства на автора. Он вкратце рассказывает хозяину о своем путешествии.*



Моим главным занятием было изучение языка; и все в доме, начиная с хозяина (так я буду с этих пор называть серого коня) и его детей и кончая последним слугою, усердно помогали мне в этом. Им казалось каким то чудом, что грубое животное обнаруживает такую смышленность и сообразительность. Я показывал на предмет пальцем и спрашивал его название, которое запо-

минал; затем, оставшись наедине, записывал в свой путевой дневник; заботясь об улучшении выговора, я просил кого нибудь из членов семьи произносить почаще трудные слова. Особенно охотно помогал мне в этих занятиях гнедой лошак, слуга моего хозяина.

Произношение *гуигнгнмов*—носовое и гортанное, и из всех известных мне европейских языков язык их больше всего напоминает голландский или немецкий, но он гораздо изящнее и выра-



зительнее. Император Карл V сделал почти аналогичное наблюдение, сказав, что, если бы ему пришлось разговаривать со своею лошадью, то он обращался бы к ней по-немецки.

Любознательность и нетерпение моего хозяина были так велики, что он посвящал много часов

своего досуга на обучение меня языку. Он был убежден (как рассказывал мне потом), что я *йэху*; но моя понятливость, вежливость и опрятность поражали его, так как подобные качества были совершенно несвойственны этим животным. Более всего его сбивала с толку моя одежда, и он нередко задавался вопросом, составляет ли она часть моего тела, или нет, ибо я никогда не снимал ее, пока все в доме не засыпали, и надевал рано утром, когда все еще спали. Мой хозяин сгорал желанием узнать, откуда я прибыл и каким образом приобрел видимость разума, обнаруживавшегося во всех моих поступках; ему хотелось поскорее услышать из моих собственных уст всю историю моих приключений. Он надеялся, что ждать ему придется недолго: настолько велики были успехи, сделанные мной в заучивании и произношении слов и фраз. Для облегчения запоминания я расположил все выученные мною слова в порядке английского алфавита и записал их с соответствующим переводом. Спустя некоторое время я решился делать свои записи в присутствии хозяина. Мне стоило не малого труда объяснить ему, что я делаю, ибо *гуигнгнмы* не имеют ни малейшего представления о книгах и письменности.

Приблизительно через десять недель я уже способен был понимать большинство вопросов моего хозяина, а через три месяца мог давать на них довольно сносные ответы. Мой хозяин особенно интересовался, из какой страны я прибыл к ним и каким образом научился подражать разумным существам, так как *йэху*

(на которых, по его мнению, я был поразительно похож головой, руками и лицом, т. е. теми частями тела, которые не были скрыты одеждой), при всех свойственных им задатках хитрости и большом предрасположении к злобе, поддаются дрессировке хуже всех других животных. На это я ответил, что я прибыл по морю очень издалека со многими другими подобными мне существами в большой полой посудине, сделанной из досок, и что мои спутники высадили меня на этом берегу и оставили на произвол судьбы. С большими затруднениями и только при помощи знаков мне удалось сделать свою речь понятной. Мой хозяин ответил мне, что я, должно быть, ошибаюсь или *говорю то, чего не было*. (Дело в том, что на языке *гуигнгнмов* совсем нет слов, обозначающих ложь и обман). Ему казалось невозможным, чтобы за морем были какие либо земли, и чтобы кучка диких зверей двигала по воде деревянное судно, куда им вздумается. Он уверен, что никто из *гуигнгнмов* не в состоянии соорудить такого судна, а тем более доверить управление им *йэху*.

Слово *гуигнгнм* на языке туземцев означает лошадь, а по своей этимологии — *совершенство природы*. Я ответил хозяину, что мне еще трудно выражать свои мысли, но я прилагаю все усилия к лучшему усвоению языка и надеюсь, что в скором времени буду в состоянии рассказать ему много чудес. Это так заинтересовало хозяина, что он просил свою жену, детей и прислугу не упускать ни одного случая для усовершенствования моих познаний в языке, и сам посвящал ежедневно два или три часа занятиям

со мной. Скоро всюду по окрестностям разнеслась молва о появлении удивительного *йэху*, который говорит, как *гуигнгм*, и в своих словах и поступках как будто обнаруживает проблески разума, так что многие знатные кони и кобылы часто приходили к нам взглянуть на меня. Им доставляли удовольствие разговоры со мной; они задавали мне много вопросов, на которые я отвечал, как умел. Благодаря всем этим благоприятным обстоятельствам, я сделал такие успехи, что через пять месяцев по приезде понимал все, что мне говорили, и мог довольно сносно объясняться сам.

*Гуигнгмы*, приходившие в гости к моему хозяину, с целью повидать меня и поговорить со мной, с трудом верили, чтобы я был настоящий *йэху*, потому что по своему внешнему виду тело мое сильно отличалось от *йэху*. *Гуигнгмы* были удивлены тем, что видят у меня голую кожу и волосы только на голове, лице и руках; однако, спустя две недели после моего прибытия, одна случайность открыла хозяину мою тайну.

Я уже сказал читателю, что с наступлением ночи, когда весь дом ложился спать, я раздевался и укрывался своим платьем. Однажды рано утром хозяин послал за мной своего камердинера, гнедого лошака; когда он вошел, я крепко спал; прикрывавшее меня платье свалилось, а рубашка задралась выше пояса. Проснувшись от произведенного им шума, я заметил, что он находится в некотором замешательстве. Кое как исполнив свое поручение, он в большом испуге прибежал к своему господину и смущенно рассказал ему все, что увидел.



Я сейчас же узнал об этом, ибо когда, наскоро одевшись, я отправился засвидетельствовать свое почтение его милости, то первым делом хозяин спросил меня, что означает рассказ слуги, доложившего, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда; и будто некоторые части моего тела совершенно белые, другие — желтые или, по крайней мере, не такие белые, а некоторые — совсем темные.

До сих пор я сохранял тайну моей одежды, чтобы как можно больше отличаться от гнусной породы *йэху;* но после этого случая было

бесполезно продолжать такую политику. Кроме того, моя одежда и башмаки сильно износились, и недалеко было время, когда они совсем развалятся, и мне придется заменить их каким нибудь изделием из кожи *йэху* или других животных и, следовательно, выдать всю свою тайну. Поэтому я сказал моему хозяину, что в стране, откуда я прибыл, подобные мне существа всегда закрывают свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных, отчасти из скромности, а отчасти для защиты тела от жары и стужи. Что же касается лично меня, то, если ему угодно, я готов немедленно представить доказательство справедливости сказанного мной; я только прошу извинения, что не обнажу перед ним тех частей тела, которые сама природа научила нас скрывать. Выслушав меня, хозяин сказал, что вся моя речь показалась ему крайне странной и особенно ее последняя часть; он не мог понять, каким образом природа внушает нам скрывать то, что сама же она дала нам. Ни сам он, ни его домочадцы не стыдятся никакой части тела; впрочем, я могу поступать, как мне будет угодно. В ответ на его приглашение я растегнул кафтан и снял его, затем снял жилет, башмаки, чулки и штаны; спустив рубашку до поясницы, я обмотал ею, как поясом, середину тела, чтобы скрыть мою наготу.

Хозяин наблюдал все мои действия с огромным любопытством и удивлением. Он брал одну за другой все принадлежности моего туалета между копытом и бабкой и рассматривал их с большим вниманием; потом он легонько погладил мое тело и несколько раз осмотрел



его со всех сторон. Обследовав меня, он заявил, что без всяких сомнений я — настоящий *йэху* и отличаюсь от остальных индивидов моей породы только мягкостью, белизною и гладкостью кожи, отсутствием волос на некоторых частях тела, формою и длиной когтей и наконец тем, что притворяюсь, будто постоянно хожу на задних ногах. Он не пожелал производить дальнейший осмотр и разрешил мне одеться, за что я был очень благодарен ему, так как очень продрог.

Я выразил хозяину большое неудовольствие по поводу того, что он так часто называет меня *йэху,* этой гнусной скотиной, к которой я питаю глубочайшее отвращение и презрение. Я просил его сделать мне милость не называть меня этим словом и предложил изгнать его из употребления по отношению ко мне как в его семье, так и среди его друзей, которым он показывает меня. Я просил его также сохранить тайну искусственной оболочки моего тела, по крайней мере до тех пор, пока она совершенно не износится; что же касается его слуги, гнедого лошака, то его милость пусть соблаговолит приказать ему молчать.

На все это мой хозяин благосклонно согласился, и таким образом тайна моей одежды была сохранена до тех пор, пока она не стала изнашиваться, так что я должен был ухитриться чем нибудь заменить ее, но об этом будет рассказано ниже. С своей стороны хозяин выразил желание, чтобы я как можно старательнее продолжал изучать их язык, так как он больше поражен моим умом и способностями к членораздельной речи, чем видом моего тела, покрыто ли оно одеждой или нет, и с большим нетерпением ожидает услышать от меня чудеса, которые я обещал рассказать ему.

С этих пор хозяин еще с большим рвением стал обучать меня; он водил меня с собой в гости и просил всех обращаться со мною вежливо, потому что, по его словам, такое обхождение приводит меня в хорошее настроение, и я становлюсь более занятным.

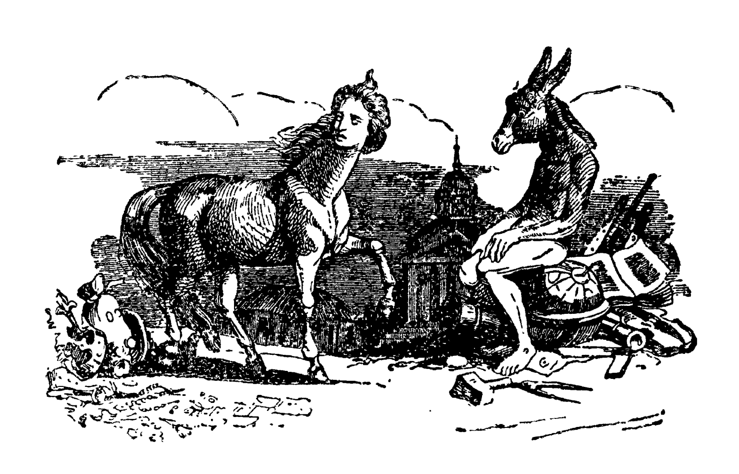
Не ограничиваясь принятым на себя трудом обучать меня языку, хозяин задавал мне ежедневно, когда я бывал в его обществе, множество вопросов относительно меня самого, на которые я отвечал с большой готовностью; таким образом у него постепенно составилось некоторое общее, хотя и очень несовершенное, представление о том, что я собирался рассказать ему. Было бы скучно излагать, шаг за шагом, мои успехи в языке, позволившие мне вести длинный разговор на серьезные темы, скажу только, что первый мой более или менее обстоятельный рассказ о себе был приблизительно таков:

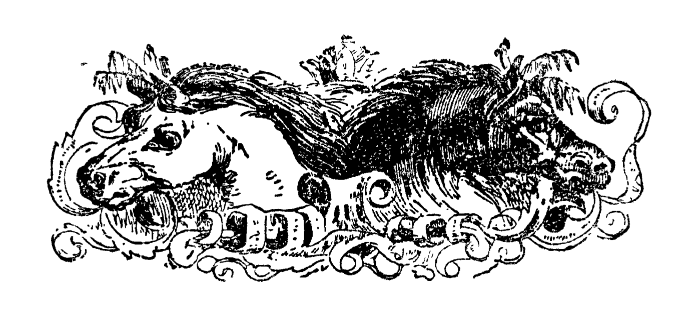
Я прибыл, как я уже пробовал разъяснить ему, из весьма отдаленной страны вместе с пятьюдесятью такими же существами, как и я. Мы плавали по морям в большой деревянной посудине, размерами превосходящей дом его милости. Тут я описал хозяину судно в возможно более понятных выражениях и при помощи развернутого носового платка показал, каким образом оно приводится в движение ветром. После ссоры, происшедшей между нами, продолжал я, я был высажен на этот берег и пошел вперед, куда глаза глядят, пока не подвергся нападению отвратительных *йэху*, от которых его появление освободило меня. Тогда хозяин спросил меня, кто сделал этот корабль и как случилось, что *гуигнгнмы* моей страны предоставили управление им диким животным. На это я ответил, что я только в том случае решусь продолжать свой рассказ, если он даст мне честное слово не обижаться, что бы он ни услышал; при этом



условии я исполню свое обещание и расскажу ему множество удивительных вещей. Он согласился. Тогда я сказал ему, что корабль был построен такими же существами, как и я, которые во всех странах, где мне приходилось путешествовать, так же как и в моем отечестве, являются единственными разумными творениями, господствующими над всеми остальными животными; и что, по прибытии сюда, я был так же поражен при виде разумного поведения *гуигнгнмов,* как поразили бы его или его друзей проблески ума в том создании, которое ему угодно было назвать *йэху;* я должен, конечно, признать полное сходство моего тела с телом этих животных, но не могу понять причину их вырождения и одичания. Я прибавил далее, что, если судьба позволит мне возвратиться когда ни-

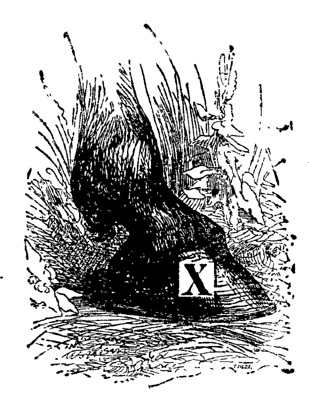
будь на родину, и я расскажу там об этом путешествии, как я решил это сделать, то мне никто не поверит, и каждый будет думать, будто я *говорю то, чего не было,* и что я выдумал свои приключения от начала до конца; и, несмотря на все мое уважение к нему, к его семье и его друзьям, я, помня его обещание не обижаться, беру на себя смелость утверждать, что мои соотечественники едва ли признают вероятным, чтобы *гуигнгнмы* были где нибудь господствующей породой, а *йэху* грубыми скотами.





## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

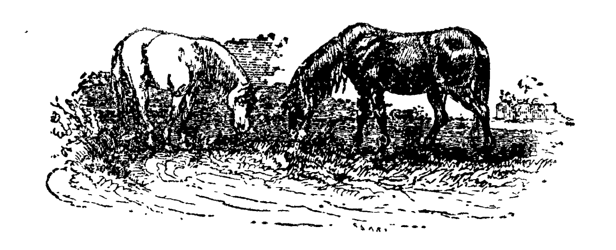
*Понятие гуигнгнмов об истине и лжи. Речь автора вызывает негодование у его хозяина. Более подробный рассказ автора о себе и о своих путешествиях.*



Хозяин слушал меня с выражением большого замешательства на лице, так как *сомнение* и *недоверие* настолько неизвестны в этой стране, что *гуигнгнмы* не знают как вести себя, когда обстоятельства принуждают их испытывать эти чувства. И я помню, что, когда в моих продолжительных беседах с хозяином о качествах людей, живущих в других частях света, мне приходилось упоминать о *лжи* и *обмане,* то он лишь с большим трудом понимал, что̀ я хочу сказать, несмотря на то, что отличался большой остро-

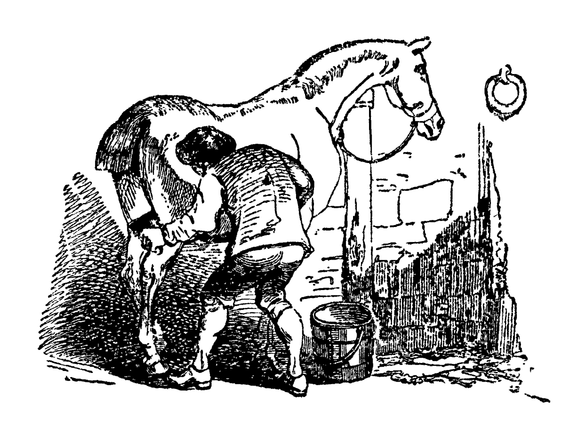
той ума. Он рассуждал так: способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и получать сведения о различных предметах; но если кто нибудь станет *утверждать то, чего нет,* то назначение нашей речи совершенно извращается, потому что в этом случае тот, к кому обращена речь, не может понимать своего собеседника; и он не только не получает никакого осведомления, но оказывается в состоянии худшем, чем неведение, потому что его уверяют, что белое — черно, а длинное — коротко. Этим и ограничивались все его понятия относительно способности *лгать,* в таком совершенстве известной и так широко распространенной во всех человеческих обществах.

Но возвратимся к нашему рассказу. Когда я уверил своего хозяина, что *йэху* являются единственными господствующими животными на моей родине, что̀, по его словам, было совершенно недоступно его пониманию, он пожелал узнать, нет ли у нас *гуигнгнмов* и, если есть, то чем они занимаются. Я ответил ему, что их



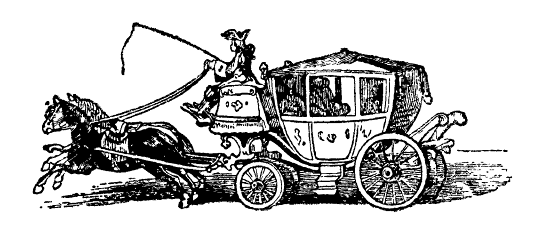
у нас очень много, и летом они пасутся на лугах, а зимою их держат в особых домах и

кормят сеном и овсом, где слуги *йэху* чистят их скребницами, расчесывают им гриву, обмы-

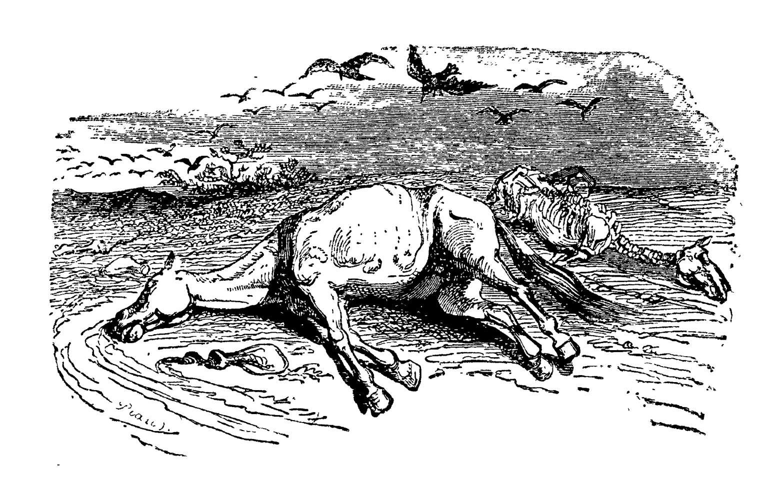


вают ноги, задают корм и готовят постель. —Теперь я понимаю вас, заметил мой хозяин, из сказанного вами ясно, что, как ваши *йэху* ни льстят себя мыслью, будто они разумные существа, все таки господами у вас являются *гуигнгнмы*, и я от всей души желал бы, чтобы и наши *йэху* были так же послушны.—Тут я стал упрашивать его милость позволить мне не продолжать рассказ, так как я уверен, что подробности, которых он ожидает от меня, будут для него очень неприятны. Но он настаивал, говоря, что желает знать все, как хорошее, так и дурное. Я отвечал, что буду повиноваться, и сообщил, что наши *гуигнгнмы*, которых мы называем лошадьми, самые красивые и самые благородные из всех животных; они отличаются силой и быстротой и, когда принадлежат осо-

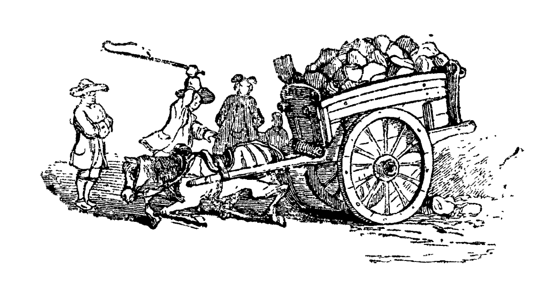
бам богатым, то ими пользуются для путешествий, для бегов запрягают в элегантные эки-



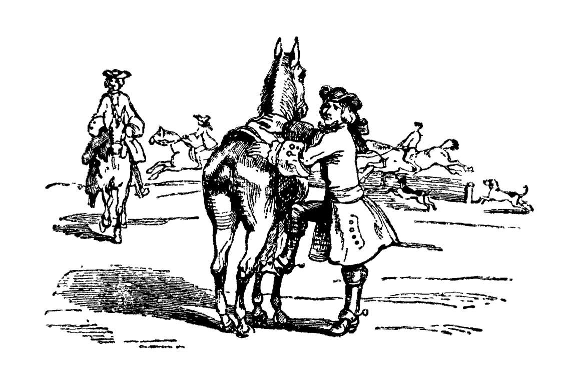
пажи и обращаются с ними очень ласково и заботливо, пока они здоровы и ноги у них крепкие, но едва только силы изменяют им, как их продают и пускают во всевозможную грязную работу, за которой они и околевают; а после смерти с них сдирают кожу, продают ее за

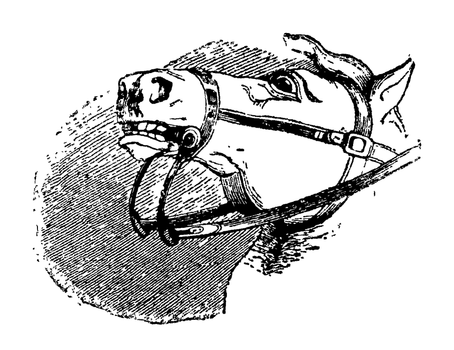


бесценок, труп же бросают на съедение собакам и хищным птицам. Но судьба лошадей простой породы не так завидна. Большая часть их принадлежит крестьянам и извозчикам, которые



заставляют их исполнять более тяжелую работу и кормят их хуже. Я подробно описал ему нашу манеру ездить верхом,

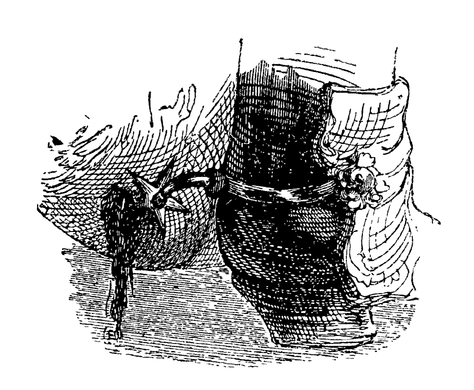




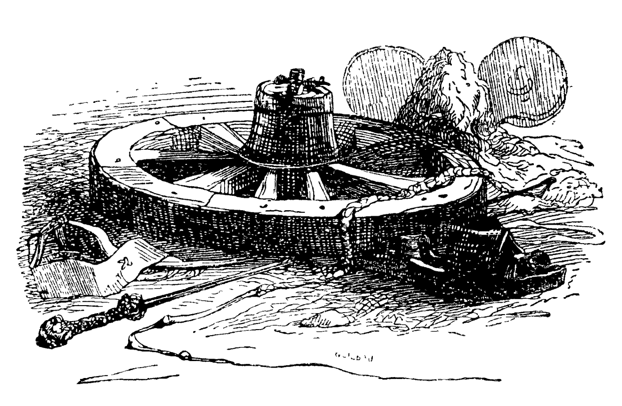
форму и употребление уздечки,



седла,

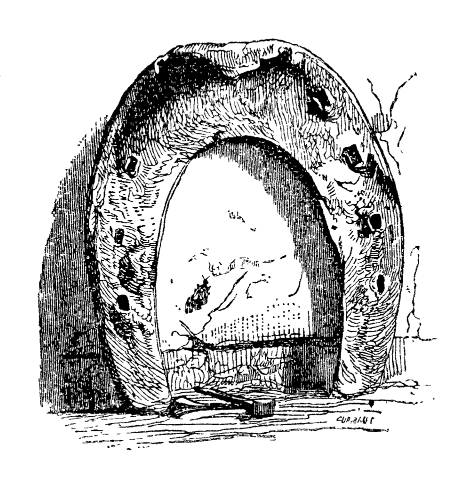


шпор,



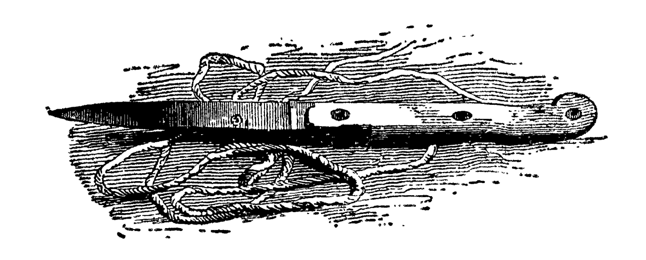
кнута, упряжи и колес.

Я прибавил, что к копытам наших лошадей мы прикрепляем пластины из особого твердого вещества, называемого железом, для предохране-



ния их от повреждений о каменистые дороги, по которым мы больше всего ездим.

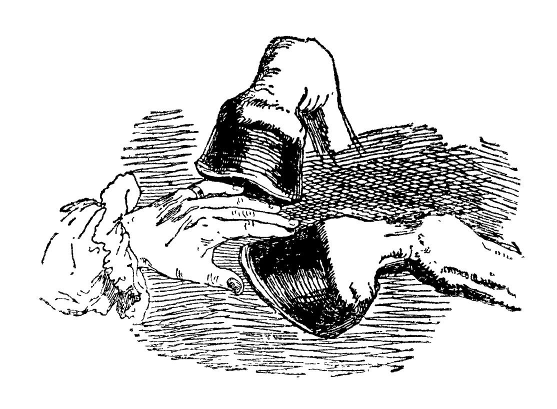
Энергично выразив свое величайшее негодование, мой хозяин был особенно поражен тем, что мы осмеливаемся садиться верхом на *гуигнгнма,* так как он был уверен, что самый слабый его слуга способен сбросить наземь самого сильного *йэху* или же, упав с ним на землю и катаясь на спине, раздавить скотину до смерти. На это я ответил, что наших лошадей дрессируют с трех или четырех лет для различных целей, к которым мы их предназначаем; что тех, которые не поддаются этой дрессировке, запрягают в телеги; что в молодом возрасте их жестоко бьют кнутом за каждую своевольную выходку; что самцов, предназначаемых для упряжи или верховой езды, по достижении двухлетнего возраста обыкновенно кастрируют,



чтобы выгнать из них дурь и сделать более ручными и послушными; что все они очень чувствительны к наградам и наказаниям; но пусть его милость благоволит принять во внимание, что подобно здешним *йэху* наши *гуигнгнмы* не обладают ни малейшими проблесками разума.

Мне пришлось прибегнуть ко множеству иносказаний, чтобы дать моему хозяину правильное представление о том, что я говорил; дело в том, что язык *гуигнгнмов* не отличается обилием и разнообразием слов, ибо потребностей и страстей у них меньше, чем у нас. Но невозможно описать благородного возмущения моего хозяина, вызванного рассказом о нашем варварском обращении с *гуигнгнмами* и особенно описанием нашего обычая кастрировать их, чтобы сделать их более покорными и помешать производить потомство. Он согласился с тем, что, если есть страна, в которой только одни *йэху* одарены разумом, то по всей справедливости им и должно принадлежать господство над остальными животными, так как разум, в конце концов, всегда возобладает над грубой силой; но, рассматривая внимательно строение нашего

тела, в частности моего, он находит, что ни одно животное, одинаковой с нами величины, не является так худо приспособленным для употребления этого разума на службу повседневным жизненным потребностям. Поэтому его интересует вопрос, с кем имеют большее сходство существа, среди которых я жил: со мною или с здешними *йэху*. Я стал уверять его, что я так же хорошо сложен, как и большинство моих сверстников; но что подростки и самки гораздо более деликатны и нежны, и кожа у самок обыкновенно бывает бела, как молоко. Хозяин ответил мне, что я действительно отличаюсь от других *йэху*, что я гораздо опрятнее их и далеко не так безобразен, но с точки зрения реальных преимуществ сравнение с ними будет, по его мнению, не в мою пользу. Так, мои ногти мне совсем ни к чему ни на передних, ни на задних ногах; передние мои ноги собственно нельзя даже назвать ногами, так как он никогда не видел, чтобы я ходил на них; они слишком деликатны, чтобы выдержать соприкосновение с твердой землей, и я по большей части держу их открытыми, а если иногда и закрываю, то покровы эти не той формы и не так прочны, как те, что я ношу на задних ногах; таким образом я не могу ходить уверенно, потому что, если одна из моих задних ног поскользнется, то я неизбежно должен буду упасть. Затем он стал находить недостатки в остальных частях моего тела: плоское лицо, выдающийся нос, глаза, помещенные прямо во лбу, так что я не могу смотреть по сторонам, не поворачивая головы; не могу есть, не



прибегая к помощи передних ног, для чего, вероятно, природа и наделила их столькими суставами. Он не понимал назначения расчлененных отростков на концах моих задних ног; по его мнению, непокрытые кожей какого нибудь другого животного, они слишком нежны для твердых и острых камней, да и все мое тело не имеет никакой защиты от стужи и зноя, кроме платья, и я обречен на скучное и утомительное занятие ежедневно надевать и сбрасывать его. Наконец, по его наблюдениям, все животные этой страны питают инстинктивное отвращение к *йэху*, причем более слабые убегают от *йэху*, а те, что посильнее, прогоняют их от себя. Таким образом, если даже допустить, что мы одарены разумом, все же непонятно, как мы могли не только победить эту общую к нам антипатию всех живых существ, но даже приручить их и заставить служить себе. Однако он не стал вести дальнейшего обсуждения этого

вопроса, потому что ему больше хотелось выслушать историю моей жизни, узнать где я родился и что со мною было до моего прибытия сюда.

Я заверил его, что с величайшей охотой готов удовлетворить его любопытство, но сильно сомневаюсь, удастся ли мне быть достаточно ясным относительно явлений, о которых у его милости не может быть никакого представления, так как я не заметил в этой стране ничего похожего; тем не менее я буду всячески стараться выражать свои мысли путем сравнений, и прошу его любезной помощи, когда я встречу затруднение в подыскании нужных слов. Его милость обещал исполнить мою просьбу.

Я сказал ему, что родился от почтенных родителей на острове, называемом Англией, который так далеко отсюда, что самый крепкий слуга его милости едва ли мог бы добежать до него в течение годичного движения солнца; что я изучал хирургию, т. е. искусство излечивать раны и повреждения, полученные от несчастных случайностей или нанесенные чужой рукой; что моя родина находится под управлением самки той же породы, что и я, которую мы называем королевой; что я покинул родину с целью разбогатеть и по возвращении жить с семьей в достатке; что в последнее свое путешествие я был капитаном корабля и под моей командой находилось около пятидесяти *йэху*, из которых многие умерли в пути, и я принужден был заменить их другими *йэху*, набранными среди различных народов; что наш корабль дважды подвергался опасности потонуть: один раз во

время сильной бури, а другой — наскочив на скалу. Здесь мой хозяин остановил меня и спросил, каким образом я мог уговорить чужеземцев из разных стран отважиться на совместное со мной путешествие после всех понесенных мною потерь и испытанных опасностей. Я отвечал, что это были люди, отчаявшиеся в своей судьбе, которых выгнала с родины нищета или преступление. Одни были разорены бесконечными тяжбами; другие промотали свое имущество благодаря пьянству, разврату и азартной игре; многие из них обвинялись в измене, убийстве, воровстве, отравленьи, грабеже, клятвопреступлении, подлоге, чеканке фальшивой монеты, изнасиловании или мужеложстве, дезертирстве и переходе на сторону неприятеля; большинство были беглые из тюрем; они не отважились вернуться на родину из страха быть повешенными или сгнить в заточении и потому были вынуждены искать средств к существованию в чужих краях.

Во время этого рассказа моему хозяину угодно было несколько раз перебить меня. Мне часто пришлось прибегать к иносказаниям, чтобы дать ему представление о многочисленных преступлениях, принудивших большую часть моего экипажа покинуть свою родину. Понадобилось несколько дней, прежде чем он научился понимать меня. Он был в полном недоумении, что̀ могло побудить этих людей к совершению подобных преступлений. Чтобы уяснить ему это, я постарался дать ему некоторое представление о свойственной всем нам ненасытной жажде власти, об ужасных последствиях сластолюбия, невоз-

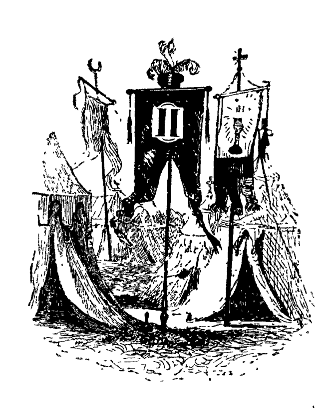
держности, злобы и зависти. Все это приходилось определять и описывать при помощи примеров и сравнений. После моих объяснений хозяин с удивлением и негодованием поднял глаза к небу, как мы делаем это, когда наше воображение бывает поражено чем нибудь никогда невиданным и неслыханным. Власть, правительство, война, закон, наказание и тысяча подобных понятий не имели соответствующих терминов на языке *гуигнгнмов*, что почти лишало меня возможности дать моему хозяину сколько нибудь правильное представление о том, что я говорил ему. Но, обладая от природы большим умом, укрепленным размышлением и беседами, он в заключение довольно удовлетворительно уяснил себе, на что бывает способна природа человека в наших странах, и пожелал, чтобы я дал ему более подробное описание той части света, которую мы называем Европой, и особенно моего отечества.





## ГЛАВА ПЯТАЯ

*По повелению своего хозяина автор знакомит его с положением Англии. Причины войн между европейскими государями. Автор приступает к изложению английской конституции.*



Пусть читатель благоволит принять во внимание то обстоятельство, что нижеследующее извлечение из многочисленных моих бесед с хозяином содержит только наиболее существенное из того, что было мной сказано в течение около двух лет; его милость требовал от меня все больших подробностей по мере того, как я совершенствовался в языке *гуигнгнмов*. Я изложил ему как можно яснее общее положение Европы, рассказал о торговле и промышленности, науках и искусствах; и ответы,

которые я давал ему на вопросы, возникавшие у него по разным поводам, служили в свою очередь неиссякаемым источником для новых бесед. Но я ограничусь здесь только самым существенным из того, что было нами сказано относительно моей родины, приведя эти разговоры в возможно более строгий порядок; при этом я не стану обращать внимания на хронологическую последовательность и другие побочные обстоятельства, я буду только заботиться об истине. Меня беспокоит лишь то, что я вряд ли сумею точно передать доводы и выражения моего хозяина, и они сильно пострадают как от моей неумелости, так и от их перевода на наш варварский язык.

Итак, исполняя желание его милости, я рассказал про последнюю английскую революцию, произведенную принцем Оранским, многолетнюю войну с Францией, начатую этим принцем и возобновленную его преемницей, ныне царствующей королевой Анной, войну, в которой приняли участие все великие христианские державы и которая продолжается и до сих пор. По просьбе моего хозяина я вычислил, что в течение этой войны было убито должно быть около миллиона *йэху*, взято около ста городов и в три раза более этого сожжено или затоплено кораблей.

Хозяин спросил меня, что же служит обыкновенно причиной или поводом, побуждающим одно государство воевать с другим. Я отвечал, что их несчетное количество; но я ограничусь перечислением немногих, наиболее важных. Иногда таким поводом является честолюбие монар-



ховъ, которымъ все бываетъ мало земель или людей, находящихся подъ ихъ властью; иногда — испорченность министровъ, вовлекающихъ своихъ государей въ войну, чтобы заглушить и отвлечь жалобы подданныхъ на ихъ дурное управленіе. Различіе мнѣній*стоило многихъ милліоновъ жизней; напримѣръ, является ли тѣло хлѣбомъ или хлѣбъ

телом; является ли сок некоторых ягод кровью или вином; нужно ли считать свист грехом или добродетелью; что лучше: целовать кусок дерева или бросать его в огонь; какого цвета должна



быть верхняя одежда: черного, белого, красного или серого; какова она должна быть: короткая или длинная, широкая или узкая, грязная или чистая, и т. д. и т. д. Я прибавил, что войны наши бывают наиболее ожесточенными, кровавыми и продолжительными именно в тех случаях, когда они обусловлены различием мнений, особенно если это различие касается вещей несущественных.

Иногда война между двумя государями разгорается из-за решения вопроса, кому из них

надлежит низложить третьего, хотя ни один из них не имеет на то никакого права. Иногда один государь нападает на другого из страха, как бы тот не напал на него первым; иногда война начинается потому, что неприятель силен, а иногда, наоборот, потому что он слишком слаб. Нередко у наших соседей нет того, что есть у нас, или же есть то, чего нет у нас: тогда мы деремся, пока они не отберут у нас наше или не отдадут нам свое. Вполне извинительным считается нападение на страну, если население ее изнурено голодом, истреблено чумою или обессилено внутренними раздорами. Точно также признается справедливой война с самым близким союзником, если какой нибудь его город расположен удобно для нас или кусок его территории округлит и завершит наши владения. Если какой нибудь монарх посылает свои войска в страну, население которой бедно и невежественно, то половину его он может самым законным образом истребить, а другую половину обратить в рабство, чтобы вывести этот народ из варварства и приобщить к благам цивилизации. Весьма распространен также следующий очень царственный и благородный образ действия: государь, приглашенный соседом помочь ему против вторгшегося в его пределы неприятеля, по благополучном изгнании последнего захватывает владения союзника, на помощь которому пришел, а его самого убивает, заключает в тюрьму или изгоняет. Кровное родство и брачные союзы являются весьма частой причиной войн между государями, и чем ближе это родство, тем больше они склонны к вражде.

Бедные нации алчны, богатые надменны, а надменность и алчность всегда не в ладах. По всем этим причинам ремесло солдата считается у нас самым почетным, так как солдат есть *йэху*, нанимающийся хладнокровно убивать возможно



большее число подобных себе существ, не причинивших ему ни малейшего зла.

Кроме того в Европе существует особый вид нищих государей,* неспособных вести войну самостоятельно и отдающих свои войска в наем

богатым государствам за определенную поденную плату с каждого солдата, из каковой платы они удерживают в свою пользу три четверти, что составляет существеннейшую статью их доходов; таковы государи Германии и других северных стран Европы.

Все, что вы сообщили мне (сказал мой хозяин) по поводу войн, как нельзя лучше доказывает действия того разума, на обладание которым вы притязаете; к счастью, однако, ваше поведение не столько опасно, сколько позорно, ибо природа создала вас так, что вы не можете причинить особенно много зла.

В самом деле, ваш рот расположен в одной плоскости с остальными частями лица, так что вы вряд ли можете кусать друг друга, разве что по обоюдному согласию. Затем ваши когти на передних и задних ногах так коротки и нежны, что каждый наш *йэху* легко справится с дюжиной ваших собратьев. Поэтому что касается приведенных вами чисел убитых в боях, то, мне кажется, простите, вы *говорите то, чего нет.*

При этих словах я покачал головой и не мог удержаться от улыбки. Военное искусство было мне не чуждо, и потому я обстоятельно описал ему, что такое пушки, кулеврины, мушкеты, карабины, пистолеты, пули, порох, сабли, штыки, сражения, осады, отступления, атаки, мины и контр-мины, бомбардировки, морские сражения, потопление кораблей с тысячью матросов, десятки тысяч убитых с каждой стороны; стоны умирающих, взлетающие в воздух члены, дым, шум, смятение, смерть под лошадиными копытами; бегство, преследование, победа; поля, по-



крытые трупами, брошенными на съедение собакам, волкам и хищным птицам; разбой, грабежи, изнасилования, пожары, разорение. И, желая похвастаться перед ним храбростью моих дорогих соотечественников, я сказал, что сам

был свидетелем, как при осаде одного города они взорвали на воздух сотню неприятельских солдат и столько же в одном морском сражении, так что куски человеческих тел падали точно с неба, к общему удовольствию всех зрителей.

Я хотел было пуститься в дальнейшие подробности, но хозяин приказал мне замолчать. Всякий, кто знает природу *йэху*, сказал он, без труда поверит, что такое гнусное животное способно на все описанные мною действия, если его сила и хитрость окажутся равными его злобе. Но мой рассказ увеличил его отвращение ко всей этой породе и поселил в уме его беспокойство, которого он никогда раньше не испытывал. Он боялся, что, привыкнув слушать подобные гнусные слова, он со временем станет относиться к ним с меньшим отвращением. Хотя он гнушался *йэху*, населяющих эту страну, все же он не больше порицал их за их противные качества, чем *гннэйх* (хищную птицу) за ее жестокость или острый камень за то, что он повредил его копыто. Но узнав, что существа, притязающие на обладание разумом, способны совершать подобные ужасы, он опасается, что развращенный разум пожалуй хуже какой угодно звериной тупости. Поэтому он склонен думать, что мы одарены не разумом, а какой то особенной способностью, содействующей росту наших природных пороков, подобно тому, как волнующийся поток, отражая уродливое тело, не только увеличивает его, но еще более обезображивает.

Тут он заявил,* что уже достаточно наслушался о войне как в этот наш разговор, так и

раньше. Теперь его немного смущал другой вопрос. Я сообщил ему, что некоторые матросы моего бывшего экипажа покинули свою родину, потому что были разорены *законом;* хотя я уже объяснил ему смысл этого слова, однако он недоумевал, каким образом закон, назначение которого охранять интересы каждого, может привести кого нибудь к разорению. Поэтому он желал услышать от меня более обстоятельные разъяснения относительно того, что̀ я понимаю под законом и его применением, согласно практике, существующей в настоящее время у меня на родине: ибо, по его мнению, природа и разум являются достаточными руководителями разумных существ, какими мы считаем себя, и ясно показывают нам, что мы должны делать и чего должны избегать.

Я ответил его милости, что законы есть область, в которой я мало сведущ, так как все мое знакомство с ними ограничивается обращением к стряпчим, безуспешно защищавшим мою жалобу на причиненные мне несправедливости; все же, по мере сил, я постараюсь удовлетворить его любопытство.

Я сказал, что у нас есть целая корпорация людей, смолоду обученных искусству доказывать при помощи пространных речей, что белое черно, а черное бело, соответственно деньгам, которые им за это платят. Эта корпорация держит в рабстве весь народ. Например, если моему соседу понравилась моя корова, то он нанимает стряпчего с целью доказать, что он вправе отнять у меня мою корову. С своей стороны, для защиты моих прав мне необхо-

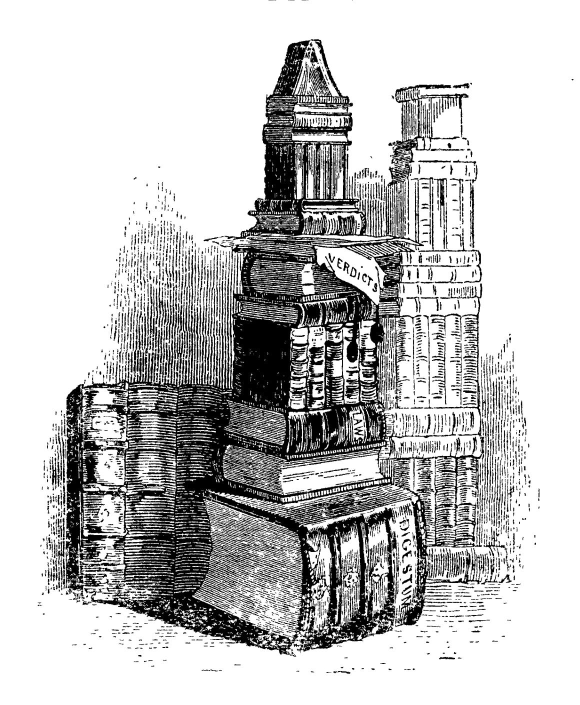


димо нанять другого стряпчего, так как закон никому не позволяет защищаться в суде самостоятельно. Кроме того, мое положение законного собственника оказывается в двух отношениях невыгодным. Во первых, мой стряпчий, привыкнув почти с колыбели защищать ложь, чувствует себя не в своей стихии, когда ему приходится отстаивать правое дело. И, оказавшись в положении неестественном, всегда действует крайне неуклюже и подчас даже злонамеренно. Невыгодно для меня также и то, что мой стряпчий должен проявлять крайнюю осмотрительность, иначе он рискует получить замечание со стороны судей и навлечь неприязнь своих собратьев за унижение профессионального достоинства. Таким образом, у меня только два способа сохранить свою корову. Либо я под-

купаю двойным гонораром стряпчего противной стороны, который подводит своего клиента, намекнув суду, что справедливость на его стороне. Либо мой защитник изображает мои претензии как явно несправедливые, высказывая предположение, что корова принадлежит моему противнику; если он сделает это достаточно искусно, то расположение судей в мою пользу обеспечено.

Ваша милость должна знать, что судьями у нас называются лица, на которых возложена обязанность решать всякого рода имущественные тяжбы, а также уголовные дела; выбираются они из числа самых искусных стряпчих, состарившихся и обленившихся. Выступая всю свою жизнь против истины и справедливости, судьи эти с роковой необходимостью потворствуют обману, клятвопреступлению и насилию, и я знаю, что сплошь и рядом они отказываются от крупных взяток, предлагаемых им правой стороной, лишь бы только не подорвать авторитет сословия совершением поступка, несоответствующего его природе и достоинству.

В этом судейском сословии установилось правило, что однажды вынесенное решение может, по аналогичному поводу, применяться вновь; на этом основании они с великою заботливостью сохраняют все старые решения, попирающие справедливость и здравый человеческий смысл. Эти решения известны у них под именем *прецедентов;* на них ссылаются как на авторитет, для оправдания самых несправедливых мнений, и судьи никогда не упускают случая руководствоваться этими прецедентами.




При разборе тяжеб они тщательно избегают касаться сущности дела; зато горячатся и кричат до хрипоты, пространно излагая обстоятельства, не имеющие к делу никакого отношения. Так, в упомянутом уже случае, они никогда не выразят желания узнать, какое право имеет мой противник на мою корову и какие доказательства этого права он может представить; но проявят величайший интерес к тому, рыжая ли упомянутая корова или черная; длинные у нее рога или короткие; круглое ли то поле, на котором она паслась, или четыреугольное; дома ли

ее доят или на пастбище; каким болезням она подвержена и т. п.; после этого они начнут справляться с прецедентами, будут откладывать дело с одного срока на другой и через десять, двадцать или тридцать лет придут наконец к какому нибудь решению.

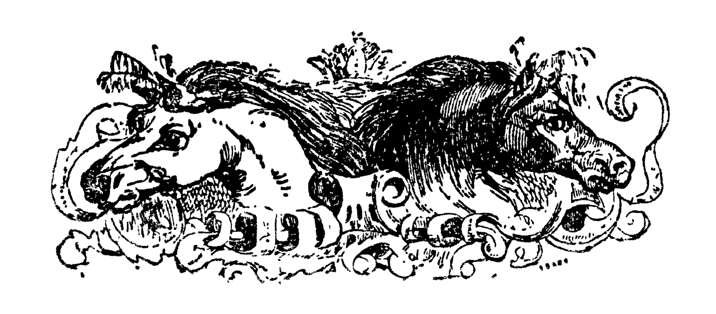
Следует также принять во внимание, что это судейское сословие имеет свой собственный язык, особый жаргон, недоступный пониманию обыкновенных смертных, на котором пишутся все их законы. Эти законы умножаются с таким усердием, что ими совершенно затемнена подлинная сущность истины и лжи, справедливости и несправедливости; поэтому потребовалось бы не меньше тридцати лет, чтобы разрешить вопрос, мне ли принадлежит поле, доставшееся мне от моих предков, владевших им в шести поколениях, или какому либо чужеземцу, живущему за триста миль от меня.

Судопроизводство над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, отличается несравненно большей быстротой и метод его гораздо похвальнее: судья первым делом осведомляется о настроении власть имущих, после чего без труда приговаривает обвиняемого к повешению или оправдывает, строго соблюдая при этом букву закона.

Тут мой хозяин прервал меня, выразив сожаление, что такие существа, как эти судейские, одаренные, повидимому, судя по данному мной описанию, удивительными способностями, не поощряются к лучшему употреблению своих талантов, например, к наставлению других мудрости и добродетели. В ответ на это, я уверил

его милость, что во всем, не имеющем отношения к их профессии, они являются обыкновенно самыми невежественными и глупыми из всех нас, неспособными вести самый простой разговор, заклятыми врагами всякого знания и всякой науки, так же склонными извращать здравый человеческий смысл во всех других областях, как они извращают его в своей профессии.





## ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Продолжение описания Англии. Характеристика первого или главного министра при европейских дворах.*




ой хозяин все же был совершенно неспособен понять, какие мотивы побуждают это сословие законников тревожиться, беспокоиться и вступать в союз с несправедливостью просто для нанесения вреда своим ближним; он не мог также постичь, что я разумею, говоря, что за свой труд они получают плату. В ответ на это мне пришлось с большими затруднениями описать ему употребление денег, материал, из ко-

торого они изготовляются, и цену благородных металлов; я сказал ему, что, когда *йэху* собирает большое количество этого драгоценного вещества, то он может приобрести все, что ему вздумается: красивые платья, великолепные дома, большие пространства земли, самые дорогие яства и напитки; ему открыт выбор самых кра-



сивых самок. И так как одни только деньги способны доставить все эти блага, то нашим *йэху* все кажется, что денег у них недостаточно на расходы или на сбережения, в зависимости от того, к чему они больше предрасположены: к мотовству или к скупости. Я сказал также, что богатые пожинают плоды работы бедных, которых приходится по тысяче на одного богача, и что громадное большинство нашего народа вынуждено влачить жалкое существование, работая изо дня в день за скудную плату, чтобы меньшинство наслаждалось всеми благами жизни. Я подробно остановился на этом вопросе и разных связанных с ним частностях, но его милость плохо схватывал мою мысль, ибо он исходил из положения, что все животные имеют право на свою долю земных плодов, особенно те, которые господствуют над остальными. Поэтому он выразил желание знать, каковы же эти дорогие яства и почему некоторые из нас нуждаются в них. Тогда я перечислил все самые изысканные кушанья, какие я только мог припомнить, и описал различные способы их приготовления, заметив, что за приправами к ним, различными напитками и бесчисленными пряностями приходится посылать корабли за море во все страны света. Я сказал ему, что нужно по крайней мере трижды объехать весь земной шар прежде, чем удастся достать провизию для завтрака какой нибудь знатной самки наших *йэху* или чашку, в которой он должен быть подан. Бедна же однако страна, — сказал мой собеседник, — которая не может прокормить своего населения! Но особенно его поразило то

обстоятельство, что описанные мной обширные территории совершенно лишены пресной воды, и население их вынуждено посылать в заморские земли за питьем. Я ответил ему на это, что Англия (дорогая моя родина), по самому точному подсчету, производит разного рода съестных припасов в три раза больше, чем способно потребить ее население, а что касается питья, то из зерна некоторых злаков и из плодов некоторых растений мы извлекаем или выжимаем сок и получаем таким образом превосходные




напитки; в такой же пропорции у нас производится все вообще необходимое для жизни. Но для удовлетворения сластолюбия и неумерен-

ности самцов и суетности самок мы посылаем большую часть наших предметов первой необходимости в другие страны, откуда взамен вывозим материалы для питания наших болезней, пороков и прихотей. Отсюда неизбежно следует, что огромное количество моих соотечественников вынуждены добывать себе пропитание нищенством, грабежом, воровством, мошенничеством, сводничеством, клятвопреступлением, подкупами, подделкой, ложью, игрой, холопством, бахвальством, торговлей избирательными голосами, бумагомаранием, звездочетством, отравлением, развратом, ханжеством, клеветой, вольнодумством и тому подобными занятиями; читатель может себе представить, сколько труда мне понадобилось, чтобы растолковать *гуигнгнму* каждое из этих слов.

Я объяснил ему, что вино, привозимое к нам из чужих стран, служит не для восполнения недостатка в воде и в других напитках, но влага эта веселит нас, одурманивает, рассеевает грустные мысли, наполняет мозг фантастическими образами, убаюкивает несбыточными надеждами, прогоняет страх, приостанавливает на некоторое время деятельность разума, лишает нас способности управлять движениями нашего тела и погружает в заключение в глубокий сон; правда, нужно признать, что от такого сна мы просыпаемся всегда больными и удрученными и что употребление этой влаги рождает у нас всякие недуги, делает нашу жизнь несчастной и сокращает ее.

Кроме всего этого, большинство населения добывает у нас средства к существованию снаб-



жением богачей и вообще друг друга предметами первой необходимости и роскоши. Например, когда я нахожусь у себя дома и одеваюсь, как мне полагается, я ношу на своем теле работу по крайней мере ста человек; постройка и обстановка моего дома требуют еще большего числа рабочих, а чтобы нарядить мою жену, нужно увеличить это число еще в пять раз.

Я собрался было рассказать ему еще об одном классе людей, добывающем себе средства к жизни уходом за больными, потому что несколько раз упоминал уже его милости, что много матросов на моем корабле погибло от болезней; но тут мне пришлось затратить много времени на то, чтобы растолковать ему мои намерения. Для него было вполне понятно, что каждый *гуигнгнм* слабеет и отяжелевает за несколько дней до смерти или получает случайно какое нибудь поранение. Но он не мог допустить, чтобы природа, все произведения которой совершенны, способна была взращивать в нашем теле болезни, и просил меня разъяснить причину этого непостижимого бедствия. Я рассказал ему, что мы употребляем в пищу тысячу различных веществ, которые часто оказывают на наш организм прямо противоположное действие; что мы едим, когда мы не голодны, и пьем, не чувствуя никакой жажды; что целые ночи напролет мы пьем крепкие напитки, и ничего при этом не едим, что̀ располагает нас к лени, воспаляет наши внутренности, расстраивает желудок или препятствует пищеварению; что занимающиеся проституцией самки *йэху* приобретают особую болезнь, от которой гниют кости, и заражают этой болезнью каждого, кто попадает в их объятия; что эта болезнь, как и многие другие, передается от отца к сыну, так что многие из нас уже при рождении на свет носят в себе зачатки недугов; что понадобилось бы слишком много времени для перечисления всех болезней, которым подвержено человеческое тело, так как не менее пяти или шести сот их пора-



жают каждый его член и сустав; словом, всякая часть нашего тела, как внешняя, так и внутренняя, подвержена множеству специфических болезней. Для искоренения этого зла у нас существует целый класс специально обученных людей, которые лечат больных или показывают вид, будто лечат. И так как я обладаю некоторыми сведениями в этом искусстве, то в знак благодарности к его милости могу посвятить его в тайны и методы, практикуемые представителями этого класса.

Основное положение их науки гласит, что все болезни происходят от переполнения, откуда они справедливо заключают, что прежде всего необходимо опорожнить тело или через естественный проход или вѐрхом, через рот. Для достижения этого они берут разные травы, минералы смолы, масла, раковины, соли, соки,

водоросли, экскременты, древесную кору, змей, жаб, лягушек, пауков, мясо и кости покойников,



птиц, животных и рыб и изготовляют из всего этого микстуру, на запах и на вкус самую противную, самую тошнотворную и самую омерзительную, какую только возможно себе пред-



ставить, так что желудок немедленно с отвращением извергает ее вон; они называют ее рвотным. Или же, приготовя из тех же веществ с придачей некоторых ядов столь же пакостное и непереносимое для кишек лекарство, заставляют принимать его (смотря по настроению медика) то



через верхнее, то через нижнее отверстие; лекарство это, расслабляя брюхо, гонит из него все его содержимое и называется слабительным или клистиром. В самом деле, так как природа (рассуждают медики) назначила человеку верхнее переднее отверстие только для введения внутрь твердых и жидких веществ, а нижнее заднее для извержения, а при всех болезнях природа, по остроумной теории этих ловкачей, как бы выбивается из седла, то для водворения ее на место с телом больного нужно обращаться прямо противоположным образом и заставить оба отверстия поменяться ролями: вводить твердые и



жидкие вещества через задний проход, а опорожнения производить через рот.



Но кроме действительных болезней, мы подвержены множеству болезней мнимых, против которых врачи изобрели мнимое лечение; эти болезни имеют свои названия и соответствую-

щие лекарства; ими всегда страдают самки наших *йэху*.

Особенно отличается это племя в искусстве прогноза; тут они редко совершают промах; действительно, в случае настоящей болезни, более или менее злокачественной, медики обык-



новенно предсказывают смерть, которая всегда в их власти, между тем как излечение от них не зависит; поэтому при неожиданных признаках улучшения, после того как ими уже был произнесен приговор, они, не желая прослыть лжепророками, умеют доказать свою мудрость своевременно данной дозой лекарства.

Равным образом они бывают весьма полезны мужьям и женам, если те устали носить супружеские цепи, старшим сыновьям, первым министрам и часто государям.

Мне уже раньше приходилось беседовать с моим хозяином о природе правительства вообще и в частности — о нашей превосходной конституции, вызывающей заслуженное удивление и зависть всего света. Но когда я однажды

произнес слово министр, то мой хозяин, спустя некоторое время, попросил меня объяснить ему, какую именно разновидность *йэху* обозначаю я этим словом.

Я ответил ему,* что первый или главный министр государства, особу которого я намереваюсь описать, является существом совершенно неподверженным радости и горю, любви и ненависти, жалости и гневу; по крайней мере, он не проявляет никаких страстей, кроме неистовой жажды богатства, власти и почестей; он пользуется словами для самых различных целей, но только не для выражения своих мыслей; он никогда не говорит правды, иначе как с намерением, чтобы ее приняли за ложь, и лжет только в тех случаях, когда хочет выдать свою ложь за правду; люди, о которых он дурно отзывается за глаза, могут быть уверены, что они находятся на пути к почестям; если же он начинает хвалить вас перед другими или в глаза, с того самого дня вы человек погибший. Наихудшим предзнаменованием для вас бывает обещание министра, особенно когда оно подтверждается клятвой; после этого каждый благоразумный человек удаляется и оставляет всякую надежду.

Есть три способа, при помощи которых можно достигнуть поста главного министра. Первый способ—уменье распорядиться женой, дочерью или сестрой; второй—предательство своего предшественника или подкоп под него; и, наконец, третий — яростное нападение в общественных собраниях на испорченность двора. Однако мудрый государь отдает предпочтение тем, кто



применяет последний способ, ибо эти фанатики всегда с наибольшим раболепием будут потакать прихотям и страстям своего господина. Достигнув власти, министр, в распоряжении

которого все должности, укрепляет свое положение путем подкупа большинства сенаторов или членов большого совета; в заключение, оградив себя от всякой ответственности особым актом, называемым амнистией (я изложил его милости его сущность), они удаляются от общественной деятельности, отягченные награбленным у народа богатством.

Дворец первого министра служит рассадником лиц, воспитывающихся для такого же рода деятельности: пажи, лакеи, швейцары, подражая своему господину, становятся такими же министрами в своей сфере и в совершенстве изучают три главных элемента этого искусства: наглость, ложь и подкуп. Вследствие этого, каждый из них имеет у себя свой двор, составленный из лиц высшего круга; подчас, благодаря ловкости и бесстыдству, им удается, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, стать преемниками своего господина.

Первым министром управляет обыкновенно какая нибудь старая распутница или лакей фаворит; они являются каналами, по которым разливаются все милости министра, и по справедливости могут быть названы подлинными правителями государства.

Однажды во время моего рассказа о нашем дворянстве хозяин удостоил меня комплиментом, которого я совсем не добивался. Он сказал, что я наверное родился в благородной семье, так как по сложению, цвету кожи и чистоплотности я значительно превосхожу всех *йэху* его родины, хотя, повидимому, и уступаю последним в силе и ловкости, что̀, по его

мнению, обусловлено, моим образом жизни, отличающимся от образа жизни других животных; кроме того, я не только одарен способностью речи, но также некоторыми зачатками разума в такой степени, что все его знакомые считают меня чудом.

Он обратил мое внимание на то, что среди *гуигнгнмов* белые, гнедые и темносерые хуже сложены, чем серые в яблоках, караковые и вороные; они не обладают такими природными талантами и в меньшей степени поддаются развитию; поэтому всю свою жизнь они остаются в положении слуг, даже и не мечтая о лучшей участи, ибо все их притязания были бы признаны здесь противоестественными и чудовищными.

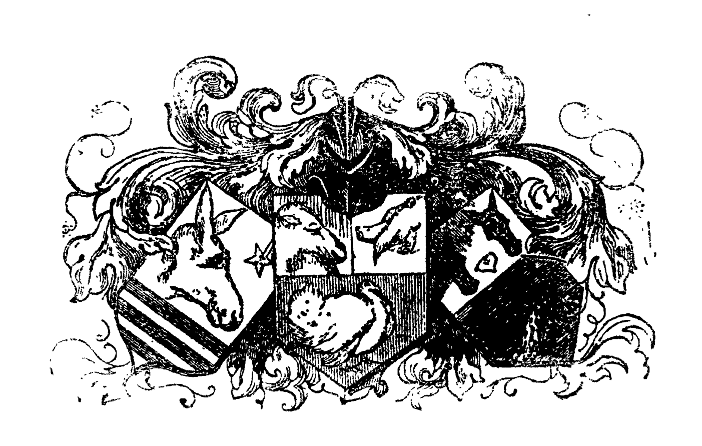
Я выразил его милости мою нижайшую благодарность за доброе мнение, которое ему угодно было составить обо мне; но уверил его в то же время, что происхождение мое очень невысокое, и что мои родители были скромные почтенные люди, которые едва имели возможность дать мне приличное образование; я сказал ему, что наше дворянство совсем непохоже на то представление, какое он составил себе о нем; что молодые дворяне с самого детства воспитываются в праздности и роскоши и, как только им позволяет возраст, сжигают свои силы в обществе распутных женщин, от которых заражаются дурными болезнями; промотав таким образом почти все свое состояние, они женятся ради денег на женщинах низкого происхождения, не отличающихся ни красотой, ни здоровьем, которых они ненавидят и прези-

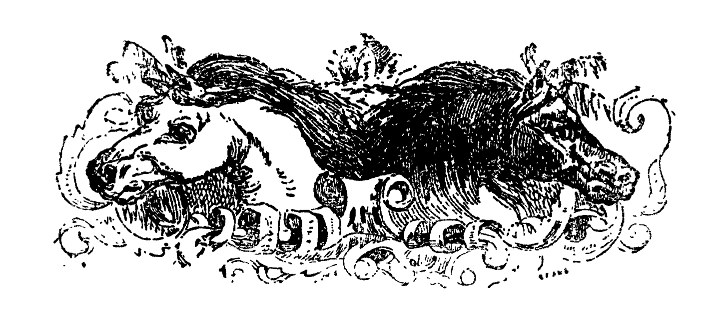


рают. Плодом этих браков обыкновенно являются золотушные, рахитические или уродливые дети; при таких условиях дворянские фамилии редко продолжаются долее трех поколений, разве только жены предусмотрительно выбирают среди соседей и прислуги здоровых отцов в целях улучшения и продолжения рода. Слабое болезненное тело, худоба, землистый цвет лица — вот верные признаки благородной крови; здоровое и крепкое сложение считается даже бесчестьем для человека знатного, ибо, при виде такого здоровяка, все тотчас заключают, что его настоящим отцом был конюх или кучер. Недостатки физические сопровождаются недостатками умственными и нравственными, так что люди эти

представляют собой смесь хандры, тупоумия, невежества, самодурства, чувственности и спеси.

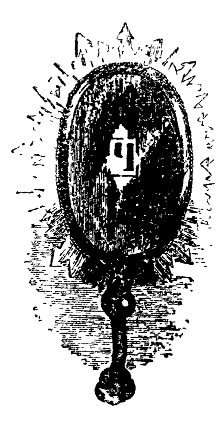
И вот, без согласия* этого блестящего класса не может быть издан, отменен или изменен ни один закон; эти же люди безапелляционно решают все наши имущественные отношения.





## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*Глубокий патриотизм автора. Замечания хозяина относительно описанных автором английской конституции и английского правления, с приведением параллелей и сравнений. Наблюдения хозяина над человеческой природой.*




итатель будет, пожалуй, удивлен, каким образом я мог решиться изобразить наше племя в столь не прикрытом виде перед породой существ, и без того очень склонявшихся к самому неблагоприятному мнению о человеческом роде, благодаря моему пол ному сходству с тамошними *йэху*. Но я должен чистосердечно признаться, что сопоставление множества добродетелей этих прекрасных четвероногих с человеческой испорченностью до такой степени раскрыло мне глаза и так расширило мой умственный круго-

зор, что поступки и страсти человека предстали мне в совершенно новом свете, и я пришел к заключению, что не стоит щадить честь моего племени; впрочем, мне бы это и не удалось в присутствии лица со столь проницательным умом, как мой хозяин, ежедневно изобличавший меня в тысяче пороков, которых я вовсе не замечал до сих пор, и которые у нас, людей, не считались бы даже легкими недостатками. Равным образом, следуя его примеру, я воспитал в себе глубокую ненависть ко всякой лжи и притворству, и истина стала мне столь любезной, что я решил пожертвовать всем ради нее.

Но я хочу быть вполне откровенным с читателем и сознаюсь, что у меня был еще более могущественный мотив не церемониться при изображении быта и нравов моих соотечественников. Не прожив в этой стране даже года, я проникся такой любовью и уважением к ее обитателям, что принял твердое решение никогда больше не возвращаться к людям и провести остаток дней своих среди этих удивительных *гуигнгнмов*, созерцая всяческую добродетель и упражняясь в ней; в стране, где перед моими глазами вовсе не было дурных примеров и поощрений к пороку. Но судьба, мой вечный враг, постановила не отпускать на мою долю столь огромного счастья. Однако я не без удовольствия думаю сейчас, что в рассказах о моих соотечественниках я смягчил их недостатки, насколько это было возможно в присутствии столь проницательного ума, и каждый пункт оборачивал так, чтобы представить его в наиболее выгодном освещении. Ибо есть разве живое существо,

которое не питало бы слабости и не относилось бы снисходительно к месту своего рождения?

Я передал только самое существенное из моих многочисленных бесед с хозяином, продолжавшихся почти все время, когда я имел честь состоять у него на службе, и для краткости опустил гораздо больше, чем приведено мной здесь.

Когда я ответил на все вопросы хозяина, и его любопытство было, повидимому, вполне удовлетворено, он послал однажды рано утром за мной, и, пригласив меня сесть на некотором от него расстоянии (честь, которой раньше я никогда не удостоивался), сказал, что он много размышлял по поводу рассказанного мной как о себе, так и о моей родине, и пришел к заключению, что мы являемся особенной породой животных, наделенных, благодаря какой то непонятной для него случайности, крохотной частицей разума, каковой мы пользуемся лишь для усугубления прирожденных нам недостатков и для приобретения пороков, от природы нам несвойственных. Заглушая в себе многие дарования, которыми наделила нас природа, мы необыкновенно искусны по части умножения наших первоначальных потребностей и, повидимому, проводим всю свою жизнь в суетных стараниях удовлетворить их при помощи изобретенных нами средств. Что касается меня самого, то я, очевидно, не обладаю ни силой, ни ловкостью среднего *йэху*; не твердо хожу на задних ногах; ухитрился сделать свои когти совершенно непригодными для защиты и удалить с подбородка волосы, предназначенные служить защитой от солнца и непогоды. Наконец, я не могу ни быстро бегать, ни взбираться на де-

ревья, подобно моим братьям (как он все время называл их), местным *йэху*.

Существование у нас правительства и законов очевидно обусловлено большим несовершенством нашего разума, а следовательно и добродетели; ибо для управления разумным существом достаточно одного разума; таким образом, мы, повидимому, вовсе не притязаем на обладание им, даже если судить по моему рассказу; хотя он ясно заметил, что я стараюсь утаить многие подробности для более благоприятного представления о моих соотечественниках, и часто *говорю то, чего нет*.

Еще более он укрепился в этом мнении, когда заметил, что, подобно полному сходству моего тела с телом *йэху*, исключая немногих отличий не в мою пользу: меньшей силы, ловкости, быстроты, коротких когтей и еще некоторых особенностей искусственного происхождения, — образ нашей жизни, наши нравы и наши поступки, согласно нарисованной мной картине, обнаруживают большое сходство между нами и *йэху* также и в умственном отношении. *Йэху*, сказал он, ненавидят друг друга больше, чем животных других видов; причину этого явления обыкновенно усматривают в их внешнем безобразии, которое они видят у других представителей своей особи, но не замечают у себя самих. Поэтому он склонен считать не таким уже неразумным наш обычай носить одежду и при помощи этого изобретения прятать друг от друга телесные недостатки, которые иначе были бы невыносимы. Но теперь он находит, что им была допущена ошибка, и что причины раздоров среди этих

скотов здесь, у него на родине, те же самые, что и описанные мной причины раздоров среди моих соплеменников. В самом деле (сказал он), если вы даете пятерым *йэху* корму, которого хватило бы для пятидесяти, то они, вместо того, чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку, и каждый старается захватить все для себя. Поэтому, когда *йэху* кормят вне дома, то к ним обыкновенно приставляют слугу; дома же их держат на привязи, на некотором расстоянии друг от друга. Если падет корова от старости или от болезни, и *гуигнгнм* не успеет во-время взять ее труп для своих *йэху*, то к нему стадами сбегаются окрестные *йэху* и набрасываются на до-



бычу; тут между ними завязываются целые сражения, вроде описанных мной; они наносят когтями страшные раны друг другу, но убивать противника им удается редко, потому что у них

нет изобретенных нами смертоносных орудий. Иногда подобные сражения между *йэху* соседних местностей начинаются без всякой видимой причины; *йэху* одной местности всячески стараются напасть на соседей врасплох, прежде чем те успели приготовиться. Но если они терпят почему либо неудачу, то возвращаются домой и, за отсутствием неприятеля, завязывают между собою то, что я назвал гражданской войной.

В некоторых местах этой страны попадаются разноцветные блестящие камни, к которым *йэху* питают настоящую страсть; и если камни эти крепко сидят в земле, как это иногда случается,



они роют когтями с утра до ночи, чтобы вырвать их, после чего уносят свою добычу и кучами зарывают ее у себя в логовищах; они

действуют при этом с крайней осторожностью беспрестанно оглядываясь по сторонам, из боязни как бы товарищи не открыли их сокровищ. Мой хозяин никак не мог понять причину столь неестественного влечения и узнать, для чего нужны *йэху* эти камни; но теперь ему кажется, что влечение это проистекает от той самой скупости, которую я приписываю человеческому роду. Однажды, ради опыта, он потихоньку убрал кучу этих камней с места, куда один из его *йэху* зарыл их; скаредное животное, заметив исчезновение своего сокровища, подняло такой громкий и жалобный вой, что сбежалось целое стадо *йэху* и стало подвывать ему; ограбленный с яростью набросился на товарищей, стал кусать и царапать их, потом затосковал, не хотел ни есть, ни спать, ни работать, пока хозяин не приказал слуге потихоньку положить камни на прежнее место; обнаружив свои драгоценности, *йэху* сразу же оживился и пришел в хорошее настроение, но заботливо спрятал сокровище в более укромное место и с тех пор всегда был скотиной покорной и работящей.

Хозяин утверждал мне также, да я и сам наблюдал это, что наиболее ожесточенные сражения между *йэху* происходят чаще всего на полях, изобилующих драгоценными камнями, потому что поля эти подвергаются постоянным нашествиям окрестных *йэху*.

Когда два *йэху*, продолжал хозяин, находят в поле такой камень и вступают в борьбу за обладание им, то сплошь и рядом он достается третьему, который, пользуясь случаем, схватывает и уносит его. Мой хозяин усматривал тут неко-

торое сходство с нашими судебными процессами; в интересах нашей репутации я не стал разубеждать его, ибо упомянутое им разрешение спора было гораздо справедливее многих наших судебных постановлений. В самом деле, здесь тяжущиеся не теряют ничего, кроме оспариваемого ими друг у друга камня, между тем как наши суды не прекращают дела до тех пор, пока в конец не разорят обе тяжущиеся стороны.

Продолжая свою речь, мой хозяин сказал, что ничто так не отвратительно у *йэху*, как их прожорливость, благодаря которой они набрасываются без разбора на все, что попадается им под ноги: траву, коренья, ягоды, протухшее мясо, или все это вместе; и замечательной их особенностью является то, что пищу, похищенную ими или добытую грабежом где нибудь вдали, они предпочитают гораздо лучшей пище, приготовленной для них дома. Если добыча их велика, они едят ее до тех пор, пока вмещает брюхо, после чего инстинкт указывает им особый корень, вызывающий радикальное очищение желудка.

Здесь попадается еще один очень сочный корень, правда редко, и найти его не легко; *йэху* старательно разыскивают этот корень и с наслаждением его сосут; он производит на них то же действие, какое производит на нас вино. Под его влиянием они то целуются, то дерутся; ревут, гримасничают, издают нечленораздельные звуки, выписывают мыслете, спотыкаются, падают в грязь и засыпают.

Я обратил внимание, что в этой стране *йэху* являются единственными животными, которые



подвержены болезням; однако, этих болезней у них гораздо меньше, чем у наших лошадей. Все они обусловлены не дурным обращением с ними, а нечистоплотностью и обжорством этих гнусных скотов. Язык *гуигнгнмов* знает только одно общее название для всех этих болезней, образованное от имени самого животного: *гни-йэху*, то есть болезнь *йэху*; средством от этой болезни является микстура, составленная из кала и мочи этих животных и насильно вливаемая больному *йэху* в глотку. По моим наблюдениям, лекарство это приносит большую пользу, и, в интересах общественного блага, я смело рекомендую его моим соотечественникам, как превосходное средство против всех недомоганий, вызванных переполнением.

Что касается науки, системы управления, искусства, промышленности и тому подобных

вещей, то мой хозяин признался, что в этом отношении он не находит почти никакого сходства между *йэху* его страны и нашей. Ибо его интересовали только те черты, в которых обнаруживается сходство нашей природы. Правда, он слышал от некоторых любознательных *гуигнгнмов*, что в большинстве стад *йэху* бывают своего рода вожди (подобно тому, как в наших зверинцах стада оленей имеют обыкновенно своих вожаков), которые всегда являются са-



мыми безобразными и злобными из всего стада. У каждого такого вождя бывает обыкновенно

фаворит, имеющий чрезвычайное с ним сходство, обязанность которого заключается в том,



что он лижет ноги и задницу своего господина и доставляет самок в его логовище; в благодарность за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Этот фаворит является предметом ненависти всего стада, и потому, для безопасности, всегда держится возле своего господина. Обыкновенно он остается у власти до тех пор, пока не найдется еще худшего *йэху*; и едва только он удаляется в отставку, как все *йэху* этой области, молодые и старые, самцы и самки, во главе с его преемником, плотно обступают его и обдают с головы до ног своими испражнениями. Насколько все это приложимо к нашим дворам, фаворитам и министрам, мой хозяин предложил определить мне самому.

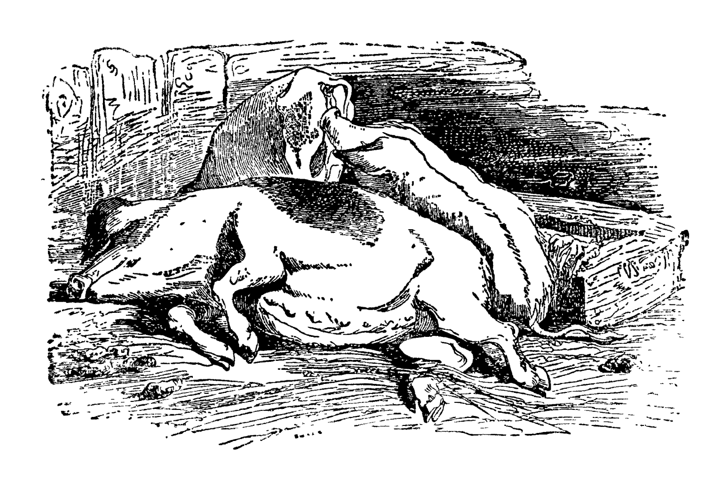
Я не осмелился возразить что нибудь на эту злобную инсинуацию, ставившую человеческий

разум ниже чутья любой охотничьей собаки, которая обладает достаточной сообразительностью, чтобы различить лай наиболее опытного кобеля в своре и следовать за ним, никогда при этом не ошибаясь.

Хозяин мой заметил мне, что у *йэху* есть еще несколько замечательных особенностей, о которых я или не упомянул вовсе в своих рассказах о человеческой породе, или коснулся их слишком бегло. У этих животных, продолжал он, как и у прочих зверей, самки общие; но особенностью их является то, что самка *йэху* подпускает к себе самца даже во время беременности, и что самцы ссорятся и дерутся с самками так же свирепо, как и друг с другом. Оба эти обыкновения свидетельствуют о таком гнусном озверении, до какого никогда не доходило ни одно одушевленное существо.

Другой особенностью *йэху*, не менее поражавшей моего хозяина, было непонятное их пристрастие к нечистоплотности и грязи, в то время как у всех других животных так естественна любовь к чистоте. Что касается двух первых обвинений, то я должен был оставить их без ответа, так как, несмотря на все мое расположение к людям, я не мог найти ни слова в их оправдание. Зато мне было бы не трудно снять с моих соплеменников обвинение, будто они одни отличаются нечистоплотностью, если бы в стране *гуигнгнмов* существовали свиньи, но, к моему несчастью, их там не было. Хотя эти четвероногие более благообразны, чем *йэху* они однако по справедливости не могут, как я скромно полагаю, похвастаться большей чи-

стоплотностью; его милость наверное согласился бы со мной, если бы увидел, как про-



тивно они едят и как любят валяться и спать в грязи.

Мой хозяин упомянул еще об одной особенности, которая была обнаружена его слугами у некоторых *йэху* и осталась для него совершенно необъяснимой. По его словам, иногда *йэху* приходит фантазия забиться в угол, лечь на землю, выть, стонать и гнать от себя каждого, кто подойдет, несмотря на то, что такие *йэху* молоды, упитаны и не нуждаются ни в пище ни в питье; слуги никак не могут взять в толк, что может у них болеть. Единственным лекарством против этого недуга является тяжелая работа, которая неизменно приводит пораженного им *йэху* в нормальное состояние. На этот рассказ я ответил молчанием

из любви к моим соотечественникам, хотя для меня очевидно, что описанное состояние есть зачаток хандры,—болезни, которою страдают обыкновенно только праздные и сластолюбивые богачи и от которой я взялся бы вылечить их, подвергнув режиму, применяемому в таких случаях *гуигнгнмами*.

Далее, его милость сказал, что ему часто случалось наблюдать, как самка *йэху*, завидя проходящих мимо молодых самцов, прячется за



холм или за куст, откуда по временам выглядывает, делая при этом много смешных жестов и гримас; было подмечено, что в такие моменты от нее распространяется весьма неприятный запах. Если некоторые из самцов при-

ближаются к ней, она медленно удаляется, поминутно оглядываясь, затем в притворном страхе убегает в удобное место, прекрасно зная, что самец последует за ней туда.

Если в стадо забегает чужая самка, то две или три представительницы ее пола окружают ее,

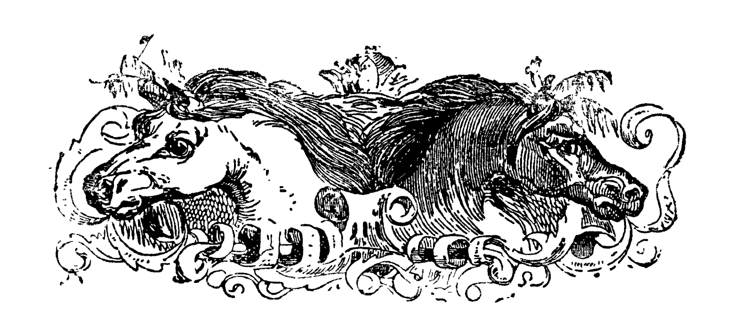


таращат на нее глаза, что то лепечут, гримасничают, обнюхивают ее со всех сторон; затем отворачиваются с жестами презрения и отвращения.

Быть может мой хозяин несколько сгустил краски, передавая мне результаты собственных наблюдений или рассказы, слышанные им от других; однако я не мог не прийти к несколько курьезному и очень прискорбному заключению, что зачатки разврата, кокетства, пристрастной критики и злословия врождены всему женскому полу.

Я все ожидал услышать от моего хозяина обвинения *йэху* в противоестественных наклонностях, которые так распространены у нас среди обоих полов. Однако природа, повидимому, мало опытный наставник в этих утонченных наслаждениях, и они целиком порождены искусством и разумом на нашей части земного шара.





## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Автор описывает некоторые особенности йэху. Великие добродетели гуигнгнмов. Воспитание и упражнения их молодого поколения. Национальное собрание.*




ак как я понимал природу человеческую лучше, чем по моим предположениям мог понимать ее мой хозяин, то мне было не трудно приложить изображенный им характер *йэху* к себе самому и к моим соотечественникам; и мне казалось, что при помощи самостоятельных наблюдений я совершу дальнейшие открытия. Поэтому я часто просил его милость позволения посещать окрестные стада *йэху* на что он всегда любезно соглашался, будучи вполне уверен, что отвращение, питаемое мной

к этим скотам, предохранит меня от всякого дурного влияния с их стороны; но его милость приказал своему слуге, сильному гнедому лошаку, очень славному и добродушному созданию, сопровождать меня, и я сознаюсь, что без его охраны не отважился бы предпринимать такие экскурсии. Я уже рассказал читателю, какой прием оказали мне эти противные животные по прибытии моем в страну. Впоследствии я три или четыре раза чуть было не попал в их лапы, когда удалялся на некоторое расстояние от дома, не захватив с собой тесака. У меня есть основание думать, что животные эти смотрели на меня, как на одного из себе подобных, чему я сам часто содействовал, засучивая рукава и показывая им мои обнаженные руки и грудь, когда мой охранитель находился подле меня. В таких случаях они старались подойти как можно ближе и подражали моим движениям на манер обезьян, но всегда с выражением величайшей ненависти; так дикие галки преследуют прирученную, одетую в колпачок и чулочки, если она случайно залетает в их стаю.

*Йэху* с детства отличаются удивительным проворством. Однако раз мне удалось поймать трехлетнего самца; я всячески старался успокоить его ласками, но чертенок начал так отчаянно орать, царапаться и кусаться, что я вынужден был отпустить его, и хорошо сделал, потому что на шум сбежалось все стадо; но видя, что детеныш невредим (он в это время удрал), а мой гнедой подле меня, *йэху* не посмели подойти к нам. Я почувствовал, что тело молодого *йэху* издает резкий кислый запах, похожий на запах хорька



и лисицы, но гораздо более неприятный. Я забыл упомянуть еще об одной подробности (хотя, вероятно, читатель извинил бы меня, если бы я опустил ее совсем): когда я держал этого паршивца в руках, он загадил мне все платье своими жидкими желтыми испражнениями; к счастью, мы находились подле небольшого ручейка, в котором я тщательно вымылся; однако же я не решился показаться на глаза к своему хозяину до тех пор, пока платье совершенно не проветрилось.

По моим наблюдениям *йэху* являются самыми невосприимчивыми к обучению животными, и неспособны ни к чему большему, как только к тасканию тяжестей. Однако я думаю, что этот

недостаток объясняется главным образом упрямым и недоверчивым характером этих животных. Ибо они хитры, злобны, вероломны и мстительны. Они сильны и дерзки, но вместе с тем трусливы, что делает их наглыми, низкими и жестокими. Замечено, что рыжеволосые обоих полов более похотливы и злобны, чем остальные, которых они значительно превосходят силой и ловкостью.

*Гуигнгнмы* держат *йэху,* которыми они пользуются в качестве рабочего скота, в хлевах недалеко от дома; остальных же выгоняют на поля, где те роют коренья, едят различные травы, разыскивают падаль. а иногда ловят хорь-

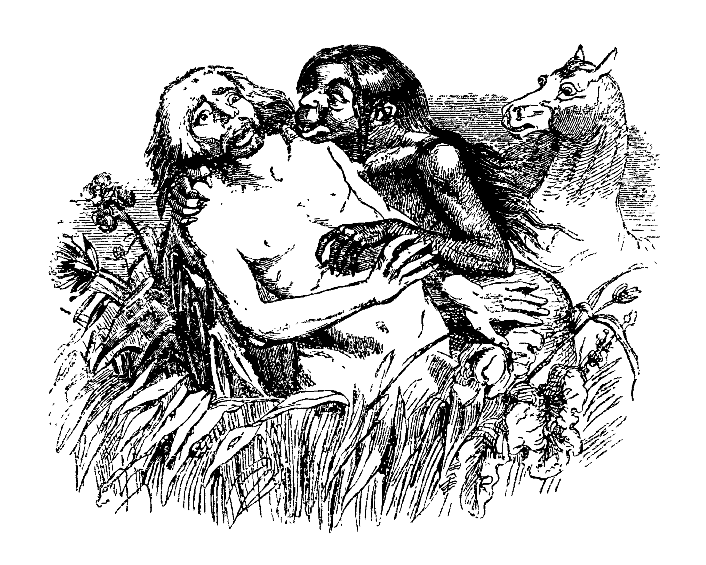


кор и *люхимухс* (вид полевой крысы), которых с жадностью пожирают. Природа научила этих животных рыть когтями глубокие норы на склонах холмов, в которых они живут поодиночке; только логовище самок побольше, так что в них могут поместиться еще два или три детеныша.

Они с детства плавают как лягушки, и могут долго держаться под водой, где часто ловят рыбу, которую самки носят своим детенышам. Надеюсь, читатель извинит меня, если я расскажу ему в связи с этим одно странное приключение.

В одну из моих прогулок день выдался такой жаркий, что я попросил у своего гнедого провожатого позволения выкупаться в речке. Получив согласие, я тотчас разделся до гола и спокойно вошел в воду. Случилось, что за мной все время наблюдала стоявшая за холмиком молодая самка *йэху*. Воспламененная похотью (так об'яснили мы, гнедой и я, ее действия), она стремительно подбежала и прыгнула в воду на расстоянии пяти ярдов от того места, где я купался. Никогда в жизни я не был так перепуган. Гнедой щипал траву поодаль, не подозревая никакой беды. Самка обняла меня самым непристойным образом; я закричал во всю глотку, и гнедой галопом примчался ко мне на выручку; тогда самка с величайшей неохотой выпустила меня из своих объятий и выскочила на противоположный берег, где стояла и выла, не спуская с меня глаз все время, пока я одевался.

Это приключение очень позабавило моего хозяина и его семью, но для меня оно было глу-

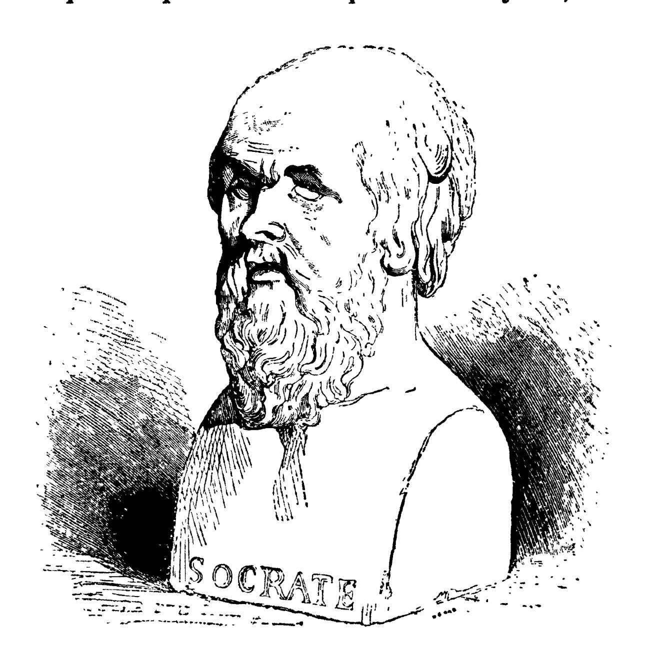


боким уничижением. Ибо теперь я не мог более отрицать, что был настоящим *йэху*, с головы до ног, раз их самки чувствовали естественное влечение ко мне, как к представителю той же породы. Вдобавок, эта самка не была рыжая (что могло служить некоторым оправданием ее несколько беспорядочных инстинктов), но смуглая, как дикая слива, и не отличалась таким безобразием, как большинство самок *йэху*; на вид ей было не более одиннадцати лет.

Так как я прожил в этой стране целых три года, то читатель наверное ожидает, что, по примеру других путешественников, я дам ему подробное описание нравов и обычаев туземцев которые действительно были главным предметом моего изучения.

Так как благородные *гуигнгнмы* от природы одарены общим предрасположением ко всем добродетелям и не имеют ни малейшего понятия о том, что такое зло в разумном существе, то основным правилом их жизни является совершенствование разума и полное подчинение его руководству. Для них разум не является, как для нас, инстанцией проблематической, снабжающей одинаково правдоподобными доводами за и против; напротив, он действует на мысль с непосредственной убедительностью, как это и должно быть, когда он не осложнен, не затемнен и не обесцвечен страстью и интересом. Я помню, какого труда стоило мне растолковать моему хозяину значение слова *мнение,* или каким образом утверждение может быть спорным; ведь разум учит нас утверждать или отрицать только то, в чем мы уверены, а чего не знаем, того не вправе ни утверждать ни отрицать. Таким образом споры, пререкания, прения и упорное отстаивание ложных или сомнительных положений суть пороки, неизвестные *гуигнгнмам.* Равным образом, когда я попытался разъяснить ему наши различные системы естественной философии, он засмеялся и выразил недоумение, каким образом существо, притязающее на разумность, может вменять себе в заслугу знание домыслов других существ, притом относительно вещей, где это знание, даже если бы оно было достоверно, не могло бы иметь никакого практического значения. В этом отношении мысли его вполне согласовались с изречениями Сократа, как они переданы Платоном, и мне кажется, что, упоминая об этом

факте, я оказываю величайшую честь царю нашей философии. С тех пор я часто думал, какие




опустошения произвела бы эта доктрина в библиотеках Европы, и сколько путей к славе было бы закрыто для ученого мира.

Дружба и доброжелательство являются двумя главными добродетелями *гуигнгнмов,* и они не ограничиваются отдельными особями, но простираются на всю расу. Таким образом чужестранец из самых далеких мест встречает здесь такой же прием, как и самый близкий сосед, и куда бы он ни пришел, везде чувствует себя

как дома. *Гуигнгнмы* строго соблюдают приличия и учтивость, но они совершенно незнакомы с тем, что мы называем этикетом. Они не балуют своих жеребят, но заботы, проявляемые родителями по отношению к воспитанию детей, диктуются исключительно разумом. И я заметил, что мой хозяин так же ласково относится к детям соседа, как и к своим собственным. *Гуигнгнмы* думают, что природа учит их одинаково любить всех подобных им, и один только разум устанавливает различие между индивидуумами, соответственно высоте их добродетели.

Мать семейства *гуигнгнмов*, произведя на свет по одному ребенку каждого пола, прекращает супружеские отношения, исключая тех случаев, когда почему либо теряет одного из своих питомцев, что бывает очень редко; но в подобных случаях супруги возобновляют отношения или, если супруга больше неспособна к деторождению, другая пара дает осиротелым родителям одного из своих жеребят, а сама снова сходится, пока мать не забеременеет. Такая предосторожность является необходимою, чтобы предохранить страну от перенаселения. Но *гуигнгнмы* низшей породы не так строго ограничены в этом отношении; им разрешается производить по три детеныша каждого пола, которые становятся потом слугами в благородных семьях.

При заключении браков *гуигнгнмы* тщательно заботятся о таком подборе мастей супругов, чтобы были предотвращены неприятные сочетания красок у потомства. У самца ценится по преимуществу сила, а у самки миловидность, — ценится не в интересах любви, а ради предо-

хранения расы от вырождения; поэтому, если случится, что самка отличается силой, то при выборе ей супруга обращают внимание прежде всего на красоту. Волокитство, любовь, подарки, приданое, вдовьи доли совершенно неизвестны *гуигнгнмам* и на их языке вовсе не существует



слов для выражения этих понятий. Молодая пара встречается и сочетается браком просто для исполнения воли родителей и друзей; подобные браки совершаются на ее глазах ежедневно, и молодые смотрят на них, как на необходимое

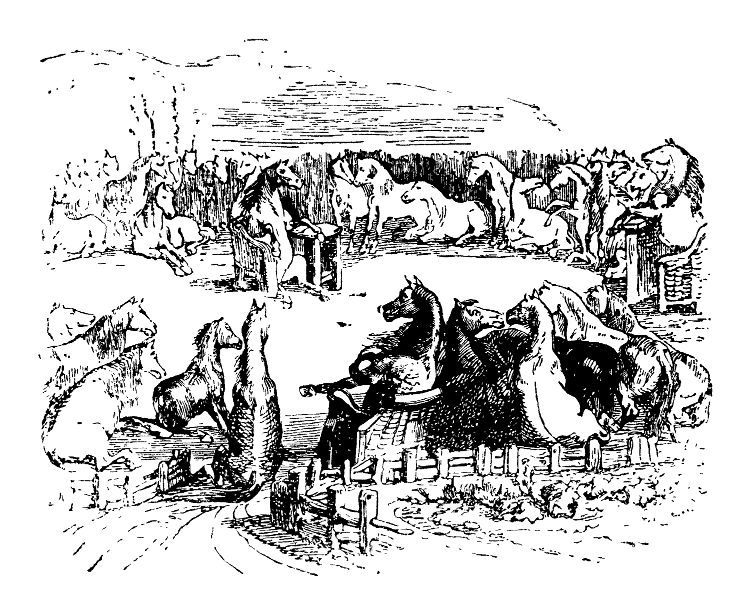
действие всякого разумного существа. Такие вещи, как развод или прелюбодеяние там неслыханы, и супружеская чета проходит свой жизненный путь с теми же дружескими чувствами и взаимным доброжелательством, какие она питает ко всем представителям своего племени, встречающимся на ее пути; им неизвестны ревность, припадки нежности, ссоры и досада друг на друга.

Их система воспитания юношества обоего пола поистине удивительна и вполне заслуживает нашего подражания. Молодым *гуигнгнмам* не дают ни зернышка овса, исключая некоторых дней, пока они не достигнут восемнадцати лет; им позволяют пить молоко только в самых редких случаях. Летом они пасутся два часа утром и два часа вечером, подобно своим родителям; но слугам разрешается пастись только половину этого времени, и большая часть корма приносится им домой, где они и поедают его в свободные от работы часы.

Воздержность, трудолюбие, физические упражнения и опрятность суть вещи, равно обязательные для молодежи обоего пола; и мой хозяин находил уродливым наш обычай давать самкам воспитание отличное от воспитания самцов, исключая только ведения домашнего хозяйства; вследствие этого, по его справедливому замечанию, половина нашего населения годна только на то, чтобы рожать детей; доверять же заботу о наших детях таким никчемным животным значит, прибавил он, давать лишнее свидетельство нашей дикости.

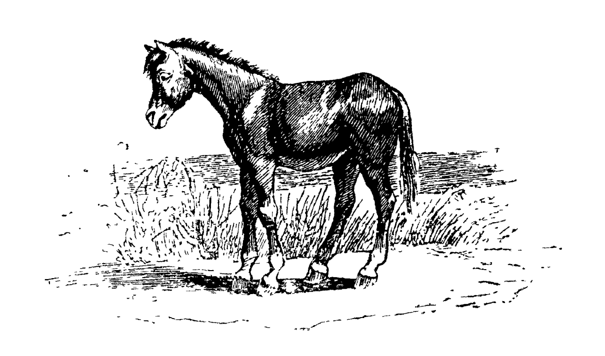
*Гуигнгнмы* развивают в молодежи силу, прыткость, смелость, упражняя жеребят в беганин по

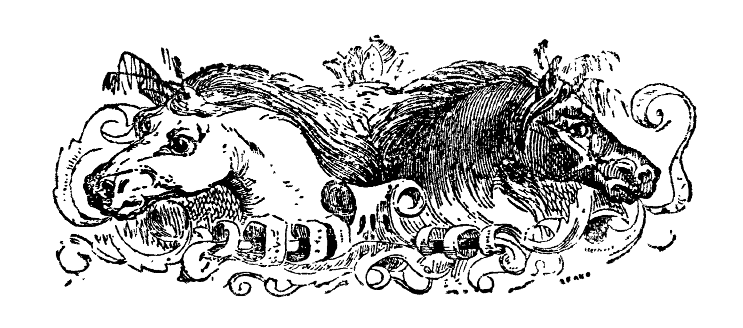
крутым подъемам и твердой каменистой почве; затем, когда они бывают все в мыле, их заставляют окунуться с головой в пруде или в реке. Четыре раза в год молодежь определенного



округа собирается, чтобы показать свои успехи в беганье, прыганье и других упражнениях, требующих силы и ловкости. Победитель или победительница награждается сочиненным в честь их гимном. В день такого празднества слуги пригоняют на арену стадо *йэху*, нагруженных сеном, овсом и молоком для угощения *гуигнгнмов*, после чего эти скоты немедленно прогоняются, чтобы вид их не вызывал отвращения у собрания.

Через каждые четыре года в весеннее равноденствие здесь происходит совет представителей всей нации, собирающийся на равнине в двадцати милях от дома моего хозяина и продолжающийся пять или шесть дней. На этом совете обсуждается положение различных округов: достаточно ли они снабжены сеном, овсом, коровами и *йэху*. И если в этом отношении оказывается недостаток (что случается очень редко), он тотчас пополняется общими взносами, которые всегда принимаются единодушно. На этом же совете производится распределение детей. Например, если у какого нибудь *гуигнгнма* два самца, то он меняется с другим, у которого две самки; и если какая нибудь семья лишилась ребенка, а мать его не может больше рожать детей, то собрание решает, какая другая семья в округе должна произвести на свет нового ребенка, чтобы восполнить потерю.





## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

*Большие прения в генеральном собрании гуигнгнмов и как они окончились. Знания гуигнгнмов. Их постройки. Обряды погребения. Недостатки их языка.**



Одно из таких больших собраний происходило во время моего пребывания в стране, за три месяца до моего отъезда; мой хозяин участвовал в нем в качестве представителя от нашего округа. На этом собрании обсуждался давнишний больной вопрос, можно сказать, единственный вопрос, вызывавший разногласия у *гуигнгнмов*. По возвращении домой мой хозяин подробно рассказал мне о происходивших прениях

Вопрос, вызвавший разногласия, был: не следует ли стереть вовсе с лица земли всех *йэху*? Один из членов собрания, высказывавшийся за утвердительное решение вопроса, представил много сильных и веских аргументов в защиту своего мнения. Он утверждал, что *йэху* являются не только самыми грязными, гнусными и безобразными животными, каких когда либо производила природа, но отличаются также крайним упрямством, непослушанием, злобой и мстительностью; что, не будь за ними постоянного



надзора, они сосали бы молоко у коров, принадлежащих *гуигнгмам,* убивали бы и пожирали их кошек, вытаптывали бы овес и траву и совершали тысячу других проступков. Он напомнил собранию общераспространенное предание, гласившее, что *йэху* не всегда существовали в их стране, но много лет тому назад на

одной горе завелась пара этих животных, и были ли они порождены действием солнечного тепла на разлагающуюся тину и грязь, или образовались из ила и морской пены, осталось навсегда неизвестно; что эта пара начала размножаться, и ее потомство скоро стало так многочисленно, что наводнило и загадило всю страну; что для избавления от этого бедствия, *гуигнгнмы* устроили генеральную облаву на *йэху*, в результате которой им удалось оцепить все стадо; истребив взрослых, *гуигнгнмы* забрали каждый по два детеныша, поместили их в хлевах и приручили, насколько вообще может быть приручено столь дикое животное: им удалось научить их таскать и возить тяжести. В означенном предании есть, повидимому, много правды, так как нельзя себе представить, чтобы эти создания могли быть *илнгниамши* (или *аборигенами* страны): настолько велика ненависть к ним не только *гуигнгнмов*, но и всех вообще животных, населяющих эту страну; и хотя эта ненависть вполне заслужена их злобными наклонностями, все же она никогда не достигла бы таких размеров, если бы *йэху* были исконными обитателями, иначе они давно уже были бы истреблены. Оратор заявил, что *гуигнгнмы* поступили в высшей степени неблагоразумно, задумав приручить *йэху* и оставив в пренебрежении ослов, кротких животных, более смышленных и послушных, не имеющих дурного запаха, и вместе с тем достаточно сильных, хотя и уступающих другим животным в ловкости; правда, крик их не очень приятен, все же он гораздо выносимее ужасного воя *йэху*



После того, как еще несколько народных представителей высказало свои мнения по этому поводу, мой хозяин внес в собрание предложение, основная мысль которого была внушена ему мной. Он считал достоверным предание, приведенное почтенным членом собрания, выступавшим здесь со своим словом, но утверждал, что двое *йэху,* впервые появившиеся в их стране, прибыли к ним из-за моря; что они были покинуты товарищами и, высадившись на берег, укрылись в горах; затем, из поколения в поколение, потомки их вырождались и с течением времени сильно одичали по сравнению со своими

одноплеменниками, живущими в стране, откуда прибыли двое их прародителей. В подкрепление своего мнения он сослался на то, что с некоторого времени у него живет один удивительный *йэху* (он подразумевал меня), о котором большинство собрания слышало и которого многие даже видели. Тут хозяин рассказал, как он нашел меня; он сообщил, что все мое тело покрыто искусственным изделием, состоящим из кожи и шерсти других животных; что я владею даром речи и в совершенстве изучил язык *гуигнгнмов*; что я изложил ему события, которые привели меня сюда; что он видел меня без покровов и нашел, что я вылитый *йэху*, только кожа моя побелее, волос меньше, да когти покороче. Он передал далее собранию, как я пытался убедить его, будто на моей родине и в других странах *йэху* являются господствующими разумными животными и держат *гуигнгнмов* в рабстве; как он наблюдал у меня все качества *йэху*, хотя я и являюсь существом немного более цивилизованным, благодаря слабым проблескам разума; впрочем, в этом отношении я стою настолько же ниже *гуигнгнмов*, насколько возвышаюсь над здешними *йэху*. Он упомянул о рассказанном ему мной нашем обычае кастрировать молодых *гуигнгнмов*, с целью сделать их более смирными, и заявил, что операция эта легкая и безопасная, и что нет ничего постыдного учиться мудрости у животных, например, трудолюбию и предусмотрительности у муравья, а строительному искусству у ласточки (так я передаю слово *лиханнх*, хотя им обозначается гораздо более крупная птица); что эту операцию можно применить



здесь к молодым *йэху*, и она не только сделает их более послушными и пригодными для работ, но и положит конец, в течение одного поколения, целому племени, так что не придется прибегать к лишению их жизни; и что тем временем хорошо бы *гуигнгнмам* заняться воспитанием ослов, которые не только являются животными во всех отношениях более ценными, но обладают еще тем преимуществом, что могут работать с пяти лет, тогда как *йэху* ни к чему не пригодны раньше двенадцати.

Вот все, что в тот момент счел уместным сообщить мне хозяин относительно занятий большого совета. Но ему угодно было скрыть от меня одну частность, касавшуюся лично меня,

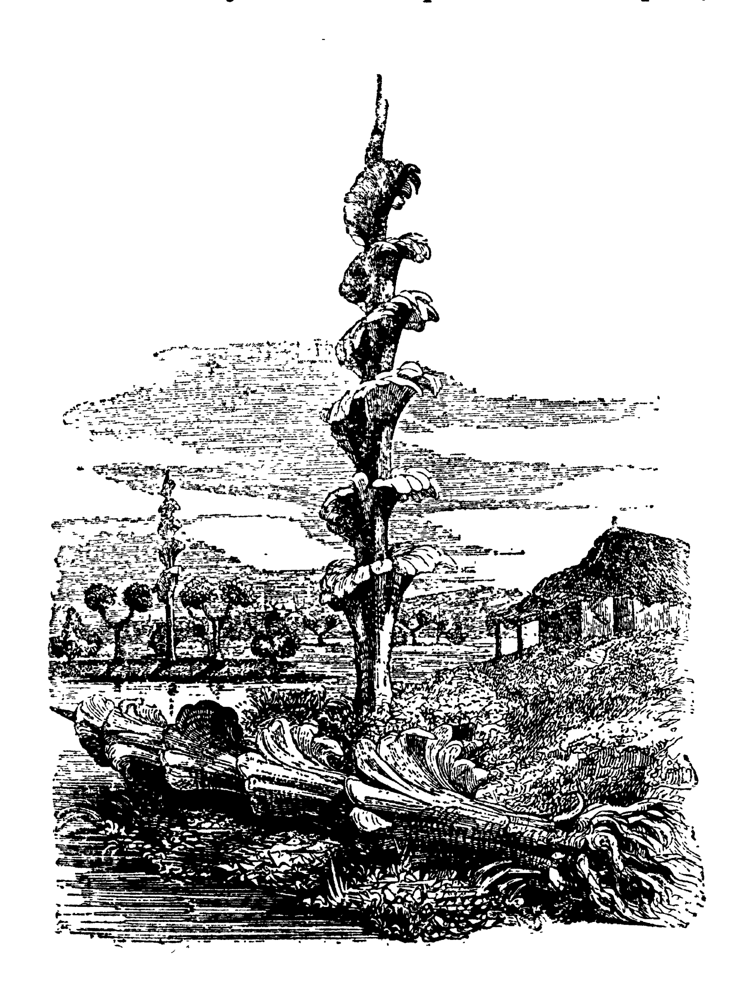
пагубные последствия которой я вскоре почувствовал, как об этом узнает читатель в свое время. Этот момент я считаю началом всех последующих несчастий моей жизни.

У *гуигнгнмов* нет письменности, и поэтому все их знания сохраняются путем предания. Но так как в жизни народа столь согласного, от природы расположенного ко всяческой добродетели, управляемого исключительно разумом и отрезанного от всякого общения с другими нациями, происходит мало сколько нибудь важных событий, то его история легко удерживается в памяти, не обременяя ее. Я уже заметил, что *гуигнгнмы* не подвержены никаким болезням и поэтому не нуждаются во врачах; однако у них есть отличные лекарства, составленные из трав, которыми они лечат случайные ушибы и порезы бабки и мягкой части подошвы об острые камни, равно как повреждения и поранения других частей тела.

Они считают годы и месяцы по обращениям солнца и луны;* но у них нет подразделения времени на недели. Они достаточно хорошо знакомы с движением этих двух светил и понимают природу затмений: это предельное достижение их астрономии.

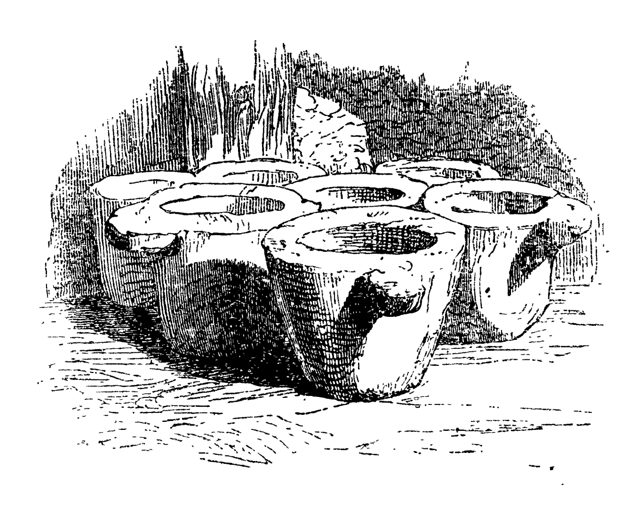
Зато нужно признать, что в поэзии они превосходят всех остальных смертных: меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Стихи их изобилуют теми и другими фигурами, и темой их является либо возвышенное изображение дружбы и доброжелательства, либо восхваление победителей на бегах или других телесных

упражнениях. Постройки их, несмотря на свою большую грубость и незатейливость, не лишены удобств и отлично приспособлены для защиты от зноя и стужи. У них растет одно дерево,



которое, достигнув сорока лет, делается шатким у корня и рушится с первой бурей; заострив совершенно прямой ствол этого дерева отточенным камнем (употребление железа им неизвестно), *гуигнгнмы* втыкают полученные таким образом колья в землю, на расстоянии десяти дюймов друг от друга, и переплетают их овсяной соломой или прутьями. Крыша и двери делаются таким же способом.

*Гуигнгнмы* пользуются углублением между бабкой и копытом передних ног так же, как мы пользуемся руками, и проявляют при этом ловкость, которая сначала казалась мне совершенно невероятной. Я видел, как белая кобыла из нашего дома вдела таким образом нитку в иголку (которую я дал ей, чтобы произвести опыт). Они доят коров, жнут овес и исполняют всю работу, которую мы делаем руками. При помощи осо-



бенного твердого кремня они обтачивают другие камни и выделывают клинья, топоры и молотки. Орудиями, изготовленными из этих кремней, они косят также сено и жнут овес, который растет здесь на полях, как трава. *Йэху* привозят снопы с поля в телегах, а слуги топчут их ногами в особых крытых помещениях, вымолачивая зерно, которое хранится в амбарах. Они выделывают грубую глиняную и деревянную посуду и обжигают первую на солнце.

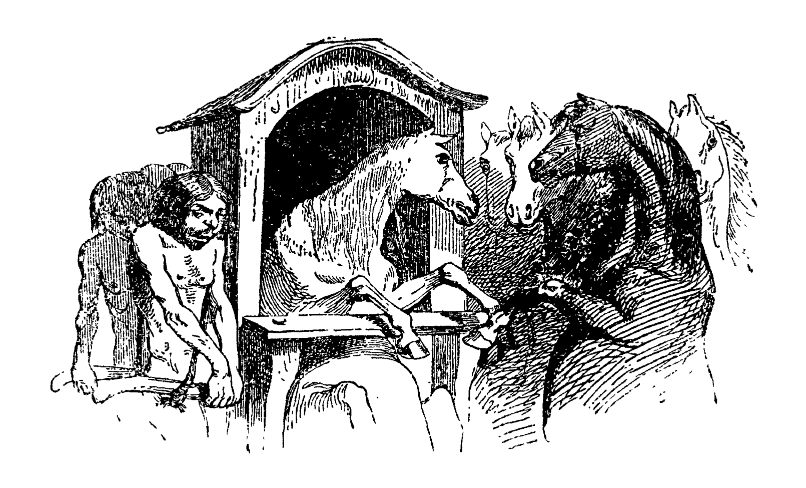
Если не происходит несчастного случая, *гуигнгнмы* умирают только от старости, и их хоронят в самых глухих и укромных местах, какие только можно найти. Друзья и родственники покойного не выражают ни радости, ни горя,



а сам умирающий не обнаруживает ни малейшего сожаления, покидая этот мир, словно он

возвращается домой из гостей от какого нибудь соседа. Помню, как однажды мой хозяин пригласил к себе своего друга с семьей по одному важному делу; в назначенный день явилась только жена друга с двумя детьми, притом поздно вечером; она извинилась прежде всего за мужа, который, по ее словам, сегодня утром *схнувнх*. Слово это очень выразительно на тамошнем языке, но не легко поддается переводу; буквально оно означает *возвратиться к своей праматери*. Потом она извинилась за себя, сказав, что муж ее умер утром, и она долго совещалась со слугами относительно того, где бы удобнее положить его тело; и я заметил, что она была у нас такая же веселая, как и все остальные. Через три месяца она умерла.

*Гуигнгнмы* живут обыкновенно до семидесяти или семидесяти пяти лет; очень редко до восьмидесяти. За несколько недель до смерти они чувствуют постепенный упадок сил, но он не сопровождается у них страданиями. В течение этого времени их часто навещают друзья, потому что они не могут больше выходить из дому с обычной своей легкостью и непринужденностью. Однако за десять дней до смерти — срок, в исчислении которого они редко ошибаются — *гуигнгнмы* возвращают визиты, сделанные им ближайшими соседями; они садятся при этом в удобные сани, запряженные *йэху*. Кроме этого случая они пользуются такими санями только в глубокой старости, при далеких путешествиях, или когда им случается повредить ноги. И вот, отдавая последние визиты, умирающие *гуигнгнмы* торжественно прощаются со своими друзьями,



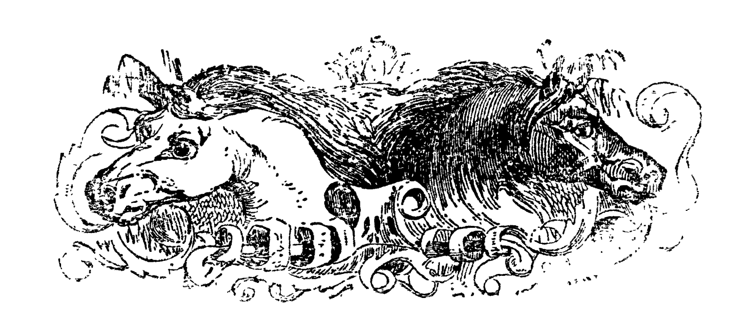
словно отправляясь в далекую страну, где они решили провести остаток своей жизни.

Не знаю, стоит ли отметить, что в языке *гуигнгнмов* нет слов, выражающих что либо относящееся ко злу, исключая те, что обозначают уродливые черты или дурные качества *йэху*. Таким образом, рассеянность слуги, проступок ребенка, камень, порезавший ногу, ненастную погоду и тому подобные вещи они обозначают прибавлением к слову эпитета *йэху*. А именно: *гхнм йэху, гвнагольм йэху, инлхмндвихлма йэху*, а плохо построенный дом называют *инголмгнмроглнв йэху*.

Я с большим удовольствием дал бы более обстоятельное описание нравов и добродетелей этого превосходного народа; но, намереваясь опубликовать в близком будущем отдельную

книгу, посвященную исключительно этому предмету, я отсылаю читателя к ней. В настоящее же время перехожу к изложению постигшей меня печальной катастрофы.





## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

*Домашнее хозяйство автора и его счастливая жизнь среди гуигнгнмов. Он совершенствуется в добродетели благодаря общению с ними. Беседы автора с гуигнгнмами. Хозяин объявляет автору, что он должен покинуть страну. От горя он лишается чувств, но подчиняется. С помощью приятеля слуги ему удается смастерить лодку; он пускается в море наудачу.*



Я устроил свое маленькое хозяйство по своему вкусу. Хозяин велел отделать для меня помещение по тамошнему образцу в шести ярдах от главного дома. Стены и пол своей комнаты я обмазал глиной и покрыл камышевыми матами собственного изготовления,

Я набрал конопли, которая растет там в диком состоянии, сбил ее и смастерил что то вроде матраца. Я наполнил его перьями птиц, пойманных мной в силки из волос *йэху* и очень приятных на вкус. Я сделал себе два стула при деятельной помощи гнедого лошака, взявшего на себя всю более тяжелую часть работы. Когда платье мое износилось и превратилось в лохмотья, я сшил себе новое из шкурок кроликов и других красивых зверьков, приблизительно такой же величины, называемых *нну́хнох*, и покрытых очень нежным пухом. Из таких же шкурок я сделал



себе очень сносные чулки. Я снабдил свои башмаки деревянными подошвами, подвязав их к вер-

хам, а когда износились верхи, я заменил их подсушенной на солнце кожей *йэху*. В дуплах деревьев я часто находил мед, который разводил водой или ел его со своим овсяным хлебом. Никто лучше меня не познал истинности двух пословиц: *природа довольствуется немногим,* и *нужда — мать изобретательности.* Я наслаждался прекрасным телесным здоровьем и полным душевным спокойствием; мне нечего было бояться предательства или непостоянства друга и оскорблений тайного или явного врага. Мне не приходилось прибегать к подкупу, лести и сводничеству, чтобы снискать милости великих мира и их фаворитов. Мне не нужно было ограждать себя от обмана и насилия; здесь не было ни врачей, чтобы разрушить мое тело, ни юристов, чтобы разорить меня, ни доносчиков, чтобы подслушивать мои слова, или подглядывать мои действия, или возводить на меня ложные обвинения для получения условленной платы; здесь не было зубоскалов, пересудчиков, клеветников, карманных воров, разбойников, взломщиков, стряпчих, сводников, шутов, игроков, политиканов, остряков, ипохондриков, скучных болтунов, спорщиков, насильников, убийц, мошенников, виртуозов; не было лидеров и членов политических партий и кружков; не было пособников порока соблазнами и примером; не было тюрем, топоров, виселиц, наказания кнутом и позорных столбов; не было обманщиков-купцов и плутов-ремесленников; не было чванства, тщеславия, притворной дружбы; не было франтов, буянов, пьяниц, проституток и венерических болезней; не было сварливых, бесстыдных,


VERDEIL

расточительных жен; не было тупых, спесивых педантов; не было назойливых, требовательных, вздорных, шумливых, крикливых, пустых, самомнящих, бранчливых сквернословов - приятелей; не было негодяев, поднявшихся из грязи благодаря своим порокам, и благородных людей, брошенных в грязь за свои добродетели; не было вельмож, скрипачей, судей и учителей танцев.

Я имел честь быть представленным *гуигнгнмам*, приходившим в гости к моему хозяину; и его милость любезно разрешал мне присутствовать в комнате и слушать их разговор. И он и его гости часто удостоивали меня вопросами и внимательно выслушивали мои ответы. Иногда я удостоивался чести сопровождать моего хозяина при его визитах. Я никогда не позволял себе выступать с речью и только отвечал на задаваемые вопросы, притом с искренним сожалением, что приходится терять много времени, которое могло бы с пользой пойти на расширение моих знаний; но мне доставляла бесконечное наслаждение роль скромного слушателя при этих беседах, где говорилось только о деле, и речи выражались в очень немногих, но весьма полновесных словах; где (как я сказал уже) соблюдалась величайшая учтивость без малейшей церемонности; где речи говорящего всегда доставляли удовольствие как ему самому, так и его собеседникам; где не перебивали друг друга, не скучали, не горячились, где не было расхождения мнений. Они полагают, что разговор в обществе хорошо прерывать краткими паузами, и я нахожу, что они совершенно правы; ибо во время этих небольших перерывов беседы в умах

рождаются новые мысли, которые сильно оживляют обмен мнений. Обычными темами являются дружба и доброжелательство, порядок и благоустройство, иногда видимые явления природы или преданья старины; пределы и границы добродетели, непогрешимые законы разума или какие либо постановления, которые предстоит принять на ближайшем генеральном совете; часто также различные красоты поэзии. Могу прибавить без тщеславия, что достаточный материал для разговора часто давала им моя особа, так как мое присутствие служило для хозяина поводом рассказать друзьям повесть моей жизни и описать мою родину; выслушав его, они обыкновенно отзывались не очень почтительно о человеческом роде; по этой причине я не буду повторять, что они говорили. Я лишь позволю себе заметить, что его милость, к великому моему удивлению, постиг природу *йэху* всех стран, повидимому, гораздо лучше, чем я сам. Он перечислял все наши пороки и безрассудства и открывал много таких, о которых я никогда не упоминал ему; для этого ему достаточно бывало предположить, на что оказались бы способны *йэху* его родины, если бы были наделены малой частицей разума; и он заключал, с весьма большим правдоподобием, сколь презренным и жалким должно быть такое создание.

Я чистосердечно сознаюсь, что все мои скудные знания, имеющие какую нибудь ценность, я почерпнул из мудрых речей моего хозяина и из его бесед с друзьями; и я с большей гордостью повиновался бы их наставлениям, чем

сам предписывал бы свою волю величайшему и мудрейшему парламенту Европы. Я удивлялся силе, красоте и быстроте обитателей этой страны; и столь редкое соединение добродетелей в столь обходительных существах наполняло меня глубочайшим уважением. Сначала я, правда, не испытывал того естественного благоговения, которым проникнуты к ним *йэху* и все другие животные, но постепенно это чувство овладело мной, притом гораздо скорее, чем я предполагал; оно соединилось с почтительной любовью и живой признательностью за то, что они удостоили выделить меня из остальных представителей моей породы.

Когда я думал о моей семье, моих друзьях и моих соотечественниках, или о человеческом роде вообще, то видел в людях, в их внешности и душевном складе то, чем они были на самом деле,—*йэху*, может быть несколько более цивилизованных и наделенных даром слова, но употребляющих свой разум только на развитие и умножение пороков, которые присущи их братьям из этой страны лишь в той степени, в какой их наделила ими природа. Когда мне случалось видеть свое отражение в озере или ручье, я с ужасом отворачивался и наполнялся ненавистью к себе; вид обыкновенного *йэху* был для меня выносимее, чем вид моей собственной особы. Благодаря постоянному общению с *гуигнгнмами* и восторженному отношению к ним я стал подражать их походке и телодвижениям, которые вошли у меня теперь в привычку, так что друзья часто говорят мне тоном упрека, что я *бегаю как лошадь*, но я принимаю эти слова



как очень лестный для себя комплимент. Не стану также отрицать, что в разговоре я склонен подражать интонациям и манерам *гуигнгнмов*, и без малейшей обиды слушаю насмешки над собой по этому поводу.

Посреди всего этого благоденствия, когда я считал себя устроившимся на всю жизнь, мой хозяин прислал за мной однажды утром немного раньше, чем обыкновенно. По лицу его я заметил, что он был в некотором смущении и не знал, как приступить к своей речи. После не-

продолжительного молчания он сказал мне, что не знает, как я отнесусь к тому, что он собирается сказать. На последнем генеральном собрании, когда был поднят вопрос об *йэху*, представители нации выразили ему свое неодобрение за то, что он держит в своем доме *йэху* (они подразумевали меня) и обращается с ним скорее как с *гуигнгнмом*, чем как с диким животным. Им известно, что он часто разговаривает со мной, словно находя какую нибудь пользу или удовольствие в подобном обществе. Такое поведение противно разуму и природе, и является вещью никогда раньше неслыханной у них. Поэтому собрание увещевает его либо обходиться со мной как с остальными представителями моей породы, либо приказать мне отплыть туда, откуда я прибыл. Первое предложение было решительно отвергнуто всеми *гуигнгнмами*, когда-либо видевшими меня и разговаривавшими со мной, на том основании, что, обладая некоторыми зачатками разума и природной порочностью этих животных, я вполне способен сманить *йэху* в покрытую лесом горную часть страны и стаями приводить их ночью для нападения на домашний скот *гуигнгнмов*, что так естественно для породы прожорливой и питающей отвращение к труду.

Мой хозяин добавил, что окрестные *гуигнгнмы* ежедневно побуждают его привести в исполнение увещание собрания, и он не может больше откладывать. Он сомневается, что я буду в силах доплыть до моей родины, и выражает поэтому желание, чтобы я соорудил себе повозку, вроде тех, что я ему описывал, на которой мог бы

ехать по морю; в этой работе мне окажут помощь как его собственные слуги, так и слуги его соседей. Что же касается его самого, заключил свою речь хозяин, то он был бы согласен держать меня у себя на службе всю мою жизнь, ибо он находит, что я излечился от некоторых дурных привычек и наклонностей, всячески стараясь подражать *гуигнгнмам,* насколько это по силам моей низменной природе.

Я должен обратить внимание читателя, что постановления генерального собрания этой страны называются здесь *гнлоайн*, что в буквальном переводе означает *увещание*; ибо *гуигнгнмы* не понимают, каким образом разумное существо можно принудить к чему нибудь; можно только советовать ему, увещевать его; и кто не повинуется разуму, не вправе притязать на звание разумного существа.

Речь его милости крайне меня огорчила и повергла в полное отчаяние; не будучи в силах вынести постигшее меня горе, я упал в обморок у ног хозяина, который подумал, что я умер (как он признался мне, когда я очнулся): ибо *гуигнгнмы* не подвержены таким слабостям. Я отвечал еле слышным голосом, что смерть была бы для меня слишком большим счастьем; что, хотя я нисколько не осуждаю *увещание* собрания и настойчивость его друзей, все же, как мне кажется, по слабому моему и порочному разумению, решение могло бы быть и менее суровым, оставаясь совместимым с разумом; что я не мог бы проплыть и лиги, между тем как до ближайшего материка или острова вероятно больше ста лиг; что многих материалов, необ-



ходимых для сооружения маленького судна, на котором я мог бы отправиться в путь, вовсе нет в этой стране; но что я все же сделаю попытку в знак повиновения и благодарности его милости, хотя считаю предприятие безнадежным и, следовательно, смотрю на себя как на человека, обреченного гибели; что перспектива верной смерти является наименьшим из зол, которым я подвергаюсь, ибо, если даже допустить, что каким-либо чудом мне удастся спасти свою жизнь, каким образом могу я примириться с мыслью проводить дни свои среди *йэху* и снова впасть в свои старые пороки, не

имея перед глазами примеров, наставляющих меня и удерживающих на путях добродетели. Однако я прекрасно знаю, что все решения мудрых *гуигнгнмов* покоятся на очень прочных основаниях, и не мне, жалкому *йэху*, поколебать их своими доводами; поэтому, выразив хозяину мою нижайшую благодарность за предложение дать мне на помощь своих слуг при сооружении судна и испросив достаточное время для такой трудной работы, я сказал ему, что постараюсь сохранить постылую жизнь, и если возвращусь в Англию, то питаю надежду принести пользу своим соотечественникам, восхваляя достославных *гуигнгнмов* и выставляя их добродетели как образец для подражания человеческого рода.

Его милость в немногих словах очень любезно ответил мне и предоставил два месяца на постройку лодки; он приказал гнедому лошаку, моему товарищу-слуге (ибо на столь далеком расстоянии я в праве называть его так), исполнять мои распоряжения, так как я сказал моему хозяину, что помощи одного работника мне будет достаточно и я знаю, что гнедой очень расположен ко мне.

Я начал с того, что отправился с ним на берег, где мой взбунтовавшийся экипаж приказал мне высадиться. Я взошел на холм и, осмотревшись кругом, как будто заметил на северо-востоке небольшой остров; я вынул тогда подзорную трубку и мог ясно различить его; по моим предположениям он находился на расстоянии около пяти лиг. Однако для гнедого остров был просто синеватым облаком: не имея никакого понятия о существовании других стран,

он не мог различать отдаленные предметы на море с таким искусством, как мы, люди, так много общающиеся с этой стихией.

Открыв остров, я не делал дальнейших изысканий и решил, что он будет, если возможно, первым пристанищем в моем изгнании, предоставляя дальнейшее судьбе.

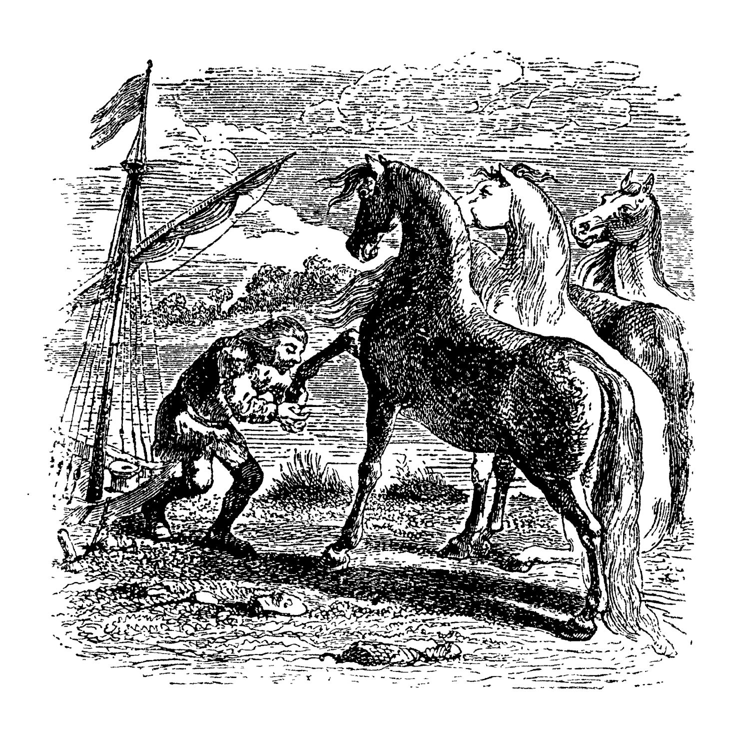
Мы возвратились с гнедым лошаком домой и, посовещавшись, отправились в близлежащую рощу, где я своим ножом, а он острым кремнем, очень искусно прикрепленным по тамошнему способу к деревянной рукоятке, нарезали много дубовых веток толщиной в обыкновенную палку и несколько более крупных. Но я не буду утомлять читателя подробным описанием моих работ; достаточно будет сказать, что в течение шести недель с помощью гнедого лошака, выполнившего более тяжелую часть работы, я соорудил нечто вроде индейской пироги,



только гораздо более крупных размеров, и покрыл ее шкурами *йэху*, крепко сшитыми одна с другой пеньковыми нитками моего собственного изготовления. Парус точно также я сделал из шкур упомянутых животных, выбрав для этого те, что принадлежали самым молодым из них, так как шкуры старых *йэху* были слишком грубыми и толстыми; я заготовил так же четыре весла, сделал запас вареного мяса, кроликов и домашней птицы и взял с собой два сосуда, один наполненный молоком, а другой пресной водой.

Я испытал свою пирогу в большом пруду подле дома моего хозяина и исправил все обнаружившиеся у нее изъяны, замазав щели жиром *йэху* и приведя ее в такое состояние, чтобы она могла вынести меня и мой груз. Сделав все, что было в моих силах, я погрузил лодку на телегу, и она очень осторожно была отвезена *йэху* на морской берег, под наблюдением гнедого лошака и еще одного слуги.

Когда все было готово и наступил день отъезда, я простился с моим хозяином, его супругой и всем семейством; глаза мои были наполнены слезами и сердце изнывало от горя. По его милость, отчасти из любопытства, а отчасти может быть из доброжелательства (если только я в праве сказать так без тщеславия), пожелал увидеть меня в моей пироге и попросил нескольких своих соседей сопровождать его. Около часа мне пришлось подождать прилива; заметив, что ветер очень благоприятно дует по направлению к острову, куда я решил держать путь, я вторично простился с моим хозяином; но

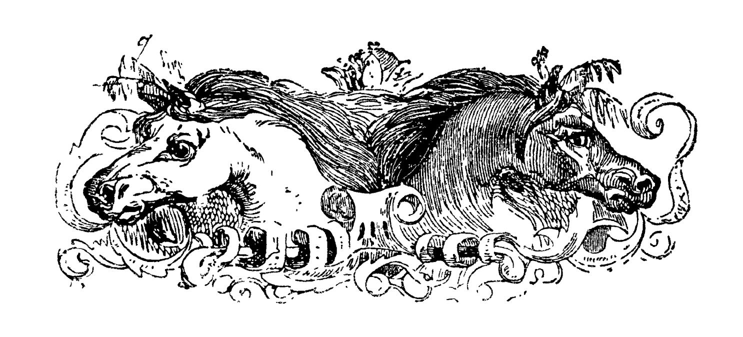


когда я собирался пасть ниц, чтобы поцеловать его копыто, он оказал мне честь, осторожно подняв его к моим губам. Мне известны нападки, которым я подвергся за упоминание этой подробности. Моим клеветникам покажется невероятным, чтоб столь знатная особа снизошла до оказания подобного благоволения такому ничтожному существу, как я. Мне памятна также наклонность некоторых путешественников хвастаться оказанными им необыкновенными милостями. Но если бы эти критики были

больше знакомы с благородством и учтивостью *гуигнгнмов,* они скоро изменили бы свое мнение.

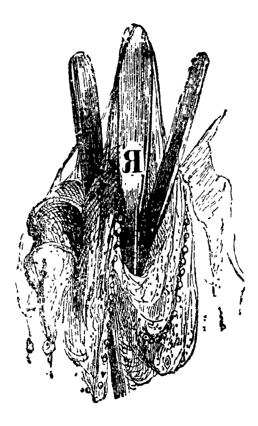
Засвидетельствовав свое почтение остальным *гуигнгнмам,* сопровождавшим его милость, я сел в пирогу и отчалил от берега.





## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

*Опасное путешествие автора. Он прибывает в Новую Голландию, рассчитывая поселиться там. Один из туземцев ранит его стрелой из лука. Его схватывают и насильно сажают на португальский корабль. Очень любезное обращение с ним капитана. Автор возвращается в Англию.*



Я начал это безнадежное путешествие 15 февраля 1714/5 года в 9 часов утра. Ветер был попутный; тем не менее сначала я пользовался только веслами, но, рассудив, что скоро наступит усталость, а ветер может измениться, я отважился поставить свой маленький парус; таким образом, при содействии отлива, я шел, по моим предположениям, со скоростью полуторых лиг в час. Мой хозяин и его друзья оставались на берегу, пока я совсем почти не

скрылся из виду; и до меня часто доносились возгласы гнедого лошака (который всегда любил меня): *гнуй илла ниха мэйджах йэху* (береги себя хорошенько, милый *йэху*).

Намерением моим было постараться открыть какой нибудь необитаемый островок, где бы я мог добывать средства к существованию собственным трудом; перспектива подобной жизни больше прельщала меня, чем пост первого министра при самом лощеном европейском дворе: столь ужасной казалась мне мысль возвратиться в общество *йэху* и жить под их властью. Ибо в желанном мною уединении я мог по крайней мере отдаваться своим мечтам и с наслаждением размышлять о добродетелях неподражаемых *гуигнгнмов*, не подвергаясь опасности снова погрязнуть в пороках и разврате моего племени.

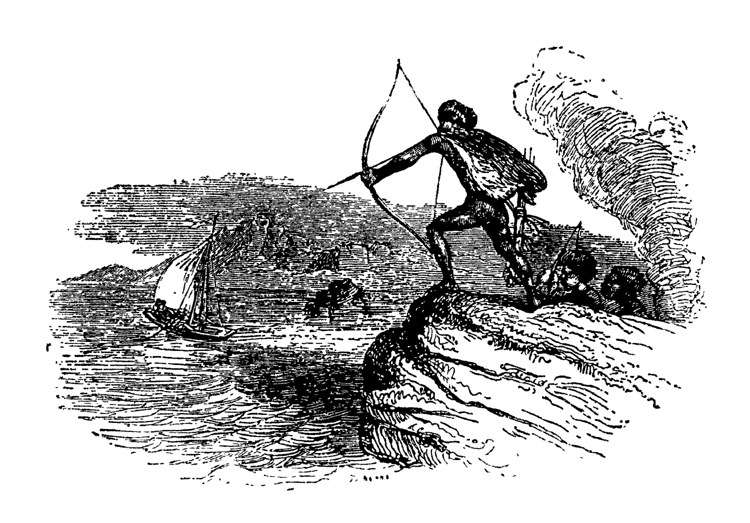
Читатель может быть помнит мой рассказ о заговоре против меня матросов, заключивших меня в капитанской каюте; о том, как я оставался там несколько недель, не зная, в каком направлении мы едем, и о том, как матросы, высадившие меня на берег, с клятвами, искренними или притворными, уверяли меня, что им неизвестно, в какой части света мы находимся. Однако я считал тогда, что мы плывем в десяти градусах к югу от мыса Доброй Надежды или под 45° южной широты. Я заключал об этом на основании случайно подслушанных нескольких слов между матросами об их намерении итти на Мадагаскар и о том, что теперь они находятся к юго-западу от этого острова. Хотя это было простой догадкой, все же я ре-

шил держать курс на восток, надеясь достигнуть юго-западных берегов Новой Голландии, а может быть желанного мной острова к западу от этих берегов. Ветер все время был западный, и в шесть часов вечера, когда по моим расчетам мной было пройдено на восток по крайней мере восемнадцать лиг, я заметил в полумиле от себя маленький островок, которого вскоре достиг. Это был голый утес с маленькой бухточкой, размытой в нем бурями. Поставив в ней свою пирогу, я взобрался на утес и ясно различил на востоке землю, тянувшуюся с юга на север. Ночь я провел в пироге, а рано поутру снова отправился в путь и в семь часов достиг юго-восточного берега Новой Голландии. Это утвердило меня в давно уже составленном мнении, что карты помещают эту страну по крайней мере на три градуса восточнее, чем она лежит в действительности; много лет тому назад я высказал это предположение моему уважаемому другу мистеру Герману Моллю и сообщил ему основания, приведшие меня к нему, но он предпочел следовать мнению других авторитетов.

Я не заметил туземцев у места, где я высадился, и так как со мной не было оружия, то не решался углубляться внутрь материка. На берегу я нашел несколько ракушек и съел их сырыми, не рискнув развести огонь из боязни привлечь к себе внимание туземцев. Три дня я питался устрицами и другими ракушками, чтобы сберечь надольше мою провизию; к счастью я нашел ручеек с пресной водой, которая сильно подкрепила меня.



На четвертый день, отважившись пройти немножко дальше вглубь материка, я увидел на холмике двадцать или тридцать туземцев, приблизительно в пятистах ярдах от меня. Все они, мужчины, женщины, дети, были совершенно голые и сидели должно быть около костра, насколько я мог заключить по густому дыму. Один из них заметил меня и показал другим; тогда пятеро мужчин направились ко мне, оставив женщин и детей у костра. Я со всех ног пустился наутек к берегу, бросился в лодку и отчалил. Дикари, увидя, что я убегаю, помчались за мной и, прежде чем я успел отъехать на достаточно далекое расстояние, пустили мне в догонку стрелу, которая глубоко вонзилась мне в левое колено (шрам от раны останется у меня до могилы). Я испугался, как бы стрела



не оказалась отравленной; поэтому, усиленно заработав веслами и оказавшись за пределами достижения их выстрелов (день был очень тихий), я старательно высосал рану и кое как перевязал ее.

Я был в нерешительности, что мне предпринять, опасаясь вернуться к месту, где я высадился, и взял курс на север, причем был вынужден итти на веслах, потому что ветер был хотя и незначительный, но встречный, северозападный. Осматриваясь кругом в поисках удобного места для высадки, я заметил на северо-северо-востоке парус, который с каждой минутой обрисовывался все явственнее; я был в некотором сомнении, поджидать ли его или нет; однако в заключение моя ненависть к породе *йэху* превозмогла, и, повернув пирогу, я на па-

русе и веслах направился к югу и вошел в ту же бухточку, откуда отправился поутру, предпочитая лучше отдаться в руки варваров, чем жить среди европейских *йэху*. Я подвел свою пирогу к самому берегу, а сам спрятался за камнем у упомянутого мной ручейка с прекрасной водой.

Корабль подошел к этой бухточке на расстояние полумили и отправил к берегу шлюпку с бочками за пресной водой (так как место было повидимому хорошо известно капитану); однако я заметил шлюпку, лишь когда она подходила к самому берегу и было слишком поздно искать другого убежища. При высадке на берег матросы заметили мою пирогу и, внимательно осмотрев ее, легко догадались, что хозяин ее находится где нибудь недалеко. Четверо из них, хорошо вооруженные, стали обшаривать каждую щелочку, каждый кустик и наконец нашли меня, лежащего ничком за камнем. Некоторое время они с удивлением смотрели на мой странный шутовской наряд, кафтан из кроличьих шкурок, башмаки с деревянными подошвами и меховые чулки; наряд этот показал им однако, что я не туземец, так как все туземцы ходили голые. Один из матросов приказал мне по-португальски встать и спросил меня, кто я. Я отлично его понял (так как знаю этот язык) и, поднявшись на ноги, сказал, что я несчастный *йэху*, изгнанный из страны *гуигнгнмов*, и умоляю позволить мне удалиться. Матросы были удивлены, услышав ответ на своем родном языке, и по цвету моего лица признали во мне европейца; но они не могли понять, что я разумел

под словами *йэху* и *гуигнгнмы*, и в то же время смеялись над странными интонациями моей речи, напоминавшими конское ржанье. Все



время я дрожал от страха и ненависти и снова стал просить позволения удалиться, тихонько отступая по направлению к моей пироге, но они удержали меня, пожелав узнать, из какой

страны я родом, откуда я прибыл, и задавая множество других вопросов. Я ответил им, что я родом из Англии, откуда я уехал около пяти лет тому назад, когда их страна и моя были в мире между собой. Поэтому я надеюсь, что они не будут обращаться со мной враждебно, тем более, что я не хочу им никакого зла; я просто бедный *йэху*, ищущий какого нибудь пустынного места, где бы я мог провести остаток моей несчастной жизни.

Когда они заговорили, мне показалось, что я никогда не слышал и не видел ничего более противоестественного; это было для меня так же чудовищно, как если бы в Англии заговорили собака или корова, или в стране *гуигнгнмов*— *йэху*. Почтенные португальцы были не менее поражены моим странным костюмом и чуднóй манерой произношения, хотя они прекрасно меня понимали. Они говорили со мной очень любезно и заявили, что их капитан наверное перевезет меня даром в Лиссабон, откуда я могу вернуться к себе на родину; что двое матросов отправятся обратно на корабль уведомить капитана о том, что они видели, и получить его распоряжения; а тем временем, если я не дам им торжественного обещания не убегать, они удержат меня силой. Я счел за лучшее подчиниться их предложению. Они очень любопытствовали узнать мои приключения, но я проявил большую сдержанность; тогда они решили, что несчастья повредили мой рассудок. Через два часа шлюпка, которая ушла нагруженная бочками с пресной водой, возвратилась с приказанием капитана доставить меня на борт. Я упал

на колени и умолял оставить меня на свободе; но все было напрасно, и матросы, связав меня веревками, бросили в лодку, откуда я был перенесен на корабль и доставлен в каюту капитана.

Капитан назывался Педро де Мендес и был человек очень учтивый и благородный; он попросил меня дать какие нибудь сведения о себе и пожелал узнать, чего я хочу есть или пить; при этом он поручился, что со мной будут обращаться на карабле как с ним самим, наговорил мне кучу любезностей, так что я был поражен, встретив такую обходительность у *йэху*. Однако я оставался молчаливым и угрюмым, и чуть не упал в обморок от одного только запаха этого капитана и его матросов. Наконец я попросил, чтобы мне принесли чего нибудь поесть из запасов, находившихся в моей пироге. Но капитан приказал подать мне цыпленка и отличного вина и распорядился, чтобы мне приготовили постель в очень чистой каюте. Я не захотел раздеваться и лег в постель как был; через полчаса, когда по моим предположениям экипаж обедал, я украдкой выскользнул из своей каюты и, пробравшись к борту корабля, намеревался броситься в море и спастись вплавь, лишь бы только не оставаться среди *йэху*. Но один из матросов помешал мне; узнав о моем покушении, капитан велел заковать меня в моей каюте.

После обеда Дон Педро пришел ко мне и пожелал узнать причины, побудившие меня решиться на такой отчаянный поступок. Он уверял меня, что его единственное желание оказать



мне всяческие услуги, какие только в его силах; он говорил так трогательно и убедительно, что мало-по-малу я согласился обращаться с ним как с животным, одаренным некоторыми зачатками разума. В немногих словах я рассказал ему о своем путешествии, о бунте экипажа на моем корабле, о стране, куда меня высадили бунтовщики и о моем трехлетнем пребывании в ней. Капитан принял мой рассказ за бред или галлюцинацию, что меня крайне оскорбило, так как я совсем отучился от лжи, так свойственной *йэху* во всех странах, где они господствуют, и позабыл об их всегдашней склонности относиться недоверчиво к словам себе подобных. Я спросил его, разве у него на родине существует обычай *говорить то, чего нет*, уверив его при этом, что я почти забыл значение слова

ложь, и что, проживи я в *Гуигнгнмии* хотя бы тысячу лет, я никогда бы не услышал там лжи даже от самого последнего слуги; что мне совершенно безразлично, верит он мне или нет, однако, в благодарность за его любезность, я готов отнестись снисходительно к его природной порочности и отвечать на все возражения, какие ему угодно будет сделать мне, так что он сам легко обнаружит истину.

Капитан, человек умный, после множества попыток уличить меня в противоречии на какой нибудь части моего рассказа, в заключение составил себе лучшее мнение о моей правдивости.* Но он заявил, что раз я питаю такую глубокую привязанность к истине, то должен дать ему честное слово не покушаться больше на свою жизнь во время этого путешествия, иначе он будет держать меня под замком до самого Лиссабона. Я дал требуемое им обещание, но заявил при этом, что готов претерпеть самые тяжкие бедствия, лишь бы только не возвращаться в общество *йэху*,

Во время нашего путешествия не произошло ничего замечательного. В благодарность капитану я соглашался иногда, уступая его настоятельным просьбам, вступать с ним в разговор, стараясь не обнаруживать своей антипатии к человеческому роду; несмотря на мои усилия она все же часто прорывалась у меня, но капитан делал вид, что ничего не замечает. Большую же часть дня я проводил в своей каюте, чтобы не встречаться ни с кем из матросов. Капитан не раз уговаривал меня снять мое дикарское одеяние, предлагая лучший свой костюм, но

я все отказывался, гнушаясь покрыть себя вещью, прикасавшейся к телу *йэху*. Я попросил его только дать мне две чистые рубашки, которые, будучи выстираны после того как он носил их, не могли, казалось мне, особенно сильно замарать меня. Я менял их каждый день и стирал собственноручно.

Мы прибыли в Лиссабон 15 ноября 1715 года. Перед высадкой на берег капитан набросил мне



на плечи свой плащ, чтобы оградить меня от насмешек уличной толпы. Он провел меня к своему дому и по настойчивой моей просьбе поместил в самом верхнем этаже, в комнате, выходящей окнами во двор. Я заклинал его

никому не говорить то, что я сообщил ему о *гуигнгнмах*, потому что малейший намек на мое пребывание у них не только привлечет ко мне толпы любопытных, но вероятно подвергнет также опасности заключения в тюрьму или сожжения на костре по приговору инквизиции. Капитан уговорил меня заказать себе новое платье, но я ни за что не соглашался, чтобы портной снял с меня мерку; но так как Дон Педро был почти одного со мной роста, то платья, сшитые для него, были мне как раз впору. Он снабдил меня также другими необходимыми для меня вещами, совершенно новыми, которые я, впрочем, перед употреблением проветривал целые сутки.

Капитан был неженат, и прислуга его состояла всего из трех человек, ни одному из которых



он не позволял прислуживать за столом; вообще все его обращение было таким предупредительным, он проявлял столько подлинной человечности и понимания, что я постепенно примирился с его обществом. Под влиянием его увещаний я решился даже посмотреть в заднее окошко. Потом я начал переходить в другую комнату, откуда выглянул было на улицу, но



сейчас же в испуге отшатнулся. Через неделю капитан уговорил меня сойти вниз посидеть у выходной двери. Страх мой постепенно уменьшался, но ненависть и презрение к людям, как-будто возрастали. Наконец я набрался храбрости выйти с капитаном на улицу, но плотно затыкал при этом нос табаком или рутой.

Через десять дней по моем приезде Дон Педро, которому я рассказал кое-что о своей семье и домашних делах, заявил мне, что долг моей



чести и совести требует, чтобы я вернулся на родину и жил дома с женой и детьми. Он сказал, что в порту стоит готовый к отплытию английский корабль, и выразил готовность снабдить меня всем необходимым для дороги. Было бы скучно повторять его доводы и мои возражения. Он говорил, что совершенно невозможно найти такой пустынный остров, на каком я мечтал поселиться; но в собственном доме я хозяин, и могу проводить время каким угодно затворником.

В конце концов я покорился, находя, что ничего лучшего мне не остается. Я покинул Лиссабон 24-го ноября, на английском коммер-

ческом корабле, но кто был его хозяином я так и не спросил. Дон Педро проводил меня на корабль и дал в долг двадцать фунтов. Он любезно со мной распрощался и, расставаясь, обнял меня, но при этой ласке я едва сдержал свое отвращение. В пути я не разговаривал ни с капитаном, ни с матросами и, сказавшись больным, заперся у себя в каюте. Пятого декабря 1715 года мы бросили якорь в Даунсе около девяти часов утра, и в три часа пополудни я благополучно прибыл к себе домой в Росергис.*

Жена и дети встретили меня с большим удивлением и радостью, так как они давно считали меня погибшим; но я должен откровенно сознаться, что вид их наполнил меня только ненавистью, отвращением и презрением, особенно когда я подумал о близкой связи, существовавшей между нами. Ибо, хотя со времени моего злополучного изгнания из страны *гуигнгнмов* я принудил себя выносить вид *йэху* и иметь общение с Дон Педро де Мендес, все же моя память и воображение были постоянно наполнены добродетелями и идеями возвышенных *гуигнгнмов*. И мысль, что благодаря соединению с одной из самок *йэху* я стал отцом еще нескольких этих животных, наполняла меня величайшим стыдом, смущением и отвращением.

Как только я вошел в дом, жена заключила меня в объятия и поцеловала меня; за эти годы я настолько отвык от прикосновения гнусных животных, что не выдержал и упал в обморок, продолжавшийся больше часу. Когда я пишу эти строки,* прошло уже пять лет со времени моего возвращения в Англию. В течение первого года




я не мог выносить вида моей жены и детей; даже их запах был для меня нестерпим; тем более я не в силах был садиться с ними за стол в одной комнате. И до сих пор они не смеют прикасаться к моему хлебу или пить из моей чашки, до сих пор я не могу позволить им пожимать мне руку. Первые же свободные деньги я истратил на покупку двух жеребцов, которых держу в прекрасной конюшне; после них моим наибольшим любимцем является конюх, так как запах, который он приносит из конюшни, действует на меня самым оживляющим образом. Лошади достаточно хорошо понимают меня;

я разговариваю с ними по крайней мере четыре часа ежедневно. Они не знают, что такое узда или седло, очень ко мне привязаны и дружны между собою.





## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

*Правдивость автора. С каким намерением опубликовал он этот труд. Он порицает путешественников, отклоняющихся от истины. Автор отвергает какой либо злой умысел при писании этой книги. Ответ на одно возражение. Метод насаждения колоний. Похвала родине. Бесспорное право короны на страны, описанные автором. Трудность завоевать их. Автор окончательно расстается с читателем; он излагает планы своего образа жизни в будущем, дает добрые советы и заканчивает книгу.*



Итак, любезный читатель, я дал тебе правдивое описание моих путешествий, продолжавшихся шестнадцать лет и свыше семи месяцев, в котором я заботился не столько о прикрасах, сколько об истине. Может быть, подобно другим путешественникам, я мог бы удивить тебя стран-

ными и невероятными рассказами, но я предпочел излагать голые факты наипростейшим способом и слогом, ибо главным моим намерением было осведомлять тебя, а не забавлять.

Нам, путешественникам в далекие страны, редко посещаемые англичанами или другими европейцами, не трудно сочинить описание диковинных животных, морских и сухопутных. Между тем главная цель путешественника просвещать людей и делать их лучшими, совершенствовать их умы как дурными, так и хорошими примерами того, что они передают касательно чужих стран.

От всей души я желал бы издания закона, который обязывал бы каждого путешественника, перед получением им разрешения на опубликование своих путешествий, давать перед лордом верховным канцлером клятву, что все, что он собирается печатать, есть безусловная истина, по его добросовестному мнению. Тогда публика не подвергалась бы больше риску быть обманутой, как это обыкновенно бывает теперь, оттого что некоторые писатели, желая сделать свои сочинения более занимательными, угощают доверчивого читателя самой грубой ложью. В юности я с огромным наслаждением прочел не мало путешествий; но, объехав с тех пор почти весь земной шар и убедившись в несостоятельности множества басен на основании собственных наблюдений, я проникся большим отвращением к такого рода чтению и с негодованием смотрю на столь бесстыдное злоупотребление человеческим легковерием. И так как моим знакомым угодно было признать скром-

ные мои усилия небесполезными для моей родины, то я поставил своим правилом, которому неуклонно следую, *строжайше придерживаться истины;* да у меня и не может возникнуть ни малейшего искушения отступить от этого правила, пока я храню в своей памяти наставления и пример моего благородного хозяина и других достопочтенных *гуигнгнмов,* скромным слушателем которых я так долго имел честь состоять.

*Nec, si miserum Fortuna Sinonem*
*Finxit, vanum etiam, mendacemque improba finget.**

Я отлично знаю, что сочинения, не требующие ни таланта ни знаний и никаких вообще дарований, кроме хорошей памяти или аккуратного дневника, не могут особенно прославить их автора. Мне известно также, что авторы путешествий, подобно составителям словарей, погружаются в забвение тяжестью и величиной тех, кто приходит им на смену и следовательно ложится поверх. И весьма вероятно, что путешественники, которые посетят впоследствии страны, описанные в этом моем сочинении, обнаружив мои ошибки (если только я их совершил) и прибавив много новых открытий, оттеснят меня на второй план и сами займут мое место, так что мир позабудет, что был когда то такой писатель. Это доставило бы мне большое огорчение, если бы я писал ради славы; но так как моей единственной заботой является *общественное благо,* то у меня нет никаких оснований испытывать разочарование. В самом деле, кто способен читать описанные

мной добродетели славных *гуигнгнмов,* не испытывая стыда за свои пороки, особенно, если он рассматривает себя как разумное, господствующее животное своей страны? Я ничего не скажу о тех далеких народах, где первенствуют *йеху,* среди которых наименее испорченными являются бробдингнежцы; соблюдать их мудрые правила поведения было бы для нас большим счастьем. Но я не буду больше распространяться на эту тему и предоставляю рассудительному читателю самому делать заключения и выводы.

Не малое удовольствие доставляет мне уверенность, что это произведение не может быть подвергнуто критике. В самом деле, какие возражения можно сделать писателю, который излагает одни только голые факты, имевшие место в таких отдаленных странах, не представляющих для нас ни малейшего интереса ни в торговом, ни в политическом отношении? Я всячески старался избегать промахов, в которых так часто справедливо упрекают авторов путешествий. Кроме того, я не смотрю на вещи с партийной точки зрения, но пишу беспристрастно, без предубеждений, без зложелательства к какому нибудь лицу или к какой нибудь группе лиц. Я пишу с благороднейшей целью просветить и наставить человечество, над которым, не нарушая скромности, я в праве притязать на некоторое превосходство, благодаря преимуществам, приобретенным мной от долгого пребывания среди таких нравственно совершенных существ, как *гуигнгнмы.* Я не рассчитываю ни на какие выгоды и ни на какие похвалы. Я не допускаю ни одного слова, кото-

рое могло бы быть сочтено за насмешку или причинить малейшее оскорбление даже самым обидчивым людям. Таким образом, я надеюсь, что с полным правом могу объявить себя писателем совершенно безупречным, у которого никогда не найдут материала для упражнения своих талантов племена обозревателей, наблюдателей, порицателей, ищеек и соглядатаев.

Признаюсь, что мне нашептывали, будто мой долг английского подданного обязывает меня, сейчас же по возвращении на родину, представить одному из министров докладную записку, так как все земли, открытые подданным, принадлежат его королю. Но я сомневаюсь, чтобы завоевание стран, о которых я говорю, далось нам так легко, как завоевание Фердинандом Кортесом американских дикарей. *Лиллипуты,* по моему мнению, едва ли стоят того, чтобы для покорения их снаряжать армию и флот, и я не думаю, чтобы было благоразумно или безопасно произвести нападение на *бробдингнежцев,* или чтобы английская армия хорошо себя чувствовала, когда над нею покажется *Летучий Остров.* Правда, *гуигнгнмы* как будто не так хорошо подготовлены к войне, искусству, которое совершенно для них чуждо, особенно, что касается обращения с огнестрельным оружием. Однако, будь я министром, я никогда не посоветовал бы нападать на них. Их благоразумие, единодушие, бесстрашие и любовь к отечеству с избытком возместили бы все их невежество в военном искусстве. Представьте себе двадцать тысяч *гуигнгнмов,* врезавшихся в середину европейской армии, смешавших строй, опрокинув-

ших обозы, превращающих в котлету лица солдат страшными ударами своих задних копыт. Ибо они вполне заслуживают характеристику, данную Августу: *recalcitrat undique tutus.** Но вместо предложения планов завоевания этой великодушной нации, я предпочел бы, чтобы они нашли возможность и согласились послать достаточное количество своих сограждан для цивилизования Европы путем научения нас первоосновам чести, справедливости, правдивости, воздержности, солидарности, мужества, целомудрия, дружбы, доброжелательства и верности. Имена этих добродетелей удержались еще в большинстве европейских языков, и их можно встретить как у современных, так и у прежних писателей. Я могу это утверждать на основании скромных своих чтений.

Но существует еще и другая причина, удерживающая меня от содействия расширению владений его величества открытыми мной странами. Правду говоря, меня берет некоторое сомнение насчет справедливости, проявляемой государями в таких случаях. Например, буря несет шайку пиратов в неизвестном им направлении; наконец юнга открывает с верхушки мачты землю; пираты выходят на берег, чтобы заняться грабежом и разбойничеством; они находят безобидное население, оказывающее им хороший прием; дают стране новое название; именем короля завладевают ею, водружают гнилую доску или камень в качестве памятного знака, убивают две или три дюжины туземцев, насильно забирают на корабль несколько человек, в качестве образца, возвращаются на родину и по-

лучают прощение. Так возникает новая колония, приобретенная по *божественному праву*. При первой возможности туда посылают корабли; туземцы либо изгоняются, либо истребляются, вожди их подвергаются пыткам, чтобы принудить их выдать свое золото; открыта полная свобода для совершения любых бесчеловечных поступков, для любого распутства, земля обагряется кровью своих сынов. И эта гнусная шайка мясников, занимающаяся столь благочестивыми делами, образует *современную колонию*, отправленную для обращения в христианство и насаждения цивилизации среди дикарей-идолопоклонников.

Но это описание, разумеется, не имеет никакого касательства к британской нации, которая может служить примером для всего мира благодаря своей мудрости, заботливости и справедливости в насаждении колоний; своим высоким духовным качествам, содействующим преуспеянию религии и просвещения; подбору набожных и способных священников для распространения христианства; осмотрительности в заселении своих провинций добропорядочными и воздержными на язык жителями метрополии; строжайшему уважению справедливости при замещении административных должностей во всех своих колониях чиновниками величайших дарований, совершенно чуждых всякой порочности и продажности; и в увенчание всего — благодаря назначению бдительных и добродетельных губернаторов, горячо пекущихся о благоденствии вверенного их управлению населения и блюдущих честь короля, своего государя.

Но так как население описанных мной стран повидимому не имеет никакого желания быть завоеванным, обращенным в рабство, истребленным или изгнаным колонистами, и так как сами эти страны не изобилуют ни золотом, ни серебром, ни сахаром, ни табаком, то, по скромному моему мнению, они являются весьма мало подходящими объектами для нашего рвения, нашей доблести и наших интересов. Однако, если те, кого это ближе касается, считают нужным держаться другого мнения, то я готов засвидетельствовать под присягой, когда я буду призван к тому законом, что ни один европеец не посещал этих стран до меня, посколько, по крайней мере, можно доверять показаниям туземцев; спор может возникнуть лишь по отношению к двум *йэху*, которых, по преданию, видели много веков тому назад на одной горе в *Гуигнгнмии*, и от которых, по тому же преданию,* произошел весь род этих гнусных скотов; эти двое *йэху* были должно быть англичане, как я очень склонен подозревать на основании черт лица их потомства, хотя и очень обезображенных. Но насколько факт этот может быть доказательным, предоставляю судить знатокам колониальных законов.

Что же касается формального завладения открытыми странами именем моего государя, то такая мысль никогда не приходила мне в голову; да если бы и пришла, то, принимая во внимание мое тогдашнее положение, я, пожалуй, поступил бы благоразумно и предусмотрительно, отложив осуществление этой формальности до более благоприятного случая.

Ответив таким образом на единственный упрек, который можно было бы сделать мне как путешественнику, я окончательно прощаюсь со всеми моими любезными читателями и удаляюсь в свой садик в Редриффе наслаждаться размышлениями, осуществлять на практике превосходные уроки добродетели, преподанные мне *гуигнгнмами,* просвещать *йэху* моей семьи, насколько эти животные вообще поддаются воспитанию, почаще смотреть на свое отражение в зеркале, и таким образом, если возможно, постепенно приучить себя выносить вид человека; сокрушаться о дикости *гуигнгнмов* на моей родине, но всегда относиться к их личности с уважением, ради моего благородного хозяина, его семьи, друзей и всего рода *гуигнгнмов,* на которых наши лошади имеют честь походить по своему строению, значительно уступая им по своим умственным способностям.

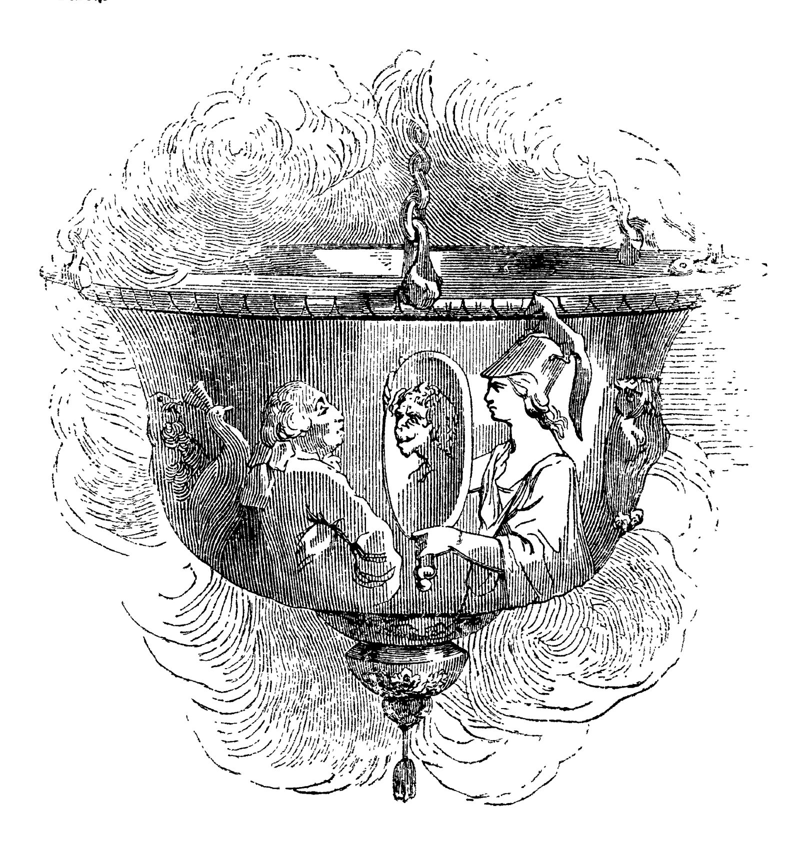
С прошлой недели я начал позволять моей жене садиться обедать вместе со мной на дальнем конце длинного стола и отвечать (как можно короче) на немногие задаваемые мной вопросы. Все же запах *йэху* попрежнему очень противен мне, так что я всегда плотно затыкаю нос рутой, лавандой или листовым табаком. И хотя для человека пожилого трудно отучиться от старых привычек, однако я совсем не теряю надежды, что через некоторое время способен буду переносить общество *йэху*-соседей и перестану страшиться их зубов и когтей.

Мне было бы гораздо легче примириться со всем родом *йэху,* если бы они довольствовались теми пороками и безрассудствами,которыми на-

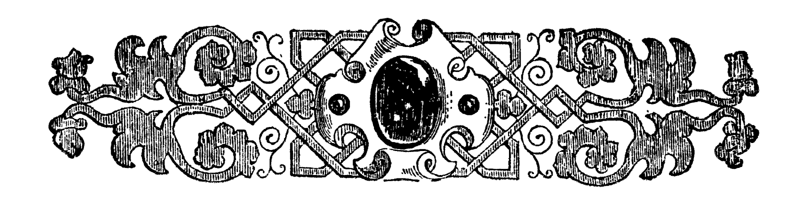
делила их природа. Меня ничуть не раздражает вид судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможи, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя, и им подобных; существование всех их в порядке вещей. Но когда я вижу кучу уродств и болезней, как физических, так и духовных, да в придачу к ним еще *гордость,* — терпение мое немедленно истощается; я никогда неспособен буду понять, как такое животное и такой порок могут сочетаться вместе. У мудрых и добродетельных *гуигнгнмов,* в изобилии одаренных всеми совершенствами, какие только могут украшать разумное существо, нет даже слова для обозначения этого порока; да и вообще язык их не содержит вовсе терминов, выражающих что нибудь дурное, исключая тех, при помощи которых они описывают гнусные качества тамошних *йэху,* среди которых они однако не могли обнаружить гордости, вследствие недостаточного знания человеческой природы, как она проявляется в других странах, где это животное занимает господствующее положение. Но я, благодаря своему большему опыту, ясно различал некоторые зачатки этого порока среди диких *йэху.*

Однако *гуигнгнмы,* живущие под властью разума, так же мало гордятся своими хорошими качествами, как я горжусь тем, что у меня две ноги и две руки; ни один человек, находясь в здравом уме, не станет кичиться этим, хотя и будет очень несчастен, если лишится того или другого члена. Я так долго останавливаюсь на этом предмете из желания сделать, по мере

моих сил, общество английских *йэху* более переносимым; поэтому я очень прошу лиц, в какой нибудь степени запятнаных этим нелепым пороком, не отваживаться попадаться мне на глаза.



**Конец**



# ПРИМЕЧАНИЯ.

За свою двухстолетнюю историю *Гулливер*, подобно многим другим классическим произведениям, «оброс», если можно так выразиться, многочисленными примечаниями, составленными самыми разнообразными лицами, начиная с современников Свифта. Текст этих примечаний, по своему объему, значительно превышает текст самого *Гулливера* и содержит огромное количество балласта, так как авторы его не столько разъясняют содержащиеся у Свифта намеки, сколько полемизируют с его резкими и беспощадными утверждениями. Между тем едва ли может быть более праздное занятие, чем борьба с несравненной желчностью Свифта обветшалым орудием прописной морали В настоящем издании я ограничился самыми необходимыми историко-литературными и фактическими разъяснениями, без которых текст Свифта для среднего современного читателя остался бы непонятным, выбрав эти разъяснения преимущественно из последних критических изданий Гулливера S. Ravenscroft Dennis'а и Harold Williams'а.

## ПИСЬМО ГУЛЛИВЕРА К СИМПСОНУ.

Страница 5. Письмо это, хотя и датированное 2-м апреля 1727 года, впервые появилось в дублинском издании Фолкнера в 1735 году. Как показал Генри Крейк (Henry Craik, *Life of Swift*, 1882, p. 536), и дата и содержание этого письма имеют целью еще более увеличить тайну, которой было окружено опубликование *Путешествий*, а также снять со Свифта ответственность за недочеты и предосудительные места книги. Впрочем, теперь с несомненностью установлено, что

рукопись *Гулливера* подверглась некоторым изменениям после того, как Свифт передал ее издателю (см. предисловие редактора).

Страница 6, строка 2. *Демпиер* (Dampier William) 1652—1715, английский мореплаватель. В *Гулливере* Свифт подражает его слогу.

Страница 6, строка 9. *Королевы Анны* См. *Путешествие к Гуигнгмам,* гл. VI, примечание.

Страница 8, строка 24. *Смитсфильд*—знаменитая лондонская площадь, где производились экзекуции.

Страница 9, строка 10. *Семь месяцев.* Книга была опубликована только за пять, а не за семь месяцев до 2-го апр. 1727 г. Как указывает Крейк, такая ошибка была бы невероятна, если бы это письмо было действительно написано в 1727 году, и вполне возможна через девять лет после издания книги в 1735 году.

Страница 11, строка 18. *Бробдингрег.* Едва ли стоит указывать, что это исправление (лишний штрих, долженствующий свидетельствовать о правдивости повествования) нельзя принимать в серьез. Нет никаких оснований слово Бробдингнег (Brobdingneg), ставшее в Англии почти таким же нарицательным (в особенности прилагательное от него) как и лиллипут, переводить по русски Бробдиньяг, как делали прежние переводчики.

## ЧАСТЬ I

Рассказы о царствах и племенах пигмеев так же незапамятны, как и начатки литературы. Концепция настолько проста, что сама напрашивается воображению. Путешествие в Лиллипутию всегда было самой популярной частью *Гулливеровых Путешествий.* Всем хорошо известно упоминание Гомера (Илиада, III, 2—6) о войне пигмеев с журавлями. Геродот, которого много читал Свифт, упоминает о племени пигмеев в Ливии (Euterpe, гл. XXXII). В *Сказке о бочке* (отд. VII) Свифт ссылается на рассказ Ктесия об индийских пигмеях (Фотий, ed Bekker, 1824, p. 46). В *Imagines* Филострата описано нападение пигмеев на Геркулеса, которое может быть внушило Свифту мысль о пленении Гулливера лиллипутами. Но ни у одного классического

писателя, равно как ни у одного писателя более близкого Свифту по времени, оживляющего предание о пигмеях (см. по этому поводу у Borkowsky, *Quellen zu Dean Swift's Gulliver's Travels, Anglia,* vol. XV, стр. 345—89, и W. A. Eddy, *A critical Study of Gullivers Travels* 1923), нет материала, который дал бы основание предположить, что он был для Свифта больше, чем случайным толчком, заставившим работать его воображение; тем более ни у кого из них мы не находим такого последовательного и связанного повествования, как в Путешествии в Лиллипутию.

Сатира этой части направлена против английского правительства и церкви XVII и начала XVIII века, а также против определенных лиц. Можно проследить, как характер ее меняется, по мере постепенной отделки Свифтом первоначального эскиза. Лиллипутия становится Англией; император—Георг I, не по внешности, а как политический деятель; Гулливер, первоначально фигура безличная, превращается в Болингброка.

Было высказано предположение, будто Лиллипутия и Блефуску представляют собой Ирландию и Шотландию (Sophie Shilleto Smith, *Dean Swift,* p. 226), на том основании, что год предполагаемого открытия Лиллипутии, 1699, был год получения Свифтом прихода Ларокор. Но рассказ о политических взаимоотношениях двух пигмейских империй совершенно несовместим с этой гипотезой, равно как и упоминание об обычае молодых лиллипутов и блефускуанцев путешествовать в соседнее государство с образовательной целью. Свифт явно хотел изобразить отношения между Англией и Францией после Утрехтского мира (1713).

Профессор Генри Морли в своем введении к одному из изданий *Путешествий Гулливера* (Carisbrooke Library, pp. 17, 18) остроумно производит слово *lilliput* от *lilli-little* (малый) и *put*—ходячий презрительный термин во времена Свифта. На романских языках словом этим называли мальчиков и девочек, предающихся порокам взрослых. Ср. старо-франц. *put* и *pute,* испанское и португальское *puto* и *puta,* итальянское *putta,* а также латинское *putidus* (испорченный). Повидимому, тем же намерением Свифт руководился, сочиняя слово *Лапута.*

## Глава I.

**Страница 21, строка 4, 30° 2′** *южной широты.* **Если, как это понял составитель карты, приложенной к I-му изданию Путешествий,** *Ван Дименовой Землей* **Гулливером называется Австралия, то Лилипутия, по подсчетам Ревенскрофта Денниса, лежит под 15° южной широты, а не 30° 2′.**

Страница 23, строка 7. *Я хотел встать* Вальтер Скот (*Works of Jonathan Swift*, XI, 7) первый подметил тут аналогию с рассказом Филострата о нападении пигмеев на Геркулеса (Imagines, lib. II): «Одна фаланга пошла на штурм его левой руки, но против правой руки, как более сильной, были пущены в ход две фаланги. Лучники и пращники осадили его ноги, удавляясь огромным размерам его бедер; но вокруг его головы, как вокруг арсенала, они воздвигли осадные орудия, и сам царь занял свое место там. Они подожгли его волосы, стали бросать ему в глаза серпы; и, чтобы он не мог дышать, они заткнули ему рот и ноздри; но вся эта возня способна была только разбудить его; проснувшись же, он, не обращая никакого внимания на их дурачества, собрал их всех в львиную шкуру и снес к Эврисфею».

Страница 23, строка 22. *Шести дюймов.* Отношение роста Гулливера к росту лилипутов равно отношению фута к дюйму, т.-е. двенадцати к единице; отношение его к росту бробдингнежцев как раз обратное (1 и 12). Это простое отношение позволяет легко проверять данные, сообщаемые Свифтом в дальнейшем.

Страница 28, строка 19. *Не более нашей полупинты.* Наши кубические меры в 1728 раз больше лилипутских ($12^3$); таким образом полпинты равно 108 (лилипутских) галлонов (около 500 литров).

Страница 36, строка 17. *Тридцатью шестью замками.* Любопытно, что те же самые числа мы находим у Свифта в *Сказке бочки*, вышедшей на двадцать лет раньше *Гулливера:* «Я написал 91 памфлет при трех царствованиях к услугам 36 фракций».

## Глава II

Страница 41, строка 10. *На мой ноготь выше всех своих придворных.* По замыслу Свифта лилипутский император должен был напоминать английского короля Георга I, но сходство распространяется только на некоторые черты характера, как то: умеренность, простота и особенно большая скупость; по внешности они вовсе не похожи друг на друга. Низенький и неуклюжий Георг лишен был всякой величественности. Несходство объясняется отчасти осторожностью Свифта, а отчасти, может быть, переделкой первоначального наброска в политическую сатиру.

Страница 44, строка 11. *Шестьсот матрацов.* Площадь матраца Гулливера, равная площади 150 лилипутских матрацов, соответствует установленному с самого начала отношению 12-ти к 1 ($12 \times 12 = 144$). Но Гулливер справедливо жалуется на жесткость своей постели, так как следовало положить друг на друга не четыре, а двенадцать матрацов.

Страница 50, строка 1. *Опись.* Насмешка над приемами тайного комитета, учрежденного Уольполем (главой министерства вигов при Георге I) для расследования интриг и заговоров якобитов (т.-е. сторонников возведения на престол сына изгнанного Якова II Стюарта). Описание обыска сделано Свифтом мастерски.

## Глава III

Страница 60, строка 28. *Флимнап.* В образе Флимнапа Свифт осмеивает Роберта Уольполя, к которому, как к главе министерства вигов, сменившего торийское министерство Болингброка, друга Свифта, он относится крайне неприязненно. «Прыжки на натянутом канате» Флимнапа изображают политическую ловкость, Уольполя.

Страница 61, строка 3. *Рельдресель* вероятно должен означать или графа Стенгопа, в 1717 году сменившего Уольполя на посту премьера и отличавшегося большей терпимостью к ториям, или лорда Картерета, вице-короля Ирландии; хотя и дружественно настроен-

ный к Свифту, он все же вынужден был назначить награду в 300 фунтов за указание автора *Писем суконщика* (намек на это см. главу VII). А может быть в лице Редреселя Свифт просто желает изобразить силу закулисных влияний, этой необходимой принадлежности придворной жизни.

Страница 61, строка 23. *Королевская подушка*—герцогиня Кендельская, любовница Георга I, благодаря влиянию которой Уольполь снова стал министром в 1721 г. после смерти Стенгопа.

Страница 61, строка 29. *Синюю, красную и зеленую*—цвета орденов Подвязки, Бани и св. Андрея. Уольполь был награжден орденом Подвязки в 1726 г., так что это место было вставлено Свифтом незадолго до опубликования книги.

Страница 68, строка 2. *Скайреш Болголама.* Герцог Арджиллский (по мнению Тейлора) и граф Нотингемский (по мнению Чарльза Фертса).

Страница 69, строка 21. *Земного шара.* Непоследовательность; в гл. VI Свифт говорит, что лилипуты представляли землю плоской.

## Глава IV

Страница 79, строка 6. *Ее императорское величество*—Королева Анна—«особа добродушная, но легко околпачиваемая» (Тейлор).

Страница 81, строка 5. *Тремексенов и слемексенов*—высокая и низкая (low) церковь или тори и виги. Низкие каблуки императора указывают на его принадлежность к партии вигов.

Страница 82, строка 7. *Походка его высочества прихрамывающая.* Принц Уэльский (впоследствии Георг II) хотя и расходился со своим отцом и министерством, и тори возлагали на него большие надежды, однако по вступлении на престол, по совету королевы, удержал Уольполя.

Страница 83, строка 4. *Разбивать яйца с острого конца.* Тупоконечники и остроконечники—католики и протестанты; спор между ними—спор о таинствах. Объяснение последующей аллегории легко найти в истории Англии с начала Реформации: в преследованиях,

восстаниях, революциях и внешних, особеенно французских, интригах в пользу католиков и якобитов. Изгнанные из Англии паписты и якобиты находят приют во Франции, правители которой более или менее сердечно симпатизировали им и оказывали помощь.

Страница 83, строка 8. *Один император потерял свою жизнь, а другой корону*—Карл I и Яков II.

Страница 84, строка 28. *Мы потеряли...* Торийская оппозиция была недовольна затянувшейся войной с Францией (поддерживаемой вигами и Мальборо). Ее чувства Свифт выразил в памфлете: *Поведение союзников.*

## Глава V.

Страница 86, строка 1. *Империя Блефуску*—Франция.

Страница 88, строка 15. *Я боялся за глаза.* Ср. Рабле, кн. I, гл. XXXVI.

Страница 89, строка 16. *Пятьдесят самых крупных военных неприятельских кораблей.* По мнению профессора Моргана (Notes and Queries 2-nd ser. p. 124), предприятие это было, пожалуй, не по силам Гулливеру. Пленение блефускуанского флота изображает победу Англии над Францией и усиление ее морского могущества благодаря Утрехтскому миру 1713 г.

Страница 91, строка 17. *Обратить империю Блефуску в провинцию.* Успехи Мальборо внушили многим мысль о возможности полного покорения Франции.

Страница 94, строка 5. *Моя совесть была чиста.* Намек на обвинения Уольполем Болингброка (который вел от лица Англии мирные переговоры с Францией) в том, что он находился в преступной переписке с французскими делегатами.

Страница 96, строка 21. *Здания были спасены от разрушения.* Сцена внушена вероятно Рабле (кн. I, гл. XVII, кн. II, гл. XXVIII).

Страница 98, строка 5. *Поклялась жестоко отомстить мне.* Возможно, что Свифт хотел осмеять предрассудки королевы Анны по части неприличия и безнравственности его сатиры, несмотря на услуги, оказанные этой сатирой ее министерству. (Намек на *Сказку бочки).*

## Глава VI

По мнению Гарольда Вильямса (Юб. изд. *Гулливера* 1926 г.), глава эта вставлена Свифтом, когда путешествие было уже написано. Гулливер не является больше любознательным путешественником в чужой стране, но излагает теории и мысли автора.

Страница 102, строка 1. *Наискось страницы, от одного угла к другому*. Упоминание о таком способе письма мы находим в книге Denis Vairasse d'Alais. Histoire des Sévarambes (1677).

Страница 103, строка 12. *Доносчиках.* Свифт ненавидел этих людей отчасти из-за процесса Аттербери (см. часть III, глава VI, примеч.).

Страница 108, строка 22. *Обязанности ребенка по отношению к отцу*. Ту же мысль мы находим у Сирано де Бержерака в его *Истории луны* (произведении, откуда Свифт позаимствовал немало): «Vostre père consulta-t-il vostre volonté lorsqu'il embrassa vostre mère? Vous demanda-t-il si vous trouveriés bon de veoir ce siècle-là ou d'en attendre un autre? («*Les Oeuvres libertines de Cyrano de Bergerac* ed. Frédéric Lachèvre, 1921, 1, 64).

Страница 117, строка 14. *Честь одной почтенной дамы.* Некоторые комментаторы видят здесь намек на определенных лиц, но вернее предположить, что Свифту просто показалось забавным торжественное опровержение столь нелепой сплетни.

## Глава VII

Страница 123, строка 11. *Обвинительный акт.* Сатира на процесс против Болингброка, Оксфорда и Ормонда.

Страница 128, строка 4. *Выколоть вам оба глаза.* Насмешка над прениями в палате общин по обвинению Оксфорда и Болингброка. Речь Рельдреселя является повидимому намеком на предложение некоторых вигов заменить обвинение в измене обвинением в злоупотреблении доверием, оказанным им государством; в таком случае обвиняемым угрожала бы не смертная казнь, но конфискация имущества и полное поражение в правах. Ср. также примечание о Рельдреселе в гл. III.

Страница 133, строчка 2. *Панегирики императорскому милосердию.* После восстания 1715 года и последовавших за ним казней правительство издало прокламацию, восхваляющую королевское милосердие.

Страница 135, строка 1. *Решении отправиться в то же утро в Блефуску.* Здесь явный намек на Болингброка и его бегство во Францию в 1715 году. Подобно Гулливеру он боялся, что оставаться в Англии будет для него равносильно ожиданию смертного приговора.

## Глава VIII

Страница 141, строка 16. *Он послал ко двору Блефуску одну знатную особу.* Намек на частые представления английского правительства французскому двору по поводу его покровительства якобинским эмигрантам и заговорщикам.

Страница 142, строка 33. *Очень доволен моим решением.* Пребывание в Париже Болингброка и его единомышленников причиняло большое беспокойство французскому двору.

Страница 148, строка 13. *Шерстопрядильной промышленности.* Намек на многочисленные парламентские акты, покровительствующие шерстопрядильной промышленности в Англии. Запрещение ввоза в Англию ирландских шерстяных изделий убило ирландскую промышленность.

Страница 148, строка 20. *Редриффе.* Так назывался в XVII и начале XVIII века Росергайс (Rotherhithe). В IV части, гл. XI, Гулливер говорит Росергис (Rotherhith).

## ЧАСТЬ II

Изображая обитателей Бробдингнега, Свифт очень мало считается с античными или народными преданиями о великанах. Титаны и циклопы античных мифов были существами свирепыми и жестокими, великаны германской и скандинавской мифологии — существами добродушными и веселыми. Бробдингнежцы — народ трезвый и здравомыслящий, руководствующийся в своем поведении практическими соображениями—миролюби-

вый, трудолюбивый и, повидимому, лишенный фантазии и вкуса к приключениям. Люди исполинского роста отличаются обыкновенно кротким характером и ограниченными умственными способностями, и Свифт наделяет бробдингнежцев аналогичными качествами. Существа они почтенные и достойные, хотя внешне и непривлекательные.

Интересно отметить, что среди литературных источников, которые могли оказать влияние на *Путешествия Гулливера*, три произведения: *Vera Historia* Лукиана, *Voyage of Domingo Gonzales to the Moon* Френсиса Годвина (1638) и *Histoire comique de la lune* Сирано (1657), повествуют о великанах, живущих на луне Исполинские чудовища Лукиана не имеют ничего общего с бробдингнежцами, рассказ Годвина имеет мало точек соприкосновения с рассказом Свифта, но совпадений между путешествием Сирано и приключениями Гулливера в Бробдингнеге слишком много для того, чтобы их можно было объяснить случайностью. Перечень их дает W. A. Eddy (op. cit. pp. 125—9): спор придворных ученых о происхождении Гулливера; Гулливера держат в ящике, Сирано в клетке; обоих показывают за деньги; публичные представления утомляют обоих; в обоих зрители запускают орехом; оба делаются любимцами королевы; оба замечают, что местные птицы не боятся их; обоих уносит исполинская птица. Хотя все это вероятно заимствовано Свифтом, однако он бесконечно выше Сирано де Бержерака в отношении повествования, остроумия и сатиры.

Как было отмечено выше, *Путешествие в Лиллипутию* носит явные следы переработки. Сатира касается событий, отделенных друг от друга большими промежутками времени, переход между отдельными частями нередко искусственный, и все путешествие очевидно не есть результат единого замысла и непрерывной работы. *Путешествие в Бробдингнег*, напротив, производит впечатление вещи, построенной по ясному плану и с начала до конца написанной сразу. Правда, точка зрения меняется в течение повествования, но контраст сатирического эффекта намереный; тут нет ни одного примера искусственного перехода между частями. В первой части *Путешествия в Бробдингнег* прием Свифта

похож на прием, который он применяет в *Путешествии в Лиллипутию:* Гулливер—*сторонний наблюдатель,* которому у бробдингнежцев открывается человеческая грубость и уродливость, подобно тому как возня лиллипутов открыла ему мелочность человека. В конце путешествия Гулливер становится представителем нормального человека и объектом сожаления или презрительной критики бробдингнежского короля. Действенность сатиры значительно повышается благодаря контрастному построению последних глав, переход к которым совершен естественно и планомерно.

Далее, существует большое и принципиальное различие между объектами сатиры первого и второго путешествий. В Лиллипутии подвергаются осмеянию определенные лица и определенные государственные деятели, в Бробдингнеге же человеческие учреждения и человеческое общежитие вообще.

Профессор Морли *(op. cit.* Introd. p. 18) полагает, что слово Бробдингнег (Brobdingnag) образовано «анаграмматическим методом». Он говорит: «Во всяком случае Brobdingnag содержит буквы *grand, big, noble* (большой, крупный, благородный); отброшен только последний слог последнего слова *le*».

## Глава I

Страница 155, строка 3—5—9. *19 апреля... двадцать дней... ... 2 мая.* Курьезный недосмотр.

Страница 155, строка 16. *Видя, что ветер сильно крепчает.* Это описание бури есть издевательство Свифта над злоупотреблением морским жаргоном, столь обычным у авторов путешествий. Все же оно не беспорядочный набор морских терминов, как думали Вальтер Скот и Тейлор, но почти дословное заимствование из *Mariner's Magazine* Самуэля Стерми (Sturmy), первое издание которого вышло в 1669 г. Это было впервые обнаружено E. H. Knowelеs'ом в *Notes and Queries* (4 ser. I,223) и Чертоном Коллинзом *(Jonathan Swift,* London, 1893, p. 206).

## Глава II

Страница 192, строка 13. *Немного побольше атласа Сансона.* Николай Сансон (1600—1767) отец французской географии. Вряд ли однако Свифт мог видеть атлас самого Сансона (вышел между 1654 и 1667). После смерти Н. Сансона два его младших сына Гильом и Адриан в сотрудничестве с Алексеем Гюбером Жайо (Jaillot) издали в 1789 новый атлас *(Atlas Nouveau)*, который переиздавался в течение всего 18-го века. Его вероятно и имеет в виду Свифт. Это была квадратная книга около 20 дюймов длины и ширины, следовательно меньше двух «бробдингнежских» дюймов.

## Глава III

Страница 194, строка 10. *Королева.* Возможно, что в образе королевы Свифт хотел изобразить принцессу Уэльскую, до замужества Каролину Анспахскую, женщину талантливую и с сильным характером.

Страница 195, строка 15. *Мойдор* — золотая португальская монета около 13 рублей (27 шиллингов).

Страница 197. Строка 22. *Король.* Бробдингнежский король не имеет никакого сходства с принцем Уэльским (будущим Георгом II); но так как тори надеялись на милости от него, то Свифт мог польстить. Вальтер Скотт думает, будто Свифт имел в виду Вильгельма III. Однако политический элемент части II ничтожен; поэтому сочиняя характеры короля и королевы, Свифт возможно вовсе не имел в виду конкретных лиц.

## Глава IV

Страница 215, строка 2. *Шесть тысяч миль.* На приложенной карте Бробдингнег гораздо меньше; возможно, что это вина составителя карты.

Страница 215, строка 7. *Океана между Японией и Калифорнией.* Между географами того времени существовало разногласие, соединена ли Япония с Америкой сушей или нет.

Страница 223, строка 13. *Колокольня в Сольсбери* имеет в высоту 404 фута. Между тем 3.000 бробдингнежских футов соответствует только 250 английских.

## Глава V.

Страница 231, строка 13. *Самые маленькие птицы не высказывали никакого страха в моем присутствии.* На одном из солнечных островов Сирано наблюдает то же самое: «Ce qui me surprit davantage fut que ces oiseaux, au lieu de s'effaroucher à ma rencontre, voltigeoient alentour de moy» (*Les oeuvres libertines de Cyrano de Bergerac*, ed Ired. Lachevre, 1921, I, 149).

Страница 242, строка 34. *Благополучно спустился вниз.* Monck Mason полагает, что это происшествие с обезьяной было внушено Свифту «старинной легендой, повествующей о способе, каким наследник знатного рода Кильдейров был спасен обезьяной».

## Глава VI

Страница 249, строка 18. *Король любил музыку.* Намек на покровительство Георга I Генделю, имевшему большой успех в высшем английском обществе. Это увлечение музыкой осмеивается Свифтом также в *Путешествии в Лапуту*.

Страница 249, строка 32. *Шпинет*—старинный музыкальный инструмент типа клавесина или клавикордов.

Страница 262, строка 29. *Наемная регулярная армия.* Постоянная армия и государственный долг, на который Свифт намекает выше, были предметом ожесточенных нападков тори на вигов. Эта беседа Гулливера с королем является едкой сатирой на английский государственный строй. Ср. ч. IV, гл. V.

## Глава VII

Страница 268, строка 14. *Дионисий Галакарнасский*—греческий историк, живший во времена Августа. Во введении к своей *Археологии* он говорит, что его намерение изобразить римлян грекам в благоприятном свете.

Одно из изданий *Археологии* появилось в Оксфорде в 1704 году.

Страница 273, строка 16. *Два колоса.* Тори поддерживали сельскохозяйственные интересы страны; вероятно в связи с этим Свифт приписывает торийские взгляды королю. Вообще политические принципы Бробдингнега родственны принципам политики тори.

Страница 276, строка 3. *Слог их...* Здесь Свифт выражает условия, которым должна удовлетворять образцовая проза, и которым следует сам.

## Глава VIII

Страница 281, строка 17. *Король имел сильное желание...* Полная аналогия с Сирано (*op. cit.* I. 45).

Страница 285, строка 33. *Орел.* Сказание о грифе или гигантской птице, схватывающей и уносящей людей и животных, арабского происхождения. Этим же способом Сирано покидает луну, а путешественник *Les avantures de Jacques Sandeur* (1676) достигает Мадагаскара. Идея гигантского орла вероятно была внушена Свифту Сирано или одним из многочисленных путешествий, которые он усердно читал.

Страница 301, строка 19. *Сравнение с Фаэтоном.* Фаэто́н, сын Солнца и Климены. Добившись от своего отца разрешения управлять его колесницей в течение одного дня он по неопытности чуть не сжег вселенную. В наказание Юпитер низверг его в Эридан (т.-е. в реку По).

## ЧАСТЬ III

Путешествие в Лапуту показалось первоначально, как друзьям Свифта, так и рядовым читателям, наименее интересной и оригинальной частью Гулливера, и эта репутация довольно прочно укрепилась за ним. Между тем она может быть признана отчасти справедливой лишь в отношении композиции рассказа, но никак не в отношении его качества; места, посвященные описанию характера и нравов лапутян, академии прожектёров в Лагадо, *струльдбругам* или бессмертным являются, пожалуй, самыми сильными во всей книге. Весьма возможно, что, подобно Лилипутии, путеше-

ствие в Лапуту содержит кой какие первоначальные наброски и записи Свифтовской сатиры. Современник Свифта поэт Поп указывает, что проекты академии в Лагадо зародились еще в эпоху клуба Мартина Скриблера (см. предисловие). В *Мемуарах Мартина Скриблера,* написанных вероятно Попом и Арбутнотом еще в 1714 году, мы читаем, что Мартин открыл в своем третьем путешествии «целое царство *философов,* управляемое *математиками;* по возвращении домой он собирался облагодетельствовать свое дорогое отечество при помощи их замечательных планов и проектов, но, к несчастью, они были отвергнуты завистливыми министрами королевы Анны, и сам он предательски подвергнут опале» (гл. XVI). Свифтом взята отсюда только общая схема; подробности «проектов» в *Мемуарах* не изложены. Зато кое что из этих подробностей заимствовано Свифтом у Рабле; вообще на пестрых элементах, из которых составлено путешествие в Лапуту, сильно чувствуется влияние разнообразных чтений Свифта. Что касается *Летучего Острова,* то идея его почти несомненно принадлежит лукиановской *Vera Historia,* а сцены с призраками в Глаббдобдрибе навеяны вероятно *Диалогами мертвых* того же Лукиана; кроме Рабле, Свифт кой что позаимствовал для своей Академии из *Серьезных и забавных развлечений* Тома Броуна (1700); мысль о породе бессмертных очень стара и широко распространена; особенностью версии Свифта является трагический пафос, который он сообщил ей. Подробно занимаются вопросом о заимствованиях и литературных аналогиях Борковский и Эдди в цитированных сочинениях.

Если некоторые части путешествия в Лапуту являются, повидимому, первоначальными эскизами, написанными задолго до выхода книги в свет, то целое производит впечатление перестройки и постепенного напластования. По сравнению с остальными тремя частями повествование нескладно и беспорядочно; тогда как те части являются развитием единого замысла, здесь Свифт последовательно выкладывает свои предубеждения, антипатии, насмешки и размышления. Сатира направлена главным образом против математиков, философов, ученых и педантов, но там есть также много другого ма-

териала. Непоследовательности этого путешествия объясняются отчасти изменением точки зрения Свифта. Если мы рассматриваем *Путешествия* в целом, то нам становится ясно, что сначала мысли его были направлены на Англию, а под конец на Ирландию и ирландские дела. Изменение это отразилось на Путешествии в Лапуту более несчастливо, чем на других частях. Ибо, если, как это кажется почти несомненным, описание нищеты жителей Лагадо и жалкого состояния земледелия в Бальнибарби должно представлять положение Ирландии, то эти бедствия изображены также как следствие слепого преклонения перед псевдо-наукой и увлечения популярными в Лондоне в начале XVIII в. химерическими проектами быстрого обогащения, известными под именем «мыльных пузырей», и благодаря этому смешению сатира несколько теряет свою остроту. По мнению Чарльза Фертса (The Political Significance of «Gul. Trav.», 1919) Бальнибарби изображает Ирландию а Лапута Англию.

## Глава I

Страница 309, строка 14. *Форт С.-Жорж* теперешний Мадрас.

Страница 312, строка 10. *Голландец, стоя на палубе...* Ненависть голландцев к англичанам на востоке постоянно изображается в *Путешествиях* этой эпохи.

Страница 312, строка 14. *46° северной широты и 183° долготы* (повидимому от Ферро), т.-е. в Тихом океане к востоку от Японии и к югу от Алеутских островов.

## Глава II

Страница 324, строка 27. *В форме равностороннего треугольника.* Профессор де Морган (Notes and Queries 2-nd Serie, VI, 125) указывает на нелепость сервировки кушаний в форме фигур двух измерений и говорит, что Свифту следовало бы быть более точным в своей сатире на математику. Едва ли это замечание справедливо; соль сатиры понятна каждому.

Страница 327, строка 1. *Впрочем, я не настаиваю на этой гипотезе.* Насмешка над словообразованиями знаменитого в то время Бентли и других филологов.

Страница 327, строка 15. *Ошибкой, вкравшейся в его вычисления.* Намек на ошибку, допущенную наборщиком Ньютона, прибавившим лишнюю цифру к числу, определяющему расстояние от земли до солнца. В своей сатире над рассеянностью математиков и философов того времени Свифт вероятно имел в виду главным образом Ньютона, анекдоты о котором он любил рассказывать.

Страница 328, строка 1. *Начали концерт.* См. примеч. к части II, глава VI.

Страница 333, строка 26. Явный намек на один громкий бракоразводный процесс 1713 г. (Ford).

## Глава III

Страница 341, строка 30. *Каталог 10.000 неподвижных звезд.* Свифт вероятно имеет в виду *Британский каталог* Флемстида (Flamsteed), насчитывающий 2.935 звезд. Он появился в 3-м томе *Historia Coelestis Britannica* в 1725 году.

Страница 345, строка 13. Отрывок, начинающийся словами: *Года за три до моего прибытия к лапутянам...* и кончающийся: *и совершенно изменили бы образ правления* (на стр. 347) впервые был опубликован по английски в приложении к изданию *S. A. Aitken*'а в 1896 г., а напечатан на надлежащем месте в издании G. Ravenscroft Dennis (London, 1922) с исправленного Фордом экземпляра первого издания, хранящегося сейчас в кенсингтонском музее в Лондоне (см. предисловие редактора).

Страница 348, строка 1. *Запрещает королю... оставлять остров.* Намек на частые отлучки Георга I из Англии в Ганновер.

## Глава IV

Страница 352, строка 13. *Этот сановник, по имени Мьюноди.* Чарльз Фертс (*op. cit.* p. 22) полагает, что оригиналом Свифта был виконт Миддлетон, лорд канцлер Ирландии, который пользовался там некоторой популярностью за то, что противился разорительным для Ирландии проектам вигов. Вероятнее, однако, намек на Болингброка, который по возвращении из изгнания

демонстративно уединился в деревенской глуши в Долей (Dawley).

Страница 354, строка 1. *Свидетельствовали бы о такой нищете и лишениях.* В этой главе Свифт имеет вероятно в виду с одной стороны нищету Ирландии, а с другой печальные последствия спекулятивной горячки, охватившей Англию в это время. Изложенные здесь проекты немногим отличаются от диких планов тогдашних предприятий, известных под именем «мыльных пузырей».

## Глава V

Занятия профессоров Академии в Лагадо очень напоминают занятия Королевы Каприза (La Reine Quinte) у Рабле (кн. V, гл. XXII).

Страница 364, строка 5. *Ковкости пламени.* Там же: «Другие режут ножом пламя».

Страница 365, строка 32. *Сплошь затянуты паутиной.* В 1710 г. один изобретательный француз, некий Бон, опубликовал брошюру, в которой доказывал возможность изготовления чулок и перчаток из паутины. Попытки этого рода производились и позже. См. *Pall Mall Gazette* от 26 ноября 1898 года.

Страница 369, строка 3. *Собака мгновенно околела.* Намек на теорию рвоты д-ра Вудворда, основанную на опытах над собаками.

Страница 370, строка 34. *Станок.* Идея машин, способных производить логические операции, возникала неоднократно: у Корнелия Агриппы XVI в., у Лейбница, у Джевонса (в XIX в.) и у представителей современной «логистики», впервые же, кажется, у испанского схоластика и алхимика XIII в. Раймонда Луллия.

## Глава VI

Страница 385, строка 11. *Обширную рукопись инструкций...* Последняя часть этой главы (запрещавшаяся или искажавшаяся царской цензурой в России) осмеивает приемы, практиковавшиеся в процессе Аттербери (Atterbury), епископа рочестерского и декана Вестминстера, привлеченного к суду за государствен-

ную измену. Он был сторонником королевы Анны, и по восшествии на престол Георга I отказался принести присягу, в надежде на возвращение «короля Якова III», как он называл брата Анны, претендента на английский престол. В 1722 г. он был заключен в Тоуер за участие в противоправительственном заговоре. Нет никакого сомнения, что он был сторонником реставрации Стюартов, однако прямых улик против него не было, и его изгнание вызвало большое негодование среди тори, в частности у Свифта и Попа.

Страница 386, строка 4. *Тщательно рассмотреть.* Намек на речь герцога Вортона, в которой он упоминал о двух письмах, найденных в стульчаке епископа.

Страница 386, строка 31. *Трибниа... Лангден.* Анаграмма слов Британия (Britain) и Англия (England).

Страница 388, строка 2. *Хромая собака — претендента.* Аттербери получил из Франции в подарок собаку Арлекина, у которой в пути была переломана нога. По этому поводу Свифтом было написано стихотворение, озаглавленное: «*О страшном заговоре, раскрытом Арлекином, французской собакой рочестерского епископа*».

Страница 394, строка 6. *Наш брат Том нажил геморой:* По английски тут действительно анаграмма: *Our brother Tom has just got the piles* и *Resist, a plot is brought home; The tour.*

## Глава VII

Страница 401, строка 3. *Правитель предложил назвать имена каких мне вздумается лиц.* Сцены эти, как указано выше, внушены вероятно *Диалогами мертвых* Лукиана, а также может быть одним эпизодом у Рабле (кн. II, гл. XXX).

Страница 401, строка 32. *Не было ни капли уксуса.* Тит Ливий (кн. I, гл. 37) рассказывает, что Ганнибал прорубил скалу, загромождавшую путь его армии, накалив ее пламенем костров и затем полив уксусом, вследствие чего она размягчилась и ее нетрудно было срыть.

## Глава VIII

Страница 408 строка 10. *Дидима и Евстафия*. Коментатор Дидим, родившийся в Александрии в 63 г. до Р. Х., жил и учил в Риме в эпоху Августа. Одним из важнейших его произведений был трактат о Гомере, отрывки которого дошли до нас. Евстафий из Константинополя, архиепископ салоникский в конце XII века, составил ценный комментарий гомеровских поэм, содержавший главным образом извлечения из античных писателей.

Страница 408, строка 16. *Скота и Рамуса*. Дунс Скот один из величайших средневековых схоластов (ум. в 1308 г.) критиковал систему Фомы Аквината, основанную на Аристотеле, и комментировал Аристотеля. Петр Рамус (Pierre de la Ramée) критиковал Аристотеля в сочинении, вышедшем в 1543 г. Оба они приведены Свифтом в качестве представителей бесплодной учености.

Страница 408, строка 21. *Гассенди* (1592—1655), атомист, критик Аристотеля и Декарта (1596—1650).

Страница 408, строка 30. *Он предсказал ту же участь теории тяготения*. Снова намек на Ньютона.

Страница 410, строка 11. *Полидор Виргилий* (1470—1555) итальянский историк, прибывший в Англию в 1501 году в качестве сборщика лепты св. Петра и проведший большую часть своей жизни в этой стране. Он написал замечательную *Историю Англии* на латинском языке.

Страница 413, строка 12. *Собирался сдать свой флот*. Должно быть намек на адмирала Ресселя, выигравшего морское сражение у французов у Ла Гог (1692); его лояльность по отношению к Вильгельму III была однако под сомнением.

Страница 416, строка 11. *Сын либертины*. Вольноотпущенница была *liberta* по отношению к своему господину и *libertina* по отношению к государству.

## Глава IX

Страница 420, строка 4. *21-го апреля 1708 года*. В 1-м издании Мотта стоит 1711 г., в экземпляре Форда поправлено 1709, у Фолкнера 1708. Все эти даты не-

удовлетворительны. Свифт справедливо жалуется в предисловии к фолкнеровскому изданию (письмо Гулливера к Симпсону) и в письмах, что «наборщик перепутал». В самом деле, Гулливер отплыл в Мадрас 11 апреля 1707 года. Там он стоял три недели и направился дальше, в Тонкин. Оттуда он вскоре отплыл на шлюпке и через десять дней подвергся нападению пиратов. Еще через шесть дней его подняли на Летучий Остров. После двухмесячного (?) пребывания на Лапуте он спустился 16 февраля (очевидно 1708 года) в Лагадо. 21 апреля прибыл в Лаггнегг. Через три месяца, 6-го мая 1709 г. (должно бы было в конце июля), покидает Лаггнегг и 9 июня прибывает в Нагасаки, а оттуда в Даунс, 10 апреля 1710 г., после пяти с половиной лет отсутствия. Это однако никак невозможно, если он отбыл из Англии 5 авг. 1706 г.

Страница 420, строка 31. *Открыт доступ только голландцам.* После подавления восстания христиан (1637) доступ в Японию был закрыт для всех, исключая голландцев и китайцев.

## Глава XI

Страница 448, строка 31. *Попрания ногами распятия.* Попрание изображения распятия (*e-fumi* или *fumiye*) было в Японии XVII и XVIII вв. одним из способов обнаружения обращенных в христианство, но нет никаких данных утверждать, будто исполнение этой процедуры требовалось и от голландцев. После подавления упомянутого восстания церемония практиковалась главным образом в Нагасаки и его округе. Каждый член заподозренной семьи, от стариков до детей, должен был наступить на бронзовую пластинку с изображением распятия; отказывавшихся подвергали пыткам и казнили. Пластинки эти можно видеть в токийском музее. Гонение на христианство (которое рассматривается японцами как дьявольское учение) существовало до 1873 года.

Страница 451, строка 3. *После пяти с половиной лет отсутствия.* См. примеч. к главе IX

## ЧАСТЬ IV

*Путешествие в страну Гуигнгнмов* является цельным и последовательным повествованием, представляющим резкий контраст с третьей, самой беспорядочной частью приключений Гулливера. Как бы долго ни работал Свифт над *Путешествиями* в целом, вряд ли можно сомневаться, что эта часть вылилась из под его пера вся сразу, с начала до конца. Все большее наростание желчности, заметное при переходе от одного путешествия к другому, не может служить доказательством, что отдельные части писались в том порядке, в каком они расположены, или что глубочайшее презрение к человеческому роду, характеризующее четвертую часть, свидетельствует о погружении в мрачное настроение, бывшее последним уделом Свифта. В письме к Форду от 19 января 1723 г. он говорит, что покинул «страну лошадей», чтобы вернуться в Лапуту; к тому же, в путешествии к Гуигнгнмам нет ничего несовместимого с умонастроением Свифта большей части его жизни. Горькие разочарования большого, гордого, замкнутого и неуживчивого человека сосредоточены здесь в нескольких коротеньких главах.

Наделение человеческими чертами животных мы наблюдаем уже на самой заре словесного художественного творчества. Басни Эзопа весьма древнего происхождения, но ни в них, ни в других аналогичных собраниях превосходство животных над человеком не является господствующим мотивом. Однако таков именно замысел диалога *Несмысленные животные пользуются разумом*, который включен в *Moralia* Плутарха,—произведение, переведенное на английский язык при жизни Свифта и ему известное. *Цирцея* Giovanni Battista Gelli *Совет зверей* Howell' я (1660), навеянные Плутархом, иллюстрируют ту же мысль. Параллели между ними и другими возможными литературными источниками с одной стороны, и путешествием в страну Гуигнгнмов, с другой, приведены W. A. Eddy (*op. cit. pp.* 172—187), но обнаруженное им сходство очень незначительно. Свифт вполне мог противопоставить воздержность лошадей

невоздержности человека, не прибегая ни к каким литературным заимствованиям. Точно так же, вопреки мнению Eddy (*op. cit.* pp. 63, 64) не видно, чтобы Свифт заимствовал что нибудь для своего четвертого путешествия из *Histoire comique du Soleil* (1657) Сирано, как он заимствовал для своих предшествующих путешествий из *Histoire comique de la lune.* Вряд ли какой нибудь писатель, живущий в книжный век, может обойтись без всяких заимствований. При некоторой изобретательности тут можно доказать все, что угодно. Д-р Бентли, если только не Арбутнот, отлично и с большим юмором доказал в *Критических замечаниях относительно путешествий капитана Гулливера* (1735), что гуигнгнмы и их страна были хорошо известны классическим писателям с древнейших времен. И все же часть эта является необычайно оригинальной трактовкой старинного сюжета.

Тем не менее, при всей оригинальности Свифта, его способность из совершенно невероятного создавать иллюзию реального часто изменяет ему при его усилиях вознести лошадей над людьми. Трудно поверить в лошадей, строящих дома, доящих коров, изготовляющих глиняную посуду и вдевающих нитки в иголки, но еще менее убедительными кажутся постоянные панегирики гуигнгнмам, которые, несмотря на отсутствие у них каких либо недостатков, все же физически, интеллектуально, и может быть даже морально стоят ниже Гулливера, весьма посредственного представителя человеческого рода. Сатира Свифта не достигает здесь своей цели, не вследствие своей желчности—тут едва ли хоть один штрих неубедителен—а потому, что она не находит опоры в надлежащем обрамлении.

Правильное произношение слова «гуигнгнгм»—вопрос несущественный, но Свифт несомненно имел в виду звукоподражание ржанию лошади (по английски Whinny—гуинни), т. е. нечто вроде *гуинним. Йэху* (yahoo), по предположению профессора Морли, составлено из двух восклицаний, выражающих отвращение: «Yah! Ugh!» Слово это (yahoo) стало сейчас по английски нарицательным.

## Глава II

Страница 472, строка 19. *Волшебство и магия.* Борковский (op. cit,) указывает на сходство этой фразы с фразой Сирано: «Certes, ma surprise fut si grande que dès lors je m'imaginé que tout le globe de la lune tout ce qui m'estoit arrivé, et tout ce qui j'y voyois n'estoit qu'enchantement» (*op. cit.* p. 39). Однако сходство это черезчур внешнее. Свифт мог написать вышеприведенные слова, нисколько не думая о Сирано.

Страница 480, строка 17. *Мы не знаем ни одного животного, которое любило бы соль.* Ошибка. Большинство животных, в том числе лошади, любят соль.

## Глава III

Страница 483, строка 11. *Император Карл V...* По преданию Карл V заявлял, что охотнее всего обращался бы к богу по испански, к любовнице—по итальянски и к лошади—по немецки.

## Глава V

Страница 510, строка 5. *Различие мнений стоило многих миллионов жизней.* Намек на церковные таинства, церковную музыку, прикладывание к иконам и распятию и церковные облачения.

Страница 513, строка 8. *Особый вид нищих государей.* Намек на применение Георгом I немецких наемных войск для охраны своих ганноверских владений. Мотт выбросил это место в первом изд.

Страница 516, строка 33. Начиная со слов: *Тут он заявил, что уже достаточно наслушался...* и до конца главы в первом издании была напечатана другая редакция. Редакция, печатаемая здесь, соответствует исправлениям в экземпляре Форда.

## Глава VI

Заголовок этой главы изменен Фордом в связи с изменением содержания. См. дальше.

Страница 535, строка 5. *Я ответил ему, что первый или главный министр.* Этот абзац переведен согласно исправлениям Форда; в первом издании королева Анна была изображена подлинной правительницей, см. *Письмо Гулливера к Симпсону* перед текстом.

Страница 540, строка 3. *И вот, без согласия.* Этого абзаца не было в первом издании. Прибавлен Фордом.

## Глава IX

Страница 576, строка 21. *Они считают годы и месяцы по обращениям солнца и луны.* Борковский (op. cit. p. 352) отмечает весьма схожее место в Histoire des Sévarambes (1677—9) Denis Vairasse d'Alais: «Les sévarambes divisent le temps comme nous par années ou révolutions Solaires, ils le subdivisent aussi par mois ou revolutions lunaires: car ils ne comptent point par semaines».

## Глава XI

Страница 601, строка 14. *Достиг юго-восточного берега Новой Голландии.* Повидимому, это ошибка; нужно читать *юго-западного.* Новая Голландия—Австралия.

Страница 601, строка 21 *Мистеру Герману Моллю,* Голландец, поселившийся в Лондоне в 1698 г. Опубликовал серию карт и географических компиляций. Умер в 1732 г.

Страница 609, строка 13. *Лучшее мнение о моей правдивости.* В первых изданиях вслед за этими словами было: «тем более, что, как он признался мне, ему случилось раз встретиться с одним голландским шкипером, заявившим, будто однажды на берегу какого то острова или континента к югу от Новой Голландии, куда этот шкипер высаживался с пятью матросами за свежей водой, он наблюдал лошадь, гнавшую нескольких животных, в точности похожих на тех, что я описал ему под именем *Йэху;* подробности его рассказа капитан забыл, так как он счел его тогда басней».

Страница 614, строка 11. *Росергис*=Редрифф. См. примечание к гл. VIII первой части.

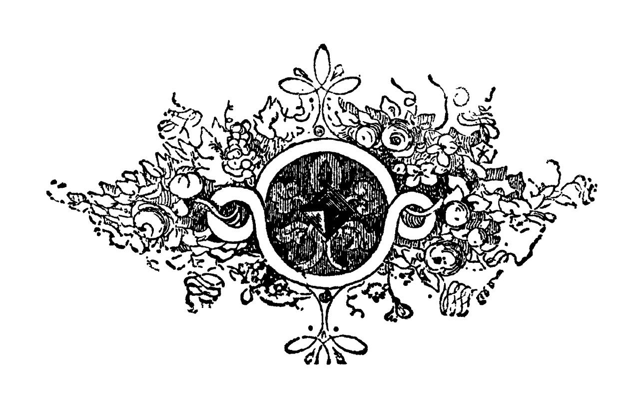
Страница 614, строка 32. *Когда я пишу эти строки, прошло уже пять лет.* На основании этого места некоторые комментаторы заключают, что к писанию *Гулливера* Свифт приступил в 1720—1721 г. (см. предисловие).

## Глава XII

Страница 619, строка 10—11. *Nec si miserum...* Вергилий. Энеида, II, 79. «Если судьба сделала Синона несчастным, она никогда не сделает его лжецом и бесчестным».

Страница 622, строка 4. *Recalcitrat...* Гораций, Сатиры, II, 1, 20. «Лягается, постоянно держась на стороже»,

Страница 624, строка 19. *И от которых, по тому же преданию.* Начиная от этих слов до конца абзаца место это опускается в английских изданиях, начиная с Фолкнеровского издания 1735. Причины понятны.



## *ОГЛАВЛЕНИЕ*

*Часть вторая*

## *ПУТЕШЕСТВИЕ В БРОБДИНГНЕГ*

*Часть третья*

## *ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛАПУТУ, БАЛЬНИБАРБИ, ЛАГГНЕГГ, ГЛАББДОБДРИБ И ЯПОНИЮ*

*Часть четвертая*

*ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГУИГНГНМОВ*

Редактор А. А. Франковский. Техн. редактор Г. Л. Гилес. Сдана в набор 25/V 1932 г. Подписана к печати 28/V 1932 г. Бум. 74 × 105. Тип. зн. в 1 печ. л. 60.000. № 18. Главлит № Б 16348. Тираж 10250 экз. Печатн. лист. 22. Типография „Ленинградская Правда". Ленинград, Социалистическая, 14.